5 1969

Иностранная литература

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

ИСАБЕЛЬ АЛЬВАРЕС ДЕ ТОЛЕДО — Тревожные дни в Санлукаре (Послесловие В. Ясного) 6

РАССКАЗЫ

ИРВИН ШОУ — Как это принято у французов 121

УИЛЬЯМ МАКСУЭЛЛ — С любовью и преданностью 132

ДЖЕЙМС ПАРДИ — Острый угол 135

КОЛУМБИЙСКИЕ РАССКАЗЫ. МАНУЭЛЬ САПАТА ОЛИВЕЛЬЯ. ЭРНАНДО ТЕЛЬЕС, НЕСТОР МАДРИД МАЛО 144

ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПРОЗЫ. КАМЕН КАЛЧЕВ. ЙОРДАН РАДИЧКОВ 158

СТИХИ

КАРМЕН СОЛЕР — Строки, написанные кровью 3

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ — Яннис Рицос . 116

БЕЗЫМЯННЫЕ ПОЭТЫ ЗАБАСТОВКИ . . . 142

КРИТИКА

ЕФРЕМ КАРАНФИЛОВ — Молодость героя (Заметки о болгарской прозе) 199

А. СТАРЦЕВ — Песня о себе (К 150-летию со дня рождения Уитмена) 206

5

МАЙ

1969

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

Москва

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

ПИСЬМА К. ЛИБКНЕХТА (Публикация и вступительная статья М. Кораллова) . 215

ПУБЛИЦИСТИКА

САРА ЛИДМАН — Рудник 228
КАРЛОС БЕЙКЕР — Жизнь Эрнеста Хемингуэя (Главы из книги) 245

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Л. ЧЕРНАЯ — Пределы терпимости — не всегда можно говорить «да», и не все компромиссы хороши. 252

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ТЕМА ТРУДА В ЗАРУБЕЖНОМ ИСКУССТВЕ (Публикация И. Степановой) 256

НАШИ ГОСТИ

О. РОССИЯНОВ — Разговор с поэтом не только о поэзии (Иштван Шимон в «Иностранной литературе») 262

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Ю. Кагарлицкий — Десять лет спустя. ◇ Л. Степанов — Восточная сага об Антаре 264

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Кирилл Ковальджи — Третий крик возвещает рождение. ◇ К. Чугунов — Корни жизни ◇ В. Скороденко — Несостоявшаяся реанимация 268

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 274

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 287

На обложке: витраж мексиканского художника Диего Риверы «Земля».

КАРМЕН СОЛЕР

СТРОКИ, НАПИСАННЫЕ КРОВЬЮ

Перевод с испанского
и вступление НИНЫ БУЛГАКОВОЙ

Зимой прошлого года мир облетело известие о том, что парагвайская поэтесса-коммунистка Ка́рмен Соле́р, томившаяся тогда в застенках диктатора Парагвая генерала Стресснера, объявила голодовку и жизнь ее находится в опасности. Тысячи телеграмм были направлены в Асунсьон с требованием освобождения поэтессы.

Кармен Солер... Это имя еще мало знакомо нашему читателю. Да и неудивительно. Первая — и единственная — книжка ее стихов, подготовленная к публикации, была конфискована в рукописи во время ареста поэтессы в 1953 году и уничтожена.

Более двадцати лет Кармен Солер активно сражается за свободу своего народа.

— У нас, в Парагвае,— рассказывает она,— нельзя быть только литератором. Приходится выбирать — с народом ты или нет. А если ты с народом, то должен практически работать для него. Я начала писать тогда, когда серьезно задумалась над проблемами, волнующими наш народ...

Долгое время Кармен Солер возглавляла подпольную партийную газету. Там время от времени она публиковала стихи и коротенькие рассказы, в которых воссоздавала жизнь крестьян и рабочих, индейцев, воспевала героизм коммунистов, подвергавшихся жестоким пыткам в застенках. Не отсюда ли та простота стиля, лишенного всякой красивости, не отсюда ли четкость мысли и высокая идейная направленность?

Первая ссылка в 1947 году, аресты в 1953, 1955, 1960 годах и, наконец, в 1968 году, когда после ее тридцатидневной голодовки парагвайским властям под нажимом общественного мнения пришлось выпустить тяжело больную, перенесшую страшные пытки Кармен Солер и выслать ее из страны.

Поэзия Кармен Солер запрещена в Парагвае. И все-таки она пишет. Пишет потому, что не может не писать. Даже в тюрьмах она умело прятала огрызок карандаша в косу, записывала стихи кровью на носовом платке... Ее строки — она сказала о них в одном из своих стихотворений: «...я не умею ритмом мерить кровь, я не умею рифмовать ни плач, ни стоны...» — пробивают себе путь к читателю.

Публикуемые ниже стихи взяты из рукописного сборника, который Кармен Солер восстановила по памяти в дни своего недавнего пребывания в Советском Союзе.

Кровь и земля

Кто-то в землю мотыгу вонзил и ушел,
бороздою кровавой раскрылась земля.
Кто-то семя швырнул и ушел,
в борозде, словно колос, ребенок взошел,
землею и кровью покрытый.

Кровь и земля.
Наша кровь и чужая земля.

Кто-то в землю лопату вонзил и ушел.
Черной ямой открылась земля.
В черной яме лежит человек,
землею и кровью покрытый.

Кровь и земля.
Наша кровь и чужая земля.

Но ребенок растет, и растет, и растет.
Взрослым встанет ребенок из борозды.
Нашей станет земля.

В пятом комиссариате

Цветы высокие, красные...—
я знаю, чья кровь их окрасила —
раскрываются на закате
во дворике Пятого комиссариата.

А над цветами небо, такое синее,
равнодушное и красивое,
глухое, немое, слепое, повисло —
как всегда.

А под небом тюрьма и концлагерь,
за решеткой тюрьмы твои раны,
и капля за каплею падает кровь
на чашечки цветов.

А на воле и у нас в тюрьме
семена прорастают
нашей правды и силы цветы расцветут,
красные — как всегда!

Страх под ружьем

Снова избили...
Хотели
плетью сломить железо.
Это тот,
кто топтал кусты жасмина
и кровью залил поля маиса.
Разве нас им согнуть?
Нас, людей, в чьих глазах
правда горит!

Там, за железным каркасом тюрьмы,
рвутся в небо слова...
Это мы.
А они?
Что у них
за орудьями пыток стоит?
Посмотри —
это страх под ружьем;
только страх бредет под дождем!
Вот они.
Сгустки страха, что чует свой крах,
против нас.
У них нет ничего.
Только страх!

Судьба палача

Он так издевался над жизнью,
что кровь его стала черной.
Столько смеялся над светом,
что сердце сделалось черным.

Он над народом смеялся —
и жизнь палача стала черной.
Однажды его убили,
просто его убили,
и там, где его убили,
остался черный колодец:
грязный, черный колодец...

Никто не спросил о колодце.

Вырви кляп изо рта...

Вырви кляп изо рта
и пой!
Выплюнь из сердца яд
и живи!
Свою печаль положи
на ладонь руки,
сдуй ее!
Под повязкою раны скрой
и борись!
Время пришло —
иди!

Голос из тьмы

Кто-то крикнул во тьме:
— Да здравствует наша свобода!
Ответили пулей ему.

Кто-то крикнул во тьме:
— Долой, пусть тиран умрет!
Ответили пулей ему.

Завтра кровь закричит в полный голос:
— Да здравствует наша свобода!
— Долой! Пусть тиран умрет!
И отзовется
народ.

Сражаясь

Индейская кровь есть в народе моем,—
пылает!
В раненой древесине сельвы моей
плачет!
В глубоком зеленом аду моих шахт
стонет!
На устах приглушенных жалоб моих
бьется!
Грызет утробу земли моей,
вырываясь!
Потоки ее медленно наши цепи
точат!
Живет индейская кровь, в народе моем
сражаясь!

ИСАБЕЛЬ АЛЬВАРЕС ДЕ ТОЛЕДО
(Герцогиня де Медина-Сидония)

Тревожные дни в Санлукаре

ПОВЕСТЬ

Перевод с испанского
Р. ПОХЛЕБКИНА

Хуан осторожно слез с кровати, стараясь не разбудить Фернандо. Пускай поспит, в школу еще рано. Он на цыпочках подошел к порогу. От земляного пола неприятно тянуло сыростью. Хуан открыл дверь. За ночь погода изменилась. Каменные плиты патио высохли, полуразвалившаяся стена уже не сочилась влагой. Глиняные пласты, отставшие зимой, еще держались, ярко-желтые на фоне белых пятен известки.

Он пошарил в ящике из-под бутылок, куда обычно прятал на ночь свою одежду.

— Ма! Ма!

Сальвадора с трудом открыла глаза.

— Никак своих вещей не найду!

— А ты ищи как следует!

— Не иначе, опять Луисильо взял.

— А мне-то что. Разбирайтесь сами.

Мать повернулась на бок. Хуан подошел к брату, спавшему на ворохе тряпья.

— А ну давай!

Луисильо уже поджидал его. Он слышал весь разговор, но молчал: уж больно тепло было лежать, закутавшись в старый вельветовый пиджак и залатанные брюки. Не возражая, он отдал одежду.

— Ох и выдеру же я тебя, попробуй возьми еще!

Хуан быстро оделся. Прихватил пальмовую шляпу и заступ.

На улице мутно поблескивали лужи. Хуан пересек овражек, куда впадали две канавы. Сначала здесь была просто мусорная яма, потом она захватила часть улицы, а теперь добралась уже до самых домов. В грязной воде среди пустых консервных банок и бутылок плавал самодельный кораблик, забытый каким-то мальчуганом.

Хуан поднялся вверх по улице Святого Антона до будки. Сборщик пошлин Касимиро грелся на солнышке, прикрыв фуражкой глаза. Повозка, груженная хлебом, въезжала в городок.

— Эй, а платить кто будет?

Возница приблизился.

— Сколько?

— Два дуро.

Касимиро вошел в сторожку выписать квитанцию. Возница порылся в карманах. Достал несколько смятых бумажек и немного мелочи. Внимательно пересчитал.

Протянув Касимиро деньги, возница взял квитанцию и спрятал ее в замусоленный бумажник. И побежал за своим мулом, который как ни в чем не бывало мирно шествовал по улице.

Тут только Касимиро заметил Хуана.

— Рад тебя видеть, дружище!

— А я все без работы...

— Поискал бы чего-нибудь вроде моей. Забот никаких. На многое не рассчитывай, но восемь дуро заработаешь и в дождь и в солнце.

Хуан кивнул.

— Ясное дело,— продолжал Касимиро,— поступить трудновато, тут образование нужно... Говорят, Басилио уходит на пенсию. Я тебя предупрежу. Порекомендую, и тебя обязательно возьмут, алькальд меня уважает.

— Да я едва буквы разбираю.

— Подумаешь, важность. Главное уметь выписать квитанцию, а это можно наизусть выучить. Два слова, цифра — и вся недолга... Ну, а имена они пишут сами. Подписываться всякий умеет.

Хуан пожал плечами. Писанина ему была не по душе.

— Можно оставить у тебя инструмент? А то неприятно как-то идти домой с этой штуковиной у всех на виду.

— Оставь там! — сказал Касимиро, указывая на будку.

Касимиро полез за платком в карман, чтобы вытереть пот, струившийся по лицу. Рука нащупала десять песет.

— Хуан!

— Чего?

— Возьми!

— Это еще с какой стати?

— Выпей... Потом отдашь.

Хуан поблагодарил.

— Не стоит благодарности. В другой раз ты меня выручишь.

Смятые банкноты приятно оттопыривали карман. Хуан побрел по улице Ганадо.

У дверей лавчонок спорили мужчины. Время от времени кто-нибудь подходил к стойке выпить стаканчик.

— Привет!

Пако пошел с ним вместе. Им было по пути.

— Хочешь выпить?

— Нет... Рано еще.

Пако не любил зря валяться в кровати. Он хорошо знал надсмотрщиков и не менее хорошо знал, когда начинается работа.

— А знаешь, старик Чунга совсем сдрейфил,— начал Пако.

— Почему это?

— Говорит, дела идут плохо из-за того, что мы отстаиваем наши права.

— А ты не обращай на него внимания. Он же старый.

— Люди его слушают.

— Они всех подряд слушают. Делать-то им больше нечего!

— Бастовать надо! — сказал Хуан.

Пако остановился как вкопанный.

— Опять? К добру это не приведет!

— А-а, наплевать, все едино. Как говорится, через сто лет все лысые будем.

— Чем позже, тем лучше!

— В нашем-то положении?!

— Как сказать ..

— А вдруг мы чего-нибудь добьемся? Думаешь, не стоит? А ты вспомни, как мы перебивались на шесть дуро.

— Прибавили по четыре, а цены повысили на сорок.

— Пускай делают все по-честному. Если мы упремся, они уступят.

— Как бы не так! Уж больно много у нас кровососов развелось.

— Попытка — не пытка.

— Да ты что? Новой войны захотел? С нас довольно!

— Не знаю... я ничего не помню о тех временах...

— А я хорошо помню. Мне пятнадцать лет было.

— Твой отец был красный.

— Неправда! Мой отец в политику не вмешивался.

— Да он сам мне говорил, когда я работал в погребах.

— Враки!

— Ну-ну, поосторожней, я такой же мужчина, как ты, и я знаю, что говорю.

— Вот твой-то, верно, был красным.

— Я и не спорю.

— Конечно, не зря же его убили.

— Зато твоему повезло.

— Какое, к черту, повезло. Мой-то ведь был фалангистом.

Хуану расхотелось продолжать спор.

— Ладно, приятель, не сердись!

— Болтают, спасу нет!

Поравнявшись с церковью Святой Кармен, они перешли на противоположный тротуар. От святых лучше подальше.

■

Посреди площади перед аюнтамиенто * топталась группа батраков. Человек в альпаргатах** лишь недавно появился на улицах богатых кварталов. Правда, в бары он не входил — ведь они предназначались для господ. Даже рюмочки не пропускал. Только присутствовал. И больше ничего.

Лишь по воскресеньям «наиболее имущие» занимали столик в «Мартинесе», чтобы всей семьей посмотреть телевизор. Два мира встречались, делая вид, будто не замечают друг друга. Для людей из народа завсегдатаи были «стулогреями», а для «стулогреев» народ был «рабочей скотиной», которую используют «по надобности».

За столиками толковали о делах. Цена на сусло, продажа фермы, отсрочка уплаты взносов — все это занимало умы местных богатеев. Тут совершались сделки по купле-продаже недвижимости.

Хуан и Пако подошли к толпе батраков.

— Что нового?

— Ничего... хозяева боятся, что дождь пойдет... Ведь теперь погода, не погода, а раз вышел на работу, так плати за весь день...

Чуло порылся в карманах.

— Есть закурить?

Хуан улыбнулся: еще чего захотел. Закурить!

---

* Местный муниципалитет *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

** Крестьянская обувь, сплетенная из пеньки.

— Хорошего мирдео*, вот что им нужно!

Говорил он громко, чтобы его слышали за всеми столиками.

— Ну и что? Думаешь, они от этого обеднеют?

Пробило два часа. Из аюнтамиенто вышел алькальд дон Леон.

— Будь проклята его мать!

Дон Леон сел в лимузин. Удостоверился, что рычаг переключения скоростей находится в нейтральном положении, включил зажигание.

— Сколько у него, у сволочи, денег!

— Столько же, сколько дурной крови.

Хуан отошел от группы рабочих и стал рассматривать афиши, висевшие у входа в кино. Индейцы окружили дилижанс. Ковбой несется на скакуне, а в плечо ему воткнулась стрела. Софи Лорен посылает ему воздушный поцелуй.

Не сбавляя скорости, алькальд нажал на клаксон. Хуан одним прыжком отскочил с дороги.

Он двинулся к берегу. Жара все усиливалась. Ему захотелось искупаться, хоть плавать он не умел. Да и вспомнил к тому же, что после купанья еще сильнее захочется есть.

Хуан присел на скамейку у музыкальной эстрады. Как и в годы его детства, музыка не играла, но зато на столбах по вечерам сверкают лампы дневного света и все вокруг обсажено декоративными кустами. Алькальд почему-то невзлюбил их старые заросшие малинники.

■

Волнорез делил берег на две части — пляж для купанья и причал. Причал построили еще до войны, когда пароходы привозили сюда севильских туристов и Санлукар считался андалузским Сан-Себастьяном **. Но мода прошла. Компания решила упразднить линию. Заброшенная пристань спокойно зарастала водорослями. Она служила теперь лишь убежищем для устриц да трамплином для мальчишек, которые прыгали в воду с обнажившихся железных балок, совершая опасные акробатические трюки.

Наступил самый оживленный час дня. То и дело приставали баркасы. До берега доносился ритмичный шум моторов и грохот якорных цепей, падающих в воду. Моряки выкрикивали какие-то непонятные команды своим товарищам на баркасах или в другом конце причала. В пивнушках рыбаки, пробывшие в море несколько дней, опрокидывали по первому стаканчику.

Чиновник-скупщик подошел к баркасу. Его обступили зеваки и покупатели.

— Пятьдесят... сорок пять...

В Бахо-Гийя счет ведут только на дуро ***.

— Беру!

Чиновник — фуражка с серебряными галунами, серый мундир — записал цифру в книжечке. Хозяин и судовладелец тоже сделали пометки. Рыбак шевелил губами, стараясь запомнить цену. Писать он не умел, приходилось запоминать цифры, чтобы потом, при окончательном расчете, защищать свои интересы и интересы товарищей.

Полуголые ребятишки возились возле глубоко осевших в песок, источенных временем остовов кораблей, боязливо поглядывая на сторожей. А те прекрасно знали: стоит зазеваться — маленькая рука ловко юркнет в ящик за ужином.

Хуан подошел к лотку с мороженым.

— Одно за два реала.

---

* На местном наречии так называется ливень, перемежающийся со зноем.

** Модный фешенебельный курорт на севере Испании.

*** Один дуро равно пяти песетам.

Мороженщик приподнял никелированную крышку и достал жалкую порцию желтоватого лакомства, припахивающего несвежим яйцом.

К судовладельцу дону Матиасу приблизились две монашки.

— Подайте на пропитание сироток!

Дон Матиас бросил несколько рыбин в корзину, которую несли две девочки, одетые в приютскую форму. Девочки хором поблагодарили, потупив глаза.

— Да заплатит вам за все господь, дон Матиас!

Появился Пирри с корзиной на руке.

— Что ты тут делаешь? У моря? — спросил Хуан.

— Да что придется.

— Ты же крестьянин!

— Ну и что? В наше время где покормят, туда и идешь.

— А тебе не противно?

— Еще как! Да ведь еще противнее приходить домой без гроша в кармане.

— Мне тоже.

— А в море всегда работенка найдется...

— Это смотря кто ищет.

— Кажется, на «Дуэнде» требуется матрос.

— А ты не смог бы меня пристроить?

— Не знаю...

Они поискали хозяина, но матроса уже наняли.

■ ■ ■

Пирри жил в Эль-Новалес. Отец оставил ему в наследство огородик на прибрежных песках и страх перед водой. Сделался владельцем огорода Пирри как-то летним вечером. В шторм. А через три дня волны выбросили на берег труп. «Креветки-то, гляди, им уже полакомились»,— заметила соседка-рыбачка. Вот и вся панихида по Пирри-старшему.

Пака, жена Пирри, принесла Хуану пузырек с оливковым маслом и два помидора. Хуан поблагодарил.

— Для дружка всегда найдется.

— Когда есть...

Пака чистила к ужину картошку.

Пирри достал табакерку.

— Желаешь?

Друзья покурили, присев у ворот. Ранние цикады уже стрекотали в песке.

В луже квакали жабы. Хуан кивнул на огород.

— Ну как?

— Чистое болото! Если не перестанет лить, придется разводить рыбу. Продать поскорее, да и дело с концом!

Пака подняла голову.

— Неужто ты воображаешь, что за него дадут столько же, сколько за огород Ираола!

— По крайней мере куплю там, где вода до горла не доходит! После последнего повышения цен за землю дают дороже.

— Да и берут дороже! Ничего ты не продашь! Сам знаешь, без этого огородика жрал бы одно дерьмо.

— Замолчи, жена! Что ты понимаешь в коммерческих делах!

— Ты только посмотри на него, Хуан. Одно умеет — махать кулаками после драки!

— Просто у меня денег нет. Не на что развернуться.

— А много у тебя останется после продажи? Думаешь, я тебя не знаю? Все до последней монеты стащит в таверну!

Хуан поднял голову и взглянул на небо. Пака снова принялась за работу.

— Говорят, будет забастовка... ходят такие слухи...

Пирри промолчал.

— По-моему, давно пора. А ты как считаешь?

Пака вспылила:

— Чтобы я больше о таких вещах в моем доме не слышала! Хватит! Моего отца и брата расстреляли у кладбищенской стены. Семидесятилетнего старика и пятнадцатилетнего мальчишку! А за что? За то, что мы пожаловались дону Хулио, что у нас нет на обед даже картофельной шелухи. Будет худо, подтянем потуже пояса, но зато хоть живы останемся!

— Жена права. Брось-ка ты лучше эти штучки и бери, что можно. Кто хочет работать, тот с голоду не помрет.

Хуан заметил, что друг его переменился, но не понял почему.

Они поднялись вверх по улице Святого Хуана.

— Два стакана...

От пивнушки к пивнушке — добрались до будки, где дежурил теперь Калеро.

— Давайте бастовать!

Хуан усмехнулся:

— Опять?

— Да, опять! Надо добиться восьмидесяти песет.

— Слишком жирно хочешь, приятель.

Пирри не особенно верил Революционеру, как прозвали Калеро еще с войны*.

— Если хочешь чего-нибудь добиться — старайся.

— Например, попасть за решетку.

— Ну, это еще посмотрим! Ведь мы поднимемся все вместе...

— Кто это сказал?

— Я сказал, и баста!

— Да кто ты такой? Посмотрите, как нос дерет!

— А что, мало я тебя выручал в профсоюзе? Пора бы знать, кто я такой!

— Профсоюз дело законное, а забастовка — нет.

— А ты положись на меня!

Хуан сказал это, скорее желая досадить Пирри, чем поддержать Калеро.

— А ты на меня не рассчитывай!

Пирри был храбрый среди своих, но с помещиками связываться не желал. Все втроем они отправились в таверну.

Там к ним подошел Негро:

— Имей в виду, кто выйдет в поле, дорого за это заплатит.

Пирри взорвался:

— Угрожаешь, да?! Поглядим, какие у тебя будут штаны, когда придут зеленые!

— Плевал я на жандармов да и на бога в придачу! И тебя сейчас распишу как следует!

Пирри набросился на Негро с кулаками. Завязалась драка. Калеро и Хуан разняли драчунов.

— Эй вы, прекратите!

Хозяин не любил скандалов. Он выскочил из-за стойки, собираясь позвать полицию:

— Вот угодите в тюрьму!

Калеро протянул ему дуро. Трактирщик не вернул сдачи целую песету.

— Это мне на чай!

---

* Имеется в виду гражданская война в Испании 1936—1939 гг.

■

Сделав крюк, чтобы не проходить мимо лавки Верзилы, Хуан вернулся домой.

Фернандо читал, пристроившись у засиженной мухами лампочки. Новый учитель подарил ему энциклопедию. Мальчик решил выучить ее наизусть — ведь в школе таких вещей не проходили. Луисильо играл с пустой консервной банкой. Хуана не отходила от плиты, в кастрюле кипел густой суп, распространявший неопределенный запах не то помоев, не то грязной воды от мытья полов. В углу поблескивала банка американского сыра.

— Кто принес?

— Сегодня раздавали в благотвориловке.

— Только это и дали?

Хуана показала на кастрюлю.

— Еще кило картошки...

— А талонов много было?

— Говорят, штук пятьдесят, больше сотни женщин напрасно выстояли очередь.

Хуан повалился на кровать. Фернандо воспользовался случаем, чтобы поделиться с братом новоприобретенными познаниями:

— Ночью на небе можно наблюдать планеты.

Хуан уставился в потолок. Он даже слова такого никогда не слыхал.

— Верно... и звезды тоже.

— Но есть и планеты.

— Может быть...

— Ты знал про планеты? Они светят отраженным светом.

Хуан рассердился:

— Брось ты эти книжки, научись лучше ковырять заступом! В твои годы я уже давно работал.

— А я хожу в школу!

— Повезло тебе, сеньорито!

Фернандо снова принялся за книгу. Это было верней, чем вести спор. Луисильо с адским грохотом гонял по полу консервную банку. Хуан был не в духе. Не сдержавшись, он дал мальчишке здоровенную затрещину. Луисильо заверещал в голос.

■ ■ ■

Как только Хуан пришел на площадь, его сразу же заграбастал надсмотрщик дона Леона. Пятьдесят человек направились на ферму в Алихарильо. В низинах нельзя было ступить. Топь, да и только! Зато на холмах земля была — лучше не придумаешь. Батраки шли, напевая, и приветственно махали рукой своим товарищам, державшим путь на другие виноградники.

Безработица кончилась. Даже по одному тому, как сидели на головах шляпы, было видно, что нынешний день отличается от других.

— Ты! На опрыскиванье!

Хуан отложил заступ. Смешал в жестяном бидоне порошок с водой. Приходилось действовать осторожно, беречь руки и особенно глаза. Многие ослепли из-за этого яда. Аккуратно размешал зеленую жидкость палкой. Налил в бачок медный купорос. Батраки тянули шланг, умело направляя струю точно на почки растений, не пропуская ни одной веточки. Время шло, и бачок за плечами становился все тяжелее, жара все несноснее. У Хуана ломило спину и поясницу. Давало себя знать отсутствие практики. Ряды лоз становились все длиннее... минуты тоже...

Первый перекур. Мужчины присели. Отдых на четверть часа. К Хуану подошел Калеро.

— Завтра не выходим.
— Ладно.
— Наверняка?
— Наверняка!

Надсмотрщик подал сигнал. Снова лозы, снова зеленая жидкость. На шоссе повстречались с другими артелями. Они шли, прокладывая в полях тропинки.

— Я слышал, завтра не работаем...
— Я тоже слышал.
— Винограду вредно...

Для Чато виноград был виноградом. Он-то знал: оставь лозы на час во власти вредителей — и прощай урожай. Он навсегда запомнил год, когда на виноградники напала филоксера. Американская чума, как называли ее, потому что пришла она из-за океана. Филоксера уничтожила все лозы, которые посадил еще его отец. Чато не желал, чтобы та же участь постигла и его виноградник. Человек умирает, а лоза остается.

— Подумаешь, нам еще хуже...

Это сказал Негро, который не испытывал ни малейшей жалости к господскому добру.

— Есть работа, так мы перестаем работать, а как нет, так подавай ее нам.
— Пусть больше платят!
— Лучше мало, чем ничего.
— Я слышал, что никто на работу не выйдет.
— Как сказать... у меня семеро ребятишек.
— Это холостякам хорошо бастовать.

От артели к артели, из таверны в таверну передавались призывы и протесты. Затевались споры, драки, раздавались угрозы. К ночи все разошлись по домам, уверенные, что их ждет провал.

■

Как обычно, мужчины сошлись на площади. Артель, где работал Хуан, отправилась на ферму дона Леона. Проходя мимо колодца, Хуан почувствовал на себе взгляд Калеро. Прислонившись к стене, Калеро разглядывал «трусов». Бунтари, сидя в кюветах и на обочине дороги, покуривали и молча осуждали отступников. Хуану стало стыдно, заступ врезался в плечо, он чувствовал себя рабом.

В перекур говорили мало. Вечером деньги жгли карманы. Вернувшись в городок, батраки пытались пригласить приятелей в таверну.

— На плохие деньги мы не пьем!

Калеро доказывал, старался убедить людей:

— Зря дурака валяем. Так ничего не добьешься!

■

Хозяева только плечами пожимали:

— Ну, где им объединиться! Так или иначе, а виноградники обработаем. В любом случае проиграют они, а не мы.

Кое-кто из землевладельцев, побуждаемые политическим тщеславием, явились на площадь, чтобы поднять дух батраков.

— Рюмочку хочешь?
— Нет, спасибо...

И батрак исчезал.

■

— Просят восемьдесят песет. Восемьдесят палок — вот что им надо! Все равно завтра-послезавтра выйдут все как один. Так что бояться нам нечего.

Гражданские гвардейцы обходили пивнушки стороной. К чему без особой нужды нарываться на неприятности?

На следующий день Хуан вернулся на виноградник. Отчим его тоже вышел на работу, но, прежде чем отправиться, обозвал пасынка трусом.

— Вы, молодые, ни на что не годны.

Несколько парней поджидали их у окраины городка:

— Бросьте валять дурака. Требуйте восемьдесят песет!

Кое-кто из батраков поддался на уговоры. Но Хуан зашагал дальше.

В одиннадцать часов пришли люди из Касильи:

— Эй, ребята, сегодня шабашим!

У батраков гора с плеч свалилась. Не слушая уговоров надсмотрщика, они побросали инструмент. Перескакивая через межи, бросились разносить новость по всей округе. Виноградники опустели. В два часа надсмотрщики прискакали в Санлукар.

Батраки разбрелись по пивнушкам.

— Группами не собирайтесь, громко не разговаривайте, не ссорьтесь,— наказал им Калеро.

Карлос, старый виноградарь, разыскал Калеро:

— Ну, что? Доволен? А кто теперь моих ребятишек накормит?

Калеро подмигнул:

— Иди за мной!

Они вошли в лавочку.

— Хозяин здесь?

Мальчишка отлично знал, что к чему. Пулей вылетел на улицу и бросился к дому хозяина.

— Дон Маноло! Вас вызывают в лавку!

Дон Маноло сердито приподнялся на постели. Он не любил, когда прерывали сиесту.

— Кто там?

— Калеро.

Дон Маноло снова лег.

— Пошел он к черту!

— Он сказал, что если вы не придете, то пожалеете.

Дон Маноло слыхал краем уха о том, что творилось в городке. Храбростью он не отличался. Кто-кто, а лавочники всегда в курсе всех дел. А с тех пор, как у дона Маноло завелись деньжата, он жил в непрерывном страхе перед революцией. На смертном одре отец сказал ему: «Когда денег нет, становись красным, а сейчас, сынок, пора идти в фалангисты!»

Так дон Маноло «вступил в партию» в сороковых годах.

Ну, а если времена переменятся?.. Дон Маноло встал с кровати, застегнул штаны.

— В чем дело?

— Будешь давать в долг, пока забастовка не кончится! И не вздумай отказываться, помни: к тебе ни один батрак вообще никогда не придет! Даже тот, кто тебе остался должен!

— Ладно уж.

— Тебе же выгоднее!

Калеро обошел все лавки и таверны. Хозяева дали согласие. В основном их торговля держалась покупателями, бравшими на два реала сала да сто граммов гороха. Платили они сколько ни запроси и никогда не забывали отдавать долг. Хоть мало, зато верно. Таким стоит доверять!

Вопрос пропитания был решен.

— А теперь, ребята, затянем потуже пояса!

■

Местные власти собрались в доме дона Леона. Пришли самые богатые, а значит и самые уважаемые. Донья Кармен приготовила кофе и по-

ставила на стол бутылку коньяку. Дон Гаспар притащил пишущую машинку, на которой печатал его сын. Никто не должен знать, о чем пойдет разговор.

В гостиную внесли все стулья, имевшиеся в доме. Даже из кухни. Дон Антонио нервничал: он готовил речь, которую собирался произнести перед батраками.

Дон Аурелио Пелаес улыбался: он-то был уверен в своих силах. А дон Сесар украдкой сплевывал в плевательницу.

Первым взял слово дон Леон и сразу же обрушился на профсоюзного деятеля дона Мариано:

— Вот до чего доводят ваши профсоюзы! Разве можно батраку давать волю!

Взъерошив усы, дон Сесар резанул с плеча:

— Такие дела должны улаживать жандармы! Забастовка — это же преступление!

Алькальд дон Луис перепугался. Когда именно должны вмешиваться местные власти? В любом случае скандала не миновать.

— Но это же не забастовка.

— А что же, по-вашему?

Дона Мариано охватил страх. Страх перед друзьями, перед батраками, перед столичным начальством наконец.

— По-моему, целесообразнее попытаться урегулировать этот конфликт мирным путем.

— Лично я не прибавлю ни сентимо,— заявил дон Леон.— По закону мы обязаны платить тридцать шесть песет, а мы даем около пятидесяти. Нелепо думать, что кучка батраков сможет изменить закон. Да и ты тоже не сможешь!

Дон Мариано опустил голову. Присутствующие дружно посмотрели на алькальда. Дон Луис постарался стушеваться. Его интересы были весьма далеки от сельского хозяйства, и он ненавидел любые заботы. Потому он постарался найти обтекаемую формулировку:

— Как алькальд, я не имею права отдать приказ об аресте этих парней. Но как ваш друг, могу только надеяться и желать, чтобы они совершили преступление, выкинули бы какую-нибудь штуку: вот тогда я со спокойной душой могу привлечь их к ответственности. А пока они ведут себя мирно, я не в силах ничего предпринять, если, разумеется, мне не окажет содействия наш общий друг начальник жандармского участка. Он-то имеет возможность действовать на законных основаниях...

Немедленно послали за высшим блюстителем порядка. В казарме его не оказалось. Дон Луис решил, что жандарм улизнул неспроста, но промолчал. На розыски жандарма отрядили двух муниципальных советников.

— Пригласите также судью и нотариуса... Конечно, если они согласятся... судейские в таких делах весьма и весьма полезны.

Явился капитан жандармерии. Он уже был в курсе событий.

— Чем могу быть полезен?

— Это дело рук некоего Калеро.

Капитан был в сущности неплохой малый, но его интересовало только одно — продвижение по службе. Если шкура этого самого Калеро может послужить ему на пользу, он с радостью воспользуется ею.

— Арестовать и отделать так, чтоб другим неповадно было.

— А на каком основании?

— Как агитатора.

— Доказательства имеются? — Этот вопрос задал судья, который по возможности старался соблюдать законы.

— Во время войны он был красным. Улизнул каким-то чудом, когда его уже волокли на кладбище.

Судья дон Альберто вздохнул свободно: представилась возможность без шума устранить главаря.

Вскоре два жандарма задержали Калеро на площади. Высоко подняв голову, Революционер спокойно стал между стражами. Попрощался с товарищами:

— Выполняйте свой долг!

За что и получил сильный удар прикладом по боку, первый из тех, которые ожидали его вскорости.

■

— А если одного Калеро будет мало?

— Тогда посмотрим.

Гости распрощались с хозяином:

— Завтра в клубе в тот же час...

Донья Кармен еле дождалась конца этого скучнейшего, по ее мнению, сборища, которое, помимо всего, влетело им в копеечку. Началось с бутылки коньяку, а кончилось ящиком вина, пришлось даже закуску подать. А это весьма и весьма чувствительно отразится на бюджете семейства дона Леона.

■

Новость облетела городок в мгновение ока.

В тавернах — приглушенные страхом голоса, жесты бессильного гнева, накопившегося за многие годы. Словно нечаянно упавшие со стола стаканы, бутылки, лопавшиеся в руках трактирщика.

— Здорово его отделают.

— Да и нас в придачу, если не угомонимся!

Берет у Негро надвинут на самые брови, серые глаза в упор смотрят на ребят. Крестьянский взгляд, привыкший к солнцу, к бескрайним просторам. Он не боялся, только чувствовал во рту привкус крови. Крови, которую видел очень-очень давно, еще ребенком, лужу крови, натекшую на асфальт возле трех трупов. Неизвестно кем и за что убитые люди. А через несколько шагов столкнулся с тремя молодыми фалангистами.

— Вы не мужчины, а кастраты... Заведите себе петухов и увидите, как надо драться!

Страх уступил место стыду. Парни опускали головы, затыкали себе уши. Но Негро не унимался. Говорил он громко, не боясь, что его услышат. Он был уже немолод.

— Что скажут потом? То же, что мы говорим сейчас! Что мы не годны ни на что, даже детей своих защитить не способны. Видать, уже мужчин нынче совсем не осталось.

Антонио выступил вперед. Ему недавно исполнилось двадцать лет, но он знал, что Негро зря их так поносит.

— Я сделаю все, что ты скажешь.

Вслед за Антонио подошли и остальные. Одни с воодушевлением, другие равнодушно. А третьи лишь бы не выделяться.

— Завтра на виноградники выходим. А в десять бросим работу.

— Это еще почему? — спросил Лечусо, мысленно проклиная доморощенного агитатора, который отрывал его от работы и от спокойной жизни.

— Потому, что я так сказал, и потому, что мы должны выступать все заодно.

Лечусо отошел. Остальные молча одобрили предложение.

В ту же ночь новость облетела все дома, все лавчонки и улицы. Хуан сидел у Верзилы, когда туда заглянул старик Негро. Он направился прямо к Хуану:

— Ты один из первых согласился с Калеро и последним угомонился. Хочешь пойти с нами?

— Зачем это?
— Прищучим первого, кто посмеет отправиться на виноградники.
— Да ты же сам велел приходить к десяти!
— Вот завтра и узнаем, кого надо прищучивать.
— Дело опасное!
— Опасное или нет — либо ты, либо тебя!

В первую минуту Хуан испугался жандармов, но тут же ему стало стыдно. И он молча опрокинул несколько стаканчиков подряд.

■

— Я видел Негро.

Отчим Хуана Пако кивнул.

— Я тоже...

Сальвадоре все это было не по душе. Среди женщин ходили тревожные слухи о забастовке и тюрьме.

— А что он тебе сказал?
— Да так, ничего особенного, толковал о своих делах...
— Надеюсь, про эту забастовку не говорил?
— Нет, что ты...

Пако подмигнул пасынку, словно хваля его за молчание.

В семь часов батраки собрались на площади. Лишь немногие прихватили с собой корзины. Негро, Хуан и Пелао подошли к одному такому с корзиной.

— Оставь-ка ее дома!
— А может, мне так нравится!
— Сказано тебе: оставь!
— Будешь приставать, жандармов кликну.
— Только посмей!

На улице Святой Брихиды показались два жандарма. Негро с друзьями отошли в сторону и стали громко обсуждать перипетии последнего футбольного матча. Жандармы прислонились к стене склада. Тот, что был помоложе, взял на изготовку, демонстративно щелкнув затвором. Битых два часа проторчали там блюстители порядка, точно два манекена, вкопанные в землю. Батраки проходили мимо: кто шел за надсмотрщиком, кто за своей артелью.

■

— Все в порядке, сеньор начальник. Отправились, как миленькие, все до единого.

Жандармский капитан улыбнулся, пощипывая свои густые светло-русые усы.

— Прекрасно.

Он велел позвонить в аюнтамиенто. Дон Луис еще не приходил... возможно, будет к одиннадцати. Капитан попросил соединить его с доном Луисом на дому. На другом конце провода послышался гнусавый недовольный голос.

— Говорит начальник жандармского участка! Что случилось?
— Важное дело, сеньор...
— Надо полагать, важное, иначе вы не решились бы меня беспокоить в такую рань.
— Батраки вышли на работу.

Глазки дона Луиса заблестели. Он повесил трубку, даже не простившись, и тут же стал звонить всем этим всемогущим господам, от которых зависело его пребывание в аюнтамиенто. Место превосходное и приносит большие общественные и материальные выгоды.

К одиннадцати часам Санлукар жил своей обычной жизнью. Господа опрокидывали первые рюмочки в казино или в барах на площади, всюду шла оживленная купля-продажа, газетчик выкрикивал измышленные им самим новости в надежде поскорее распродать газеты и заработать чаевые; толковали о машинах, которые упразднят ручной труд, о безоблачном будущем, базирующемся на незыблемом порядке, о мире.

На середине площади появилась группа людей, за ней другая... третья. Все в рабочей одежде. Цыган даже перестал наводить блеск на ботинок, который подставил ему дон Ансельмо. Ему хотелось посмотреть, как батраки сходятся на площадь. «Наверно, что-то случилось»,— подумал он, но промолчал и снова принялся за прерванную работу.

Официант Лопес подошел к стойке.

— Два кофе! Четыре рюмки, две порции креветок и одну сардин.

Кармела подала.

— Уже началось?

— Кажется, да.

Женщина кивнула в сторону столиков:

— Они знают?

Лопес пожал плечами. Его дело подавать.

Дон Сесар нервничал.

Секретарь Мануэль поспешил успокоить шефа:

— Может, это только самые норовистые.

Дон Сесар с сомнением покачал головой. Тут не до шуток. Мануэль поостерегся делать дальнейшие предположения.

■

По улице Ганадо зацокали лошадиные копыта. Одна лошадь, поравнявшись с площадью Виктории, пустилась в галоп.

Надсмотрщик дона Хосе был доволен. Пора ребятам постоять за себя. Правда, для проформы он попросил их остаться на винограднике, а по-дружески сказал, что поступают они правильно. Сам он не очень-то спешил в город. Понятно, приехал он в числе первых, но ведь хозяйский участок находился у самого города, а уж это не его вина. Он направился к хозяйскому дому, хотя отлично знал, что в эти часы дон Хосе сидит в казино. Забарабанил в двери. Служанка опрометью спустилась с лестницы:

— Да тише ты! Чуть шею из-за тебя не сломала.

Служанка, пухленькая девица с красивыми глазками и глупым личиком, давно покорила сердце надсмотрщика. Он подумал было, что они могли бы поболтать с минутку, да вспомнил, что день выдался уж больно неподходящий.

— Сеньора совсем сбрендила. Ума не приложу, что с ней такое. Давай выкладывай скорей.

— Мне нужен дон Хосе.

— Вы только поглядите на него! Неужто не знаешь, что в это время он пропускает по первой?!

— Откуда мне знать?

— Пора бы! Небось служишь у них подольше, чем банки в кладовке.

— Ладно... Поди поищи его!

— Иди сам! Что у тебя — ног нет?

Служанка громко захлопнула дверь. Надсмотрщик подвел коня к погребу и привязал его к железному кольцу. Потом медленно двинулся к казино, освежаясь по пути в пивнушках.

Представ перед доном Хосе, он дотронулся до полей шляпы.

— Что случилось?

— Батраки ушли.

Подошли остальные господа, сидевшие за соседними столиками. Как это произошло? Только на ферме дона Хосе или на других тоже?

— Явились они в положенный час и уселись. Как я их ни упрашивал, ничего не помогало. Некоторые принесли свой инструмент. Остальные не пожелали брать хозяйский. У меня уж язык устал их уговаривать, дон Хосе! Клянусь вам своими детишками!

— Брось клятвы, лучше расскажи поподробней!

— Так вот. В десять часов поднялись и убрались, даже не сказали ни отчего, ни почему.

Дон Леон грыз ногти:

— Не знаешь, из Алихарильо тоже ушли?

Надсмотрщик тупо посмотрел на него.

— Отвечай сеньору,— приказал дон Хосе.

— Не знаю, но вот когда я ехал по шоссе, то видал: много батраков спускалось в город. О вашей ферме сказать ничего не могу... Мне не известно, кто у вас сейчас работает.

— Если это случилось в десять часов, почему ты так поздно явился?

— Задержался... сам опрыскивал сульфатом: не пропадать же тому, что было в баллонах...

Это была явная ложь, но он ничем не рисковал. Не пойдет же дон Хосе на виноградник проверять, раз началась такая заваруха! Надсмотрщик боялся лишь одного, как бы ему не влепили пощечину.

— А ну, пошли!

Дон Хосе и его приятели исчезли. Наверно, запрутся в отдельной комнате, подумал надсмотрщик. Затем спокойно свернул сигаретку. Башмаки его звонко застучали по мостовой. Несколько парней поклонились ему. Он незаметно ответил на их поклон. У погреба ему подвели коня.

— Дон Хосе велел тебе возвращаться на виноградник и продолжать работу.

Надсмотрщик кивнул головой и сплюнул. Потом проехал в знакомый квартал. Уж раз он оказался в Санлукаре, надо воспользоваться случаем. В доме Чины всегда найдутся свободные девочки.

■

Группки наблюдателей притаились среди агав и кактусов у обочины дороги. Поджидали штрейкбрехеров.

Хуан стоял рядом с Негро, его даже пот прошиб. Мысль о том, что отчим находится в Кальехон-де-ля-Рейера, успокаивала его, но все же не настолько, чтобы унялась эта дурацкая дрожь в коленях.

— Идет!

Лечусо семенил с корзинкой в руке. Время от времени он останавливался и оглядывался. Видно, собрался проскочить незамеченным.

Негро бросился к нему.

— Бей его!

Хуан и Пелао пустили в ход кулаки. Минут десять Лечусо вертелся на земле, стараясь вырваться из рук Негро, который зажимал ему рот.

— Ладно, хватит, еще убьем ненароком!

Пелао знал: за такое преступление, как убийство, жандармы не пощадят.

— Пошли! Пускай знает, что мы пострашнее жандармов.

Негро поднялся.

— Помни, проболтаешься — прикончим.

Лечусо всхлипывал.

— А ну, молчать!

— Ладно, не буду.— И он ушел, ковыляя.

— Целую неделю не сможет работать. Даже в кровати!

В ту ночь не раз раздавались крики о помощи. Жандармы прислушивались, стоя на посту.

— Пойдем поглядим?

Солдат Перес пожал плечами:

— Зачем?! Жалованья все равно не прибавят, а так, может, что и выиграем.

Нуньес погасил окурок и на всякий случай перекинул автомат через плечо.

На рассвете начались первые расследования. То в одном, то в другом доме обнаруживали «наказанных».

— Что случилось?

— Да... не знаю, сеньор начальник. Все твердят одно и то же, будто повстречались с каким-то детиной, одетым в белое.

Жандармы не стали разыскивать привидение, просто завели пухлое дело о странном незнакомце, появившемся в их краях. А вдруг высшее начальство поинтересуется?

Когда все успокоится, виновного отыщут.

■ ■ ■

Казино. Полно мух. Пахнет табаком и вином. Господа ждут, толкуя о всякой всячине. Может быть, батраки все-таки вернутся на работу.

Дон Сесар обернулся к двери. Вошел официант с подносом, уставленным бутылками и рюмками. Дон Мариано раскурил трубку. В чубуке оставалось еще немного табаку. Алькальд дон Луис подошел к окну и осторожно приподнял край шторы. Он не желал, чтобы его видели. Судья захлопнул свой любимый молитвенник, а дон Гаспар заказал еще одну бутылку.

Разговор не клеился. Шум с улицы доносился все явственней.

— А их много,— сказал дон Луис.

Дон Леон явно нервничал:

— И чего только смотрят гвардейцы?

— Пока ведь они не делают ничего преступного.

— Но все-таки собрались!

Дон Хосе пробыл на войне больше, чем все прочие его собутыльники. Война застала его в Ронде, и он до сих пор трясся от страха. И сейчас снова испытывал тот же животный страх.

Дон Луис вернулся на место.

— Так продолжаться не может!

Дон Сесар был прав. Все посмотрели на дона Луиса.

— Верно! Ведь ты же алькальд! Выйди и скажи им что-нибудь. Что угодно, лишь бы они убрались!

Дон Луис побледнел. Когда он выпрашивал себе место алькальда, он без обиняков заявил губернатору, что политическая карьера его не интересует. Просто он нуждался в деньгах, а высокое жалованье поправит его пошатнувшееся положение. Вот почему он выступал, только когда приказывало начальство, и притом перед такой аудиторией, которая дружно аплодирует во время пауз, не давая себе труда выслушивать речи. Теперь все обстояло иначе. Любая ошибка, любая двусмысленная фраза — в душе алькальд сознавал, что оратор он никудышный,— и толпа набросится на него, и никакие жандармы, не говоря уж о жалких муниципальных сторожах, не успеют его защитить.

— Ну, давай выходи!

Дон Луис понял, что попал в западню. Нет, он отнюдь не собирался быть героем.

— Но ведь меня убить могут.

— Еще чего! Зачем тогда в алькальды лез!

Профсоюзный босс дон Мариано неторопливо вынул изо рта трубку:

— Я своих людей знаю. Они хороши до поры до времени, а чуть что — берегись. Сейчас не время разглагольствовать. Лучше переждем. Времени у нас хватит, переловим всех по одному, и тогда пускай они дрожат от страха! Когда они действуют скопом, их ничем не уймешь, а вот дома, когда к ним явится жандарм, не беспокойтесь, станут тише воды, ниже травы.

— Но ведь речь идет о виноградниках! О наших доходах! Мы не можем ждать!..

Дон Мариано отодвинулся вместе со стулом.

— Главное, не терять головы! Это уж — последнее дело! Давайте посмотрим, что можно предпринять. Ради этого, черт возьми, мы и пришли сюда!

В наступившей тишине снова отчетливо послышался шум на улице. Встал судья:

— Полагаю, вам небезынтересно знать мое мнение. Как это ни досадно, но пока прибегнуть к силе мы не можем. Где нет преступления, там нет и наказания. Создалось странное положение, в городе прекратились даже обычные ссоры. Батраки не связаны договором, а сторожа и надсмотрщики могут совершенно спокойно отказаться от опрыскиванья, ибо это не входит в их обязанности...

— Как так? С чего это ты расписываешь все в черном цвете?

Судья улыбнулся.

— Позвольте мне договорить. Дело может плохо кончиться.

Но виноделы были не согласны. Стоит измениться погоде, и все пропало! Весь урожай пойдет прахом!

— Скажи, Мариано, для чего существуют твои профсоюзы? Сейчас бы им и действовать. Прикажи работать этим болтунам, которых ты так слушаешься.

— Ладно! Завтра же соберу советников, и мы постараемся найти выход из положения.

Дон Сесар залпом выпил рюмку.

— Профсоюзы! Бросьте вы эти глупости! Хоть раз с помощью профсоюзов мы добились чего-нибудь путного? Мы здесь люди свои, и нечего себя обманывать. Мы прекрасно знаем, как назначаются представители этого сброда. По нашей указке. Никто их не слушает. А два-три мерзавца, которые ушли из-под нашего контроля, сейчас с теми, кто на улице. Это неверный путь! А если как следует разобраться, то и наихудший!

— Что же тогда? Аресты? Тоже не подходит. Ночью нам удастся забрать полдюжины, не больше. А завтра все будет по-прежнему.

— А вдруг они завтра пойдут протестовать к тюрьме... Там их и можно будет арестовать.

Алькальд дон Луис перепугался:

— Да вы с ума сошли! Хотите, чтобы об этом узнали иностранные журналисты и чтобы мне влетело из Мадрида!

В этот момент появился дон Антонио, как всегда элегантный и улыбающийся. Он прошел по площади через толпу батраков, и ни один волос не упал с его головы.

— Ну как, утрясли вопрос?

Никто не ответил.

— Прекрасно. По-моему, я нашел выход!

Кое-кто даже вскочил со стула, чтобы лучше слышать, какую он произнесет речь, ибо он, несомненно, собирался произнести речь... Дон Антонио мечтал о политической карьере в монархическом лагере. Своей «избирательной кампании» он еще не начал, но готовился к ней основательно, стараясь создать вокруг собственной персоны атмосферу дружелюбия и теплоты.

— Ни аресты, ни профсоюзные заклинания плодов не принесут. Еще меньше поможет речь-экспромт, ибо рабочий, когда чувствует себя сильным, отвечает без обиняков, режет правду, что называется, с плеча. Это может поколебать наш престиж, а следовательно и престиж государственных учреждений. В принципе мы должны избегать старых парламентских методов борьбы, а равно и действий, которые могут быть истолкованы как недемократические, антинародные...

— Чего мы не должны делать, мы уже знаем. Вы скажите, как нам следует поступать!

Дон Антонио осклабился, показав все свои зубы в отечески снисходительной улыбке. Он приобрел навыки оратора в рабочей аудитории и не мог отказать себе в удовольствии щегольнуть перед своими собратьями.

— Минуточку! Итак, я вам уже говорил, что сила и убеждение не годятся; последнее, между прочим, по той простой причине, что нам никого не удастся ни в чем убедить. Мы обязаны уважать батраков, и мы будем их уважать, но виноградники нуждаются в рабочей силе... И нуждаются именно сейчас! Следовательно, мы будем искать рабочую силу на стороне!

Сеньоры одобрили это предложение. Курчавый молодой сеньорито, только что закончивший университет, предложил:

— Если нужны деньги...

— Нет, что ты, что ты, ведь я тоже заинтересован в этом деле...

■

Слухи о забастовке распространялись с небывалой быстротой. От Санлукара до Чикланы батраки безучастно выслушивали предложения дона Антонио, словно он обращался вовсе не к ним.

— Никак не можем, сеньор... У нас тут у самих работа... Да и Санлукар больно далеко.

— Если бы где еще, а Санлукар нам не с руки.

Дон Антонио добрался до самой Медина-Сидонии. Первым делом он разыскал некоего Манихеро. Тот, как обычно, сидел в Центральном баре.

— А-а, дон Антонио! Рад вас видеть!

Манихеро даже не поднялся со стула. Он прекрасно знал, что это не визит вежливости, что дона Антонио пригнала сюда нужда. Он лениво болтал жирными ножками, не доставававшими до пола.

Дон Антонио сел.

— Мне нужны две тысячи человек.

Манихеро бросил окурок сигареты и, не отвечая, закурил новую.

— Две тысячи? Для чего?

— На виноградники.

— Говорят, у вас там заваруха началась...

Дона Антонио покоробило. Он не терпел такого тона. Ведь в Медина-Сидонии прекрасно знали, что у них происходит.

— Да... поэтому-то я и приехал сюда.

— В прошлом году у нас с вами что-то не получилось.

Дон Антонио вспомнил, как при расчете этот странный господинчик, преуспевавший в несколько необычной области торговли — торговле живым товаром, потребовал сверх нормы еще две тысячи песет «детишкам на конфеты». Дон Антонио тогда наотрез отказался платить. Во-первых, он не выручил того, что собирался выручить от продажи гороха, а, во-вторых, правительство не повысило цену на пшеницу. В конце концов они договорились, но отношения у них были не такие, чтобы выручать друг друга и помогать.

— Прежде чем заключать новую сделку, я хотел бы рассчитаться по старой...

Дон Антонио достал из бумажника полторы тысячи песет.

— Хватит?

— Мало!

— Больше нет...

После недолгого размышления Манихеро взял деньги. Затем кликнул официанта:

— Бутылку вина. За счет дона Антонио!

И обратился к посетителю уже совсем другим тоном:

— Больше пятисот человек достать не смогу.

— Но позволь! Ты же меня разоришь!

— Сейчас полевые работы идут повсюду. Заказов на рабочую силу хоть отбавляй. И отказать никак нельзя. Старые клиенты...

— Может, прибавишь еще хоть немного! Расширишь, как говорится, свой рынок! Здесь ведь о тебе идет не слишком хорошая слава.

Манихеро пропустил это замечание мимо ушей.

— Батраки будут дней через шесть-семь, не раньше. Сейчас никак нельзя.

— А я хотел увезти сразу же.

— Ну, это исключено!

И Манихеро с преувеличенным вниманием принялся разглядывать проходившую мимо девушку, показывая, что разговор окончен.

— Сколько просишь?

— Шестьдесят за каждого и десять мне.

— Да что они у тебя — машины, что ли?

— Меньше чем за пятьдесят не найдешь.

— С едой, табаком и вином они обойдутся нам по восемьдесят, а то и дороже.

— Значит, не больно-то они вам нужны.

Манихеро встал. Дон Антонио жестом остановил его.

— Что ж, даже и поторговаться нельзя?

— Я занят, дон Антонио...

Дон Антонио мысленно прикинул. Пятьдесят, да десять комиссионных, да еще по десятке на прочие расходы, выходит как раз столько, сколько просят батраки в Санлукаре. Сделка не блестящая. Помещики будут недовольны, но нельзя же возвращаться с пустыми руками...

— Присядь. В ногах правды нет!

Манихеро нехотя сел.

— Ладно... только из уважения к вам.

— Хочешь за все по пятьдесят?

Манихеро еще немного поломался для виду.

— Ну, ладно! Только для вас. Пятьдесят пять и подарочек.

Дон Антонио не стал спорить:

— Хорошо! Пять тысяч задатку хватит?

— Хватит!

— Но только пусть они едут со мной.

Манихеро усмехнулся:

— Кого-нибудь найдем.

Засунув руки в карманы, он отправился на площадь перед аюнтамиенто. Погасшая сигарета прилипла к нижней губе. Поджидая его, дон Антонио развлекался как мог: допил вторую бутылку, задирал проходивших мимо женщин.

■

Манихеро окликнул парня, поджидавшего его под аркой.

— Что прикажете?

— Отыщи-ка мне сейчас же двести батраков... и триста завтра!

— Придется идти в поселок. Здесь и семидесяти не наскребешь.
— Гони их сюда!
— Сколько им предлагать?
— Шесть дуро.
— Не захотят... с этим повышением...
— Здесь никаких повышений нет!
Парень исчез в проулке. Манихеро вошел в бар.
— Пива! Быстро!
Со стаканом в руке он направился к посетителям бара. Это были могучие добродушные горцы, которые томились без работы.
— Кто хочет ехать в Санлукар?
Почти все руки взметнулись вверх.
— Едем!
— Тогда пошли!
— А сколько платят?
— Сколько нужно. Скажу потом. Будете сыты, пьяны и нос в табаке. По нынешним временам и на том спасибо!
— Да ведь у нас детишки...
— Будет и для детишек! Разве я когда вас обманывал?

■

Дон Антонио задыхался в вагоне третьего класса. Нестерпимо пахло потом и дешевым табаком. Конечно, он мог бы ехать в первом классе или в своей машине, но боялся оставлять батраков без присмотра. А то, чего доброго, смоются на какой-нибудь промежуточной станции.

Манихеро не подвел. Батраки попались молодые, сильные, хорошо снаряженные; не задавали никаких вопросов и не вступали в рассуждения.

— Все понятно? Ни с кем не разговаривать и прямо за дело. Тамошние постараются сбить вас с толку, чтобы захватить работу, но вы не поддавайтесь.
— Ладно, сеньор.
Дон Антонио повторил свои наставления несколько раз: такие вещи следует покрепче вбивать в голову.

На вокзале в Хересе сделали пересадку. Батраки следовали за доном Антонио, зажав под мышкой узелки с бельем. Одеяло каждый сам вез с собой: это не входило в обязанность хозяина. Дон Антонио поеживался в сером модном костюме: ему было неловко, что его видят в такой компании.
— На виноградники везете, да, дон Антонио?
Дон Антонио улыбнулся контролеру.
— Да, дружок, приходится возить их издалека.
— И все из-за этой стачки, да?
— Разумеется. Работали бы свои, не пришлось бы носиться по всей округе.
На платформе их поджидали надсмотрщики.
— Мне полсотни...
— Обойдешься десятком. Остальные прибудут только завтра.
Батраки выходили по порядку. Кое-кто из надсмотрщиков поднялся в вагоны, чтобы отобрать лучших. Дон Антонио оставил себе двадцать человек. Самых дюжих.
— А ну слезай, парень!
— Я хочу вместе с братом!
— Говорят тебе, слезай. Сойдешь здесь!
Паренек послушался.

■

Хуан следил за лавкой Матиаса. Прислонившись к стене, он наблюдал, как выполняется условие, поставленное Калеро. Уходя из дома, он предупредил Сальвадору:

— Смотри, мать, не набирай слишком много в лавке, потом платить-то все равно придется.

Желая хоть как-то скоротать время, он подсчитывал свои долги. Потребуется полуторамесячный заработок, а то и больше, чтобы войти в норму, и это не считая простоя во время забастовки.

Подошел Пирри. Он сменил свой бумажный пиджак на синюю рыбацкую рубаху.

— Что нового?

— Ничего.

— Я слышал, вы бастуете.

— Байки!

— Неужто я, по-твоему, доносчик?

— Да нет. Просто я не работаю, потому что у меня болят почки.

— А остальные?

— Откуда я знаю!

Пирри усмехнулся:

— Чем думаешь заняться, когда выздоровеешь?

— Работать, если найду где...

— За восемьдесят песет...

— За сколько дадут! А тебе-то какое дело?!

Пирри пригласил дружка выпить. Они зашли в лавчонку. Рюмка никогда не помешает. Подошел Негро. Он был явно не в духе. Не поздоровавшись с Пирри, взял Хуана за локоть и отвел в сторону:

— А ну пойдем!

Во дворе у Пелао собрались все главари, вожаки, которые возникают невесть откуда, как только в них появляется надобность.

— Нас обвели вокруг пальца!

— Как так?

— На всех виноградниках работают горцы!

Этого они никак не ожидали. Горцы часто нанимались батрачить на фермы, но никогда еще не работали на виноградниках. Стоит прознать об этом местным батракам, и тот, кто слаб духом, ринется в поле. Опять помещики победят.

— Ну, об этом и речи быть не может. Проучим их, как штрейкбрехеров.

— Больно их много... И все привозят и привозят...

— Надо идти к горцам. Бросим жребий среди лучших ораторов: Негро, Пелао, Пако, Антонио.

Жребий выпал на Пелао и Антонио. Забастовщики вывернули карманы. И все-таки на железнодорожный билет не хватило.

— На велосипедах покатим!

— Чего зря болтаешь! Потеряем уйму времени и устанем, как собаки!

— Придется пойти просить!

— Мы кто, рабочие или нищие?

— Разницы никакой. А разве на пропитание мы никогда не просили? Так теперь попросим, чтоб добиться работы!

За дело взялись женщины. От двери к двери, с младенцами на руках, обошли они дома всех местных богатеев, прося христа ради.

— Сеньорита, подайте за ради бога, ребеночек у меня совсем плохой стал!

— Пускай твой муж идет работать!

— Да если он пойдет, его же насмерть забьют.

— Кто это забьет?

— Да такой высокий-высокий, весь в белом. Говорят, он тут бродит по округе.

— А ты его видела?

— Вроде бы да, прошлой ночью. Только не разглядела. Перепугалась и убежала.

Многие велели отработать милостыню, другие, только чтобы отделаться, давали медяк или песету. Ночью все собрались в доме Антонио. Набилось столько народу, что кое-кому пришлось остаться во дворе, Негро пересчитал деньги.

— Двести пять песет. С лихвой хватит!

Антонио и Пелао выехали первым же поездом. Несколько парней проводили их до платформы.

Счастливого пути!

Местные власти не обратили внимания на двух путников.

— Наверно, на работу едут... А все-таки дон Антонио молодчина, здорово придумал.

Жандарм Перес усмехнулся:

— Все-таки лучше доложить. Я не раз видел этих с зачинщиками.

■ ■ ■

Негро отправился на виноградники: надо было поговорить с приезжими батраками. Между рядами лоз медленно проплывали пальмовые шляпы. Горцы не привыкли работать с опрыскивателями. Изредка на солнце сверкал край заступа. Негро перепрыгнул через борозду.

— Добрый день.

Горец не ответил.

— Ты это что же? Воруешь хлеб у моих ребятишек?

Снова молчание.

— Горская свинья! Эх и сволочи же вы!

Горец швырнул в него заступом. Негро ловко увернулся.

— Вот этого я и добивался! Посмотреть, такие ли вы люди, как все, или просто вьючные скоты. Вы в своих горах совсем одичали, ни о чем не знаете. Вас привезли сюда, потому что мы требуем повысить плату. И нам, и вам. Ведь если прибавят в Санлукаре, то повысят и у вас, в горах.

Горец ошалело уставился на Негро.

— Неужто, чтоб сказать мне это, надо было обзывать меня сволочью?

— А как же иначе? Я хотел, чтоб ты со мной заговорил. Ты же молчал, как убитый. Вкалывал, как машина, и ничего слушать не хотел.

Так Негро проговорил все утро. Надсмотрщики гнали его с ферм, а он пробирался туда с другой стороны.

— Подведешь ты нас, Негро, под монастырь! Ты же знаешь, мы обязаны доносить жандармам о тех, кто баламутит народ. Уходи подобру-поздорову. Я тебе зла не хочу.

— Зови жандармов!

— Да что ты! Давай лучше договоримся по-хорошему.

Горцы прислушивались к этим разговорам. И медленно возвращались к прерванной работе. Большинство ничего не понимало, а те, кто понимал, предпочитали отмалчиваться.

Первым бросил заступ один аререц:

— Правильно он говорит. Я вам больше не работник!

И он перескочил через межу.

Уже смеркалось, когда Негро появился на городской площади в сопровождении двух жандармов. Капрал Перес размахнулся и ударил его по лицу. Солдат Перес попытался было остановить начальника:

— На улице... неудобно получается...

— А ты помалкивай! Я эту сволочь знаю! Будет впредь наука!

Негро стойко, не дрогнув, перенес унижение. Ему было больно, но не от ударов. С высоко поднятой головой вошел он в тюрьму.

Хуан грыз от злости кулаки.

■

Начальник жандармского участка доложил сборищу помещиков:

— Задержан второй смутьян, а третьего выслеживаем.

Холодность, с какою была принята эта весть, обескуражила жандарма.

— А вам известно, что горцы покидают виноградники?

— Ничего, других привезете...

— Значит, по-вашему, они бесплатно ездят?

Капитан нервно откашлялся. Он привык отдавать приказы, браниться и критиковать действия других, но не выслушивать критику в свой адрес.

— Нам известно, что существуют агитаторы... Если вы докажете, что они выступают с политическими речами, мы сможем принять меры...

— А как это доказать?

— Найдите коммунистов... Это ваше дело.

— Ну, нет. Это как раз ваше дело, за это вам и платят.

— Не всегда это так просто, как...

— Мы-то тут при чем? Если их нет, придумайте!

Капитан подумал: «Сказать легко, а вот попробуй сделай!»

— Не стоит так раздувать. Если дойдет до Мадрида, могут потребовать, чтобы вы повысили плату. Разве знаешь, как начальство поступит.

Слишком много миллионов было поставлено на карту в этой забастовке, чтобы сидеть сложа руки.

Дон Сесар предложил:

— Задержите несколько человек, только действуйте осторожно, потихому.

Алькальд совсем разволновался:

— Никому нельзя доверять. Кто-нибудь непременно проболтается, а у рабочих кровь горячая.

Дон Антонио Васкес снова отправился в Медина-Сидонию. Остальные остались дома — сидели в казино на своих излюбленных местах, толковали о забастовке. По улицам, руки в карманы, нахлобучив шляпы на самые глаза, разгуливали батраки. Два лагеря ожидали сигнала к началу исторической битвы.

■

Дон Антонио позвонил из Аркоса:

— Я обегал всю округу, никто ехать не соглашается. Вероятно, тут побывали агитаторы. Напели горцам, что ими торгуют, как рабами.

■

Прошла неделя. Владельцы лавочек, прикинув в уме свои доходы, призадумались. Теперь они давали лишь то, что сами хотели, а не то, что требовал покупатель.

— Пойми, ведь без денег я не могу закупать товары... Магазин почти совсем опустел... Оптовики и слышать ничего не желают... Мне уже два раза отказывали.

Антонио и его товарищи знали, что все это бессовестная ложь. Они сами видели, как утром у магазина Маноло разгрузили два грузовика, один грузовик у дома Матиаса, и сбросили несколько бочек у лавки Верзилы. Видели они также, как хозяева магазинов и лавчонок отправились в аюнтамиенто, куда их пригласил алькальд. Просидели они там больше двух часов. Маноло и Хуанело дожидались на площади, когда те выйдут. Лица у торговцев были довольно кислые.

На улице, подымавшейся вверх ступенями, они окружили Верзилу.

— О чем речь шла?

— Это вас не касается!

— Ты нам друг или нет?

Верзила взбежал по ступенькам, преследуемый двумя парнями. В городском саду, под сенью деревьев, выпроставших свои ветви за ограду, он, как умел, пересказал то, о чем совещались в аюнтамиенто... Словом, торговцам пришлось немного уступить... От них требовали не отпускать забастовщикам никаких товаров, в противном случае алькальд грозил закрыть все магазины и лавки. Кое-кто уже готов был пойти на эту меру, но они с Маноло запротестовали. Договорились, что будут давать только один рацион...

— А как же тем, у кого много детей, им ведь надо больше?

— Не знаю, уж больно плохо идут дела.

Перескакивая через две ступеньки, Верзила помчался вверх по лестнице. И рысцой припустил по улице Монте-де-Пьедад к площади Альта, где наверняка толпился народ. Это был кружной путь, но Верзила не на шутку струхнул. Он старался поскорее улизнуть от опасности и очутиться дома.

Маноло и Хуанело не стали его преследовать.

— Пошли за ребятами.

В приходах перестали раздавать американское молоко и сыр. Небольшое объявление, какие обычно вывешивали в галерее, предупреждало, что продукты будут выдаваться только по предъявлении доказательств в том, что глава семьи работает. Все было понятно. Священники-виноградари тоже терпели убытки.

Диспансеры, благотворительные организации, дома, где регулярно оказывали «христианское милосердие», разом закрыли свои двери. Одни — потому что страдали их интересы, другие — потому что давать милостыню в такие времена было явно дурным тоном.

Безработные целыми семьями уходили на побережье. Мужчины залезали по горло в воду, выворачивали камни самодельными граблями, стараясь не поскользнуться. Неверный шаг — и готово. Глубина здесь доходила до двух, трех и даже восьми метров. А крестьянин плавать не умеет. Женщины и ребятишки толпами бродили по берегу, собирая ракушки, которые выплевывало море. Горы устриц чернели на песке.

Водрузив на голову плетеную корзину, мужчины входили в воду, чудом сохраняя равновесие на каменной гряде, покрытой острыми ракушками. На берегу их поджидал скупщик. Настало и для него золотое времечко. Цены сразу резко упали. Прекрасный случай погреть руки. У женщин саднило покрытые трещинами и цыпками руки. Дети с перебинтованными ногами страдали не столько от боли, сколько от голода. По вечерам крестьяне варили похлебку, где плавало несколько картофелин и мелких никудышных рыбешек. Пустая вода, две-три помидорины, краюшка хлеба — вот и вся еда на целую семью. Детишки клянчили кусочек хлеба. Мужчины — а здесь считается мужчиной всякий старше четырнадцати лет,— ругаясь, обвиняли малышей в обжорстве. Женщины роптали.

— Уж вы победите! Как бы не так! Только обещаете. Единственно, чего добьетесь,— жандармской пули в спину!

— Пока-то еще ничего не случилось.
— А вам мало, что Негро и Калеро сидят в тюрьме?
— Ничего, поживут на государственный счет.
— Хороша жизнь! Палки да баланда — похуже, чем на воле.
— А ты почем знаешь?
— Все знают!
— Можно подумать, будто ты всю жизнь в тюрьме проторчала!
— Никогда не была и быть не собираюсь. Сраму не оберешься!
— Это смотря по тому, за что посадят. Наши ребята — герои!
— Велика радость, что их привечает народ! Пройдет время и скажут: такой-то сидел в тюрьме. Не больно-то много чести.
— Помалкивай! Много ты понимаешь!
— Понимаю одно: лучше на панель пойти, чем быть женой рабочего.
— Хоть детей-то побойся!
— Если дальше так пойдет, сам увидишь! Ребята не виноваты, и не желаю я, чтобы они перемерли с голоду!
— А мы что, не кормим их?
— Нечего сказать, кормите!

■

Господа слушали последние известия. Эта привычка осталась у них еще с войны. А потом вошло в моду быть в курсе событий, происходящих в мире. В свое время они весьма смутно представляли себе, где находится Корея и почему началась там война. Разумеется, во всех случаях они желали победы американцам, ибо Америка была гарантией их существования, их мира.

В конце передачи давали сводку погоды. В клубе разом смолкли все разговоры. Нотариус прибавил громкость: «Фронт ураганного ветра с Азорских островов перемещается к Испании. Он пройдет над Атлантическим побережьем, в первую очередь над зоной Гибралтарского пролива».

Красовавшийся на стене барометр сделался предметом всеобщего внимания. Он резко упал. Близился мирдео.

Дон Антонио вышел из зала. Дон Гаспар с трудом оторвал свое грузное тело от кресла. Они были обеспокоены.

■

Чирло посмотрел на небо. Погода менялась. Батраки знали это без всяких барометров и радио.

■

Дон Леон Альварес мерял комнату крупными шагами. Глупость какая. Сразу видно, власти ни на что не годны. Обращаться к губернатору и даже к самому Франко бесполезно. Прогнивший режим, отдающий страну во власть сброду, режим, открыто предающий тех, кто помогал ему выиграть войну.

— Твердая рука! Вот что нам нужно! Они, видите ли, не лезут в драку? Так ударим первыми мы! Слишком много жизней мы отдали, защищая то, что принадлежало нам по праву. А теперь не решаемся нанести два-три удара!

— Пора поставить точку над «i»! С нами, старыми чернорубашечниками, лучшими из лучших, поступают как с последними!

— Я сражался в рядах Мора,— вспоминал дон Гаспар,— я из тех, кто освобождал Андалузию, а теперь меня же собираются разорить! Я же проливал за них кровь!

— И я тоже! Был начальником фаланги, на протяжении многих лет отвечал за оборону тыла. В награду получил руководящий пост в синдикате и кассе взаимопомощи, да разве на это проживешь?

Пелаес зевал. Прошлое его не интересовало. Он вспоминал войну, как кошмар. Практичный человек, он предпочел взяться за дело, о каком его отец, добропорядочный погонщик, не смел и мечтать.

— Да бросьте вы! Все мы прекрасно знаем, что половина из нас нюхала порох на расстрелах, а не на полях сражений. Наша война кончилась у кладбищенской стены. Не отрицаю, чистка — дело нужное, но, по правде говоря, не слишком привлекательное.

— Это называется рубить сук, на котором сидишь!

Выходка Пелаеса позабавила дона Антонио, зато дон Мариано почувствовал, что его задели лично.

— Я сообщу о тебе!

— Мы не в тридцать девятом!

— Посмотрим!

— Посмотрим лучше, как разрешится вопрос с виноградниками, а это важнее всего. Разве нет?

— Я считаю: нужна сильная рука! И только!

Дон Леон, прозванный рабочими Черный Кнут, славился своим упрямством.

— Нам не справиться, можем сорваться... да они и посильнее нас физически.

— Можно нанять убийц.

— Ну, нет, дружок. Очевидно, придется повысить поденную плату... Наемные убийцы, между нами говоря, стоят очень дорого.

Пелаес сам испугался своих слов. Он зашел слишком далеко. Но было уже поздно. Слова «повысить плату» были произнесены. Два страшных слова. Воцарилась тишина. Мысленно подбивались итоги. Пелаес бессознательно принял вызывающую позу. Страх засел глубоко и с каждой минутой все усиливался. Ведь он был сыном «красного».

— Я лично на это пойти не могу.

— Я тоже...

— Ясно одно: ни гражданская гвардия, ни алькальд нам не помогут. О нашем дружке Мариано из профсоюза и говорить нечего! Урожай кое-что даст. Так что можно платить и по восемьдесят и даже по двести! Другое дело, что нам просто не хочется. Правильно?!

Дон Сесар понял, что Пелаес может их подвести.

— Уж не ты ли сдашься первым?..

— Завтра на моем винограднике будут работать за ту цену, которую они просят.

Дон Мариано не спеша выбил трубку.

— Вот что происходит, когда сын погонщика затесывается в порядочное общество!

— Да, я сын погонщика и горжусь этим! И не делаю вида, как вы, что давным-давно забыл, чем пахнет в лавке и как мелют перец.

Дон Леон стоял рядом с Аурелио. Ему вдруг захотелось ударить этого плебея. Пелаес не ожидал нападения. Он упал на пол. Пинок, еще пинок. Его вызволил из беды дон Антонио:

— Если уж вам так хочется, деритесь на улице. Только не в моем доме!

Пелаес с трудом поднялся на ноги.

— Всего хорошего, сеньоры.

Дон Гаспар остановил его:

— Я знаю, ты просто так сказал. Ты, конечно, не повысишь плату.

— Захочу и сделаю. На своей земле я хозяин.

— Живым ты отсюда не выйдешь!

Пелаес легко отстранил малосильного дона Гаспара.

■

— Подумаешь, одним меньше.

— Двумя.

Росио, единственная в округе помещица, владелица виноградников, тоже ушла с совещания.

— Неважно. Даже вдвоем они заберут от силы человек двести.

Помещики принялись обсуждать насущные дела: как подкараулить отщепенцев на улице и намылить им шею, как ускорить механизацию опрыскивания виноградников, какие предполагаются потери урожая, как помешать локауту.

Дон Сесар Бланко и дон Антонио Васкес решили немедленно отправиться в Мадрид.

— Лучше всего переговорить лично... такие дела через третьих лиц не решаются... Дадим ясное представление о нашем положении, убедим оказать нам содействие.

Из Севильи они вылетели последним самолетом.

Антонио и Пелао вернулись с гор последним поездом.

■ ■ ■

Перико влетел к Хуану. Вскочив на матрас, подлез к столу, за которым взрослые вели спор, и крикнул:

— Мой брат завтра работает!

Значит, Антонио их предал. Хуан поднял мальчишку за грудки, чуть не оторвав лацканы курточки.

— Врешь, мерзавец!

Перико с трудом высвободился из его рук.

— Ей-богу, не вру! Приходил надсмотрщик дона Аурелио Пелаеса, и они договорились.

— За сколько?

— Не знаю.

Мальчишка пулей вылетел из дома, не пускаясь в дальнейшие объяснения. Пасынок и отчим поняли, что стряслась беда. В глазах Пако Антонио предал своих. Раз Антонио сдался, наверно получил большую подачку. Значит, забыл про Негро, который вот уже три дня, как сидит в тюрьме, и про Калеро, и про всех остальных, которые рисковали вместе с ним и за него. Кто просил его, Пако, соваться? Мало ему досталось за последние годы? Видать, ни война, ни расстрелы, ни доносы ничему его не научили.

Зато Хуану нечего было вспоминать. Он просто доверился Антонио — и все. У него и в мыслях не было, что Антонио может их подвести. Он готов был выслушать любой резон, любое объяснение, лишь бы не свергать Антонио с пьедестала, на который он сам же его вознес. И тем не менее слово «предатель» не выходило у него из головы... Или, может, забастовки всегда такие? Тогда они бессмысленны. К чему было терпеть побои, ездить к горцам, угрожать, уговаривать?

Пако нахлобучил на голову старую фетровую шляпу.

— Пошли!

Пасынок поплелся за отчимом, не спросив, куда и зачем. Пако шагал размашисто, понося на все корки подлого штрейкбрехера.

За полчаса они добрались до хибары Антонио. Прошли мимо арены для боя быков, даже не взглянув в ту сторону. Перемахнули через стену заброшенной школы, чтобы сократить путь.

В глинобитной хижине под соломенной крышей было темно. Так оно и полагалось. В рабочих поселках спать укладываются задолго до полуночи. Только господа могут позволить себе роскошь шататься по барам

в такой поздний час. Пако забарабанил в дверь. Минут пять колотил по доскам, чуть не разнес их в щепы.

Заспанный голос Антонио беззлобно откликнулся:

— Иду!

Он показался в дверном проеме в белых трусах с карбидной лампой в руке. Глаза у него были заспанные.

— А-а! Проходите!

Широким жестом человека, для которого гостеприимство — закон, пригласил их войти в дом. Пако и Хуан молча переступили порог.

— Только потише говорите, все уже спят,— предупредил Антонио.

На кровати и на двух матрасах, положенных на пустые ящики, спала семья Антонио. Жена, сын, парализованный дядя и два брата.

Пако уважительно относился к детишкам и женщинам, поэтому голоса он не повысил:

— Сучий ты предатель!

Антонио с удивлением воззрился на него.

— Не притворяйся! Нам известно, что ты завтра работаешь у Пелаеса.

— Он платит сполна.

— Врешь! Просто испугался потерять работу. Стоило хозяину покапючить или пригрозить, что выгонит тебя, и ты сразу нас предал!

Антонио окончательно проснулся:

— Клянусь, я не вру! Матиас, надсмотрщик, специально за мной приходил! Принес письмо от самого дона Аурелио. Он обещает платить восемьдесят песет. Как раз то, что мы требуем.

— А остальные пускай катятся к чертовой матери, так, что ли?

— Другие хозяева тоже возьмут пример с нашего. Вот увидишь!

— А мы пока что подыхай с голоду!

Антонио не знал, как быть. С одной стороны, надо идти работать. Хороший урок хозяевам. С другой стороны, товарищи могут счесть его штрейкбрехером, предателем, и тогда прощай забастовка.

— Надсмотрщик нанял всех, кто работал у Пелаеса последние годы.

— А нас, значит, наймут надсмотрщики дона Леона да дона Хосе? Как бы не так! Ни сейчас, ни потом, уж больно мы намозолили им глаза!

— Не предал я вас, клянусь!..

Пако окончательно поверил. Антонио никогда не врал. И потом — штрейкбрехеры вечно трусят и юлят.

— Ладно, завтра посмотрим! Пошли!

Пако и Хуан отправились в обратный путь. Снова перескочили через изгородь, благополучно избежав встречи со злым псом, и обошли стороной арену.

■

На глазах у всех вышли на работу батраки Пелаеса. Тридцать парней с заступами на плече зашагали в сторону виноградников. Антонио пытался объяснить оставшимся свой поступок.

— Если откажемся, в дураках будем. Да и слово держать надо.

Но безработные не желали ничего слушать. Для них ясно было одно: Антонио и его артель получат вечером расчет, а они, проявившие стойкость, останутся ни с чем.

— Поверьте, мы не можем отказаться. Наш хозяин — человек стоящий, да и платить согласен. Я лучше вашего понимаю, вышла неувязка, бросать товарищей на полпути не дело. Но я так считаю: пока все не уладится, деньги будем делить на всех.

Но получившие работу были не согласны:

— Значит, нам за всех отдуваться своими боками, так, что ли?

— Вы же знаете, мы добились прибавки только потому, что действовали сообща! Остальные тоже имеют право на то, что мы заработаем! Им тоже приходилось затягивать пояс, не хуже нас!

— Ладно. Отдадим вам шесть дуро разницы.

— Антонио прав. Если бы не мы, ничего бы вы не добились.

— У меня дома пятеро ребятишек, отец, мать да мы с женой. И на всех два хлеба да три помидорины. Зато сегодня этому конец! Хоть сегодня наедимся до отвала!

Хуан подошел к Антонио:

— Если вы нас продадите, помни, мы с вами рассчитаемся...

Время шло. Батраки, получившие работу, потянулись по дороге на виноградники. Антонио поотстал от них:

— Потерпите еще немножко. Они уже сдаются...

Его позвали товарищи.

— До вечера. Меньше чем за восемьдесят ни за что не соглашайтесь.

Жандармский патруль пересек площадь. Два жандарма в портупеях, на плече автоматы. Никто не тронулся с места.

Старик Чунга, сидя на стуле, поставленном в дверях лавки Верзилы, снова завел свои вечные разговоры:

— А, что я вам говорил? Хитрым всегда везет. И вся недолга. В мое время, когда бастовали по-настоящему, лучший кусок всегда урывали одни и те же. А другим ни шиша! Разве господ одолеешь?

Все чувствовали, что старик прав. Площадь разделилась на два лагеря: за Чунгу и против него. Пелао, Пако и Хуан остались одни в центре. Поползли слухи, что надо соглашаться на любую цену.

— Насолим Антонио! Узнает тогда, как предавать своих.

— Думаешь, он взаправду нас предал?

— Тоже, видать, попался на крючок...

— Но он же работяга, каких мало.

Хуан подошел к группе батраков.

— Ну что, революционер, погибнем в бою?

Хуан пожал плечами:

— Сами видите. Даже не возражаем.

Пако позвал пасынка:

— Пошли!

Как и всегда, Пако выбрал отступление. Но Пелао не унимался:

— Антонио оставил нас тут не зря. Надо не пускать их. Если за ними не присмотришь, побегут все, как бараны, и ждать не станут, когда позовут.

— Они нас не боятся!

— Ну, это как сказать!

■

Дон Леон остановил автомобиль напротив дома надсмотрщика. Обычно он сюда не поднимался. Уж больно плохая дорога. Только машину зря калечить. Но сегодня случай был особый.

— Пакорро!

Надсмотрщик поджидал хозяина с шапкой в руках.

— Что прикажете, сеньор?

— Ступай на площадь и приведи работников.

— Сеньор согласен платить?

— Конечно нет, дурак! Согласился только этот кретин дон Аурелио.

— Вы же знаете, они отказываются.

— Не твоя забота. Делай, что тебе приказывают.

Пакорро отнюдь не улыбалось встречаться с батраками. Хозяйских

посланцев они принимали неласково. Считали их холуями и штрейкбрехерами. С тех пор как началась заваруха, Пакорро безвыходно сидел у себя на ферме. До него доходили слухи, что батраки бунтуют, что кого-то даже крепко побили... Но служба есть служба. Он судорожно проглотил слюну:

— Слушаюсь, сеньор.

— Лезь в машину!

Пакорро нахлобучил шапку и покорно выполнил приказ. Дон Леон рывком взял с места. Он был явно не в духе. Машина остановилась у обочины тротуара посередине улицы Сан-Николас.

— Скажешь им, что платим по шестидесяти... Если только заартачатся, можешь прибавить дуро. Но только если заартачатся. Внуши им, что Антонио и прочие согласились на условия хозяина. Что ничего не изменилось, что будем платить по-старому. Разъясни, что все это бунтарские бредни, преследующие политические цели. И прямиком веди их на виноградники! Помни, я за тобой слежу! Так что не оплошай!

Пакорро всего трясло, пока он шел по улице к Пуэрта-де-Херес.

■

Росио остановила машину на шоссе. Нечего и думать добраться по такой трясине до Аталайи. Ливень поработал на славу. Надсмотрщик заметил хозяйку еще издали. В другое время он непременно бросился бы ей навстречу, но при теперешнем положении вещей особенно стараться не к чему.

— Что ей тут надо? — пробормотал надсмотрщик.

Жена его, Петра, сидя на лавке, чистила горох.

— А тебе какое дело? — возмутилась она.— Она прикажет, а ты исполняй, и вся недолга.

— Ты же знаешь, не могу я сейчас идти на виноградники.

— Она тоже это знает.

— Боится, что вредители погубят весь урожай. Видно, готова сама идти опрыскивать.

— А тебе какое дело?

— Если она отправится на виноградники, я тоже должен буду идти или прощай харчи!

— Так иди!

— А тогда я не смогу показаться в городе. Дружки Антонио больно сильно дерутся.

— Ну, так не будешь ходить в город. Подумаешь! Зачем тебе туда шляться? Только деньги тратить да вино глушить. Посидишь дома!

Надсмотрщик сокрушенно покачал головой. Нет, не принесет ему добра посещение хозяйки. А Росио уже подходила к дому.

— Иди! Поздоровайся с ней!

Надсмотрщик повернулся спиной к окну, сделав вид, будто занят работой. Впопыхах он схватил уже готовую ивовую корзинку и иглу для плетения. Первое, что оказалось под рукой.

— Сеньорита! А я вас и не приметил!

— Ты увидел меня, как только я остановила машину.

— Да что вы, клянусь...

— Положи работу и ступай за мной!

Надсмотрщик побледнел.

— Куда?

— В Пуэрта-де-Херес.

— Но...

— Когда хозяйка приказывает, ты обязан слушаться!

— Хорошо... только переоденусь.

— Некогда. Иди в чем есть.

Надсмотрщик бросил пальмовую шляпу на стол и схватил воскресную из хорошего фетра в тон заштопанному пиджаку и бумажным брюкам. И побрел следом за хозяйкой к машине.

— Мог бы выйти раньше. Не пришлось бы мне лезть в гору.

Надсмотрщик тупо улыбнулся.

■

Хуан отбивался как умел.

— Мы уже выиграли! Вот увидите, еще немного, и они уступят.

— Кто, дон Леон и дон Сесар, что ли?

— Скажи, как это ты их заставишь?

Надсмотрщик дона Леона пришел как раз вовремя, но этого он не знал. Он подошел к Чунге. Старик пользовался славой примиренца.

— Добрый день, дедушка.

— День добрый...

— Я хотел вас кое о чем спросить.

— Спрашивай.

— Меня послал дон Леон.

— Что, решил платить?

— В том-то и дело, что нет... но он хочет, чтобы я привел ему двести человек...

— Здесь таких нету.

— Да мне любых, какие найдутся.

— Трудно тебе будет. Люди волнуются.

Пакорро выразительно махнул рукой. Он сам это знал. Его уже приметили.

— Пакорро явился!

— Дон Леон ни за что на свете плату не повысит.

— А ну, пойдем узнаем, что он скажет.

Пакорро окружили со всех сторон. Желая оборонить свой тыл, он прижался спиной к стене.

— А ну, выкладывай, с чем пришел!

— Какая там кишка лопнула у твоего хозяина?

Только Пелао и Пако поняли всю опасность его появления. Пакорро трусит, значит ни о каких восьмидесяти песетах не может быть и речи. Но так просто он не пришел бы. Какая-то надбавка будет. Растолкав батраков, они встали в первом ряду.

— Давай выкладывай скорей, нам некогда!

— Хозяин сказал, что заплатит по шестьдесят пять.

Он прибавил целый дуро сверх того, что велел хозяин, но, право же, шкура его стоит этих денег.

— Правда?

У Лечусо даже глаза блеснули. Шестьдесят пять монет! Таких денег он в жизни не получал!

Хуан оборвал его:

— Меньше чем за восемьдесят не согласны! Понял?

— Постой, может...

— То, что он идет на уступки, уже показывает...

Батраки, объединившиеся было при виде Пакорро, снова разбились на два лагеря. Надсмотрщик почувствовал себя уверенней.

— Ну что, согласны?

Лечусо выступил вперед:

— Можешь на меня рассчитывать! Уже больше полгода, как у меня в брюхе, кроме воды да забастовки, ничего не было!

За ним потянулись Хуанильо, Перико, Кривой, Муло...

— Знаете, как это называется? Предать Калеро и Негро!

Но никто не слушал Пелао. Раз попали в тюрьму, значит, сами того

захотели. А тут еще Антонио, которого сманил Пелаес. Толпа батраков рядом с Пакорро все увеличивалась.

Многие побежали домой за инструментом.

■

Росио катила по улице Сан-Николас.

— Карамба! Зачем это дон Леон Альварес здесь спрятался? Кого поджидает?

Все в городке знали зеленый лимузин с железными вензелями на дверцах. Хотя дон Леон не был скотоводом, часть вензеля он использовал как клеймо для овец, а часть — как фамильный герб.

Надсмотрщик только плечами пожал. Уж Росио-то прекрасно знала, чего дожидается дон Леон.

Машина остановилась на площади. Спор между двумя группами батраков разгорелся с новой силой. О чем они спорят, определить было трудно, особенно по виду Пакорро, который беспокойно ерзал у стены.

— Сколько нам надо?

— Человек пятнадцать—двадцать.

— Подожди меня здесь.

Надсмотрщик даже похолодел. Неужто она, эта женщина, сама пойдет на площадь? Зная, чем все это может кончиться?

— Сеньорита, будьте осторожны!

— Не беспокойся. Справлюсь получше тебя!

Остановившись в нескольких метрах от батраков, уперев руки в бока, помещица крикнула:

— Мне нужно двадцать человек, и немедленно!

Голос у нее был высокий, зычный. Все смолкли.

Пелао вышел вперед, оставив Пакорро в одиночестве.

— Меньше чем за восемьдесят никто не пойдет!

Пакорро попытался было возразить, но Хуан и Пако быстро его утихомирили.

— А ну, посмей только пикнуть!

Поведение вожаков менялось. Они готовы были повести людей в атаку, но вот как уладить все по-мирному, не знали. Враг ускользал из рук, оборачиваясь другом.

— А вы платить будете?

— Конечно, зачем же я сюда пришла?

Пелао понял: от этого предложения будет зависеть судьба всей забастовки.

Батраки отхлынули от Пакорро. Терпение и труд все перетрут. Антонио и его друзья правы.

— В первую очередь мне нужны трое: Пако, Хуан и... ты.

Трое батраков опустили голову. Без них с остальными расправятся в два счета.

— Нет, ни Хуан, ни... я...

— Если не пойдете, не стану платить никому.

— Про то мы и толкуем. Обо всем было договорено заранее.

Но выпад Лечусо не имел успеха. Его сосед одним ударом закрыл ему рот.

— Ну, давайте решайте, я тороплюсь!

Пистолеро выступил вперед. Паренек лет шестнадцати. Маленький, тощий от постоянного недоедания.

— Идите спокойно, мы останемся здесь!

Один за другим батраки предлагали кандидатуры на смену уходящим вожакам.

— Не беспокойтесь! Мы вас не подведем!

— Ваше место пусто не будет!

Муло, который поддался было на уговоры Пакорро, скорее от отчаяния, чем от желания порвать с забастовщиками, обернувшись к товарищам, крикнул:

— Кто посмеет пойти на работу, хребет перешибу!

■

Пакорро остался совсем один. Он все жался к стене. Даже старик Чунга, сторонник тишины и порядка, и тот его оставил. Пакорро стоял, не шелохнувшись, боясь привлечь к себе внимание Батраки, нанятые в Санто-Доминго к Росио, ушли. Оставшиеся сели дожидаться возвращения товарищей или, может, третьего пришествия.

Среди батраков разговор шел о Росио.

— Приехала одна. Не побоялась!

— Значит, пришла с добром.

— Я всегда говорил, у нее лучше работать. В Санто-Доминго не так выжимают соки, как в других местах.

— А эта сволочь Альварес послал за нами своего надсмотрщика. Разве это человек?

— Только поглядите на него. Стоит ни жив ни мертв. Дохнуть не смеет.

— Эй, ты, сволочуга! Собрался торчать тут целый день, что ли?

— А ну, катись отсюда!

Пакорро со всех ног бросился туда, где ждал его хозяин. Он даже не заметил, что на углу его поджидал Чирло, широко расставив руки.

— Куда торопишься?

Пакорро бросился в обратную сторону, но ему преградил путь Муло.

— А-а! Не пускаете? Дон Леон ждет меня тут, поблизости.

Чирло расхохотался.

— Ждал, да не дождался. Смылся, как заяц.

Пакорро постарался взять себя в руки:

— Ладно, ребята! Хватит шутить!

Муло двинул Пакорро, да так, что тот покатился по земле. Надсмотрщик захныкал:

— Отпустите меня. Ради моих детишек!

— Вот тебе за наших!

— Говорили тебе: платить надо, сколько требуем!

— Меня хозяин послал. Я не хотел идти.

Муло ударил его снова. У Пакорро только в ушах засвистело.

— Запомни хорошенько: мы посильнее твоего хозяина. А на будущее, если придешь, заранее заказывай себе гроб.

Муло собрался еще раз ударить надсмотрщика, но Чирло удержал его:

— Хватит! А ты лети и доложись своему хозяину!

Пакорро не заставил себя просить дважды. Во весь дух бросился по улице Белен. За пять минут домчался до подъезда дома Альвареса. Бедному надсмотрщику показалось, что с той секунды, как он позвонил, и до того, как ему открыли, прошла целая вечность. Задыхаясь, он попросил скорее проводить его к хозяину.

■

Виноградники заросли сорняком. Антонио с четырьмя батраками, которые принесли с собой заступы, принялся за прополку. Остальные натянули на плечи лямки от баллонов с жидкостью для опрыскивания.

— Ребята, надо поднажать. Пускай знают, что мы на хороших людей зла не держим.

Молча, останавливаясь, только чтобы отереть со лба пот, трудились они до тех пор, пока сам надсмотрщик не крикнул:

— Закуривай!

Все присели там, где застал их перекур. Каждая минута была на счету.

Сириако достал пачку табаку:

— Бумага у кого есть?

Порылись в карманах. Хуанело нашарил четыре кусочка папиросной бумаги.

— Больше нету.

— Давай сюда!

Сириако осторожно, чтобы не порвать, скрутил четыре сигареты.

— Нате, по одной на пятерых...

■

В обеденный перерыв открыли корзинки. Хлеб, соль, помидоры. Надсмотрщик кликнул жену:

— Принеси им бутылку масла.

— Да ты совсем с ума спятил!

— Делай, что говорят... так велел хозяин.

Жена надсмотрщика вошла в дом. На кухонном столе стояли две бутылки: одна полупустая на каждый день и другая — полная, на праздники, когда приезжал хозяин. Женщина взяла непочатую.

Батраки густо полили хлеб оливковым маслом. После обеда работали еще усердней: не мучил голод.

— Пускай не говорят, что мы лодыря гоняем!

Антонио с удовлетворением крестьянина оглядывал обработанный участок. В пять часов приехал дон Аурелио. При расчете каждый получил по конверту. Первая получка, добытая в результате забастовки.

— Большое спасибо, дон Аурелио.

Но рабочий день еще не кончился.

— Вы хорошие виноградари. Лучше меня знаете, что такое лоза. Не опрыскай ее вовремя, и все пропало. А без урожая ни вам, ни мне прока нет. У вас не будет работы, у меня денег. Вчера я постоял за вас. Не подведите и вы меня!

Антонио ответил за всех:

— Работать сверхурочно мы не можем. На площади полно людей, которые ждут не дождутся работы. И отнимать ее у них мы не станем. Спасибо вам за вашу доброту.

Сириако был не согласен с Антонио. Лишние четыре-пять дуро никогда не помешают, даже если их потратить на дружков.

— Оттого, что мы останемся на час-другой, ни у кого не убудет. За час много не наработаешь, но все же что-то сделаем.

Антонио снова обратился к дону Аурелио:

— Об одном вас прошу: не заставляйте нас работать сверхурочно сегодня! Завтра, даю слово, поработаем вдвойне.

Пелаес отпустил батраков.

■

Хуан готовил жидкость для опрыскиванья. В Санто-Доминго работа тоже кипела. Надсмотрщик ушел — забастовка еще больше отдалила его от рабочих. Ему нечего было им сказать. Да он и не собирался с ними говорить. Еще вызовешь бурю. На винограднике осталась сама Росио. Присев у калитки, она издали наблюдала за батраками. Хотя приказов хозяйка не давала, все чувствовали ее присутствие.

Во время перекура Росио достала сигареты:

— Наверно, у вас и табака-то нет...

Вечером работники ожидали, что их попросят остаться сверхурочно.
— Ну, до завтра. Жду вас в восемь.
Они ушли, пересчитывая по дороге заработанные деньги.

■

Алькальд дон Луис задержался в аюнтамиенто. Служителей он отправил домой и собственноручно запер за ними дверь. Один только полуглухой привратник бродил по широкому коридору, недоумевая, почему и его тоже не отпускают.

Дон Леон влетел в кабинет алькальда, не дожидаясь, пока эта старая развалина привратник доложит об его приходе.

— Началось! Они избили Пакорро!

Дон Луис позвонил судье, оторвав его от чтения интересной книги.

— Что случилось?

— Избит Пакорро!

Кто такой Пакорро, судья не знал.

— Надсмотрщик Альвареса.

— А кто избил?

Дон Луис раздраженно ответил:

— Как кто? Ясно: забастовщики!

Судья опустил глаза: «Все средства хороши, лишь бы быть барином». Бог всегда вкладывал ему в уста подходящее к моменту изречение.

— Тебе известны их имена?

— Нет.

— Ну тогда как же?

— Это же случилось на площади. Можно привлечь всех, кто там был.

— Ладно. Пусть Альварес приходит ко мне с пострадавшим.

Дон Леон отправился с Пакорро в суд. Было поздно, рабочий день кончился, и судья принял их у себя дома, в гостиной. Он велел секретарю принести сюда пишущую машинку.

— Когда такое срочное дело, времени жалеть не приходится.

Пакорро рассказал, что с ним случилось.

— Стало быть, ты знаешь, кто тебя побил?

— Да, сеньор судья, Муло и Чирло!

Судья не ожидал такой точности. Он сделал знак секретарю.

— Скажи их имена. Как их зовут?

— Я уже сказал.

— Какие имена они получили при крещении? Клички не годятся.

— Можете спросить кого угодно... все знают их по кличкам...

— Не станем же мы из-за тебя расспрашивать полгорода!

Пакорро сгреб шапку.

— Постой! Подожди! Подпиши-ка это...

— Но ведь...

— Подожди, тебе говорят!

Пакорро застыл посреди зала с шапкой в руках. Сеньоры говорили между собой, словно его здесь и не было.

«...поступило заявление на неизвестных злоумышленников. Толпа набросилась на надсмотрщика... он не успел никого разглядеть. Одно только знает: его избили до полусмерти, и он едва дополз до дома сеньора Альвареса, который и выступит в качестве свидетеля...»

Секретарь продолжал отстукивать на машинке. С такой бумагой можно задержать кого угодно. Попадутся горячие головы. Такая мысль пришлась по душе всем, кроме надсмотрщика. Не пообещай ему хозяин тысячи дуро, никогда бы он не согласился на такое. Ему-то хотелось наказать только этих двух бандюг, а не всех подряд! И все за тысячу дуро,

за пять бумажек, которые ничего не стоят, да еще путь в город ему теперь заказан. От людей ничего не утаишь.

Секретарь вынул лист бумаги из машинки, протянул судье, и тот, прочитав вполголоса, передал алькальду.

— Очень хорошо!

Пакорро вручили перо.

— Подпиши!

— Но... но ведь вы сами говорили, что прежде, чем подписывать, надо прочесть?

— Подписывай, тебе говорят! Кому надо, разберутся.

И Пакорро подписал. Только на улице он понял, как могут жечь карман пять бумажек. Никто на него не смотрит, никто ничего не знает. И все же, когда свояк Карлос предложил ему выпить по рюмочке, Пакорро охватил стыд:

— Никак не могу, спешу домой. После того, что приключилось сегодня, одному богу известно, что с моей Кларой.

— Всего одну рюмочку!

— Нет, нет, и не упрашивай!

— Ты боишься из-за того, что было на площади? Да? Пустяки, ты же исполнял приказ хозяина, а мы сделали, что следовало.

— Ты тоже там был?

— Да... только стоял в стороне. Не желаю, чтобы меня считали штрейкбрехером.

— Почему же ты не вступился за меня?

Пакорро искал виновных, на кого бы можно было переложить свою вину. Чтобы иметь возможность сказать: «Да, донес, донес, потому что меня истязали, потому что меня бросили даже родные». Для него это было очень важно.

— Это не мое дело.

— Но я же твой родич...

— Ты вроде бы не батрак.

— Работаю поденно, так же, как все вы.

— Так, да не так.

— Если бы они не избили меня...

— Что тогда?

— Тогда ничего бы не случилось.

Карлос улыбнулся:

— А что случилось-то? Война, что ли?

— Нет, но вас всех в тюрьму отправят!

— Никто ни о чем не знает.

— Жандармы все видели.

— Не дури! Нынче утром не было ни одной треуголки. Если только ты там не проболтался...

Пакорро судорожно проглотил слюну. Ему стало страшно.

— Я?! Клянусь своими ребятишками! Думаешь, я не знаю, как вы за это рассчитаетесь?!

Карлос похлопал его по плечу.

— Ничего, дружище. Мы понимаем, ты на такое не способен.

И он поднес Пакорро стаканчик. Пакорро медленно цедил вино. Платить следовало бы ему, а у него были только эти хрустящие зеленые бумажки. В конце месяца ни у одного работяги днем с огнем такой суммы не сыщешь. Пакорро ломал себе голову, как бы сделать так, чтобы не вызвать у Карлоса подозрения.

— Запиши за мной!

Мальчик, прислуживавший в лавке, послушно выполнил приказ, хоть удивился, что у их постоянного клиента вдруг не нашлось чем заплатить за стаканчик вина.

Карлос опустил руку на плечо свояка:

— Пошли к Верзиле! Помирись с ребятами.

Пакорро отказался.

— Чего упрямишься! Я все равно поведу тебя, хоть силком! Куй железо, пока горячо!

■

Муло стоял, навалившись на стойку.

— Вот привел вам раскаявшегося!

Пакорро старался улизнуть. Но Чирло удержал его:

— Ты не бойся... Утром мы тебе не по злобе всыпали. Хотели только проучить. Но мы на тебя зла не держим!

И он протянул ему руку. Пакорро вяло пожал ее. Его пригласили выпить. Он пил, стараясь не сказать лишнего. Клялся, что вот этот стакан будет обязательно последним. Все прощался, но его не отпускали. Очень уж они жалели, что ему здорово досталось. Человек он невезучий, вот они и хотели утешить его.

Стоявший у другого конца стойки Пистолеро не спускал с него глаз. Пакорро даже подумалось, уж не видел ли кто, как он ходил в суд.

Парень подошел поближе. Теперь Пакорро вспомнил, где он его видел. В дверях «Гаваны», рядом с судом. И он перешел в наступление:

— Чего ты на меня уставился?

Пистолеро наклонился к самому его лицу:

— А я тебя сегодня видел в одном месте.

— А я тебя нет!

— Ты входил в суд с доном Леоном и сеньором алькальдом... И проторчал там больше часа.

— Ну и что? Мы говорили о делах на ферме.

Батраки окружили спорщиков. Они слушали внимательно, от этого разговора зависело многое. Карлос поднес кулак к самому носу свояка.

— Смотри, если наболтал!..

— Да за кого вы меня принимаете? Я, слава богу, не доносчик!

— Ох, и заработаешь ты!

— Мы говорили о межах и границах участков.

Муло налил всем по кругу еще вина. Пакорро заявил, что теперь это уж наверняка последний стакан:

— Я и так совсем пьяный. Пойду домой!

Карлос проводил свояка до перекрестка. Пакорро висел у него на плече, еле переставляя подкашивавшиеся ноги. У него и в самом деле тряслись коленки, только вино тут было ни при чем.

■

Заявление лежало на столе. Начальник жандармского участка подумал, что если бы ему, простому офицеру, довелось вдруг стать судьей, никогда бы он не додумался до такой штуки.

Он позвал жандарма Переса. Перес был в курсе всех городских дел, так как собирался жениться на местной девушке. Он как раз дожидался приказа о переводе, чтобы обвенчаться: жандарм не должен служить там, где живет его семья.

— Назови-ка мне имена бунтарей.

Жандарм Перес размышлял, стоя «смирно». Бунтарей? Каких бунтарей? Людей, которые возмущаются, потому что у них нет еды?

— Я их не знаю, сеньор. Для меня они все на одно лицо. Помалкивают, никуда не суются, никого не задирают.

— В прошлый раз мы толковали с тобой о некоем Антонио.

— С таким именем батраков сотни!

— Нуньес говорил, что он смутьян.

Перес пожал плечами.

— Ему видней.

Капитан с размаху стукнул кулаком по столу:

— Ты тоже обязан знать их!

— Сеньор... я... служу... я никого не знаю.

— Твоя невеста должна знать.

— Моя невеста тоже никого не знает. Она не из крестьянской семьи.

— Можешь идти!

Перес громко щелкнул каблуками.

Капитан вызвал к себе отделенного. Старого солдата, который участвовал еще в облавах на партизан, скрывавшихся в маки.

— По вашему приказанию явился!

— Перес не захотел назвать имена преступников!..

— Так я скажу! Хуанело и Пирри.

Начальник даже подскочил на стуле.

— Один в море, а другой не вылезает из пивной. При чем они тут?

— Они были в шайке, в сороковые годы. Может, они и теперь заводилы.

— При чем тут заводилы! Мне нужны виновные, понятно?

— Несколько человек для острастки, так я вас понял?

— Совершенно верно.

— Я их подыщу, сеньор.

— Да! И пошли Переса в ночной патруль на берег!

— Слушаюсь, сеньор!

Отделенному такой приказ пришелся по душе. Перес был в казарме белой вороной.

— Пускай научится повиноваться.

— Слушаюсь, сеньор.

Отделенный ушел, оставив офицера в глубоком раздумье. Настало время применять закон. Надо было только выработать план действий.

■

Антонио направился к Пуэрта-де-Херес.

Пистолеро вышел ему навстречу:

— Все в порядке. Хуан и остальные работают в Санто-Доминго.

Антонио ласково потрепал паренька по плечу.

Они сели за столик в лавке Верзилы.

— Ну, ребята, пора делиться!

Каждый оставил при себе по тридцать песет.

— Мы тоже имеем право на еду...

Пришли батраки из Санто-Доминго. Подсчитали заработки. При дележке пришлось по дуро с головы.

— Да разве хватит!

Чирло осенила блестящая мысль:

— Потратим все на хлеб, и вся недолга.

Батраки приняли предложение единодушно.

■

Жены тех, кто ушел на виноградники, делали подсчеты.

— Как, по-твоему? Сперва в лавку заплатить или ростовщику?

— Я начну с «Эль Окасо». Поди знай, что еще будет, а я уже несколько месяцев им не плачу ни медяка.

Сальвадора считала, что самое разумное — сложить заработанные мужчинами деньги и накормить досыта всю семью. Хоть раз, да наесться до отвала!

Хуан и Пако пришли поздно. Усталые, грязные, с хмурыми лицами. Сальвадора рвала и метала: рыба давно разварилась, а мясо пересохло.

— И как раз когда в доме есть еда! А я-то дура из-за них убиваюсь! Пьянчуги, целый день торчат в проклятой пивнушке, чтоб ей пусто было! А ну, гоните деньги!

Пако протянул пятьдесят песет.

— И это все?

Хуан порылся в кармане и вытащил два дуро, которые оставил себе на табак.

— А где остальные? Пропили?

— Это все, что есть!

Сальвадора швырнула деньги, чтобы освободить руки и накинуться с кулаками на мужа и сына. Суп перекипал на огне. О нем и забыли.

— Негодяи! Сучьи дети! Сволочи! Бумажку да дюжину монет — вот что вы принесли! Куда девали сотенную?

— Хватит вопить! Оставь меня в покое!

Пока шел бой, Хуан подкрался к очагу и налил добрую порцию супа с мясом в пустую консервную банку, служившую ему тарелкой.

Зажав банку между колен и накрывшись одеялами, он спокойно поужинал.

■

Антонио заухал, подражая филину. Такой же сигнал раздался из окна тюрьмы.

— Калеро!

Говорили они едва слышно.

— Здесь!

— Я принес тебе табак и два письма.

— Погоди-ка!

По стене змейкой спустилась веревка. Антонио быстро привязал сверток.

— Не уходи! Я сейчас отвечу.

— И тебе, Негро, кое-что есть.

Негро содержался в нижнем этаже. Одним прыжком он вскарабкался на подоконник. С трудом просунул руку сквозь прутья решетки.

— Давай сюда!

Рука скрылась в темноте. В последнюю минуту Пелао добавил к посылке два куска сыра. Сверху послышался голос Калеро. Его посадили в женское отделение.

— Лови!

Антонио различил белый листок на темном фоне стены. Правильно они сделали, что дождались, когда скроется луна.

— Держитесь, ребята!

— Ладно. А как идут дела?

— Как всегда.

— Бьют?

— Пока нет.

Пелао, ожидавший на противоположном тротуаре, протяжно свистнул. Антонио едва успел повернуться спиной к тюрьме и сделать несколько шагов в сторону... Два жандарма с одеялами через плечо чуть не задели его.

— Прощай! Зеленые идут!

— Прощай! Счастливо!

Солдат Нуньес повернул назад.

— Ты куда?

— Мне этот тип что-то не нравится.

Солдат Перес придержал напарника за локоть.

— Оставь его. В конце концов, нам-то какое дело?

Однако у Нуньеса были свои соображения.

— Тебя как зовут?

Антонио вздрогнул, услышав кастильское наречие. Как это он не различил стука солдатских ботинок на тротуаре?

— Антонио Кабеса де Вака, к вашим услугам.

— Документы!

— У меня нет их с собой, сеньор...

— Пошли к тебе домой!

— Видите ли... дома их тоже нет. Я их потерял.

— Документы терять нельзя.

Жандарм говорил вкрадчивым, ласковым тоном, стараясь уколоть как можно больней.

— Я подал заявление с просьбой выдать мне новые документы два месяца назад. И уже ходил сдавать отпечатки пальцев.

— Покажи документ, который выдал тебе капрал.

— Да я же вам сказал, что потерял их.

— Иди за нами!

Солдат Перес не любил зря задерживать людей.

— Оставь ты этого парня! Не наша это забота патрулировать улицы. Отделенный послал нас на берег.

— Думаешь, мне не терпится схватить там ревматизм? Такая работа только начальству по душе.

— Этот парень ни при чем. Не видишь, что ли, такой и мухи не обидит!

Нуньес холодно усмехнулся:

— Надеюсь, ты не собираешься выгораживать преступников... Теперь они все на подозрении.

— Я ни за кого не заступаюсь. Просто я знаю скандалистов. А этот не из них.

— В прошлый раз он был на площади.

— Ты обознался.

— Нет, он. Ты сам знаешь, какая у меня память на лица.

— Да тебя же там не было.

— Мне сказал про него хозяин угловой лавки.

— Гнусный доносчик! — буркнул Антонио.

Нуньес расхохотался:

— Каких тебе еще доказательств нужно?

Перес опустил голову.

— Пошли!

Три черных силуэта двинулись в сторону тюрьмы. Лакированные жандармские треуголки блеснули в свете лампочки. Пелао скрылся в темном проулке, благо туда еще не провели электричества.

■ ■ ■

Дон Антонио Васкес давал званый ужин, был приглашен сам губернатор. Между двумя чашками кофе разговор перешел на животрепещущую тему. До десерта делать это было как-то неудобно.

— Вот каково наше положение!

Губернатор выказал беспокойство и озабоченность. Он и не знал о событиях, разыгравшихся в Санлукаре. Алькальд постарался скрыть от него истинное положение вещей. Забастовка — штука весьма неприятная. Если она расширится, могут полететь местные власти.

— Плохи дела!

Дон Луис понял, что нужно что-то сказать.

— Я, видите ли, не хотел отдавать чересчур строгих приказов, ведь пресса всюду сует нос. А всем известно, что в Мадриде не любят, когда пишут о подобных вещах, особенно за границей.

Губернатор нахмурился.

— Самое простое было бы своевременно поставить меня в известность и принять необходимые меры.

— Что вы имеете в виду?

— Аресты. Без следствия и шума, на основании закона о нарушении общественного порядка.

Дон Луис судорожно глотнул:

— Я позволил себе задержать двух смутьянов — агитаторов. Уже несколько дней, как они арестованы.

— Не люблю, когда подчиненные превышают свои полномочия! Я, и только я, имею право решать, кого следует и кого не следует арестовывать.

Дон Луис потупил глаза. Губернатор несколько смягчился.

— Как зовут этих типов?

— Хуан Мойяно по прозвищу Калеро, Луис Понсе по прозвищу Негро.

— Задержаны на законных основаниях?

— Первый — за преступления во время войны, второй — за ведение агитации на виноградниках.

— Прекрасно! Оформите этот арест как меру пресечения противозаконных действий. Я вышлю вам несколько чистых бланков с моей подписью, чтобы вы могли использовать их по своему усмотрению.

Дон Луис рассыпался в благодарностях за столь высокое доверие.

— В любом случае в Мадриде об этом знать не должны. Будьте осторожны с приезжими. Необходимо покончить с этим делом до конца месяца, не вынося сора...

■

Калеро растянулся на одеяле, служившем ему подстилкой. Со дня ареста у него ломило все тело. Он прочитал письма, поел немного сыра. Дома полный порядок, перебиваются как могут.

— Молодцы!

■

Капитан вскочил с кровати.

Капрал Перес стоял перед ним навытяжку, стараясь не глядеть на дородную капитаншу, которая почивала рядом с супругом. Растрепанная служанка ввела его прямо в спальню, выполняя приказ хозяйки.

Когда началась забастовка, капитанша наказала служанке:

— Как узнаешь что важное или если придет кто важный, сразу же доложи, в любое время, даже ночью.

Капрал для служанки, разумеется, был важной персоной.

— Понимаешь? Сам губернатор!

— И тебя даже не предупредили!..

Капитанша была возмущена. Для черной работы готовы поднять среди ночи, а вот когда приезжает высокое начальство, с которым полезно познакомиться, то никто и не подумает позвать...

— Ладно! Одевайся и беги!

— Он, наверно, уже давно уехал...

— Пять минут назад он еще был у дона Антонио, сеньор.

— Подожди меня за дверью!

Капрал Перес вежливо козырнул фигуре в пижаме. Капитанша извлекла из глубины шкафа парадный мундир.

— Не надо! Это уж слишком!

Капитанша настаивала. Капитан послушно напялил мундир, но наотрез отказался надеть желтую портупею.

— Сам знаю, что требуется. И черная сойдет. Ведь меня никто на это торжество не приглашал.

— Явишься без приглашения! А то тебя любой обскачет.

Капитанша страстно желала, чтобы ее мужа произвели в полковники. Раньше она мечтала для него о генеральском мундире, однако время летело намного быстрей, чем шло продвижение по службе. А без помощи сильных мира сего невозможно дослужиться даже до майора, если вообще еще дослужишься!

■

Сеньор губернатор как раз выходил на улицу. Услышав топот ног, он оглянулся. В темноте смутно различались треуголки жандармов.

— Что-нибудь случилось?

Жандармский капитан вытянулся в струнку.

— Никак нет, сеньор губернатор.

— Так с какой стати вы так несетесь?

Капитан не знал, что ответить. Из затруднительного положения его вывел капрал Перес:

— Мы проверяем караулы.

— И, разумеется, с опозданием!

Капитан утвердительно кивнул. Вид Большого Начальника начисто лишил его способности рассуждать разумно.

— Офицер гражданской гвардии не вправе проявлять подобную небрежность, особенно при теперешнем положении. Получите выговор с занесением в послужной список.

Капитан отдал честь, поднеся руку к козырьку. Не мигая, ждал он, пока губернаторский автомобиль отъедет от подъезда.

Санлукарцы остались одни. Дон Луис повернулся к капитану:

— Нечего сказать! Отличился!

— Ладно, дон Луис, не болтайте глупости!

Дон Луис — совсем другое дело. Алькальда капитан не боялся. Все время они проводили вместе, нуждались друг в друге и провернули совместно не одну сделку.

— Теперь всем достанется на орехи из-за вашей идиотской выходки!

— Но...

— Да, да, сам знаю. С тех пор как кончилась война, посты не проверяются ни днем, ни ночью. Никто об этом и не вспомнил бы, если бы вы не суетились без толку.

Не прибавив ни слова, дон Луис сел в машину Альвареса. Зато дон Антонио дружески потрепал жандарма по плечу:

— Не беспокойтесь. Я постараюсь, чтобы он забыл об этом инциденте.

■

Они явились на рассвете. Калеро услышал, как заскрежетал замок. Нуньес, солдат Перес и капрал Перес вошли в камеру.

— Пошли!

С ними был Негро, в наручниках. Калеро тоже надели наручники. В первый раз.

— А это еще зачем?

— Чтобы не вздумал удрать.

— Когда меня поведут на суд?

— Еще пожрешь нашей баланды. Ты здесь по приказу губернатора.

Калеро знал по опыту: стоит только попасть в суд — и побои прекратятся. Обычных преступников положено уважать. А вот когда арестовывают по приказу сверху, тогда совсем другое дело.

Он замолчал. Возражать было не время.

■

Жандармский старшина разглядывал Антонио. Лет тридцати, высокий, смуглый. Такой же, как все.

— Тебя взяли с поличным!

— Нет, взяли потому, что у меня не было документов. Можете проверить по журналу. Уже четыре месяца, как я подал прошение, чтоб мне выдали новые.

Старшина пожал плечами. Это его не интересовало. На столе лежали три бланка с приказом на арест, подписанные губернатором. Один из них был пока еще не заполнен.

— Как тебя зовут?

— Антонио Кабеса де Вака, к вашим услугам.

Старшина заполнил бланк.

— Зачем ты третьего дня был в Пуэрта-де-Херес и о чем разговаривал с тамошними батраками?

— По-моему, я имею право говорить с друзьями.

Старшина переменил тон:

— Поставь меня на место твоего отца. Я не хотел бы бить тебя, но и твоему отцу, наверно, не нравилось, когда ты в детстве учинял какую-нибудь пакость... Кто велел вам объявить забастовку?

Антонио отразил нападение:

— Никакой забастовки нет!

— Забастовка — это когда рабочие не выходят на работу. Вот, например, как сейчас.

Антонио почесал затылок:

— А разве забастовку могут устраивать только рабочие? Разве хозяева не могут ее объявить?

Старшина с любопытством взглянул на него: «Куда он гнет, этот парень?»

— Вы только послушайте, как получается. Не работать, по-вашему, значит бастовать, а вот когда нам работы не дают, разве это не забастовка? Выходит, хозяева каждую зиму устраивают забастовку, и никто им ничего за это не делает.

Жандарм рассмеялся. Неплохой парень, только туповат немного.

— От того, что вы не работаете зимой, виноградники не страдают, а вот от того, что вы не хотите работать сейчас, может погибнуть весь урожай. А это плохо отразится на экономике нации.

— Безработица вредна и для нас, ведь нация это тот, кто живет в стране, разве нет?

Жандарм не знал, что ответить.

— Это большая разница... доходы для всех, для всей нации...

— А не для нас!

— И для вас тоже.

— Когда голод, то мы голодаем, и никто нам ничего не дает.

— Зато приводят в порядок дороги...

Антонио с сомнением покачал головой.

— На эти доходы строят шоссе, осушают болота, проводят водопровод.

— У меня водопровода нету... За водой мы ходим к роднику... Из этого родника пили испокон веков, еще мои прадеды...

Дело усложнялось. Старшина прибег к последнему доводу:

— Вы бастуете, и это доказано, а забастовка — преступление!

— Нет, сеньор. Просто по весне нам не сподручно работать. Вот пускай нас позовут в январе, увидите, как мы побежим!

Приоткрылась дверь. Капрал Перес просунул голову:

— Они уже там.

— Пускай подождут. Сейчас приду.

■

Хосе Армада кликнул служанку. Ему хотелось завтракать. Да и жене тоже. Ровно в десять часов является ревизор, надо прийти в погребок раньше, чтобы «подготовиться». Вот почему дон Хосе вставал так рано.

Каридад вошла в столовую, неся два кувшина. С кофе и с молоком. На столе красовалась бутылка с водкой и два стакана. Водка помогает заморить червячка. Супруги Армада привыкли пропускать за завтраком по рюмочке, так повелось еще с первых дней их брака.

Дон Хосе с каждым днем все больше мрачнел. Не говорил, а рычал.

— Где, черт побери, газеты? Где гренки?

В это утро ему захотелось поговорить. Лучшего собеседника, чем жена, подыскать было невозможно.

— Знаешь, они продолжают бастовать.

Сеньора Армада спокойно намазывала хлеб топленым салом. Когда приходили гости, подавалось сливочное масло. Топленое сало напоминало о тех временах, когда они еще жили при лавке среди амбарных книг и мешков с шафраном. Далекое и приятное воспоминание.

— Так продолжаться не может.

Жена согласно кивнула.

— Да скажи хоть что-нибудь!

— Поступайте как надо.

— Надо, надо! А что надо?

— Не знаю.

— Могла бы хоть посоветовать чего-нибудь.

— Отправьте их в концентрационный лагерь... заставьте работать.

— Это можно было сделать во время войны. Сейчас не позволят.

— Тогда убедите их!

— Так они и послушают! Ну и дурацкий народ вы, бабы!

Сеньора Армада только плечами пожала. К чему было заводить разговор, если сам заранее знал, что она ничего не смыслит в мужских делах?

Дон Хосе со злостью откусил кусок булки, испачкав усы в сале.

■

— Пошли!

— Куда?

Они пересекли большой двор. В окнах развешано белье. Несколько мальчишек, дети жандармов, играют в войну среди побеленных колонн. Какая-то женщина стирает белье в лохани.

Старшина открыл ворота. Лошади с хрустом жевали сено. Соломенная подстилка почернела от навоза. Резко пахло лошадиным потом.

В глубине конюшни уже стояли капрал Перес и два жандарма. Калеро и Негро не было видно. Антонио увидел их, когда его поставили рядом, у стены, точно для расстрела.

Старшина велел дать стул и уселся напротив арестованных.

— Вы здесь по приказу губернатора. Знаете, что это такое?

Ни Негро, ни Антонио понятия не имели, что это значит. Старшина догадался об этом по выражению их лиц. Арест по приказу правительства... по приказу правительства.

Старшина продолжал свою речь:

— Другими словами, вас не будут судить в суде. Будете сидеть, пока сам губернатор не разрешит вас выпустить.

Старшина сделал многозначительную паузу. Но батраки даже глазом не моргнули.

— Короче, будете сидеть до тех пор, пока не поймете, как надо себя вести. А это значит: помогать полиции, отвечать на вопросы только правду...

И эта часть речи произвела тот же эффект, что и предыдущая...

— Да, вот еще. Не знаю, известно ли вам, но в санлукарской тюрьме можно находиться только один месяц. Потом переводят в кадисскую... Бывали там хоть раз? А из кадисской в Пуэрто... оттуда мало кто выходил живым! Так-то!

Калеро был хорошо знаком этот маршрут. Он проделал его в год окончания войны, когда его арестовали в первый раз. Тогда он был совсем еще юнец, ему не исполнилось и двадцати. Пятнадцать лет провел он за решеткой, сам не зная за что. У него задрожали и похолодели ноги. Он сделал над собой усилие, чтобы сдержать дрожь. Никто не должен заметить его слабость.

В кадисской тюрьме камеры расположены ниже уровня моря, и вместе со светом в окна, особенно в штормовую погоду, врывается вода. Вечно мокрые стены покрыты зеленой плесенью. Больше полгода такой тюрьмы не выдержишь. Он пробыл там год. До сих пор, когда меняется погода, у него нестерпимо болит бок. Тогда он был молод и здоров, только поэтому у него не началось кровохарканье, как у остальных заключенных.. А тюрьма в Пуэрто! Рядом с соляными копями, в старом полуразрушенном монастыре .. Хуже не бывает, но в то время перемена места была ему как божья благодать.

Заключенные были уверены, что никогда больше не свидятся с родными. Здесь у них в Санлукаре все по-другому. Взберись на подоконник — и вся недолга. Всегда кто-нибудь пройдет мимо по улице. Сделает незаметно знак, и ты уже не чувствуешь себя таким одиноким.

Старшина встал. Сподручнее вести допрос стоя. Как-то сильнее чувствуешь собственное превосходство. Опустив голову, точно выпущенный на арену бык, обдумывал он, как образумить этих дикарей.

Подкованные подошвы глухо зашлепали по навозу. Вошел солдат Нуньес, неся две плетки из бычьих жил и ржавую цепь. Заскрежетало железо. Капрал Перес взял с полки щетку для чистки лошадей.

Старшина резко повернулся к Негро.

— Кто велел тебе бросать работу?

— Никто, сеньор старшина.

Старшина с размаху ударил батрака.

— Вы что ж, за идиотов нас считаете?

Затем он ласково положил руку на плечо Антонио.

— А тебе-то, дружок, зачем было лезть в эту кашу? Ты работаешь, у тебя есть семья, и ты еще ни разу к нам не попадал. Скажи, кто устроил забастовку, и можешь спокойно отправляться домой.

Антонио закусил губу. До боли стало обидно, что его могли счесть доносчиком.

— Верно, я работаю, и никак не пойму, за что меня забрали.

— У тебя не было документов!

— Правильно. И это можно доказать. Поглядите в ваши дела и найдете там мое прошение. А если хотите о чем спросить, спрашивайте насчет документов! Другого я ничего не знаю.

Калеро сначала боялся за Антонио. Ведь парню все это впервой. Но теперь он успокоился. Этот не проговорится.

Старшина разозлился. Ну, как скажешь этому парню, что он даже не удосужился занести его прошение в регистрационную книгу? В хересской полиции никому и в голову не приходило записывать имена людей, которым надо было выправить документы. И уж совсем ни к чему было объяснять, что это прямая обязанность полиции и что задержали они Антонио вовсе не из-за неисправных документов.

— Ты здесь по приказу губернатора. А это совсем другое дело!

— Значит, у губернатора были какие-то причины арестовать меня. Я их не знаю. Пускай мне скажут.

— Уж так ему захотелось, понял?

Ответ капрала Переса был не слишком удачен. Но старшине он показался вполне удовлетворительным только потому, что никакого другого он сам не сумел придумать.

— Но почему же такому важному сеньору из Кадиса, которого я и знать не знаю, вдруг захотелось сгноить меня в тюрьме? Неужто есть такой закон?

Капрал Перес сбил Антонио с ног. Антонио упал на грязную солому.

— Дай-ка я с ним потолкую!

Старшина согласился и уселся на стул, наблюдая за спектаклем. Сам он не любил бить, предпочитал, чтобы это делали другие. Он наслаждался муками арестованных, и капрал Перес знал это. Никто не задумывался, почему после первого же удара у старшины начинают блестеть глаза и он неестественно бледнеет. Не раз старшина спрашивал себя, кем бы он стал, не будь на свете жандармского управления. Жалким убийцей — и только. Таким, про которых пишут в газетах и которых они сами изредка ловят.

Солдат Нуньес накинул цепь на крюк, ввернутый в середину балки. Крюк мог выдержать тяжесть человека. Антонио связали руки. Нуньес с капралом приподняли парня. Он повис посреди конюшни над лошадиными крупами. Калеро знал, что это называется «покачать на качелях».

— Не трогайте парня. Берите меня, я к этому привычный.

Калеро стоял рядом с Антонио. Руки в наручниках. Ноги широко расставлены. Капрал Перес ударом плети из бычьих жил отбросил его в сторону.

Потом снова повернулся к Антонио:

— Нам известно, что у тебя рыльце в пуху. Ты поджидал на дорогах надсмотрщиков и избивал их. Назови имена тех, кто был с тобой, и мы тебя выпустим.

Антонио молчал. Капрал ударил его в живот. Тело покачнулось.

— Отвечай, что делали эти двое! Они уже арестованы, хуже им не будет!

— Не знаю. Мы с ними не друзья. Я их почти не знаю. Встречал на улице, и все.

— Тогда зачем же ты околачивался на рассвете у тюрьмы? О чем с ними разговаривал?

— Мы не разговаривали!

— А мы слышали ваш разговор!

— Просто захотелось, как вашему сеньору губернатору!

Нуньес ударил, Перес ударил тоже. Антонио раскачивался из угла в угол конюшни, подвешенный на качелях. Кисти рук онемели и перестали чувствовать боль. Он уже ничего не видел. Его тошнило, но боли он не ощущал, совсем не ощущал.

Солдат Перес попросил разрешения выйти. Его тоже тошнило, и он не хотел, чтобы его вырвало на глазах начальства.

Старшина не разрешил:

— Надо привыкать, малыш.

— Извините, ради бога, сеньор старшина, но, по-моему, это жестоко.

Старшина холодно взглянул на него.

— Вам, надеюсь, не хочется оказаться на месте арестованного.

Солдат Перес спрятался за спинами лошадей. Его рвало.

■

— Надо бы одернуть Пелаеса.

— К чему? Уже два дня, как батраки работают. Зло уже сделано.

— Он сущий еврей. Все норовит как повыгодней. Ни совести, ни чувства долга. Нельзя этого терпеть.

— Раз существует закон, гарантирующий минимальный заработок, должен существовать и другой, ограничивающий максимальную плату.

В этом дон Мариано, профсоюзный босс, был не слишком уверен.

— Не знаю, кажется, такого закона нет.

— А кто, по-твоему, должен знать? Это твоя обязанность. Надо знать законы, чтобы можно было их применять.

— Я не адвокат и не судья.

— Но в синдикатах-ты заправляешь!

Дон Мариано кликнул рассыльного. На бумажной салфетке нацарапал что-то неразборчивое.

— Отнеси это в профсоюз. Отдашь моей секретарше и дождись ответа. И пускай настукает на машинке! Это очень важно.

■

Капрал Перес приказал принести бутыль с уксусом. Жандармские жены растворили в ней соль. Они уже привыкли к такой работе.

— Самое лучшее средство от царапин!

Калеро, Негро и Антонио лежали нагие на полу. После подвешивания на качелях их били по половым органам, по самым уязвимым местам, которые наперечет известны полицейским. Капрал Перес обрызгал три бездыханных тела из бутыли.

— А ну, переверни их!

Нуньес исполнил приказание.

Тяжкие стоны разнеслись по конюшне. Солдат Перес слышал их из своего укрытия. Карабин лежал с ним рядом. На миг он подумал, не лучше ли пристрелить всех троих? Прямо здесь, чтобы больше не мучались, чтобы их больше не мучили! А потом? Почему бы и нет? Застрелить старшину и капрала! Но он не сделал этого. Не хватило сил? Испугался последствий? Потом он смутно припомнил, что протянул было руку к карабину, но что-то остановило его. Что-то, а что — он не знал.

■

Секретарша Бели трудилась на совесть. Выписывала статистические данные, составляла отчеты, которые никто не читал. Аккуратно отпечатанные листы кипами валялись в архиве. Начальник не давал себе труда даже взглянуть на них. Подписывал — и точка. Бели прекрасно знала нрав хозяина и тем не менее работала добросовестно, не теряя надежды на то, что, быть может, в один прекрасный день бумаги кому-нибудь понадобятся. Безработные, голодающие семьи, полуразвалившиеся жилища... Цифры, цифры, известные только ей одной.

Ее начальник дон Мариано являлся в два часа. «Есть что-нибудь новенькое?» А в три уже уходил... «Раз ничего нет...» Вечером он снова заглядывал на часок. Приходили друзья. «Вас тут дожидается рабочий, говорит, что...» — «У меня сейчас времени нет. Скажите, пусть зайдет завтра».— «Пришел дон Имярек».— «Немедленно проведите его ко мне».

Вбежал рассыльный:

— Поручение от дона Мариано. Я подожду ответа. Он велел напечатать на машинке.

Бели прочитала записку. Нет, законов, ограничивающих заработок, не существует. Для успокоения совести она просмотрела свод трудового законодательства. Затем составила пространную докладную, где говорилось о правах, о забастовках. У Бели мелькнула надежда, что хоть эту докладную дон Мариано прочтет. Лично от себя она советовала патрону прекратить дело.

Бели была на стороне батраков. Выпал случай помочь им, и она решила воспользоваться этим.

■

Дон Мариано читал очень внимательно. Его секретарша принадлежала к тому сорту людей, которыми он восхищался, но не понимал. Соображения ее были правильны, советы четки. Платили ей недаром. Она рьяно защищала права трудящихся, нравится ему это или нет. Любой промах с его стороны мог стоить ему места, а без места не покутишь и не пофрантишь.

Прежде чем заговорить, он обмахнулся листками, как веером. Следовало обдумать каждое слово — ведь в руках помещиков сила.

— К сожалению, закона, на основании которого можно было бы приструнить Пелаеса, нет.

Дон Сесар в сердцах швырнул окурок на середину улицы, чуть не попав в прохожего.

— Ясно! Мы не можем рассчитать этот сброд без компенсации, а они могут бросать работу, когда им вздумается! Могут нагадить нам, оставить с носом в самую страду, да еще пьянствовать на наши денежки! А не дай бог, если мы не выплатим им страховые, отпускные, кассовые!.. Прямо библия какая-то!

— Если б не мы, Франко не сидел бы в Пардо. Подлый предатель! — крикнул дон Леон.

— Поосторожней! — остановил его дон Мариано.— Еще кто-нибудь услышит! Дойдет до верхов, тогда уж правды не докажешь.

Слова эти немного охладили дона Леона, и он принялся поносить проклятую чернь.

■ ■ ■

Мелкие собственники уступили.

— Богачи-то могут ждать сколько угодно, а если мы потеряем урожай, разоримся вконец.

Небольшие артели батраков вышли в то утро из Пуэрто-де-Херес. Еще триста человек получили работу. «Сегодня найдется работа для всех»,— изрек Пелао.

Оставшиеся заключали пари, кто из богатеев «сдастся» первым. Подсчитывались убытки, которые терпели помещики.

— Дон Карлос Гонсалес в общем-то человек неплохой; просто он другим поддался.

— Дон Мануэль тоже неплохой.

— Эти Домэки давно могли бы уже решиться — с их-то капиталами!

— Да ни за что! Милостыню еще подадут, а чтоб повысить плату, да они скорей повесятся!

Распространился слух, будто в Чиклане никто не работает. Говорили также, что виноградники в Уэльве опустели и что Морилес и Монтилья тоже примкнули к забастовщикам.

— В этом году не будет вина даже для причастия.

Теперь они были не одни. А в единении сила, говорили старики, и молодежь мечтала о победе. Повысить заработки!.. А потом... земля для всех!

— Пускай мне ничего не дают, мне ничего не надо, но разве это порядок, одни получают по четыре тысячи дуро чистыми, а нам гроша ломаного не достается. Пускай все обрабатывают землю, у каждого будет свой надел. Никто б не голодал!

Толковали и об арестованных.

— Один парень, по прозвищу Тато, уж три дня, как сидит в хересской тюрьме.

— А моего двоюродного брата в Кониле вызывали в казарму. Тетка отписала.

— На войне надо быть храбрым! Так, что ли?

Молодежь жаждала подвигов. Вопрос о заработке отошел на задний план. Просто перестал занимать умы и сердца. Теперь все стремились добиться чего-то большего.

— А там будь что будет!

■

Губернатор отменил приемы. Он не желал выслушивать ничьих жалоб и зря терять время. Если такое положение продлится, дело наверняка дойдет до Мадрида. Делегация помещиков-экспортеров представила ему весьма любопытную докладную — подсчет количества валюты, которую потеряет государство, если урожай не будет собран. Батраки, со своей стороны, без всяких выкладок и цифр, на простом народном языке тоже настрочили губернатору письмо и предупредили о своей решимости «довести дело до конца».

Письма приходили из самого Кадиса.

Доносы сыпались как из рога изобилия. Хозяева наобум называли имена и приметы: «его отец был красным» или «он воевал на стороне красных». Таковы были основные обвинения. Будь преступников меньше, можно было бы их всех арестовать. Но что делать с такой уймой? Можно посадить сто, двести человек, но не пять же тысяч.

Вот почему губернатор отменил приемы, спрятал голову под крыло, как страус.

В дверь робко постучал секретарь.

— В чем дело?

— Письмо из Мадрида, ваше превосходительство.

— Давайте!

Секретарь положил вскрытый конверт на стол.

«Его превосходительству сеньору дону... гражданскому губернатору провинции Кадис». Письмо было из министерства. Не официальная бумага, а личное письмо хорошего друга. Благодаря его влиянию в высших сферах губернатор приобрел это тепленькое местечко и не собирался с ним расставаться.

«Уважаемый друг! До нас дошли слухи о создавшемся в ваших краях положении. Мне пока не удалось установить, кто возьмет на себя столь неблагодарную миссию — поставить о тебе в известность, однако мы догадываемся, кто это...

Сеньор министр сильно расстроен. Он ждет, что ты сам все уладишь; ему не хотелось бы доводить дело до Совета министров. По всей видимости, человек, о котором говорилось выше, готов доложить обо всем самому генералиссимусу. Не стоит и напоминать, сколь эта проблема интересует иностранную прессу.

Ты сам знаешь, что при нынешней ситуации строгие меры исключены. Следовательно, ты должен постараться уладить дело тихо и мирно. Имей в виду, что повышение заработков в одной из провинций Испании может сыграть роль пропагандистского шага, который ни в коей мере не причинит ущерба нашей экономике.

Всегда твой...»

Губернатор позвонил секретарю.

— Вы, конечно, читали это письмо...

Секретарь назубок знал все тонкости внутриведомственной дипломатии. Но в данном случае его рвение выглядело бы бестактным.

— Нет, что вы, ваше превосходительство. Я лишь полюбопытствовал, кому оно адресовано. И как только я установил, что письмо личного характера...

У губернатора мелькнула мысль, что такие письма следует направлять прямо на дом. Но он тут же вспомнил, что еще не успел сообщить столичному другу свой новый адрес.

— Хорошо. В любом случае никому ни слова.

— Не беспокойтесь, ваше превосходительство.

Губернатор задумался. На следующий день намечалась встреча с группой помещиков, которым он уже больше ничем не мог помочь. Как неприятно им отказывать, ведь деньги — огромная сила. А землевладельцы еще понадобятся ему для дальнейшей карьеры.

— Предупреди сеньоров, которых мы ожидаем назавтра, что я их принять не смогу... Вызови делегатов бастующих. Пусть придут с одним-двумя советниками аюнтамиенто.

— Когда, ваше превосходительство?

— На тот же час, когда мы назначали помещикам.

— Смею заметить, ваше превосходительство, вряд ли мы успеем разослать приглашения, времени не хватит.

— Нет времени, так найдите! Это приказ!

Губернатор обожал военный дух.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

Секретарь осторожно прикрыл за собой дверь. В своем кабинете сильно нажал на звонок.

Робко вошла секретарша.

— По приказу губернатора...

— Придется сказать писарям, чтобы они бросили текущую работу. В противном случае...

— Ясно!

Сонного безделия, царившего в канцелярии правительства провинции, как не бывало. Оголтело стучали машинки. Ведь речь шла о важном государственном деле.

■

Циркуляр прибыл в три часа дня. Увидев гриф «Срочно», алевший над штампом «Правительство провинции», старый привратник, единственный служащий, застрявший в аюнтамиенто, рысью бросился на розыски начальства. Дона Луиса не оказалось ни дома, ни в казино. Кто-то сказал, что видел, как он и другие сеньоры направлялись к Бахо-Гийя.

Привратник решил было взять такси, но при таких заработках на машине не раскатаешься, а сеньор алькальд, несмотря на срочность дела, конечно, не только не пожелает платить из своего кармана, но даже не даст денег из отпускаемых на представительство. Под палящим майским солнцем привратник рысил целых два километра. Потом свернул на берег. Так было короче, чем по шоссе. Его грязно-серая ливрея с золотыми позументами выглядела особенно нелепо на фоне ясной водной глади.

Последние полкилометра оказались самыми тяжелыми.

«А если вдобавок его и там не будет!»

■

Хуан Льямас сидел в задней комнате. Клиентов было мало. Только за тремя столиками — какие-то неизвестные. Вдруг в комнату влетел официант:

— Алькальд идет!

Льямас застегнул пиджак. Посмотрелся в зеркало, стараясь придать солидность своей тщедушной фигурке в метр сорок высотой. В анфас горба не было заметно. Хуан Льямас поискал черный галстук. Когда приходил алькальд, он всегда надевал галстук к своей голубой рубашке.

В шкафу висело множество галстуков, половину из них уже давно следовало бы выбросить на помойку, да жена упрямилась: «Пускай ос-

танутся на память». Он взял первый попавшийся. Уже завязывая узел, заметил на галстуке бурое пятно, возможно, последствия последней выпивки. Соус из лангустов, не иначе. Времени менять галстук не оставалось. Льямас постарался спрятать пятно в узел.

Господа облюбовали себе столик в центре зала. Отсюда не видно было ни пляжа, ни моря, зато просматривалась вся улица.

— Добрый день, сеньоры!

Льямас почтительно приветствовал гостей Положение хозяина ресторана, живущего за счет клиентов, еще сильнее развило в нем прирожденную лакейскую угодливость. Фальшивый, заискивающий и лицемерный, он угождал каждому, учитывая, понятно, важность посетителя.

— Что у тебя есть?

Льямас перечислил: уха, отварная рыба, креветки... что и всегда.

— Получены отличные устрицы. Я припас для себя лично.

На столе появились устрицы и креветки.

Хозяин выставил гостям три бутыли вина. Все остались довольны.

— Принеси еще бутылку Солера!

Официант затрусил к буфету.

Неслыханное дело: хозяин подает сам; важные персоны обязаны оценить такое усердие. Губы кривила льстивая улыбка, словно рассекая лицо на две половины. Такая уж была у него манера улыбаться.

Алькальд дон Луис чистил огромного лангуста.

— Это дело мы провернем быстро. Арестую с помощью губернатора полсотни смутьянов.

Собутыльники согласно закивали.

— Осла только и учить палкой,— изрек дон Гаспар.

Все единодушно одобрили столь глубокомысленное изречение.

■

Привратник примчался на берег, держа ботинки под мышкой. Спрятавшись за железобетонным столбом, быстро обулся. Затем сделал небольшой крюк, чтобы подойти со стороны шоссе. У фруктового киоска спросил, не видели ли его начальства.

— Похоже, он в заведении Льямаса.

Продавщица фруктов ответила, не глядя. Привратник заковылял под аркадами, наслаждаясь тенью.

Сеньор алькальд кушал кофе. Рядом стояло несколько пустых бутылок. Официант убирал со стола грязные тарелки и приборы. Привратник стащил с головы фуражку и подобострастно стал за стулом дона Луиса. Неудобно прерывать начальство. Дон Луис рассказывал что-то очень интересное...

— ...когда вошел муж, Петра не знала, куда деваться, зато Селедонио сразу нашелся: как подхватит штаны и как прыгнет в окошко...

Кто-то из собеседников тихонько хихикнул:

— Еще одним рогачом стало больше.

— Рогач-иностранец.

— Петра всегда была неравнодушна к брюкам...

Тут привратник кашлянул. Дон Луис обернулся, раздраженный тем, что их подслушивают. Ведь это отнюдь не служебный разговор.

— В чем дело?

— Срочное правительственное письмо, сеньор.

— Извините!

Дон Луис разорвал конверт. Лицо его изобразило крайнее удивление и негодование.

— Немедленно позвони дону Никасио Руису. Жду его через полчаса в своем кабинете.

— А откуда позвонить, сеньор?

— Откуда хочешь! Прикажешь мне, что ли, для тебя телефоны разыскивать? А ну, живее.

Привратник не стал ждать вторичного приказа. Дон Луис потребовал счет.

— Пришлешь в аюнтамиенто.

Обеды алькальда, как правило, проходили по графе «на представительство».

Дон Гаспар взволновался:

— Что случилось?!

— На, посмотри!

Трое виноградарей прочитали приказ губернатора. Короткий и непреклонный.

— Это же безумие!

— Безумие или нет, а выполнять надо! — отрезал дон Луис, поднимаясь.

Он приказал шоферу как можно скорее доставить его в аюнтамиенто.

Четверть часа он просидел запершись в своем кабинете. Привратник доложил о приходе жандармского капитана.

— Пусть войдет!

Капитан удобно уселся и закурил сигару.

— Новые аресты производить?

Алькальд молча передал ему только что полученный пакет.

— Но...

— Никаких «но»! Исполняйте немедленно!

— Видите ли... мы их немножко допросили.

— Обоих?

— Троих. Вчера еще одного задержали.

— Все равно. Выпустить.

— Они... не совсем здоровы.

Дон Луис кивнул. Он понял. В подобных случаях ждать иного и не приходилось.

— Главное, чтобы они не обратились к врачу.

— Еще важней, чтоб ни один врач не выдал им свидетельства.

Дон Луис поднял телефонную трубку.

— Соедините меня с доктором Теруэлем.

Доктор Теруэль был в городке важной персоной. Война застала его на первом курсе медицинского факультета. Став фалангистом, он отправился воевать. В тылу заработал нашивки, которые после окончания войны принесли ему звание военного врача. Кое-как окончив курсы для бывших фронтовиков, он сразу пошел в гору. После красных осталось много вакантных мест. И вот заштатный лекаришка из санлукарского госпиталя стал главным врачом крупной клиники.

Доктор Теруэль в сущности не практиковал. Профессиональная безграмотность его была широко известна. Зато тепленькие места, которые он неизменно получал, приносили ему куда больше, чем иным знаменитым врачам их пациенты.

Когда раздался телефонный звонок, доктор упивался чтением захватывающего детектива.

— Слушаю!

— Это ты, Бартоло?

— Да, а кто говорит?

— Алькальд.

— Добрый день, Луис. Чем могу служить?

— У меня к тебе одно деликатное дельце. Приходи в аюнтамиенто.

— Когда?

— Сейчас.

■

Хуан Льямас присел к столу. Трудовой день кончился. Можно и передохнуть часок-другой. Особенно тщедушным выглядел Льямас рядом со своей супругой Франсиской, дородной, дебелой женщиной. Казалось, даже голова у него и та клонится набок под тяжестью огромных роговых очков. Поженились они в разгар спекуляций, когда банкноты, что называется, сами липли к рукам горбуна. Льямаса непрерывно терзали страхи и сомнения: слишком много зла натворил он за свою жизнь. Хилое его тельце мелькало повсюду. Врожденный садизм толкал Льямаса на любое самое черное дело. Иногда он убивал просто из желания уничтожать живое, иногда ради услуги. Убирал болтунов. Когда кончился «великий праздник» и горбун вернулся к мирной жизни, он горько сетовал на отсутствие пистолета. Но со временем как-то привык к новому существованию.

Еще до свадьбы Франсиска знала всю подноготную своего нареченного. Ее отец был одной из жертв «суетливого стрелка», как прозвали Льямаса его дружки. Во время гражданской войны он приводил в исполнение приговоры, которые выносили таинственные трибуналы в застенках старинных замков. Кроме того, непрерывно писал доносы... Не раз приходил домой в рубахе, измазанной чужой кровью, с комком грязных банкнот в кармане. С тех пор он и стал носить голубую рубаху.

Франсиска подняла голову от тарелки. Вот теперь и она увидела пятно на галстуке.

— Что это у тебя на галстуке?

— Не знаю. Надел наспех, когда пришел дон Луис. А как повязал, заметил, что грязный.

— Похоже, кровь.

— Кровь?

Хуан снял галстук, чтобы как следует разглядеть пятно. Один из первых его галстуков... может, даже из тех, что делили после расправ, учиненных в отместку за смерть Хосе Антонио*.

Не извинившись, встал из-за стола. Вошел в спальню и осторожно повесил галстук в шкаф.

«Чья бы это могла быть кровь? Хромого? Пако-Флюгера? Того четырнадцатилетнего мальчишки или семидесятилетнего старика?» Он взглянул на себя в зеркало. На полированной поверхности вдруг появились пустые глаза мертвецов, глаза приговоренных к смерти. Хуан увидел, как извивается на полу молодой адвокат, которого он замучил до смерти.

— Я не убийца. Не убийца!

Франсиска и официант с трудом уложили Льямаса в постель. Они держали ему руки и ноги.

— Трясется, как проклятый!

Кабесас усмехнулся:

— Он и есть проклятый!

Франсиска промолчала. Льямас приоткрыл глаза. Он смотрел прямо на них.

— Чего вы тут делаете? Чего суете нос куда не следует?!

Официант тут же убрался. Льямас поднялся с кровати. Схватил стул и запустил им в жену, которая ловко увернулась.

— Ты же кричал, как безумный... Мы поднялись поглядеть, что с тобой.

— А что я говорил?

---

* Хосе Антонио Примо де Ривера — основатель испанской фаланги, фашистской партии, расстрелянный республиканцами в 1936 году.

— Не знаю... Не разобрала.

Льямас успокоился.

— Ладно... извини. Ступай вниз, я сейчас приду.

Это был его первый припадок.

■

— Что касается больницы, можно быть совершенно спокойным.

— Но не все же врачи работают в больнице.

— Страховых я беру на себя.

Жандармский капитан был явно озабочен. Дело, на первых порах такое ясное, вдруг обернулось столь неудачно.

— Остаются частные врачи.

Снова пересмотрели список: Лопес, дон Браулио, Бунель...

— Дон Браулио подал прошение зачислить его в страховую контору в Хересе. Бунель тоже нуждается в моей рекомендации. Остается Лопес...

— Что тут можно сделать?

Доктор Теруэль задумался.

— Уж больно он странный человек .. несговорчивый какой-то.

— А разве он не работал как страховой врач?

— Ушел.

— По собственному желанию?

— По собственному, да еще, уходя, хлопнул дверью! Он, видите ли, утверждает, что медики созданы для того, чтобы лечить... и как попугай твердит, что, мол, надо уважать врачебную этику.

— А вы, капитан, не могли бы что-нибудь предпринять?

Капитан заерзал на стуле.

— Антонио и Негро люди безобидные. А вот Калеро — тот может напакостить. Знает законы...

— Стало быть, только один из трех может пойти к врачу.

— Нет! Слишком он напуган. Прошлое крепко сидит у него в печенках! Но он может насоветовать тем двоим И они его послушают.

Теруэлю пришла в голову блестящая мысль:

— Врачебное свидетельство заверяется в больнице, а там ни за какие коврижки его не заверят. У врача должен быть бланк, простая бумага тут не годится. Возможно, у Лопеса есть два-три бланка, не больше,— ведь он выписывает рецепты. А без врачебного бланка нужно заверять свидетельство в нотариальной конторе...

Дон Луис улыбнулся:

— Тогда беспокоиться нечего. Нотариусы — наши друзья. Они ничего не заверят, пусть у них попросит хоть сам Франко!

— В таком случае необходимо помешать Лопесу получить бланки.

Теруэль тут же позвонил в «Окасо», акционерное общество, обладающее полуфеодальной привилегией продавать в городе врачебные медицинские бланки.

— Не продавайте никому ни одного медицинского бланка вплоть до моего особого распоряжения.

— Слушаюсь, сеньор.

■ ■ ■

— Итак, сеньор капитан, теперь остается лишь отпустить задержанных,— проговорил алькальд.

Начальник участка вздохнул. Так хорошо начали дело, и вот кадисское начальство все безнадежно испортило.

— Отпустим их на все четыре стороны!

— Надеюсь, нотариусы, ни Хуан Карлос, ни Алонсо, не подложат мне свиньи,— сказал Теруэль.

— Их предупредили. А Санлукару ничего не сделается, если он один день поживет без нотариуса,— успокоил его алькальд.

Капитан позвонил в казарму.

— Если я пойду сам, придется давать слишком много разъяснений. А это может расшатать дисциплину.

Капрал Перес снял трубку.

— Но как же...

— Лично и немедленно! Дольше задерживать их нельзя.

Капрал счел за благо перепоручить эту миссию другому жандарму. Местные власти направились в кафе «Мартинес».

■

Как и каждый вечер, Дамьян Кура пил пиво. Водки дон Дамьян не принимал, его мутило даже от запаха алкоголя. С тех пор как его папаша купил «Эль Пунталь» у Инфантоны, он не вылезал из погребов. До поздней ночи торчал среди бурдюков, выслеживая всех и вся. Работники боялись дона Дамьяна еще пуще, чем его братьев, потому что он здорово насобачился подслушивать и подглядывать:

— Эй, ты! Что ты там делаешь?

— Да ничего, дон Дамьян.

— Но я-то плачу тебе за работу, а не за безделье. Коли тебе здесь не нравится, можешь брать расчет.

Как бы далеко ни находился хозяин, он отовсюду слышал бульканье потихоньку отливаемого сусла или шорох альпаргат.

Дон Дамьян развернул газету. Новости пустяковые. Бегло пробежал по заголовкам, на миг задержавшись на хронике боя быков.

Читал дон Дамьян с трудом по складам. Папаша позаботился о том, чтобы он с братьями научился как следует вести дела, а не тратил зря время над книжками, точно барчук.

Став помещиком и владельцем погребов, дон Дамьян не бросил торговли ослами. Появлялся на любой ярмарке, даже на самой захудалой, даже с самым подозрительным товаром. С годами он навострился лавировать среди двух потоков, во многом превосходя в этом искусстве своих земляков. Ему не нужно было участвовать в войне, чтобы выбиться в люди.

Дон Дамьян допил пиво. На церковных часах пробило шесть. Надсмотрщик крикнул работникам:

— Шабаш! Кончай работу!

Работники шеренгой выстроились перед хозяином.

Дон Дамьян запустил руку в карман.

— Нате и подписывайтесь!

Парень взял монеты и подмахнул расписку, составленную раз и навсегда, по единому шаблону:

«Мною получена сумма в 60 песет за день поденной работы в погребах акционерного общества Куры. Получил сполна, с расчетом согласен».

Подошла очередь Марсиано. Он еще никогда не работал здесь. Прежде, чем дать расписку, пересчитал деньги.

— Вы ошиблись. Здесь только пять дуро.

Все засмеялись. Дон Дамьян тоже.

— Помалкивай, сынок. Тот, кто был перед тобой, получил еще меньше.

Но Марсиано был не согласен с такой системой оплаты.

— А я не подпишу!

Дон Дамьян не потерял присутствия духа:

— Такой уж у нас обычай, в следующий раз получишь больше...

— Ну и что ж, что обычай. А мне заплатите, сколько я заработал!

К новичку подошел надсмотрщик:

— Не бузи. Веди себя тихо, и у тебя всегда будет работа. Так уж у нас платят. Это наш приварок, понятно? Много ли, мало ли, а кое-что домой уносим.

Марсиано швырнул деньги на землю и вышел из погреба. Дон Дамьян расплатился с остальными.

— А ты подожди!

Тобиас был доверенным лицом дона Дамьяна. Вторым после Тобиаса — надсмотрщик Фернандо.

— Чтоб его духа здесь больше не было!

— Я думал, он примерный парень. Мне его рекомендовали на их улице...

— Надо уметь выбирать! Идиотина!

Надсмотрщик опустил голову.

— Ладно, на первый раз прощаю. Поступай как хочешь, но чтоб никаких доносов в профсоюз!

Хоть Тобиас и не отличался сообразительностью, он сразу понял хозяина. Надсмотрщик тоже. Они вместе вышли из погребов.

Дон Дамьян налил себе еще пива. Более полутысячи работников без страховки, без авансов, без отпускных. Нагрянет инспекция, и все пойдет прахом! Пятьсот штрафов, пятьсот урезанных заработков... Система была налажена на славу, но до первой проверки — одна проверка, и все полетит вверх тормашками.

■

Капрал Перес вызвал надзирателя:

— Я пришел за этой троицей...

Надзиратель проводил капрала до камеры.

— Когда их приволокли, они едва дышали...

— Ничего, сейчас запрыгают!

■

Антонио пластом лежал на полу. У него разламывалось все тело. Холод цементных плит немного утишал боль. Рядом стояла бутылка с водой, оставленная надзирателем.

— Вот и все, что могу дать тебе без особого разрешения. Больше не положено.

Увидев капрала, Антонио закрыл глаза. Нет, это не сон. Капрал и в самом деле стоял в камере. Опять пришли за ним. Опять его подвесят на «качелях».

— Вставай!

Он попытался приподняться.

— Помоги ему!

Надзиратель осторожно, чтобы не причинить боли, поднял Антонио.

— Да не возись так! Я тороплюсь!

Калеро и Негро были не в таком плачевном состоянии. Их били не так сильно. Потому что от них меньше и ждали. А кроме того, они были опытны в таких делах и умели увертываться от наиболее опасных ударов. Они помогли другу добраться до двери.

— А теперь мотайте отсюда.

Но Калеро не тронулся с места. Негро и Антонио с изумлением уставились на него.

— Чего ты ждешь? Пойдем!

— А ну, подождите!

Капрал Перес не рассчитывал на такой оборот дела.

— Говорят вам, убирайтесь!

— А вы следом за нами? Думаете, не знаю, что такое «пристрелен при попытке к бегству»?

Капрал явно нервничал.

— Вы освобождены по приказу губернатора.

— Покажите приказ, и мы уйдем!

— Брось дурить! Убирайтесь сейчас же!

— Мы не пойдем, пока не увидим приказа.

Капрал Перес решил посоветоваться со своим начальством. Задержанные дожидались в тюрьме.

— Они думают, что мы их пристрелим при попытке к бегству.

Начальник жандармского участка крепко выругался.

— Нельзя показывать приказ! От такого приказа у них голова кругом пойдет!

— Что же делать?

— Сейчас я сам приду.

Уже смеркалось, когда наконец арестованным показали бумагу, которая гласила, что их «отпускают на свободу». Какую-то филькину грамоту. Ведь не так легко объяснить человеку, за что его упекли в тюрьму, когда он ни в чем не виноват.

■

Антонио пришлось нести на руках. Он едва мог двигаться. Бредил, горел в лихорадке. Калеро понял, что парню совсем плохо. Подхватив его, они вышли на площадь. На углу улицы повстречали Хуана с приятелями.

— Помогите нам!

Муло и Чирло понесли Антонио. Двое других помогали Калеро и Негро.

■

Маноло, сынишка Антонио, играл с приятелями, лепил куличи из грязи.

С тех пор как забрали отца, мальчуган глаз не поднимал. С одной стороны, ему было стыдно, что отца посадили в тюрьму. Взрослые твердили в один голос: за решетку сажают только плохих людей, преступников. Даже сам Антонио — и тот каждый раз повторял: «Будешь баловаться, попадешь в тюрьму», «Не будешь слушаться, позову жандармов», «Жандармы забирают плохих людей». С другой стороны, он боялся, что отца убьют Маноло любил отца и знал, что жандармы бьют заключенных. Ясное дело, отец ничего плохого не сделал... Ох, как хотелось ему повидать отца, спросить, в самом деле он плохой или это плохие те, кто его забрал.

— Глянь-ка!

Маноло обернулся. Какое-то чудище приближалось к их дому. И несли это чудище на руках два здоровенных парня, а за ними ковыляли еще два таких же чудища. Мальчик бросился домой, зарылся лицом в материнскую юбку.

— Ма-а, там какой-то черт!

Антонио вносили в комнату. Энкарна сразу узнала мужа. Ее уже предупредили. Жена знакомого жандарма сообщила ей, что Антонио били в тюрьме.

— Положите его сюда!

Энкарна откинула одеяло, поправила тюфяк. Она не плакала, хотя считала, что Антонио уже умер. Двое других тоже вошли в комнату.

— Мы его проводили. Сейчас пойдем домой...

Вид у них был не намного лучше, чем у Антонио.

— Отведите их скорей, и пускай сбегают за врачом.

— Уже пошли...

Несколько надежных пареньков бросились исполнять поручение.

— Одного врача на всех? Или трех врачей, как думаете?

— Трех врачей. Так скорей вылечат!

■

Самым верным местом была больница.

— Доктор здесь?

— Нет, в такой час никогда и не бывает.

— Сообщите ему. Человек при смерти.

— Чего же вы его не принесли сюда?

— Он очень плох.

Фельдшер поискал карандаш, чтобы записать адрес.

— На какой улице?

— Месон-дель-Дуке, в самом конце.

Фельдшер порылся в своих бумагах: «Антонио Кабеса-де-Вака. Месон-дель-Дуке».

— Доктора в Санлукаре нет.

— Есть же другие врачи...

— Они не могут. Заняты...

— Какой-нибудь, может, найдется?

— Конечно, но только не из нашей больницы.

— У нас нет телефона. Можно позвонить по вашему?

— Нельзя. Этот телефон для служебного пользования.

— Тогда позвоните сами... дону Висенте Лопесу, например...

— Я тоже не могу звонить.

■

Не оставалось ничего другого, как бежать в Нижний квартал.

— Ты беги к Лопесу. Мы к дону Браулио, а ты за Бланесом для Негро.

— Да он только и умеет, что роды принимать!

— Все равно! Если найдешь, тащи его к Негро.

■

Дон Висенто Лопес читал. Визиты, к счастью, закончились, и телефон помалкивал. Срочных вызовов не ожидалось. Лопес знал состояние здоровья чуть ли не всех жителей Санлукара. Апрель, как правило, бывал спокойным. Вдруг в дверь постучали. По стуку дон Висенте определил, что это жена. Он любил, когда она садится рядом на специально поставленном для нее кресле, но Кларе вечно казалось, будто она мешает мужу.

— Войди!

— Тебя зовут!

— Кто?

— Какой-то паренек из Верхнего квартала, по-моему, что-то срочное.

Дон Висенте встал.

— Принеси мой чемоданчик.

Чирло нетерпеливо топтался на месте.

— Доктор, он помирает.

— Кто?

— Антонио.

— Какой Антонио?

— Да с улицы Месон-дель-Дуке.

Дон Висенте вспомнил Антонио. Он часто приходил со своим сыном Маноло, хилым малышом, на лечение которого семья тратила немалые деньги.

— Что с ним?
— Побили!
— Кто побил?
— Жандармы!

Сюда к дону Висенте почти не доходили слухи из Верхнего квартала. Правда, пациенты болтали что-то о забастовке. Случайные фразы, которым он не придавал значения. Теперь он пожалел, что в свое время не слушал внимательнее.

Дон Висенте собрал все необходимое: бинты, спирт, камфорное масло.

■

— Доктор дома?

Служанка выглянула за решетку сада, не открывая калитки.

— Кому нужен?
— Больному.
— А где больной?
— На улице Месон-дель-Дуке.
— Сейчас погляжу.

Служанка обшарила весь дом. Наконец нашла хозяина. Он сидел в погребе и измерял крепость сусла. Сорок или пятьдесят мехов, купленных по случаю для перепродажи.

— Меня нет! Нет ни для кого! Хватит консультаций! Все равно платят одинаково, пойду я или нет! За лишние хлопоты не прибавят.

Служанка вернулась в патио.

— Он ушел!

Муло вспылил:

— Дерьмо поганое! Просто потому, что мы бедняки! Приди к нему кто с тугой мошной, сразу побежал бы!

Служанка только плечами пожала:

— А мне-то ты чего говоришь!
— Передай ему, у нас срочное дело, человек помирает.
— Не стану я ему ничего передавать. Только обругает еще из-за вас.
— Почему не станешь? Ведь ты такая же, как мы! Живешь на нашей улице!
— Больно-то вы мне нужны!
— Ну и сука!

Хуан дернул приятеля за руку:

— Брось! Пошли к другому!

■

Дон Висенте Лопес подошел к кровати.

— Экое варварство!

Начался кропотливый осмотр. Все лицо и тело было в ссадинах и кровоподтеках. Два ребра сломаны, ключица вывихнута. Дон Висенте подумал, что больного, как это ни печально, нельзя, по крайней мере сейчас, транспортировать.... Антонио стонал.

— Потерпи немножко, дружок.

Энкарна молча помогала врачу.

— Еще... марли...

■

Примчались парни.

— Во всем Санлукаре нельзя найти врача ..

Пако попросил их не кричать.

— Что, умер?

— Нет, его лечит дон Висенте Лопес.

Все спокойно вздохнули. Ну, уж если за дело взялся дон Висенте, все будет в порядке. У него умирают только глубокие старики.

■ ■ ■

Дон Луис укрылся в конторе Бласкеса. Здесь и нашел его профсоюзный босс. Алькальд распивал с приятелем херес, надеясь отрешиться от всех земных забот. Приход Мариано пришелся ему не по вкусу.

— Что слыхать? Надеюсь, никаких новых осложнений?

— Приказ губернатора. Мне придется завтра же ехать в Кадис вместе с делегатом от батраков, что работают на виноградниках.

— Это еще зачем?

— Не знаю... Сам удивляюсь.

— Тебе что-нибудь нужно для поездки?

— Машину... и делегата от батраков.

Дон Луис перепугался.

— А разве такого не выбрали?

— Представь себе, прошлогодние выборы были почти совсем легальные.

— Ну и что?

— Делегата зовут Антонио Кабеса-де-Вака.

— Не понимаю, при чем здесь фамилия,— вспылил дон Сесар,— помнится, у них большая семья, больше нам о них ничего не известно!

Дон Мариано взорвался в свою очередь:

— Да вы что, забыли? Антонио Кабеса-де-Вака был задержан вчера гражданской гвардией!

— И сегодня утром подвергнут допросу?..

— Вот именно!

■

Калеро и Негро смыли с лица грязь и кровь.

— Как-то наш Антонио?

— Плохо.

— Сходим к нему... Там дон Висенте, полечит и нас заодно. Мы уж как-нибудь, а вот Антонио нельзя оставлять без врача.

— Прежде всего надо еще кое-что сделать...

Калеро и Негро, в сопровождении Пелао, Муло и Хуана, отправились в суд.

— Говорю тебе, не время сейчас.

— Разоблачить мерзость всегда время. Если что не так, увидим.

■

— Сеньор судья у себя?

— Одну минутку.

Служанка закрыла дверь, оставив батраков стоять на улице. Тут не контора, а жилая квартира, можно и не впускать, служанка знала это назубок.

— К вам пришли какие-то. Двое из них побитые.

— Ты их знаешь?

— Одного зовут Понсе, по кличке Негро. Он живет на нашей улице.

Судья сверил данные. Луис Понсе только что выпущен из тюрьмы.

— Скажи, чтобы приходили завтра.

Служанка передала поручение хозяина. А дон Альберто снова погрузился в размышления. Этот день он посвятил воспоминаниям о тяжелых мытарствах Иисуса Христа, его хождению от Каифы к Пилату. Такова была излюбленная тема его размышлений. От мысленного созер-

цания неправедных судей у санлукарского судьи становилось как-то легче на душе.

Служанка вернулась.

— Говорят, что, если вы их не примете, они немедленно отправятся в Кадис.

— Пусти их!

Судья поудобнее уселся в кресле. Батраки вошли в комнату, предводительствуемые служанкой.

— Можно сесть? — спросил Калеро, еле державшийся на ногах.

— Будь я обыкновенным человеком, не облеченным властью и саном, я разрешил бы вам сесть, но из уважения к моему званию вы обязаны стоять передо мной.

Калеро и Негро оперлись о плечи друзей.

— С какой целью вы пришли?

— Сделать заявление.

— Сейчас не время. Приходите завтра.

За всех заговорил Калеро:

— В нашем городе, где живет сорок тысяч человек, при суде должен быть дежурный чиновник. Если ваша милость скажет нам, где мы можем его найти, мы не станем вам мешать.

Судья закашлялся.

— Должен быть, но, видно, его нет. Значит, мы имеем право сделать вам заявление. Если вы не захотите принять его здесь, мы воспользуемся нашим правом и поедем в столицу и там заявим, что в Санлукаре не смогли сделать этого не по нашей вине.

— А ты, как я посмотрю, законы знаешь.

— К несчастью, ваша милость, пришлось их изучить.

Судья снова заперхал:

— Ты прав, у нас должен быть дежурный судья. Но здесь мой дом, поэтому попрошу вас пройти в зал суда и подождать там.

— Хорошо, сеньор.

Калеро тяжело рухнул на деревянную скамью.

Судья кликнул служанку:

— Пускай немедленно разыщут секретаря. Достать его хоть из-под земли.

Потом поднял телефонную трубку.

— Отыщите алькальда и соедините меня с ним.

Телефонистки обзвонили все городские бары. В баре Колумба им сообщили, что алькальд только что вышел в сопровождении дона Сесара.

— Сеньор алькальд дома?

— Кто его спрашивает?

— Судья!

— Одну минуточку.

Дон Луис подошел к телефону.

— Они пришли делать заявление.

— Что же вы думаете предпринять?

— Я не могу вышвырнуть их вон, они готовы на все. Кроме того, среди них есть один, который достаточно хорошо разбирается в законах.

— Надо найти выход.

— Ты уверен во врачах и в нотариусах?

— Безусловно уверен!

— Тогда не волнуйся. Я все улажу.

Судья стал дожидаться секретаря. Не желая терять напрасно время, он прочитал еще несколько главок из своей любимой книги — вдохновляющего источника справедливости.

■

Дон Висенте закончил перевязку. Вымыв руки в тазике, который подала ему Энкарна, позвал Пако:

— Ступай к сеньору нотариусу и скажи ему: пусть придет составить акт. Я зову его как врач.

— А если его нет дома?

— Тогда пойдешь к другому, к старику.

■

Судья положил на край стола свои книги. Справа за пюпитром, на который была водружена пишущая машинка, устроился секретарь. Пятеро жалобщиков разместились в середине зала.

— Начнем по порядку. Кто будет делать заявление?

Калеро и Негро выступили вперед.

— Имя, фамилия, особые приметы, номер удостоверения личности.

У Негро удостоверения не было.

— В таком случае дальнейший ход вашему заявлению дать будет трудно.

Разговор этот пришелся не по душе секретарю. Он понимал, что дело может принять совсем иной оборот, и тогда всем им не поздоровится.

Калеро отрезал:

— Это не важно, сеньор. Его могут только оштрафовать. Адреса и фамилии — вполне достаточно. Зато у других все бумаги в порядке.

Речь шла об удостоверении личности. В городишке, где социальное страхование существует лишь в зачаточном состоянии, местные власти щедро раздают розовые карточки, и хотя они не имеют никакой цены, обладатель такой карточки свято верит в то, что он якобы имеет право на медицинскую помощь.

— На кого делаешь заявление?

— На сеньора старшину гражданской гвардии нашего участка, на капрала Переса и солдата Нуньеса.

— В чем ты их обвиняешь?

— В плохом обращении.

— Доказательства?

Негро стянул с себя рубаху, обнажив спину, всю в запекшейся крови и рубцах от ударов плеткой.

— А кто может подтвердить, что это сделали солдаты гражданской гвардии? Может, тебя разукрасили в уличной драке или с тобой приключился несчастный случай.

— У нас есть свидетели.

— Прекрасно. Представьте их.

— Вот эти трое. А если хотите, и еще приведем! Весь город знает.

Судья поднял руку.

— Нет, нет. Не надо.— И, обращаясь к свидетелям, добавил: — Вы сами видели? Только хорошенько подумайте. Значит, вы своими глазами видели, как гражданские гвардейцы избивали этих сеньоров?

Заговорил Пелао:

— Когда их били в конюшне, нас там не было, но мы знаем, что их били.

— И именно те, кого они назвали?

— Да. Всегда бьют одни и те же.

— Я спросил вас: «Видели ли вы своими глазами», вы ответили, что не были в конюшне, значит, не могли ничего видеть. Затем вы сказали, что «всегда бьют одни и те же», словно вы все время проводите в казармах.

Судья откинулся на спинку кресла и многозначительно помолчал. Вдруг он резко ткнул пальцем в сторону Хуана.

— Вот вы!

— Слушаю, сеньор.

— Вас когда-нибудь задерживали?

— Нет, сеньор.

— Тогда откуда же вам знать, кто именно из гражданских гвардейцев избивает заключенных? Отвечайте!

— Я... сеньор... да вот... эти...

Хуан совсем смешался. Пелао тоже было не по себе, но он не сдавался:

— Послушайте, сеньор судья. Я был вчера вечером вместе с Антонио, когда его схватили, только мне удалось убежать. У Антонио не было и царапины, а сегодня я повстречал его у самых тюремных ворот. Его отделали еще почище, чем этих двух. Он еле дышит. Не думаю, чтобы его могли так измолотить другие заключенные, да и с лестницы он не падал, потому как повреждения тогда совсем другие бывают. Удивительное дело! Неужто все трое сразу скатились с тюремной лестницы?

Судья добродушно улыбнулся. Добродушие — самое действенное оружие с простолюдинами.

— Весьма похвально, что вы приводите столько доказательств как в защиту одного, так и другого. Но вы не были ни в казарме, ни в тюрьме. Однако вы утверждаете, что вам известно, как все произошло, и претендуете на роль свидетелей. Нет, нет... это противоречит закону.

Калеро веско возразил:

— Разрешите, ваша милость, заметить, что сейчас не судебное разбирательство. Мы пришли сделать заявление или, вернее, стараемся его сделать. А для этого достаточно самого потерпевшего. Если у него имеются свидетели, хорошо, но и без них на худой конец можно обойтись. Кроме того, у нас есть два свидетеля, как и положено по закону. Вот этот человек и я видели, как били Антонио, а Антонио и он видели, как били меня...

Дон Альберто почувствовал, что его идеально налаженная система начинает сдавать. Этот батрак не похож на других. Мысленно судья обругал своего дружка, начальника жандармского участка, за неблагоразумие. Ведь всем известно, что можно избить так, чтобы не оставалось следов.

Жестом он выпроводил секретаря. Вместе с заявителями спустился с помоста. Подведя их к красному дивану, стоявшему в глубине зала, предложил сесть. Заявители сели.

— Хотите сигару?

Калеро взял. Остальные последовали его примеру.

— Давайте рассмотрим дело спокойно и как положено. Сделав заявление, вы ничего не добьетесь. Как вы сами понимаете, гражданская гвардия создана для поддержания порядка и действует на основании специальных законов, о которых вы не слыхали и которые не оглашаются, но тем не менее существуют. Если сеньор старшина счел необходимым немного проучить вас, чтобы наставить на путь истинный, это его право.

Калеро перебил судью:

— Нет, сеньор, закон гласит, что арестованных нельзя бить и, кроме того, нельзя держать в заключении более семидесяти двух часов без суда и следствия. Нас же двоих продержали несколько дней, и вдобавок зверски избили.

Судья улыбнулся:

— Но есть еще и другой закон. Местные власти имеют право вре-

менно задерживать лиц, которые могут представлять опасность для общественного порядка. Вот поэтому вас и задержали.

— Допустим, но зачем же было нас так избивать. Ведь Антонио избили до полусмерти.

— Ну, это уж преувеличение!

— Пойдемте посмотрите сами!

— Не могу, ибо вы совершенно справедливо заметили, в городе должен быть дежурный судья. Вот я и исполняю его обязанности.

Калеро едва сдержался.

— Так вот, дети мои. Думаю, лучше всего будет забыть этот случай и простить обиду, как повелел нам Иисус Христос.

Пелао вскочил с дивана.

— К чертовой распраматери вашего Христа! Мы и так расплачиваемся за него голодухой и болезнями, а теперь нас еще во имя его дубасят. Хватит его славословить и превозносить! Или Христос един для всех, или пускай убирается подальше! Он завещал «не убий» и «поступай с ближним так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Отлично! Мировой парень! А здесь, где все его так обожают и такие все благоверные католики, мы мрем от голодухи и нищеты.

Судья переменился в лице.

— Да ты знаешь, за такие слова я сейчас же могу отправить тебя в тюрьму?

Пелао пожал плечами:

— А-а, все равно! Одним произволом больше, одним меньше! Все мы туда попадем! Но не сдобровать и тем, кто нас притесняет.

Судья несколько смягчился.

— Ну, ладно. Прощаю тебя. Я понимаю, что ты человек молодой, горячий и еще не можешь разобраться, почему власти пошли на такой шаг. Калеро, Негро и Антонио побили не для того, чтобы причинить им вред. Напротив! Власти хотели оградить всех остальных жителей, чтобы ты и твои приятели могли без опаски идти на работу, чтобы никто не мешал дальнейшему прогрессу Испании и, самое главное, чтобы сами они исправились и вступили на путь вечного спасения.

Пелао не выдержал:

— Распротак вашу душу! Значит, для того, чтобы мы ишачили! Вот, вот, именно для этого самого! И чтоб мы дохли по своим конурам за десять поганых монет!

Калеро смекнул, что терпение судьи вот-вот истощится.

— Пелао!

— Что?

— Отправляйся-ка домой!

— Почему?

— Потом скажу!

— А если я не желаю?

— Нет, пойдешь!

Калеро пользовался среди батраков неоспоримым авторитетом. А Пелао привык слушаться. Сам не зная как, он вдруг очутился на улице, ведущей к дому. Но на полпути свернул к дому Антонио.

■

— Оба нотариуса уехали из города, дон Висенте.

Доктор дон Висенте снял очки.

— Так я и знал. Здесь где-нибудь поблизости есть телефон?

— В церкви!

Доктор улыбнулся:

— Ну, этот мне не годится...

— Может, вам разрешат позвонить из бара Кайетано.

Дон Висенте направился к бару.

— Соедините меня, пожалуйста, с доном Хуаном Карлосом.

Телефонистка ответила:

— Его нет в Санлукаре.

— Сеньорита, я и не собирался с ним говорить, мне нужна его жена.

— Одну минуточку.

Кайетано велел посетителям разговаривать потише. Когда они узнали, что речь идет об Антонио, все уважительно замолчали. Было слышно, как жужжит под потолком муха.

— Сеньора дома?

— Кто ее спрашивает?

— Педро Домэк из Хереса.

— Сейчас позову.

— Беатриса?!

— Это ты, Висенте?! А я-то думала...

Голос у него дрогнул. Он не впервые прибегал к подобным уловкам, но никогда не делал этого так открыто.

— Мне известно, что твой муж дома.

— Нет... он уехал из Санлукара.

— Второй нотариус тоже, по-моему, уехал.

— Не знаю. Звонили насчет завещания в Чипионе. Вот он и уехал, дело срочное.

— В котором часу?

— Не помню...

— А ты знаешь, что по закону запрещено оставлять город без нотариуса? Имеются учреждения, которые могут наказать за такого рода промахи.

— Вот что, Висенте. Скажи об этом сам завтра Хуану Карлосу. Хорошо?

Беатриса повесила трубку.

Дон Висенте понял, что в Санлукаре дня два не будет нотариуса. Он позвонил в «Окасо» и попросил бланки.

— Для рецептов?

— Нет... другие.

— Мы сделали заказ, но бланки еще не поступили.

— Мне они нужны немедленно. Сообщите, как только получите.

— Обязательно, дон Висенте. Ни за что не забудем.

Доктор вернулся к Антонио. Слишком он был плох, такого надолго одного оставлять нельзя.

■

Калеро томился от скуки. Ему страшно хотелось прилечь, а не слушать эту белиберду. Но судья говорил и говорил, то предлагал закурить, то читал какие-то стихи из библии, то давал советы, то поучал, но ни словом не обмолвился об их заявлении.

Секретарь заснул в зале ожидания. Хуан и Негро непрестанно зевали.

— Ну ладно, дети мои, принимая во внимание столь поздний час, отправляйтесь-ка по домам спать. Обдумайте все хорошенько. И если решите, приходите завтра.

— Нет, сеньор. Заявление будет сделано сегодня!

— Но ведь один из твоих друзей ушел!

— Да вы же сами говорили, что он не годится в свидетели.

Судья кликнул секретаря:

— Запиши то, что тебе скажут эти сеньоры.

Калеро говорил твердым, решительным голосом. Через час дело бы-

ло закончено. Перед тем как подписать, он внимательно перечитал заявление.

— Доброй ночи, дон Альберто.

— Спокойной ночи.

Из суда батраки сразу отправились к Антонио.

■

Секретарь испуганно косился на только что составленное заявление. Никогда еще ему не приходилось писать сразу столько правды, столько разоблачений.

— Что с этим делать?

Судья собрал листки.

— Можешь идти. Думаю, тебе уже пора.

Секретарь смекнул, что он лишний.

— Спокойной ночи, дон Альберто.

Судья тщательно перечитал заявление еще раз. Ясно одно: рабочий люд начал разбираться в законах. Если эта бумага попадет наверх, она может произвести много шума, во всяком случае достаточно для того, чтобы половина санлукарских властей полетела со своих мест.

Усталым жестом судья разорвал заявление пополам, потом на четыре части, потом на восемь... и выкинул обрывки в корзину для бумаг.

■ ■ ■

Дон Мариано явился вместе с алькальдом доном Луисом в помещение профсоюза. Одну за другой они пересмотрели все записи и протоколы о выборах делегатов. В действиях Антонио нельзя было усмотреть ни единой зацепки, чтобы аннулировать его избрание.

— А в случае болезни кто его заменяет?

— Заместитель. Его выбирают из выборщиков.

— А кто выборщики?

— Хуан Кабеса и Эль Пелао с виноградников. Тоже забастовщики!

— Выходит, получилась осечка.

— Да не совсем. Можно найти парочку посговорчивее. Тобиас — он работает у Дамьяна Кура и Пакорро — надсмотрщик дона Леона.

Дон Луис этих людей не знал.

— А какой, по-твоему, лучше?

— Тобиас. Пакорро недавно поколотили его же батраки, и он донес на них в полицию. В этом деле он нам не помощник. Не тот, как говорится, кандидат. Все должно быть без сучка, без задоринки.

Но прежде чем назначить заместителя, следовало как-то уладить дело с Антонио. Ни алькальд, ни профсоюзный босс не знали, как за это взяться.

Самым большим докой по части законов в городе считался судья. К нему они и направились.

— Дон Альберто дома? — спросили они открывшую им служанку.

— Нет. Он в суде с какими-то батраками, которые пришли делать заявление...

Посетители вошли в дом.

Служанка знала алькальда в лицо, поэтому безбоязненно оставила их в гостиной. Конечно, могут что-нибудь стянуть. Недаром говорят, что вор у вора дубинку украл... В глазах служанки все государственные служащие были ворами, что, однако, не мешало ей глубоко почитать их.

Дон Мариано успел выкурить трубок пять, а дон Луис — хорошенько выспаться. Судья застал его сладко похрапывающим.

Дон Мариано встал, поздоровался.

— Почему так поздно?

— Дело уж слишком срочное...

■

Антонио все не приходил в себя. Он задыхался. Дон Висенте затребовал в больнице аппарат с кислородом, но ему отказали.

— Он почти пустой, — сознался служитель.

Надо было раздобыть машину. Разбудили Пиоло.

— Поезжай-ка в Херес за кислородом.

Пиоло быстро оделся.

— А где это покупается?

— Спроси в аптеке.

На всякий случай дон Висенте дал ему рецепт и подробно разъяснил, как поступить. Пиоло аккуратно спрятал рецепт в бумажник. Поручение-то важное.

Перед уходом он бросил взгляд на Антонио.

— Он очень плох, да, дон Висенте?

Доктор не ответил. Энкарна тоже. Манолито, маленький несмышленыш, заснул, обняв ноги отца.

— Чтоб они сдохли!

Все молча согласились с этим пожеланием. Все знали, о ком шла речь.

■

— Очень просто. Достаньте справку о болезни, — посоветовал судья.

— Кто ее должен дать?

— Страховой врач.

Позвонили Теруэлю. Теруэль взял на себя труд поговорить с Бланесом.

— Напиши, не осматривая больного. Грипп или ангина, какая разница?

Бланес не соглашался. Дело явно подозрительное, не дай бог еще нарвешься на неприятность.

У доктора Бланеса, в отличие от дона Висенте, было достаточно свободного времени, чтобы быть в курсе всех городских слухов. Он знал, что гражданские гвардейцы жестоко избили батраков, что центральное правительство прислало какие-то странные приказы и что арестованных срочно выпустили на свободу.

— А это не один из тех, кого выпустили?

Теруэль солгал:

— Да нет, совсем другой! Это батрак Сесара Бласкеса, он работает в Кампо-де-Андевало, и хозяин не хочет привозить его в город.

Бланес пожал плечами. В конце концов махинации властей его не касаются.

— Хорошо. Пришли запрос в письменном виде, а я передам справку с посыльным.

Теруэль обещал прислать, но прежде позвонил в суд:

— Могут у меня возникнуть неприятности?

Судья едва его уговорил. Хотя в душе понимал опасения Теруэля: с письмами всегда получаются неприятности. Дон Альберто послал за секретарем.

■

Секретарю суда Касимиро Руису ужасно хотелось спать, но его жена Регла заставила мужа рассказать про сцену в суде во всех подробностях.

Под этот успокаивающий рассказ супруги мирно заснули.

— Дон Касимиро! Дон Касимиро!

Регла вскочила.

— В чем дело?

— Сеньор судья срочно вызывает дона Касимиро.

Регла вместе со служанкой едва растолкала мужа. Касимиро с трудом открыл глаза.

— Опять?

■

Беатриса вернулась в гостиную. Хуан Карлос дремал подле камина. Это был молодой человек с лицом красавца киноактера.

— Звонил Висенте Лопес... нужно составить нотариальный акт.

— Ты ему сказала, что я уехал?

— Конечно!

— Спрашивал он про Паломо?

— Они уже ходили к нему домой. Но, разумеется, не застали. Я сказала, что он, наверно, поехал составлять завещание.

— Ладно.

Нотариус прикрыл глаза. Говорить ему не хотелось. Как неприятно, что в это дело ввязался Висенте Лопес. Висенте здесь чужой, приезжий. У него обо всем свое, особое мнение, и он прекрасный врач и прекрасно знает законы. Того и гляди, выкинет какую-нибудь штуку. Конечно, человеку, не занимающему высокого поста и не обладающему властью, трудно заставить себя слушать. Даже если его жалобы дойдут до самого верха, никто не станет их читать, никто не примет их в расчет.

И все-таки неприятно, что заварилась эта каша — и арестованные и забастовка. И вдобавок еще этот Висенте Лопес.

Хуан Карлос встал. Остаток ночи он посвятит изучению вопроса о том, как можно испортить карьеру врача и отравить ему существование.

■

Секретарь суда поднимался по переулку, считая про себя ступеньки. Ох, не по душе ему это поручение! Все равно что лезть волку в пасть. Кого из врачей он застанет у постели Антонио? Ясно: дона Висенте!

Добравшись до места, он сразу заметил, что на улице творится что-то неладное. Мужчины нервно курили, прохаживаясь взад и вперед. Перед домом, в окнах которого горел свет, стояла группа людей. О чем-то судачили женщины, сбившись в кучку, кое-кто узнал его. И разом наступила тишина. На него смотрели, не скрывая ненависти, сверкавшей в глазах.

Касимиро шел, не оглядываясь по сторонам.

— Здесь живет Антонио Кабеса?

Висенте Лопес, откинув занавеску из мешковины, служившую дверью, вышел в патио.

— Да, сеньор.

Поручение секретарь исполнил, но уходить сразу было бы неблагоразумно; тогда все догадались бы, зачем он приходил.

— Я хотел бы поговорить с его женой.

Дон Висенте не тронулся с места.

— Сейчас нельзя.

— Я пришел по поручению судьи.

— Зачем?

— По делу, которое касается ее лично.

Дон Висенте позвал Энкарну. Касимиро попросил, чтобы их оставили наедине.

— Очень сожалею, но не вижу в этом необходимости.

Секретарь закашлялся:

— Я пришел... узнать, как чувствует себя ваш муж. Сеньор судья интересуется его здоровьем.

— Сперва его чуть не убили, а теперь об его здоровье заботитесь! Сволочи вы, чтоб вам было так, как моему Антонио!

Секретарь оглянулся. Его окружили со всех сторон. Любое неосторожное слово — и взрыв неминуем. Любая фраза или жест доктора — и на него набросятся. Секретарь струхнул. Лучше поскорее убраться.

— Ну, хорошо... сеньоры... раз вам ничего не надо... А если что понадобится, сообщите дону Альберто, он будет рад помочь вам.

Муло вышел вперед.

— Чему помочь? Околеть?

Секретарь повернулся. Медленно попятился, переступил порог. А очутившись на пустынной санлукарской улице, побежал. Бежал, не оборачиваясь, хотя слышал за спиной топот ног, он боялся одного — оступиться и упасть.

■

Тобиас и Фернандо притаились в проулке Вот уже несколько часов, как они ходили за Марсиано из пивнушки в пивнушку. Кто-то приближался. Они забились в угол подъезда.

— Доброй ночи.

Фернандо что-то пробурчал в ответ.

— Это Пиернас. Думаешь, узнал нас?

Фернандо не ответил. Кто его знает? Хоть и темно, но у крестьян зрение хорошее.

— Сколько еще до закрытия?

— Час, по крайней мере.

Марсиано сидел больше получаса в баре Кармело.

— Выпивает, наверно?

— Не думаю, у него ж ни медяка...

— Неплохо бы его напоить.

— А как?

— Пригласим — и все!

Фернандо фыркнул:

— Ну и сказанул! Самое главное, чтобы нас с ним никто не видел.

■

— Ну, кто?

Секретарь никак не мог отдышаться после бега.

— Дон Висенте Лопес.

Дон Луис стукнул кулаком по столу.

— Так я и знал!

— Что же делать?

Судья пожал плечами. Если выбирать между профсоюзным боссом и алькальдом, то, конечно, алькальд более видная фигура.

— По правде говоря, для тебя, Мариано, важнее, чем для нас, уладить это дело. Избивали-то их с твоего разрешения.

— Но я ведь ничего не знал!

— А тебе следовало бы знать. Антонио в твоем профсоюзе.

Дон Мариано понял, что на него пытаются взвалить всю вину.

— Ну, нет! Это вам так не пройдет! Ты судья, и ты обязан знать, что делается в тюрьме, а ты, Луис,— как исполняется твой приказ об аресте.

Да, у всех у них рыльце в пушку. Даже у губернатора.

— Есть только один путь. Достать медицинское свидетельство, не прибегая к помощи Лопеса.

Секретаря отрядили на розыски доктора Теруэля.

■

В доме директора больницы горел свет. Дон Бартоло Теруэль с беспокойством ожидал звонка судьи. Зазвенел колокольчик. Доктор потянул за проволоку, чтобы открыть калитку.

— Просили передать, чтобы вы пришли в суд. Они там.

Дон Бартоло надел пиджак. Перед уходом прихватил парочку бланков.

— Сбегай за доктором Бланесом. Он живет на Мадре-де-Дьос.

— А если он уже спит?

— Стучи, пока не откроют. И обязательно приведи его. Если понадобится, передашь ему эту записку.

Положив бумагу на спину секретаря, Теруэль нацарапал несколько строк: «Это приказ. В ваших же интересах прийти к нам немедленно».

Доктор Теруэль шагал в одиночестве. Шаги его гулко отдавались на пустой улице. Мимо быстро прошли двое батраков.

— Доброй ночи.

Батраки подняли голову, узнали его, но не ответили.

■

Марсиано тянул вино маленькими глотками. Его угощал Кармело, а Кармело парень хороший. Три года он провел в эмиграции. Натерпелся немало, зато кое-что накопил и открыл бар. Теперь он жил спокойно, но про плохие времена не забывал. Если у него заводился лишний медяк, он всегда с готовностью предлагал его нуждающемуся. Вот почему люди говорили, что никогда не бывать ему богатым.

— А к чему копить?! Не возьму же я их с собой в могилу...

Марсиано рассказал, что приключилось с ним в тот вечер в погребах. Все внимательно слушали. Батраки знали, что дон Дамьян и его братья платили «в лапу», но никогда не слышали, что можно на них пожаловаться в профсоюз.

— Завтра же подавай заявление. Если хочешь, я пойду с тобой.

За границей Кармело научился многому.

— Выступай мы заодно, как это делают за границей, нас голыми руками не взять бы.

— А у нас рыпайся не рыпайся, все равно ничего не добьешься.

— Потерпи, парень. Еще ничего не кончено, есть у нас такие, которые добьются и восьмидесяти песет.

— Правильно! Мы все этого добьемся!

— Поверишь мне еще склянку?

Кармело кивнул:

— Я угощаю! Может, хоть это прочистит тебе мозги.

■

Доктор Бланес явился вслед за секретарем.

— Ты свободен, Касимиро.

Секретарь слегка поклонился:

— Я могу идти домой?

Собравшиеся переглянулись, словно советуясь. Да, он может уходить. Дон Мариано запер дверь и даже ключ спрятал в карман.

— Слушаю вас.

— Надо выписать медицинскую справку.

Бланес улыбнулся. За последние дни он многому научился.

— Это опасно. Я должен сначала увидеть больного.

— Я же сказал, что он на виноградниках.

— Ну так съездим на виноградники!

В разговор вступил дон Луис:

— Если ты еще не сказал ему правды, лучше скажи сейчас.

Теруэль не любил, когда его ставили в неловкое положение перед подчиненными.

— В конце концов единственному, кому плевать на все эти дела, так это мне. Если вы решили мной командовать, я пошел! И не рассчитывайте на помощь врачебной коллегии.

Надо было срочно менять тактику. Судья понимал это лучше, чем кто-либо другой.

— А о чернявом помнишь?

Теруэль побледнел.

— О чернявом? О каком чернявом?

— О том юноше, который умер от перитонита в приемном покое больницы... Кажется, у меня где-то сохранилось заявление его родителей... Ты же знаешь, я люблю сохранять бумаги...

— Не знаю, у меня не было ни одного такого больного...

— Звали его Луисано Ордоньес. Низенький, смуглый. Было ему двадцать два года. Его принесли с приступом. Ты сразу же установил диагноз. Но у мальчишки не было ни страхового полиса, ни страховой карточки... Ты потребовал от родственников пятьсот песет за операцию. Это же идиотство, сразу было видно, что таких денег у них нет. Мать и братья больного бросились искать деньги, а когда вернулись, было уже поздно...

— Это был не мой больной. Я только поставил диагноз.

— И все же это твой больной. Ведь ты директор больницы. Ты обязан был заставить врача сделать операцию или выгнать его из больницы и заявить о нем во врачебную коллегию.

Теруэль решил было свалить вину на подчиненного, но вовремя прикусил язык.

— Ну, если мы начнем все вспоминать...

— Какую же болезнь мы ему напишем?

— Кажется, он серьезно...

— Туберкулез?

— Нет! Тогда его немедленно следовало бы отправить в санаторий.

— Сильный приступ желтухи?

Теруэль согласился. Желтуха часто дает летальный исход.

■

Кармело посмотрел на часы.

— Пора закрывать. Меня на этой неделе уже два раза штрафовали. Со мной они не шутят.

Посетители торопливо допили пиво. Через пять минут пивная опустела. Марсиано побрел домой. Тобиас и Фернандо пошли следом за ним.

— Подойдем к нему на улице Трасбольса... когда никого не будет.

— Слишком близко!

— Да у него дома давно уже спят. Не сидят же они у окошка, поджидая его.

Тобиас и Фернандо были в альпаргатах. Но им чудилось, будто звук их шагов разносится по всей улице. Они пошли на цыпочках.

■ ■ ■

— Эй, Марсиано!

Марсиано обернулся.

— Добрый вечер.

— Мы хотим с тобой поговорить...

— А я нет. Я со всяким дерьмом не разговариваю.

— Здорово ты отбрил его сегодня. Давно уже никто дону Дамьяну так не перечил.

Марсиано смягчился:

— Чего вам надо?

— Пошли к Трипе. Знаешь его? Тот, с которым ты сусло переливал. Все вместе и напишем заявление на дона Дамьяна. Мы будем твоими свидетелями.

Марсиано, доверчивому и доброму малому, и в голову не пришло, что это может оказаться ловушкой. Напротив, он гордился собой и своим поведением. Оказывается, его протест пробудил в людях совесть и достоинство.

— Пошли!

Они миновали площадь Пиохо. По улице, ведущей вниз, добрались до кинотеатра. Поблизости находилась лесопилка Гомеса и дом Пирри.

— Давай сюда, здесь ближе.

Оставили позади Серро-Фалон. Немощеная проселочная дорога змеилась среди больших луж. Шмыгнул какой-то зверек, где-то далеко завыла собака. Все как в любом предместье. Поэтому Марсиано и не беспокоился.

— А где он живет?

— Там, у берега.

Все трое шагали молча. Вдруг Фернандо резко остановился.

— Там, внизу, кто-то стонет. Похоже, мальчонка.

Марсиано приложил ладонь к уху. Все трое прислушались.

— Ничего нет. Это тебе померещилось.

— Да клянусь, я слышал.

— Теперь и я слышу. А ты? — поддержал его Тобиас.

— Пойдем глянем!

Марсиано перемахнул через невысокую ограду. Спустя несколько секунд он уже был на берегу и, всматриваясь в мрак, старался разглядеть хоть что-нибудь. Тобиас и Фернандо подбежали к нему и встали по бокам.

— Ничего не вижу.

Два недруга навалились на Марсиано. Он попытался отбиться. Но Фернандо сильно ударил его по голове. Марсиано рухнул.

— В воду!

От жгуче холодной воды Марсиано пришел в себя. Инстинктивно замахал руками, стараясь схватиться за камыш, росший на берегу. Скользкое вязкое дно уходило из-под ног.

— Сволочи!

Тобиас и Фернандо спрятались в зарослях камыша.

— Не видал ли кто?..

Напрасные опасения! Дорога проходила слишком далеко. Оттуда их увидеть не могли. Марсиано звал на помощь. Ему никак не удавалось добраться до твердого дна, а в этой густой жиже плыть было невозможно. Оставались считанные секунды. Трясина засасывала его, как засасывает она все свои жертвы. Без посторонней помощи живым отсюда не выберешься.

Вода вокруг стала закручиваться воронкой. Марсиано почувствовал, как что-то тянет его вниз, в глубину. Теряя силы, он упал в черную жижу... Черную пропасть...

Фернандо палкой придавил плечо Марсиано.

— Смотри осторожней, еще уцепится.

— Нет, уже не уцепится.

Они подождали еще немного. Тело медленно всплывало.

— Пошли!

Восточный ветер смел все следы с песчаного берега.

■

Подскакивая на поворотах, машина Пиоло влетела в городок.

— Эй, сопляк, всех нас передавишь!

Пиоло не отвечал. Медлить было нельзя. Не переставая сигналить, подкатил он к дому Антонио.

Несколько парней бросились ему навстречу. Баллон с кислородом весит немало. Его втащили в комнату.

— Дон Висенте здесь?

Пиоло не слишком доверял ученым людям. Может, этот самый аптекарь его надул.

— Все правильно... А где остальные детали?

Пиоло побежал к машине за пакетом. Дон Висенте подготовил баллон с кислородом. Антонио задыхался, не в силах побороть острую боль. Что-то нестерпимо давило грудь.

■

Дон Мариано вышел из конторы профсоюза с бумагой в кармане. Конверт он тоже сделал сам. Корзина для мусора была битком набита бумагой — доказательство его несостоятельности в роли машинистки. Впервые он признал, что печатать на машинке не так-то легко.

Прежде чем вернуться домой, он зашел на улицу Святого Георгия. В доме номер пять жил рассыльный из профсоюза. Дон Мариано постучал в маленькую дверцу, выходившую на лестничную площадку.

— Это выше. Третья дверь налево.

Женщина в одной комбинации проводила его. Нельзя же упустить случай заработать на чай. Минут пять они барабанили в дверь.

Чивато не был женат. Он жил со своей любовницей, которая, к счастью для дона Мариано, спала более чутким сном.

— Кто там?

— Разбуди Чивато! Срочно! Это я, дон Мариано!

— Эй, вставай! Пришел дон Мариано!

Чивато кое-как застегнул брюки на один крючок. Приоткрыл дверь. Дон Мариано протянул ему конверт.

— Отнеси сию же минуту!

Было три часа ночи.

— Сию минуту?

— Да, и без промедления! Это недалеко.

Дон Мариано ушел. Чивато вернулся в постель.

— Дуралей! Да ты на этом деле заработаешь!

— Не любитель я спешить.

Женщина с силой встряхнула его:

— А ну, иди!

Ему хотелось спать, ужасно хотелось спать.

Он вышел на улицу, протирая глаза. Небо прояснялось. Первые партии батраков потянулись на виноградники. Безработные еще не собрались на площади.

Чивато взглянул на адрес.

— Хорошенькое дело, недалеко!

■

Ирена услышала крик. Затем другой. Она высунулась в окно хибарки — маленький квадратик, пробитый в глиняной стене.

«На помощь! Помогите! Топят!» Сперва слышно было совсем ясно, потом голос затих, но Ирена еще различала отдельные слова. Девушка разбудила мать:

— Кто-то зовет на помощь в затоне Бринка. Кричит, что топят!

Пака села на кровати. Она тоже услышала крик и перепугалась не на шутку. Днем она продала четырех свиней. Про это знала вся округа. Может, это западня, кто-то решил заставить ее отпереть дверь и потом ограбить.

— Дверь хорошо заперла?

— Да...

— Погляди задвижку. И не вздумай отпирать!

Ирена послушалась.

— Заперто крепко.

— Вот и ладно. Ложись и не отпирай, даже если начнут стучать.

— Но, ма... Ведь там человек на помощь зовет.

— А ты не очень-то доверяйся людям!

Ирена нырнула в постель. Крики раздавались еще некоторое время. Потом все стихло. Девушке почудилось, будто крикнули еще раза два.

— Ма. Зовут!

— Потому-то и говорю: не отпирай!

■

Тобиас вошел, стараясь не шуметь. К счастью, в патио и на лестнице уже потушили свет. Он открыл дверь. Картонную дверь — на другую не хватило денег. Жена спала. Он разделся в темноте. Не стал зажигать лампу: как бы не заметили с улицы. Кинул одежду прямо в угол и зашлепал к кровати. Пустая бутылка гулко покатилась по полу.

— Вот дерьмо!

Тобиас замер, боясь пошевелиться. Слава богу, никого не разбудил. Толкнул жену в бок, очистил себе место на кровати. Жена, как всегда, была пьяна, а у пьяных сон тяжелый.

Было шесть утра, когда явился рассыльный Чивато. Проснувшись с восходом солнца, Тобиас услышал незнакомые шаги. Кто-то пересек патио... стал подниматься по лестнице... В дверь постучали. Тобиас заметался, не зная, куда спрятаться. Снова постучали. Альберто, меньшой, встал.

— Сейчас иду!

Тобиас сделал ему знак: не открывай, мол, но мальчуган не понял.

— Здесь живет Тобиас Бласко?

— Это мой отец.

— Передай ему!

Чивато отдал мальчику письмо. Спускаясь по лестнице, он подумал, что раз его послали так срочно, значит, надо было вручить письмо адресату лично. И он повернул назад.

■

Дон Дамьян проснулся на заре. Вся их семья просыпалась рано.

— Принеси кофе!

Жена исполнила приказ. Она была настоящей сеньорой, но умела угождать мужу. А у мужа свои привычки: «Подавать кофе да гладить брюки — вот чего нельзя поручать служанке». Поэтому донья Марсела сама по утрам подавала мужу кофе в постель.

Кухарка была уже на ногах. Сеньора тут же воспользовалась случаем и задала служанкам утреннюю взбучку.

— Сеньора, пришел Фернандо. Говорит, что ему надо поговорить с барином.

— Пускай подождет!

Донья Марсела доложила мужу о раннем визитере.

— Спроси его, не случилось ли чего плохого.

Жена снова спустилась вниз.

— Говорит, все в порядке.

— Тогда пускай отправляется в погреба и подождет меня там.

Фернандо спустился в погреб. Было рано, и он порядком устал. Залез в комнатку при кабинете, развалился в кровати самого хозяина. «Ночная работа» давала ему на это право. Теперь Фернандо знал: ругать его не станут и не посмеют выгнать на улицу. Мысль о том, что дон Дамьян будет опасаться его, простого надсмотрщика, доставила Фернандо удовольствие. Правда, перебарщивать не следует — ведь дон Дамьян способен на все. В любое время может превратить Фернандо в Марсиано, а эта перспектива ему совсем не улыбалась.

■

Тобиас взял голубой конверт. Наверно, повестка в суд. Быстро же раскрылось дельце! Он вертел в руках письмо, не зная, то ли прочесть его, то ли не мешкая улепетнуть куда подальше. По правде говоря, Тобиас едва умел читать, а просить соседей ему, по вполне понятным причинам, не хотелось.

В дверь снова постучали. Тобиас разбудил жену.

— Открой и узнай, чего надо.

Жена не спеша слезла с постели.

— Чего надо?

— Дома Тобиас Бласко?

— Тут он!

Дверь распахнулась настежь. Указательный палец очутился прямо перед его носом. У Тобиаса перехватило дух.

— Я по поручению дона Мариано, из профсоюза... Я тут принес письмо, очень срочное, а теперь пришел узнать, дома ли ты.

Тобиас перепугался еще сильнее. Машинально протянул письмо рассыльному:

— Прочитай!

Чивато с удивлением взглянул на Тобиаса: ну и темнота! Потом надорвал конверт.

— Здесь написано вот что: так как Антонио заболел, то тебя выбрали вместо него для поездки в Кадис, делегатом от профсоюза. Ты должен прийти на вокзал к одиннадцати часам...

Тобиас облегченно вздохнул.

— А что случилось?

— Ничего особенного, просто Антонио в тюрьме всыпали больше, чем надо, вот и все.

■ ■ ■

Было уже начало десятого, а явилось только пять человек. Надсмотрщик волновался.

— Где же остальные?

Подошел Пиохито.

— Не идут они... из-за Антонио...

Надсмотрщик шуток не любил.

— Вам платят, сколько вы просили! Нехорошо подводить дона Аурелио.

— Да нет, сейчас все будут... Мы пришли, чтобы вы чего не подумали... уж больно плох Антонио.

Надсмотрщик ничего не знал. Он слышал, что арестовали одного из его батраков, и подыскал на его место другого.

— Очень сильно избили... никогда еще так не били.

Надсмотрщик медленно стянул шапку.

— Ладно, ребята. Подсобим, чем сможем.

■

Судья сидел в зале и разбирал текущие дела. Нанесение оскорблений, драки, мелкие кражи. Словом, обычное утро, заполненное обычной нудной работой. Суд заседал только дважды в неделю. Ни в преступлениях, ни в показаниях не было ничего интересного.

Вдруг явился капрал Перес:

— Мне надо видеть дона Альберто.

Секретарь посмотрел на него в упор. Он всегда смотрел в упор на тех, кого считал ниже себя.

— А зачем тебе?

— Обнаружен труп. Надо бы доставить его в участок. Я снял первые показания.

Капрал Перес положил на стол протокол. Смерть — весьма любопытная штука, особенно когда ей сопутствуют загадочные обстоятельства. Секретарь вошел в приемный зал.

— Похоже, совершено преступление...

Дон Альберто поднял голову. Он томился от скуки, выслушивая свидетелей.

— Скажи капралу, пускай подождет.

Прием посетителей был отменен.

■

Тобиас курил, сидя на обочине тротуара. Он ждал дона Мариано. На соборе пробило половина двенадцатого. Тобиас прикидывал, сколько еще дней он сможет курить на деньги дона Дамьяна. «И смотри, никому ни слова». Тобиас и не собирался никому ничего говорить.

Солнце раскалило бетонный бортик. Тобиас встал и вошел в бар.

— Только не вздумай подать мне сусло! Мансанилью — и самую лучшую.

Бармен расхохотался:

— А чем платить будешь?

Тобиас протянул ему бумажку в тысячу песет. Присутствующие даже присвистнули.

— Банк, что ли, ограбил?

— Заработал... честно заработал.

Бармен посмотрел бумажку на свет. Нет, не фальшивая.

В двенадцать часов появился дон Мариано.

— Ты, Тобиас Бласко?

— Да, сеньор, к вашим услугам.

— Ну, лезь в машину!

Пиоло тер кулаками глаза. Он не спал всю ночь, а теперь еще предстояло катить в Кадис. Когда его вызвал дон Мариано, он отказался, но дон Висенте убедил его ехать. «Может, узнаешь что-нибудь новое. Нынче творятся всякие дела. Нам неплохо быть в курсе».

— Уж больно Тобиас паршивый человек,— запротестовал Пиоло.

— Значит, тем более тебе надо ехать. Тогда он нам не напакостит.

■

В кабинете губернатора шел спор. Присутствовали председатель совета провинции, помещик и виноторговец, алькальд и два наиболее влиятельных предпринимателя. Они никак не могли договориться.

— Иного выхода я не вижу. Наши усилия ни к чему не приведут.

— Так или иначе, они обязаны нам компенсировать...

— Может быть, мы добьемся повышения цен на зерно...

— Трудно... очень трудно. Вопрос о хлебе не затрагивался.

— Или, возможно, нам сделают послабление в налогах...

Председатель совета провинции выходил из себя:

— Если мы уйдем, то кто же останется? Чужаки, которые не ударят

палец о палец, чтобы нас защитить. Да они с радостью предадут наши интересы. Потерять малое, чтобы выиграть большое,— вот в чем суть.

— Если ты уйдешь, то потеряешь больше всех. Нам ты не помог.

— Ошибаетесь. Помогал больше, чем вы думаете. Разве мои донесения не оберегли вас от многих неприятностей? Мы смогли утаить наши настоящие доходы. По-моему, это уже немало!

— Другой на твоем месте поступил бы точно так же.

— Не уверен... Имейте в виду, у меня тоже есть земля и она мне куда важнее, чем моя должность.

Губернатор позвал секретаря. Он решил положить конец этому бесплодному и бесконечному спору.

— Когда есть лишь один выход, спорить не о чем. Через час поденная плата на виноградниках будет повышена до восьмидесяти песет.

Помещики-виноградари покинули кабинет. Губернатор облегченно вздохнул:

— С ними, пожалуй, хуже, чем с поденщиками!

Председатель совета провинции поддакнул.

— А ну-ка, Анхель, пишите!

Секретарь изящно изогнулся, держа перо наготове.

— «С целью урегулирования положения, создавшегося в провинции, а также в связи с ростом цен и угрозой нарушения общественного порядка...» Думаю, этого будет достаточно?

Председатель совета утвердительно кивнул.

— «...На заседании правительства провинции, совместно с профсоюзными и местными организациями, выражающими интересы экономических и общественных кругов, было единодушно решено...»— Губернатор остановился.— А ну-ка, перемените порядок слов. Так будет лучше звучать...

Секретарь исправил.

— Итак, на чем мы остановились?

— ...общественных и экономических кругов...

— А, да!.. «...повысить поденную плату сельскохозяйственным рабочим до восьмидесяти песет. В этой связи необходимо подчеркнуть особые усилия андалузских помещиков, которые пекутся о благе рабочих и идут на жертвы, намного превосходящие их возможности. Заседание проходило в атмосфере сердечности и полного взаимопонимания. Решение было принято с огромным воодушевлением...» и так далее и тому подобное.

— Ваше превосходительство желает, чтобы я составил коммюнике?

— Разумеется... И поищите какой-нибудь предлог, чтобы объяснить, почему мы не собрались в здании профсоюзов.

— Ввиду возможных нарушений общественного порядка...

— Хорошо... сойдет.

— Вашему превосходительству еще что-нибудь будет угодно?

— Да, постарайтесь, чтобы это было напечатано в завтрашних утренних газетах. Необходимо как можно скорее довести это до всеобщего сведения. Может нагрянуть комиссия. Так пусть все будет заранее урегулировано!

Секретарь вышел из кабинета.

— Итак, надеюсь, теперь мы все уладили!

— Осталось еще собрание.

— Ну, уж это пустяковое дело.

■

Судебное заседание перебралось на берег, к затону. Тело Марсиано плавало в зеленой жиже. Его мать рыдала, припав к плечу солдата Переса. Солдат Нуньес утешал отца погибшего.

Дон Альберто приступил к дознанию. Начал новый опрос.

— Где свидетели?

— Мать говорила ему: не суйся, куда не надо, а он...

— Я слышала, как ночью кричали с берега...

Судья недоверчиво взглянул на девушку... У этих простолюдинов ужасно богатая фантазия.

— Откуда слышала?

— Из дома. Я тут рядом живу!

Ирена показала на хибарку, стоявшую на берегу, в полусотне метров от затона.

— Почему не вышла узнать, в чем дело?

— Мама запретила отпирать дверь.

— А где была твоя мать?

— Со мной.

— Пусть она придет!

Женщина перепугалась.

— Да не бойтесь. Вас просто спросят — и все.

— Уж больно мы напугались. Живем одни, и я как раз продала свинушек... В доме завелись деньги, а это ох как редко бывает. Сегодня их уж нет. Я спозаранку отнесла деньги в банк.

— Вы видели труп, когда шли к шоссе?

— Да, там были ваши. Я и подумала, зачем мне-то лезть.

— А что кричали?

— Звали на помощь и еще сволочами обзывали... Потом мы слышали еще голоса, но ничего не разобрали, больно тихо разговаривали.

Подошли соседи. Они жили дальше от затона, и у них было больше опыта в таких делах. Незачем связываться с жандармами.

— Ничего мы не слышали.

Капрал Перес доказывал, что было совершено убийство. Ему поручили расследовать дело.

■

Батраки собрались, как обычно, на площади. Призыв, шедший из дома Антонио, проник в каждое сердце.

— Ни на площади, ни в барах — нигде нас не должны видеть, пока Антонио не поправится.

Толпы людей запрудили всю улицу Месон-дель-Дуке и близлежащие переулки. Точно морской прилив подступал к дверям домика Антонио. Пелао, Калеро, Негро и другие не отходили от постели больного, сообщая батракам о его состоянии. Дон Висенте не решался сказать, что он уже потерял надежду. Энкарна догадывалась.

Городок казался вымершим за исключением улицы Месон-дель-Дуке. Несколько баров закрылись. Объявление на одном из них гласило: «Хозяин ушел в Верхний квартал». Жандармы не посмели запретить ему запереть бар.

Алькальд дон Луис пересек широкую улицу. На площади перед аюнтамиенто покачивали вершинами одинокие пальмы. В сторону Куэсты быстро прошли две старухи. В центре площади на скамейке сидели ребятишки. Притихшие, молчаливые, точно взрослые.

Первым в аюнтамиенто явился дон Леон Альварес.

— Не понимаю, что происходит, но, по-моему, что-то странное.

Дон Леон поддакнул.

— Как дела на виноградниках?

— Плохо.

— Что ж... терпение.

Дон Леон кашлянул.

— Наверно, пришел что-нибудь спросить?

— Разумеется... Я слышал, что Мариано выезжает в Кадис с представителем сезонников... Что-нибудь серьезное?

— Не знаю... Могу только сказать, что их вызвал сам губернатор.

— Надеюсь, чтобы навести порядок.

— Да, вероятно... Мне ничего не сказали. Я знаю столько же, сколько ты.

Дон Луис выпроводил неуместного визитера, похлопав его по плечу. За доном Леоном потянулись другие: Гаспар, Сесар, Диего, брат Дамьяна, дон Антонио...

Дон Луис ласково здоровался с каждым и предлагал сигареты.

В дверях показался привратник и объявил о новом посетителе.

■

— Это просто невероятно!

Даже в самые драматические моменты жесты дона Аурелио Пелаеса выдавали затаенную робость.

— Я говорю об Антонио Кабеса-дель-Вака, об этом парне, которого арестовали на днях согласно правительственному указу.

— Ты ошибаешься. Все было совсем не так. Гражданские гвардейцы застали его, когда он переговаривался с заключенными в тюрьме. А ты прекрасно знаешь, что это запрещено.

— Это неважно. Кстати, то, что сделали с другими, тоже не имеет никакого оправдания.

— Калеро и Негро, что ли? Ну, это старое дело...

— Старое или новое, но все равно требует объяснения!

Дон Луис вскипел:

— Какого еще объяснения?

— За что их подвергли побоям? Нет такого закона, по которому можно избивать человека до смерти.

Алькальд притворился удивленным:

— Я ничего не знаю.

— Неправда! Знаешь лучше, чем кто-либо во всем городе!

— Клянусь, я ничего... Впрочем, ты, вероятно, преувеличиваешь...

— Антонио при смерти. Какой стыд, что такие ничтожные люди, как ты, довели наш город до подобного позора! Я об этом сообщу куда следует! Поеду в Мадрид! Сделаю все, чтобы прекратить эти бесчинства!

— Любезный друг! Я алькальд, а не твой слуга!

— Твою работу оплачиваем мы. Значит, ты наш общий слуга.

— Я не намерен с тобой пререкаться...

— Прекрасно. Не беспокойся, я доведу это дело до грибунала.

Дон Луис переменился в лице. Любезная улыбка сбежала с его губ, и лицо вдруг стало решительным и суровым.

— Не советую....

— Я человек свободный и не нуждаюсь ни в чьих советах, а тем более в твоих.

— Свободный? А ты думаешь, мы забыли твой последний фортель? Все помнят, как ты выскочил вперед и поспешил выложить батракам денежки. Неужели воображаешь, что такие выходки забываются?

Пелаес слегка побледнел. Дон Луис указал ему на глубокое кресло, предназначавшееся для высокопоставленных гостей. Неторопливыми движениями жирненьких пальцев и вкрадчивым голоском он словно гипнотизировал свою жертву.

— Сядь, Аурелио. Успокойся, приди в себя.

Дон Аурелио покорно сел. Алькальд испытал почти физическое наслаждение, видя, как его жертва, оробев и стушевавшись, уже не в силах продолжать столь бурно начатую атаку. Без прежней уверенности в голосе, скорее уже извиняющимся тоном, Аурелио пробормотал, желая только одного — поскорее убраться прочь:

— Во всяком случае, я сделаю, что сочту нужным...
— Смотри не просчитайся...
— Вы тоже...
— У тебя нет свидетелей.
— А вы откуда их возьмете?
— При нашем положении да еще с нашими деньгами, дружок, найдем любых, и без труда. А вот ты...

Дон Аурелио медленно встал и ушел, даже не попрощавшись. Он понял, что его негодование обернулось пустой бравадой. Что может, в конце концов, сделать он, выходец из простого народа, против этих всемогущих сеньоров?

■

Губернатор занял место в президиуме. Впервые в жизни он не принес с собой текста заранее заготовленной речи. Совещание было почти семейное — просто собрались свои люди.

— Сеньоры, мы вызвали вас, чтобы официально принять новое профсоюзное соглашение. С сегодняшнего дня рабочие на виноградниках будут получать минимальный дневной заработок в размере восьмидесяти песет. Это делается на благо нации. Согласны?

Руководитель профсоюза провинции встал:

— Разумеется, ваше превосходительство. Мы согласны и благодарим правительство.

— Принимая во внимание, что никто не возражает, считаем это соглашение принятым единогласно. Надеюсь, все присутствующие подпишутся под этим соглашением. Завтра оно будет опубликовано в прессе.

Присутствующие подписывались по порядку согласно своему положению в обществе. В час дня собрание было закрыто, и служитель уже отсылал заказным письмом официальное сообщение.

— Уф! Думал, что не успею.

Почтовый чиновник улыбнулся в ответ.

■

Капрал Перес трудился в поте лица. Раскрыть такое дело значило получить благодарность с занесением в послужной список, а послужной список, особенно по нынешним смутным временам, должен быть безупречным. Смерть Антонио может здорово ему напортить. Надо прилежно трудиться, и начальство забудет об этом избиении. Свидетели бойко давали показания.

— Вышел он один, совсем незадолго до закрытия,— объяснял Кармело.— Было примерно около часу, ну, может, чуть пораньше; я всегда закрываю вовремя. Выпил он всего рюмки две-три, не больше... Вот у меня здесь записано. Говорил, что денег у него не было, не захотел брать у дона Дамьяна...

— Ясно, не захочешь... Дон Дамьян платит, сколько ему вздумается, а Марсиано свои права знает, вот он и не согласился,— вдруг расхрабрившись, заявил Бала.

— Да, он нам говорил, какая у него вышла стычка в погребах. Он даже, бедняга, собирался подать на хозяина в профсоюз, если ему не заплатят положенное.

— Может, в этом-то вся и загвоздка...

Капрал Перес записал и эти слова.

— Он сильно пил?

— Да нет, какое там. Он не был охотник до вина. Даже по субботам не прикладывался. Отличный парень, другого такого степенного не сыщешь.

Мать погибшего едва могла говорить.

— Подумать только, первый рабочий день после пяти месяцев... Пять месяцев терпели нужду, а уж как он искал работу, одному богу известно! Собирал на полях улиток! А то — теперь скрывать нечего, сеньор жандарм,— бывало, целыми часами гребет по заливу, чтобы словить хоть парочку птиц. Шел на все, лишь бы добыть нам пропитание. Перед тем как пойти на работу, все твердил мне, как надо потратить деньги. Два дуро вернешь, говорит, в лавку, остальные на рынок. «Мама,— говорит,— скоро я найду постоянную работу — и кончатся все наши беды». И вот посмотрите, какая беда стряслась!

■ ■ ■

Доктор дон Висенте вышел из каморки с опущенной головой и покрасневшими глазами. Пелао бросился к нему:

— Ну, что?

— Кончился...

Пелао и остальные заплакали, как дети. Весь городок был потрясен этой вестью, хотя каждый ожидал трагического исхода.

— Не оставляйте Энкарну одну.

— Не беспокойтесь, дон Висенте. Мы о них позаботимся.

Калеро знал, что каждый дал клятву и выполнит ее.

■

Единственный служитель дремал у столика в приемной суда, когда туда явился дон Висенте.

— Что слышно хорошего, доктор?

— Хорошего — ничего! Я хочу повидать дона Альберто...

— Не знаю, на месте ли он...

— Пойди посмотри!

Служитель нехотя поднялся. Последние дни дел у него было по горло.

— Пришел дон Висенте Лопес.

— Пусть войдет!

Дон Альберто потянулся в кресле. Из-за этого убийства утро выдалось неспокойное. А теперь еще явился новый посетитель, которого ему совсем не хотелось видеть.

— Я пришел вручить вам свидетельство о смерти.

— Стоило ли утруждать себя? Могли послать с любым нарочным или через «Окасо»... даже если он и не застрахован...

— Это свидетельство я хочу передать вам лично.

Дон Висенте бросил справку на стол. Судья взял бумагу.

«Антонио Кабеса-де-Вака скончался такого-то числа у себя дома, на улице Месон-дель-Дуке, в результате побоев, которым он был подвергнут в казарме гражданской гвардии данного города 29 апреля... Свидетельство составлено 1 мая...»

Дон Альберто снял очки. Близорукие глазки его блеснули.

— Это, разумеется, шутка.

— Нет, сеньор, это документ.

— Но не официальный.

— Свидетельство всегда является официальным документом, если оно подписано врачом, особенно лечащим врачом.

— Официальное лицо — это страховой врач рабочего.

— Или тот, кто постоянно оказывает врачебную помощь его семье...

— Формально — нет... Имейте в виду, больной мог погибнуть во время лечения в результате врачебной ошибки.

— Это исключено. Больному была оказана медицинская помощь, какую только можно оказать в городе, где, кстати, нельзя даже достать кислород.

— Имейте в виду, доктор Бланес вчера посещал больного.

— Неправда!

— Есть документ, подтверждающий это. Антонио не мог присутствовать на собрании в Кадисе ввиду болезни. У него был сильный приступ желтухи и, возможно, даже рак.

— Он ничем не был болен. Я берусь это доказать!

— В любом случае заключение официального врача будет иметь бóльший вес, чем слова частного лекаря... И прежде всего обратятся к врачу из страховой компании, а не к вам...

— Прежде всего вам следует знать, что до сегодняшнего дня я один находился у постели пострадавшего. У меня есть свидетели! А кроме того, на теле видны следы зверских побоев!

— Вы еще слишком молоды, Висенте. И плохо знаете жизнь. Иначе вы так не говорили бы. Тело будет немедленно предано земле... и оно сгниет... Что же касается свидетелей, то сегодня они вас поддержат, а завтра — не уверен. А послезавтра наверняка не поддержат. Антонио и забастовка будут забыты, ибо спадет эмоциональный накал. Вот тогда-то я и попрошу вас сделать свое заявление. Многие подумают: ведь речь идет об их заработке, об их безопасности, а тут еще гражданская гвардия сделает кое-кому предупреждение. И мало, очень мало явится в зал суда; из явившихся, возможно, двое или трое поддержат вас, но следуя указаниям прокурора или адвоката, подобранного нами. Сами увидите! Они встанут на сторону властей, ибо это солнце, которое их обогревает. Они слишком напуганы. А страх добро бережет, не так ли? Именно так! И пока что страх силен! Да благословит нас господь!

— Калеро и Негро будут отстаивать правду.

— Их показания не примут к сведению. Они — политически неблагонадежны, так сказать, подрывные элементы. Первый утратил свою гражданскую честь во время войны. Другой — только что.

Висенте устал. Устал спорить, бороться.

— Так или иначе, другого свидетельства я написать не могу.

— Напишите и будете жить, как живут все!

В голосе судьи зазвучали непреклонные нотки.

— Нет, сеньор!

Дон Альберто протянул доктору незаполненный бланк и ручку. Врач гадливо вздрогнул. Этот человек, бессовестный и лицемерный, разглагольствующий о справедливости, призывающий к справедливости, внушал ему глубокое отвращение.

— Вы просите об этом от имени вашего бога?

Судья кивнул:

— Вот именно! И от вашего тоже. Я знаю, вы не ходите ни в церковь, ни на религиозные собрания. Думаю, вам следует посещать их чаще. Вы вступите на новый путь. А теперь, как всегда, найдем в священном писании речения, подкрепляющие нашу мысль.

Он протянул руку и взял книжечку. Широкую белую руку разбогатевшего землевладельца. Дон Альберто любил побахвалиться своим дворянским происхождением, хотя в городке прекрасно знали, что богатство и фамильный герб он приобрел на черном рынке.

— «Воздайте кесарю кесарево». Кесарь — это наше государство, а государство нуждается в мире. Ваше поведение может нарушить его всем на беду. Будьте стойки, друг мой. Вы возмущаетесь... но возмущение плохой советчик. Ни вы, ни я не можем заставить время идти вспять.

Дон Висенте направился к выходу. Судья переменил тон:

— Одну минуточку, доктор.

Дон Висенте остановился.

— Вы знаете, сколько есть способов испортить человеку жизнь?

А сколько возможностей лишить врача практики? Частный донос, показания свидетелей о том, что дурное лечение явилось причиной смерти, неправильно поставленный диагноз... А потом — исключение из врачебной коллегии, тюрьма... словом, сотни осложнений, которых, поверьте, лучше избегнуть.

— Благодарю за совет, но могу заверить вас, что до сегодняшнего дня я ни разу не ошибался. И это не хвастовство.

— Однако многие больные, которых вы лечили, умерли.

— Как правило, ко мне здоровые люди не обращаются. И вполне логично, что некоторые больные умирают. Особенно старики! Я прописывал лекарства, которые невозможно достать во всей стране, и сам их разыскивал, направлял на операции, от которых многие хирурги отказывались, требуя, чтобы родные сперва оплатили их услуги. Я видел, как умирали люди, потому что ни у меня, ни у них не было денег, необходимых для их спасения! Но никогда, ни разу, ни единого разу — запомните это — мое лечение не приводило к дурным последствиям.

— Дело не в том, что утверждаете вы, важно, чему я поверю, когда передо мной будет лежать заявление...

— Это же абсурдно!

— Но возможно! Вы свободны. Я не потребую от вас другого свидетельства, но не советую вам вторично писать такой документ.

Судья чиркнул зажигалкой. Бумага запылала на фарфоровом блюдечке, служившем судье пепельницей.

— Я напишу копию!

— Ее постигнет та же участь... Вскоре у нас будет свидетельство о смерти, написанное лечащим врачом, Бланесом. Антонио скончался от рака.

Дон Висенте медленно подошел к столу. Судья улыбался. Дон Висенте влепил ему пощечину. На шум прибежал секретарь, но дон Альберто приказал ему уйти.

— Хорошо, Висенте. Вам хочется выглядеть жертвой несправедливости, абсурда, но мир изменить невозможно. Я сам жертва, ибо каждый божий день вынужден страдать от насилия, к которому вынужден прибегать в качестве защитника порядка. Установленного господом богом порядка, который пытается поколебать людское злонамерение. Я не держу на вас зла, а подставляю вам, как Иисус фарисеям, другую щеку. Прошу вас понять меня.

Доктор вышел из суда.

На улице немилосердно сверкало и пекло солнце. Но он ничего не замечал. Холодный пот градом катился по его лбу. Все вокруг утратило свои обычные цвета. Все окрасилось в красный цвет, цвет крови.

■

Энкарна молча обнимала бездыханное тело мужа. Женщины громко всхлипывали — так положено при настоящих поминках.

О похоронах позаботился Хасинто, двоюродный брат покойного. Он принес «на всякий случай» несколько банкнот: деньжата у него водились. Пять полос винограда да сто метров пустоши для прокорма поросенка.

Как и все в городе, Антонио был застрахован в «Окасо». Хасинто отправился в контору.

— Антонио Кабеса-де-Вака умер. Проживал по улице Месон-дель-Дуке.

Служащий сверил по книгам.

— Это не в нашей компетенции. Он не доплатил почти за год.

— Я заплачу!

— За ним числится еще двадцать процентов от основной суммы.

— Когда принесут гроб?

Чиновник почесал лысину.

— Не знаю... не знаю... Сегодня неудачный день.

— Нам бы так часов в восемь.

— Нет, так быстро не получится! Столяр очень занят. Да и к чему такая спешка? Думаю, до завтра его не похоронят...

— Мы хотели бы отпеть его в семь часов.

— Это уж меня не касается. Договаривайтесь в своем приходе.

— Вы ведь разбираетесь в таких делах, скажите, это очень трудно?

— Зависит от того, что там у них... Первого, например, отпели в три часа... а кровельщика только утром, после службы.

— А кто первый-то?

— Как? Не знаете? Да Марсиано. Думаю, тут пахнет убийством.

Хасинто простился. Прежде чем выйти на улицу, вспомнил, что отец умер, заранее приготовив гроб и все, что положено для погребения.

■

Возле дома Марсиано не толпилось столько людей, сколько на Месон-дель-Дуке. Мужчины приходили, отдавали последний долг и спешили в Верхний квартал. Если бы не Антонио, все бы явились сюда, но в такой день даже убийство прошло почти незамеченным. Только несколько матросов, хорошо знавших Марсиано, остались у гроба.

Группа женщин сидела вокруг покойника. Плач стихал по мере того, как возрастала усталость. Мужчины мрачно курили в патио.

Не их это дело — оплакивать покойника.

■

Дон Дамьян решил навестить семью Марсиано. В обычных условиях он, конечно, так не поступил бы. Слишком недавно стал он главой фирмы, чтобы делать различие между своими работниками. Но ему не понравилось, каким тоном с ним говорил капрал Перес.

— Парня, что работал у вас вчера, Марсиано Домингеса, нашли мертвым в затоне. По словам одного из его друзей — имя я его не назову, потому как дал слово,— Марсиано поспорил с вами при расчете. И пригрозил, что сообщит в профсоюз.

Капрал особенно подчеркнул последнюю фразу. Дон Дамьян пожал плечами:

— Ну и что? Разве я не обязан заботиться о своей выгоде? Когда какой-нибудь рабочий раскипятится, я всегда стараюсь уладить дело по-хорошему. Я вовсе не желаю разориться на шграфах!

— Все это так... Но Тобиас и ваш надсмотрщик остались с вами. Когда Марсиано тонул в затоне, он кричал «преступники», и люди слышали голоса еще двух человек. Не трех, не четырех, а именно — двух.

— А я тут при чем? С моими рабочими я часто спорю. Что ж, что ни случится в Санлукаре, все на мне будет? Хорошенькое дело! Знать ничего не знаю, вы первый, кто сообщил мне эту новость.

— А вы даже не заметили, что он не вышел на работу?

— Нет. Я его после вчерашнего рассчитал.

— Ну, всего хорошего, дон Дамьян. До завтра. Я еще приду к вам, думаю, нам удастся кое-что прояснить.

Всегда полезно запугать предполагаемого преступника. Такая тактика осечки не дает. Поэтому-то дон Дамьян и решил пойти навестить семью покойного.

Он облачился во все черное. И повязал черный галстук.

■

— Пришел дон Дамьян!

Один из дядьев Марсиано вышел его встретить. Отец Марсиано утер слезы, стараясь сохранять достоинство, как и подобает мужчине.

Дон Дамьян остановился посреди патио и сделал первый поклон. Через несколько шагов он снова поклонился, пожал протянутую ему костлявую руку старика отца. Отступив на три шага, попятился и отвесил третий поклон. Только после этого он поднялся по лестнице на второй этаж, где дважды повторил всю церемонию: сперва перед женщинами, затем перед покойником.

От трупного запаха он чуть не задохнулся и не мог сдержать гримасы отвращения. Ему хотелось зажать нос, да было неудобно. Отвешивая поклоны, он старался унять подступавшую к горлу тошноту.

Только в машине он наконец перевел дух.

— Выкиньте эту одежду, она пахнет мертвечиной!

Служанка решила, что эта тройка как раз будет впору ее жениху.

Дон Дамьян вызвал Фернандо.

— Ступай сейчас же к Марсиано!

Фернандо передернуло.

— Зачем?

— Таков обычай.

— Я не хочу его видеть. Я боюсь! Знаете, как он там барахтался! Теперь я не могу пройти близко от Серро-Фалона.

— Хочешь не хочешь, а показаться надо. Так нам сподручней. Нечего трусить, еще, чего доброго, проболтаешься.

Надсмотрщик покорно поплелся отдать последний долг Марсиано.

■

Из-под полуоткрытых век поблескивало что-то студенистое. Фернандо чудилось, что покойник на него смотрит. А вдруг он вскочит и разоблачит его? Надсмотрщику даже померещилось, будто труп зашевелился. Вот повернул голову, дернул рукой... Палец стал медленно подниматься... Фернандо отпрянул и споткнулся. Ему показалось, что о ногу убитого. В страхе он выбежал из дома. Капрал Перес поджидал его на улице. Он следил за надсмотрщиком. И записал что-то в своей книжечке.

Укрывшись за изгородью из агав, капрала поджидал свидетель.

— Знаете... никогда я не был доносчиком, но Марсиано мой лучший друг. Это я устроил его работать в погребах. В недобрый, видно, час! Его убили! С доном Дамьяном шутки плохи. Я говорил: будь осторожен, нельзя так разговаривать с хозяином, но он меня не послушался, и вот видите!

Капрал Перес пошел в казарму выправить две повестки. На Фернандо и Тобиаса. Заполнив бланки, он на минуту задержался над третьей повесткой. Нет! Доном Дамьяном он займется позже.

Постучал в кабинет старшины:

— Я раскрыл убийц Марсиано.

Старшина равнодушно махнул рукой. Он был очень занят: зубрил устав. Подходили экзамены, а старшина мечтал получить лейтенантские нашивки.

■ ■ ■

Хасинто пришел в приходскую церковь. Дон Деметрио был у себя.

— Я насчет похорон...

Дон Деметрио даже не взглянул в его сторону.

— Подожди немного!

Дон Деметрио писал. Хасинто ждал, стоя напротив стола. Пятна-

дцать, двадцать минут — священники не любят спешить. За исключением, правда, тех случаев, когда можно что-то урвать, но и то они потом горько сожалеют о времени, потерянном на мирские дела.

■

Дон Мариано сунул Тобиасу несколько бумажек.

— Пойди выпей за мое здоровье.

Тобиас спрятал деньги.

— Я вам еще нужен?

— Нет, можешь идти.

Дон Мариано выбил трубку о край стола. Пепел рассыпался по столешнице. Дон Мариано смахнул его ладонью и забарабанил пальцами по столу. Надо бы сообщить новость прежде, чем она появится в газетах, но как взяться за дело...

■

Дон Сесар вошел к себе в контору. Подскочил секретарь с перекошенным от волнения лицом.

— Новость, дон Сесар... Плохая новость.

— Да, я знаю, умер Антонио.

— Да нет, похуже.

Дон Сесар вошел вместе с ним к себе в кабинет.

— В Кадисе одобрили повышение поденной платы... С сегодняшнего дня платят восемьдесят песет. Завтра будет напечатано в газетах.

— Откуда ты знаешь?

— Звонил дон Мариано, специально... и еще дон Антонио Васкес... В девять часов собрание. Дон Антонио поехал в Кадис, может, как-нибудь уладит. Вероятно, к этому времени вернется.

■

Тобиас вошел в погреба. Дон Дамьян поздоровался с ним, словно видел его сегодня впервые.

— Где это ты пропадал?

— Ездил с доном Мариано в правительство провинции и еще в профсоюзы, но только мне не велели говорить... С сегодняшнего дня на виноградниках будут платить по восемьдесят песет.

Дон Дамьян чертыхнулся.

Тобиас, ухмыляясь, посмотрел на него. Приятно все-таки поддеть хозяина. Он терпеть не мог эту зловредную тварь. Только и знает, что копить деньгу. Тобиасу приходилось сдерживаться, потому что он мечтал выбиться в люди, но он не забыл хозяину ни одной злобной выходки. Унижался, работал за гроши, участвовал в самых грязных хозяйских забавах, проводил без сна ночи, прислуживая, пресмыкаясь, поставлял хозяину вино, креветок, а если нужно, и женщин, трудился до седьмого пота, пока другие развлекались. Но теперь Тобиас понял, что все переменится. Из слуги он превратился в сообщника. Благодарение судьбе— плохие времена прошли. Он всегда верил, что наступит день, когда он заговорит на равных с этим толстопузым боровом. Но никогда он не думал, что этот день наступит так скоро.

— А где Фернандо? Мне надо кое-что у него спросить.

— В доме Марсиано.

И Тобиас взялся за работу.

■

Падре дон Деметрио вытер перо о кусочек промокательной бумаги.

— Кто таков?

— Антонио Кабеса-де-Вака, падре.

— Где жил?

— Месон-дель-Дуке.

— Почему меня не позвали?

Хасинто пожал плечами:

— Не знаю... Меня там не было, но, наверно, помер скоропостижно.

Со священником лучше держать ухо востро. Не станет же он, Хасинто, ему докладывать, что Антонио ненавидел долгополых,— еще донесет, и начнется заваруха. Пришьют кличку «красного» — и тогда расхлебывай.

— Вы же знаете, священника обязательно надо звать! Даже после смерти можно причастить усопшего. Давно помер?

— Часа два... три.

Хасинто прибавил на всякий случай: вдруг долгополый увяжется за ним. Что скажут друзья, когда увидят его в сопровождении попа? Дон Деметрио стукнул кулаком по столу.

— Еще одного отправили в преисподнюю! Будто мало вы оскорбляете господа при жизни, так еще норовите после смерти!

Хасинто потупил голову.

— Ладно. По какому хотите разряду?

— Мы записаны в «Окасо»...

— Тогда зачем ты ко мне пришел? «Окасо» обо всем и позаботится.

— Я насчет времени... Нам бы хотелось часов в семь...

— В семь? В семь — никоим образом!

— Видите ли, падре, мы ждем его двоюродную сестру. А поезд приходит в половине седьмого.

— Похороним в пять!

— Дон Деметрио, она очень любила брата, и ей станет плохо, если похороны состоятся без нее.

— Я не намерен плясать под вашу дудку. Завтра у меня целый день занят! Две панихиды, крещение по первому разряду в половине седьмого, отменить я ничего не могу, завтра праздничный день. Словом, занят по горло!

Хасинто вытащил сорок дуро.

— Падре... сделайте как-нибудь...

Священник забрал деньги и сунул их в карман сутаны. Голос его смягчился.

— Посмотрим, что можно будет сделать. «Окасо» вас известит в 9 часов...

На паперти Хасинто нахлобучил шляпу и вышел из церкви. Потом осторожно обернулся, чтобы никто не видел, и плюнул на церковную дверь.

■

Кармело подошел к отцу Марсиано.

— Пора укладывать в гроб...

— Еще не принесли.

Кармело отправился на улицу Анча.

— Тело совсем разложилось...

Служитель пожал плечами:

— А что я могу сделать? Гроб еще не готов.

Из мастерской доносился размеренный стук молотка.

— Да послушайте, пахнет — сил нет! Хоть святых выноси!

— Приходили бы раньше.

— Да я ж вам объяснил, что это несчастный случай. Мы-то откуда знали?

— Ничего сделать не могу. Жаркий выдался денек, давно такого не бывало.

■

Жандарм принес повестки; их взял мальчишка, прислуживавший в погребах. Ему платили всего три дуро, но он так пристрастился к вину, что готов был выполнять любую работу за любую цену. Мальчишка спустился в погреб с повестками в руках. Дон Дамьян окликнул его.

— А ну, что несешь?

— Два конверта для Фернандо и Тобиаса. Жандарм велел передать.

— Давай сюда!

Дон Дамьян прочел и спрятал повестки во внутренний карман пиджака.

— Смотри, никому ни слова!

— Не беспокойтесь!

И мальчишка побежал за пустыми кувшинами, забыв о поручении.

■

Калеро и Негро решили немного передохнуть. Они прямо с ног валились от усталости. Муло, Пелао и Хуан остались дежурить у дверей дома.

— Думаешь, завтра выйдут на работу?

— Я слышал, что нет... Ведь будут похороны.

— Марсиано хоронить я не пойду. Я его и не знал совсем.

— Калеро сказал, что его прикончили по приказу дона Дамьяна.

— Откуда он взял?

— Понятия не имею... но зря он говорить не станет.

■

Бары в тот вечер закрылись раньше обычного. Только в центре все шло, как всегда. Люди с улицы Анча не знали ни Антонио, ни Марсиано.

Ходили смутные слухи о каких-то похоронах, панихидах, даже о возможных беспорядках. Но местное высшее общество было занято очередным любовным приключением супруги нотариуса и не вслушивалось в разговоры о несчастном случае в затоне и о смерти какого-то батрака, участвовавшего в забастовке. Все это происходило в ином мире.

■

Собрались, как обычно, только свои. Пришел также Хуан Карлос, нотариус.

— Что же это творится!

Дон Леон стукнул кулаком по столу.

— Не буду ничего делать на виноградниках. Пускай все пропадает!

— Я тоже.

Антонио Васкес, мечтавший о политической карьере, постарался найти компромиссное решение:

— Мы должны поступить так же, как в Хересе.

— Плевал я на них!

— В их руках сила.

— Без нашего сусла они и шагу не ступят!

— Надо хорошенько припугнуть правительство. Пусть видит, что мы тоже можем объявить забастовку, что мы тоже можем стать проблемой! Не соберем винограда, не будет и вина на будущий год. А вино — это валюта.

Алькальд прохаживался по комнате. Особенно легко думалось ему во время ходьбы, а думать предстояло много, чтобы найти слова, способные убедить этих твердолобых.

Хуан Карлос, нотариус, вот кто нашел решающий аргумент.

— Существует закон, преследующий помещиков, хозяйства которых не дают продукции... По этому закону даже могут экспроприиро-

вать... Это старый, покрытый пылью закон, но вдруг применят... Все зависит от желания властей.

Профсоюзный босс дон Мариано ринулся в пробитую брешь:

— Если судить по сегодняшнему поведению губернатора, будьте уверены, они пойдут на все. Рабочие взяли верх.

Бласкес не сдавался.

— Придется начать вторую войну.

— Возможно. И когда мы ее начнем, все изменится. Но пока-то мы живем в мирное время.

Спор длился еще долго. Разошлись, так и не придя к соглашению.

■

Когда они собирались все вместе, страх отступал. А очутившись дома, каждый как-то терялся. Время бравады и громких фраз прошло. Подсчеты показывали, что дела плохи. Слишком накладно терять урожай. Куда дороже, чем повысить плату батракам. Вдобавок всех обуял страх. Не дай бог, только подольешь масла в огонь. Тогда местным виноделам придется туго.

Дон Гаспар, дон Антонио, дон Леон и остальные постепенно сдавали позиции с таким расчетом, чтобы очутиться в числе первых. Это могло сослужить в дальнейшем неплохую службу.

— Они ничего не поняли. Нам же будут благодарны. Такие вещи простые люди не забывают... Еще неизвестно, как все обернется...

Позвали надсмотрщиков. Снова по улицам зацокали конские копыта.

— Найми-ка батраков... Я заплачу сполна сколько просят.

Поспеть раньше, чем новость появится в газетах, уступить по доброй воле, а не по обязанности. Вот что важно. Уж если терять, то терять умеючи. Батраков разыскивали по всем пивным и лавочкам.

— Хозяин платит сполна. Завтра в восемь, как обычно.

Но был объявлен день траура. Калеро сказал об этом в доме Антонио:

— Пока обоих не похороним, никто на работу не выходит. Даже те, кто уже работает!

■ ■ ■

Алькальд дон Луис вызвал к себе судью и нотариуса.

— Боюсь, будет манифестация,— начал судья.

Дон Луис кивнул:

— Не знаю, как ее избежать.

— Никак... Запретить похороны невозможно.

— Так или иначе, пошлю для острастки несколько гвардейцев.

Нотариус Хуан Карлос рассуждал весьма здраво:

— Не стоит. Тем самым вы как бы признаете их силу, а силы у них нет.

Дон Альберто перебил друга:

— По-моему, проповедь на похоронах должна стать им хорошим уроком.

— Мысль неплохая. Ты говорил с доном Деметрио?

— Нет еще.

— Надо его предупредить.

Это дело поручили Хуану Карлосу. Большой друг священника, он каждый день заглядывал в церковь, она всегда почему-то оказывалась у него на пути.

— Слышал что-нибудь о втором покойнике?

— Кажется, ему помогли умереть...

— Прекрасно. Прекрасно. Используем это обстоятельство для того, чтобы показать нашу строгость и справедливость. Выкажи непреклонность, Альберто. Самый жесткий приговор!

— Я уже сам об этом думал. Дело выеденного яйца не стоит. Как видно, замешаны одни простолюдины... Хорошо бы, если бы они оказались к тому же забастовщиками.

— Вот примерный урок преподнесли бы мы тогда всему этому сброду!

■

Сальвадора налила каждому по чашке кофе.

— И когда вы со всем этим покончите. Теперь еще траур придумали!

— Всего один день, жена!

Пако принес с собой газету. Пришел его черед дежурить около тела Антонио, и в лавке ему дали газету.

— Теперь официально будут платить по восемьдесят песет.

Сальвадора не поверила. «Будет болтать!» — решительно заявила она, но на всякий случай попросила Фернандо прочесть вслух. Мальчик начал читать, старательно выговаривая каждое слово. Родители с умилением смотрели на него. Сальвадора даже обняла сына. До чего же она гордилась им! Настоящий ученый — и еще в семье, где никто не умел ни читать, ни писать. Во всем городе по пальцам перечесть таких, как он, грамотеев. Даже здоровенные мужчины слушали разиня рот, когда Фернандо бойко читал письма или документы, в которых они не могли разобрать ни слова. Но особое восхищение вызывал его почерк — ясный, четкий, без помарок, словно он наперед знал, что напишет.

Хуан молча курил в углу. Ему было стыдно и обидно видеть успех, выпавший на долю младшего брата. Родись он вторым в семье, его бы тоже отдали в школу, а Фернандо бы вкалывал на виноградниках. Но первенцу всегда выпадает такой удел: кишачь до двадцати лет, не зная грамоты, а потом еще труби на военной службе.

— Не одно, так другое! — снова завела свое Сальвадора.— С этой новой модой вы целый год работать не станете!

Пако вышел из себя:

— Пойми ты: героев не каждый день хоронят!

— А этот, которого нашли утром, тоже герой?

— В своем роде да!

В одиннадцать часов утра батраки сошлись в Нижнем квартале. Их было немного. «Человек сто, не больше, одни представители»,— как сказал Калеро. «Таким образом покажем, какие мы дисциплинированные»,— пояснил он.

■

В одиннадцать часов принесли гроб. Двое парней подняли тело.

— Могли бы принести гроб и пораньше!

Гробовщики только плечами пожали.

— Да нас не торопили...

С великим трудом удалось уложить Антонио в гроб. Тело обернули простыней.

— Осторожней, чтобы не раскрылся.

Процессия направилась к приходской церкви. Путь лежал мимо аюнтамиенто. На балкон выглянул алькальд. Он даже не снял фуражки.

— Не так уж их много.

Нотариус улыбнулся такой наивности:

— Увидишь сегодня вечером.

— Вечером они пойдут не здесь!

■

— В четыре часа быть в доме Антонио.

Калеро с товарищами разработали маршрут.

— Надо пройти Нижним кварталом!

— Конечно!

— Но это же запрещено! Мы можем пронести его в приходскую церковь, а оттуда прямо на кладбище...

— Запрещено или не запрещено, а мы пойдем!

Люди поднимались на улицу Месон-дель-Дуке. Группами подходили с разных сторон. Хересский поезд прибыл набитый битком. Это явились представители из Хереса. С южного вокзала приехало немного народу: в Пуэрто мало сельскохозяйственных рабочих.

■

Дон Луис позвонил Кристалю.

— Я не могу пойти, не хочу, чтобы меня видели. Но вам следовало бы показаться перед народом. Вы знаете многих в городе и со всеми ладите.

Кристаль запротестовал:

— Да что вы, дон Луис! Ничего подобного! Я вовсе не желаю, чтобы меня укокошили. По-моему, никто из нас не должен идти.

— Мне необходимо знать, что там происходит, и знать из первых рук. Возьмите на себя эту обязанность.

Кристаль подумал о Тобиасе. Дон Дамьян как-то сказал ему, что Тобиас — его доверенное лицо. Кто прислуживает одному барину, прислуживает всем. Кристаль направился в погреба.

■

Дон Дамьян вышел навстречу жандармам.

— Что вам надо?

— Мы пришли за Тобиасом и Фернандо.

— Их тут нет.

— У нас есть приказ арестовать их немедленно.

— Говорю вам: их нет!

Жандармы отстранили его и вошли в погреб.

— Хозяин послал их по делу,— пояснил один из рабочих.

— Долго они будут ходить?

— Не знаю...

Жандармы сели и стали ждать.

Действительно, дон Дамьян счел за благо услать их из города. «Ступайте на виноградники и посмотрите, сколько пришло сезонников». Они отправились, гордые оказанным доверием. Только на одну дорогу уйдет не меньше двух часов. Вот почему Дамьян спокойно улыбнулся и предложил жандармам выпить по рюмочке.

Солдат Нуньес позвонил капралу Пересу:

— Птички упорхнули!

— Далеко?

— Похоже, на виноградники.

— Ждите и не упустите ни одной!

■

Клаудио Кристаль не заметил жандармов, сидевших за розами в патио. Огромные кусты, сплошь покрытые цветами,— гордость хозяина.

— Эй, Дамьян, я за твоим Тобиасом!

Дон Дамьян даже подскочил:

— Зачем он вам всем понадобился?

— Хочу отправить на похороны Антонио. Нужен надежный человек, который рассказал бы нам, что и как. А поскольку ты ему доверяешь...

Дон Дамьян перебил Кристаля. Полиции вовсе не обязательно знать, кому он доверяет.

— Очень сожалею, но вы ошиблись. Тобиас просто добросовестный работник, и все. Только поэтому я и держу его.

Кристаль застыл в изумлении. К нему подошли поздороваться два жандарма.

— Вот эти сеньоры как раз пришли его задержать... Не знаю, что он такое натворил, но если украл, я тут же его рассчитаю.

— Мы пришли арестовать его за убийство Марсиано, сеньор.

Кристаль поспешил распрощаться. Даже дураку ясно, что Дамьян замешан в этом деле.

Выполнить щекотливое поручение приказали жандарму Набито.

— Сними форму и смешайся с толпой.

— Слушаюсь, сеньор.— Долгие годы службы научили Набито одному: станешь перечить начальству — прощай жалованье.

Набито спрятался в самый темный закоулок у себя дома.

— Если спросят из аюнтамиенто, скажи, что видела, как я ушел в штатском платье и говорил что-то насчет похорон.

Жена приготовилась заслонить грудью своего тщедушного супруга.

■

Нотариус дон Хуан Карлос вошел в кабинет. Падре Деметрио встал, приветствуя гостя.

— Какими судьбами! Рад вас видеть!

— Я пришел по весьма щекотливому делу...

Падре предложил гостю стул.

— Слушаю вас...

— Я по поводу похорон.

Падре понимающе кивнул. Он знал, о каких похоронах шла речь.

— Будет месса, и, вероятно, вы скажете надгробное слово.

Компания ведь платит за все, а бедняки охочи до заупокойной мессы. Это единственная служба, которую они посещают. Одних только собак хоронят без музыки и латыни.

— Напомню, как полагается, о добродетелях покойного...

— Вот этого-то и не следует делать. Нужна совершенно иная проповедь. Вместо добродетелей подчеркните отдельные отрицательные стороны... Покойник был агитатором, смутьяном. За день до смерти его выпустили из тюрьмы. Очевидно, он — основной виновник обрушившихся на нас неприятностей.

— Не беспокойтесь, дон Хуан. Я вас понял. Надо вселить страх в их греховную плоть или хотя бы в душу!

Нотариус кивнул.

■ ■ ■

Дон Висенте пришел без четверти семь.

— Я тоже хотел бы нести гроб...

Калеро и Негро встали в первом ряду. Оба выглядели весьма живописно: избитые, в синяках, лица изукрашены полосками лейкопластыря. Следом встали врач, Хуан, Муло, Пелао, Чирло и Пистолеро. Пистолеро был самым молодым и самым низкорослым. Никто не подходил

ему под пару, но он со слезами на глазах умолял разрешить ему нести гроб.

— Я тоже погибну, как он!

Калеро уступил просьбам Пистолеро. Таким паренькам нельзя отказывать.

Восемь мужчин разом взялись за ручки гроба.

■

Улица Анча жила своей обычной жизнью. В барах, как всегда, пили, болтали, смеялись, словно ничего и не произошло. Да и на самом деле в жизни этих людей ничего не произошло. Они даже не заметили, что на улицах исчезли все батраки.

— Сегодня у них день траура! — сказал кто-то, и всех это объяснение устроило.

На улице Санто-Доминго показалась похоронная процессия. Алькальд сидел в казино.

— Не может быть!

Все-таки учинили беспорядки. Он вызвал жандарма.

— Задержать их! Не пускать!

Жандарм вытянулся в струнку:

— Очень сожалею, сеньор, но я не могу этого сделать.

— Выполняйте приказ!

— Я не могу его выполнить...

Процессия двигалась посередине мостовой. Машинам приходилось жаться к обочинам тротуаров. В наступившей тишине глухо нарастал шум шагов. Шарканье подошв о брусчатку мостовой. В казино все застыли. Клубмены со страхом взирали на проходящую процессию.

Некоторые робко вставали, и тут же снова опускались на место; иные принимали воинственные позы; одни старались показать, что они, мол, сторонники властей, другие — что они как раз ярые противники. Многие снимали шляпы, а женщины из народа падали ниц, словно мимо них проносили останки святого.

Пройдя через центр города, процессия поднялась по улице Ганадо к приходской церкви.

■

Дон Деметрио в полном облачении поджидал их на паперти. По обеим сторонам его стояли служки. Старый причетник, как обычно, держал дарохранительницу.

Хвост процессии еще только вступил на главную улицу, а гроб уже внесли в церковь. Дон Деметрио перепугался, увидев такую уйму народа. Машинально бормоча латынь, он мысленно смягчал наиболее ядовитые фразы в заранее приготовленной проповеди.

Как только гроб опустили на каменные плиты, началась месса. Среди родственников стояли Хасинто, двоюродный брат из Требухены, Сириако, дон Аурелио и Манолильо в своих первых длинных брюках. Хасинто усадил малыша.

— А то устанешь,— шепнул он ему.

Манолильо привели потому, что он стал как бы символом. Впервые за многие годы церковь была полна народу. Впервые люди ждали на улице конца мессы! И каждый стоял там, где остановился, и никто не уходил, чтобы, как обычно, пропустить стаканчик в ближайшем баре.

— Братья и сестры! Перед вами несчастный грешник, ваш брат и сын, павший жертвой собственной своей гордыни, как Люцифер на небесах. Перед вами бездыханное тело, от которого отлетела душа! Вот останки несчастного Антонио, который, быть может, в этот миг горит в геенне огненной! А может, и нет! Все мы знаем, как велико милосер-

дие господне, и господь мог спасти его, ниспослав ему миг прозрения, миг раскаяния, который стоит целой жизни. Самый тяжкий грех в его глазах — это гордыня!!!

Дон Висенте старался не вслушиваться в слова проповеди. Идиотские фразы наводили на него скуку, возмущали, но несмотря на все его старания назойливо лезли в уши.

— И вот однажды диавол пожелал завладеть душой вашего брата, сказав ему: «Убеди их развязать ненависть, ибо только с помощью ненависти смогу я стать владыкою мира». И бедный, невежественный Антонио послушался диавола, подобно нашей праматери Еве, не заметив, как зловредность и низость овладели душой его. Да, да, дети мои, зловредность и низость. Ибо он толкал вас совершать зло, не сообразуясь с последствиями и не заботясь о вашем будущем. И вы могли бы очутиться там, куда попал он по собственной своей вине! Антонио предал вас, ибо пожелал зла всему нашему городу. Иуда!..

Больше он не успел ничего сказать. Муло добрался до амвона, на который взгромоздился добродетельный дон Деметрио.

— Ах ты сучье отродье! Гад проклятый! Только и знаешь, что обзывать нас и облапошивать своей болтовней!

Муло чуть было не прибил дона Деметрио. Калеро с товарищами вовремя оттащили его. Священник прикусил язык. Батраки могут возмутиться и нанести ущерб престижу церкви и священнику... Особенно самому священнику... Слишком их было много, а он один...

— Дети мои, помолимся за усопшего!..

Монотонная латынь понемногу успокоила разгоряченные головы. Падре обошел вокруг гроба, усердно размахивая кадилом. Простые люди любят, когда машут кадилом. Жесты получаются торжественные, а жесты всем хорошо видны. Чем больше, тем лучше.

— Можете нести его в его последнюю обитель!

Восемь человек подошли к гробу.

Толпа, заполнявшая неф, потеснилась, пропуская их. Гроб поплыл по церкви в глубочайшей тишине. Лишь раздавался перезвон колоколов.

Дон Деметрио запер дверь в ризницу. У него дрожали руки. Он позвал пономаря помочь ему разоблачиться.

— Ну и минутку вы пережили!

— И не говори!

— Я знаю, как зовут этого, что угрожал вам. Следует донести на него в полицию. Говорить такие богохульства в святой церкви!

Дон Деметрио отрицательно покачал головой.

— А-а, лучше его не трогать. У нас и так полно неприятностей. Вот через несколько дней посмотрим...

■

За воротами кладбища Калеро сказал товарищам:

— Завтра выходим на работу. Но смотрите не забывайте, что здесь остался лежать Антонио. Он умер за всех нас.

■

Тобиас и Фернандо вернулись с виноградников.

— Вас тут дожидаются два сеньора...

Солдат Нуньес и солдат Перес стремительно подошли к ним и встали по бокам.

— Это еще что?! Почему?

— На допрос.

— Дон Дамьян, а вы разве не пойдете с нами?

— Сейчас иду.

Дон Дамьян заперся у себя. Он не хотел, чтобы его видели. Ему надо было подумать, и крепко подумать. Вдобавок он трусил.

■

Хуан и Пако, как обычно, заглянули к Верзиле. У дверей они встретили старика Чунгу. Тот сидел у порога в своем воскресном костюме. Он тоже только что вернулся с похорон.

— Говорил вам, что все это плохо кончится...

— Мы добились, чего хотели.

— Но Антонио уже нет. Антонио уже больше ничего не добьется.

— Все равно. На его месте мог очутиться я или кто другой. Мы все были на это готовы. Просто такая уж у него судьба.

Подошел Пистолеро:

— Следующим буду я! Во время будущей забастовки! Я погибну так же, как Антонио! За всех нас!

Хуан погладил паренька по голове. Он был не намного старше его, но чувствовал себя взрослым, солидным, потому что уже давно ходил на заработки.

— Ладно, не болтай глупости. Чем меньше смертей, тем лучше.

— Всегда будет нужен тот, кто отдаст свою жизнь за других. Так просто ничего не бывает.

— Кровь слишком дорогая штука, чтобы продавать ее за деньги,— вставил Чунга.

— Дело не в деньгах, дедушка, есть вещи поважнее... Наши дети имеют право жить лучше, чем мы, учиться, как сынки богатеев, и не вкалывать до седьмого пота. Требовать настоящей платы — это правое дело, это шаг вперед. И так шаг за шагом мы, дедушка, добьемся всего! А те, кого мы потеряем по пути, ну что ж, значит, им не повезло!

Лавка Кармело была закрыта. На двери было приколото объявление: «Закрыто по случаю похорон». Алькальд имел право заставить хозяина открыть заведение, но предпочел не делать этого. Не время провоцировать рабочий класс.

■ ■ ■

Стояло обычное утро. Обычное утро страдной поры. Понадобилось всего двенадцать часов, чтобы жизнь снова вошла в свою колею. Хозяева проглотили пилюлю, согласившись на новую поденную оплату, а батраки поняли, что это повышение отнюдь не разрешило их беды.

В семь часов утра, прихватив с собой плетеную корзинку, Хуан направился на виноградник. Дома завелись деньги, поэтому Сальвадора накупила всякой всячины.

Каждый шел своей дорогой. Не надо было поджидать других на площади. Работу дали всем.

— До вечера!

— Работы теперь по горло!

— Сказали, месяца два будем вкалывать без передышки.

Два месяца! Шестьдесят дней! Не так-то уж много, но когда эти два месяца впереди, ты спокоен, будто они в жизни никогда не кончатся. Калеро знал, что после сбора урожая наступит зима и придет мертвый сезон. Другие тоже знали, но никто не хотел об этом думать.

— Мы победили.

И этого было достаточно, чтобы они весело смотрели в будущее. Звонкая песня разнеслась над заливом.

■

У лавки Диеса собрались торговцы.

— Из-за этих беспорядков подскочит цена на картошку.

— И на помидоры.

— Мясо уже подорожало.

На следующий день цены действительно подскочили вдвое.

■

Старшина допрашивал Фернандо. За дверью дожидался своей очереди Тобиас. Оба устали. Всю ночь их продержали в казарме, на голых деревянных нарах, чтобы «взбодрить», как выразился капрал Перес. Однако их и пальцем не тронули. Поэтому они успокоились. Мало кто уходил из жандармских казарм без синяков и шишек с кулак величиной.

Но таков был приказ капитана, он даже предупредил своих подчиненных:

— Вы, смотрите, полегче, а то еще пожалуются судье, тогда неприятностей не оберешься. Сами знаете: по закону нельзя давать волю рукам.

— А как же тех...

— Те — другое дело. А это обычные арестанты. От них нам нечего добиваться и незачем запугивать... еще неизвестно, кто во всем этом замешан!

■

— Скажите, что вы делали в ночь с двадцать шестого на двадцать седьмое?

Фернандо отвечал спокойно:

— Лег спать. Намотался за день. Дон Дамьян задержал нас в погребах, после того как все уже разошлись.

— Зачем?

— Чтобы опробовать вина.

— Дон Дамьян пробует вина в рабочее время. И, если хочешь знать, он поручает пробу Диего, специалисту по этой части.

— Да что вы! Хозяин не доверяет даже родному брату... а уж с рабочим временем совсем не считается. Держит нас, сколько вздумается, а кто не согласный, тут же рассчитывает.

Оба обвиняемых держались одной версии. Хозяин научил, что нужно говорить. «Так и отвечайте, если вас спросят, и больше ничего. И от себя — ни слова. Вам же будет хуже».

Но эта версия оказалась непригодной:

— Вас видел в ту ночь один человек... Вы прятались в подъезде напротив лавки Кармело. Этот человек как раз оттуда вышел. Он помнит, как Марсиано рассказывал вам, что приключилось с ним в погребах.

— Да, верно, так оно и было, но при чем тут Марсиано...

— А как же? Зачем вы прятались ночью в подъезде, если не задумали ничего плохого?

— Да так, надо было... Когда мужчины заходят в подъезд, значит есть дельце. Как вы думаете, сеньор старшина?

Лучше было сойти за прелюбодея, чем за убийцу. Фернандо подумал, что Тобиас догадается сказать то же самое, а если не догадается — все равно. Ему, Фернандо, верили больше, чем другим.

Старшина отослал его:

— Ступай домой, но смотри не вздумай улизнуть из города. Придется еще разика два тебя допросить, пока не разберемся окончательно.

Дольше задерживать его было нецелесообразно. Семьдесят два

часа проходят быстро, а потом начинаются протесты прокурора и головомойки. Предавать их суду еще не пришло время. Дон Альберто любил только совершенно ясные дела. Сомнений не оставалось. Эти двое напали на Марсиано по приказу дона Дамьяна. Иначе зачем было Фернандо будить хозяина, когда еще не пробило и шести часов утра? Что тогда означало странное поручение: «Передай хозяину, что все в порядке»? Если все в порядке, никто не станет беспокоиться так рано. А служанка отлично помнила утреннее посещение надсмотрщика.

■

Фернандо спустился в погреба.

— Мне надо с вами поговорить.

Дон Дамьян увел его в свой кабинет и запер дверь на ключ.

— Мне сказали, как надо действовать. Дело необходимо прикрыть, а то мне пришьют несколько лет.

— Защищайся. Это уж твоя забота. Я не велел вам убивать...

— А я вас предупреждаю: если дело дойдет до суда, мы оба заговорим... И не вздумайте убрать нас с дороги, вам же будет хуже.

Дон Дамьян обещал сделать все что нужно. Фернандо вернулся к своей работе. А хозяин остался сидеть в кабинете. Ему хотелось побыть одному, когда на него наваливались неприятности: одиночество как-то успокаивало.

В полдень он послал за секретарем суда.

■

Дон Альберто отпустил Касимиро. Ясно: это убийство. В который раз судья имел возможность убедиться в своей прозорливости. Еще не успели закончить чтение показаний, а он уже знал, кто приложил руку к этому делу. Получалось глупейшее положение. Винодел, преследуемый за убийство какого-то рабочего, совершенно бесполезного для общества,— рабочего, которого преспокойно можно заменить точно таким же.

У дона Дамьяна имя. Дон Дамьян фигура. А те двое — ничто, быдло паршивое. В конце концов, они избавили общество еще от одного смутьяна. А чем меньше смутьянов, тем лучше.

Судья был человеком прямолинейным. Все в нем — от узла галстука до ботинок — являло прямолинейность.

Некоторые считали его чуть ли не святым. И в самом деле, дон Альберто твердо придерживался морали, своей «освященной богом» морали.

Бог всегда на стороне разума. А кому помогает бог, тот и побеждает; ибо бог всемогущ, и с ним никто не осмелится бороться. Иными словами, те, кто побеждает,— богачи, друзья бога. А поскольку бог справедлив, у него не может быть неправедных друзей. Могущие всегда справедливы.

Правда, в некоторых странах и при некоторых обстоятельствах Всемогущий позволил победить антиразуму, бросив своих приверженцев на произвол судьбы. И зловредность восторжествовала. Но бог допустил это по двум соображениям: во-первых, чтобы подвергнуть своих верных сынов испытаниям, а потом возвратить им положенное по праву — как это и произошло в Испании — или чтобы наказать их за то, что они отринули и оскорбили его, как это происходит в России и других коммунистических странах.

■

— Как идет разбирательство дела Марсиано? Целый день держат в казарме моего надсмотрщика. Пора кончать с этой волынкой.

Секретарь поздравил себя с тем, что ему пришло в голову заглянуть к Дамьяну.

— Думаю, все в порядке... минут десять назад звонил старшина, сказал, что они во всем признались.

Дон Дамьян побледнел.

— Послушайте, Касимиро, неужели нельзя что-нибудь придумать... Всегда же можно договориться...

■

— Тобиас Бласко!

Тобиас вошел в кабинет в сопровождении капрала Переса.

Старшина указал ему на стул.

— А ну-ка, посмотрим. Твой дружок рассказал, как все было. Вы дождались Марсиано, а когда он остался один, сволокли его в затон. Потом ты пошел к дону Дамьяну, но он не захотел тебя принять. Словом, все рассказал.

— Это неправда!

Капрал Перес восстановил ход событий. На основании показаний Пиернаса, работавшего в погребах дона Дамьяна, и двух женщин он составил себе почти полную картину происшествия.

— Дон Дамьян велел вам убедить парня не подавать на него жалобу. Он дал вам денег, чтобы вы заткнули ему рот. Денежки вы припрятали, а парня прикончили, решив, что никто не узнает, но полиция раскрывает любое преступление!

— Неправда! Сам дон Дамьян еще в погребах велел нам убрать его! Он сказал: «Надо покончить с доносчиками. Вода и темнота все прикроют. Не бойтесь, я сам за все отвечу».

Капрал Перес улыбнулся. Ловушка сработала на славу.

Старшина приказал немедленно отправить Тобиаса в тюрьму. Виновен в убийстве. Он вызвал жандарма Нуньеса.

— Пока Перес отведет этого, берите любого гвардейца и задержите Фернандо.

Старшина решил, что дона Дамьяна лучше всего вызвать прямо в суд. И передал документ капралу:

— Скажи дону Альберто, пускай подпишет ордер на арест... Если сочтет нужным, пусть пошлет повестку на имя дона Дамьяна. А я схожу в погреба, узнаю еще кое-что, хотя мне и так все ясно.

■

Касимиро с удовольствием пощупал внутренний карман пиджака. Конверт лежал там. В нем похрустывали зеленые банкноты. Касимиро почувствовал себя важной птицей; ему дали большую взятку, и кроме того дон Дамьян был теперь у него в руках.

Если дело выгорит — еще дадут; а если нет, никто не станет протестовать, если он забудет отдать аванс. Касимиро столкнулся с жандармским старшиной на улице Победы. Какой у него все-таки противный вид!

■ ■ ■

Дон Дамьян явно нервничал. Он то снимал, то надевал шляпу, то клал ее рядом с собой на скамейку. Он не знал, как себя вести. В других обстоятельствах все было куда проще. Держался бы он на равных. Но обстоятельства переменились. Судья превратился в некое мифологическое существо, в ученого человека, вознесшегося намного выше семейства Кура, ставшего поважней доктора, разве чуть пониже, чем алькальд. В его власти арестовывать и убивать.

Со временем дон Дамьян уразумел, что врачи называют сеньором

всякого, кто им платит, а алькальд ведет себя вполне любезно, когда сам приходит к тебе домой просить о каком-нибудь одолжении. «Могущественный кабальеро дон Деньга», говорится в народе, и это правда.

■

Воспользовавшись паузой между двумя визитами, в кабинет вошел секретарь. Утро выдалось хлопотливое. Вся местная знать потянулась к судье за советом. Каждый хотел спросить, нельзя ли как-нибудь обойти соглашение, принятое в Кадисе.

— Дон Альберто, разрешите.

Судья разрешил. Секретарь плотно прикрыл за собой дверь.

— Я только что был в погребах Дамьяна...

Дон Альберто скользнул по нему безучастным взглядом, словно не понимая важности такого сообщения.

— Кажется, с Марсиано в самом деле произошел несчастный случай.

— У меня другие сведения.

— Дон Дамьян сказал, что Марсиано беспробудно пил.

— Свидетели утверждают противное.

— Дон Дамьян вас ожидает... Он немного взволнован...

— Пускай подождет. Просите дона Гаспара.

Посещения закончились. Дон Альберто разобрал еще несколько текущих дел, задержавшись в кабинете дольше, чем на час. Касимиро тоже, по всей видимости, не спешил. Ни тот, ни другой не хотели уходить в одиночку. Секретарю не терпелось узнать, о чем станет говорить дон Дамьян с начальством. А начальство не желало никаких свидетелей. Судья позвонил секретарю.

— Вы все еще здесь?!

— Да, сеньор, просматриваю бумаги... Необходимо подготовить два очень важных дела для завтрашнего разбирательства.

— Можете идти домой!

— Я не спешу, сеньор.

Судье пришлось прибегнуть к тону, каким он обычно оглашал самые суровые приговоры. Голос его зазвенел от скрытой угрозы:

— Я сказал вам, что больше не нуждаюсь в ваших услугах!

Касимиро вышел, скрипя зубами. Дон Альберто выждал еще с полчаса, перелистывая Евангелие.

■

Наконец, дон Дамьян расстался со своей шляпой, положив ее на столик в стиле прошлого века, обильно и безвкусно инкрустированный перламутром, рогом и эмалью. Судья дон Альберто усмехнулся: столик для шляп не предназначался.

— Пройдите за мной!

Они пересекли опустевшее здание суда. Зал заседаний был наиболее подходящим местом для бесед подобного рода. Даже прижавшись ухом к двери, невозможно расслышать, о чем говорят в глубине комнаты. Идеальное место для разрешения деликатных вопросов.

— Итак?

— Я... по делу Марсиано... думаю, что его слишком раздувают... Ведь каждому понятно: просто несчастный случай. Даже ребенку ясно! Можете спросить, кого хотите.

Дон Альберто взглянул в окно. Непременно будет гроза.

— Не думаю. Согласно показаниям, полученным гражданской гвардией, здесь пахнет убийством... И преступники — ваш надсмотрщик и ваше доверенное лицо Тобиас. В этом мы ни на секунду не сомневаемся.

Дон Дамьян вытер вспотевший лоб шелковым платком. Все оборачивалось куда хуже, чем он предполагал.

— А если не они?

— Это исключено. Подробности сегодняшнего утреннего допроса мне еще неизвестны, но уже вчера у нас были все доказательства...

— Так что... будет суд?..

— Разумеется. Однако я хотел бы предупредить вас, что в этом деле замешано и третье лицо — подстрекатель. Некое важное лицо, которое по известным обстоятельствам хотело избавиться от неугодного ему работника. После борьбы, которую мы вели с забастовщиками, было бы весьма полезно засадить всех троих за решетку.

Наступила тишина. Дамьян лихорадочно соображал. Надо что-то сказать... как-то прояснить положение...

— Это правда, дон Альберто, я не хотел говорить, но это истинная правда! Я действительно попросил двух своих работников убедить этого парня не жаловаться на меня в профсоюз... Вы знаете, у меня несколько иная система оплаты, она не совсем согласуется с нынешними профсоюзными законами. Они поджидали его всю ночь и встретили, когда он выходил из бара Кармело. Он был сильно на взводе. А они не хотели, чтобы слышали их разговор, вот они и пошли к Серро-Фалону. Оттуда спустились к Навасо-дель-Бринка. Марсиано был вдрызг пьяный... Он сопротивлялся, кричал, что непременно пойдет в профсоюз, и не хотел слушать, что они ему втолковывали. Вот Фернандо и спустился в затон, чтоб взять немного воды и смочить Марсиано голову. Это его отрезвило, да не совсем. Тогда они повели его освежить голову. Тут вдруг Марсиано возьми да и нападни на Фернандо, хотел столкнуть его в воду. Фернандо начал защищаться, а Марсиано сам свалился в воду. Как они ни пытались его вытащить — и руки ему протягивали, и тростник, чтобы, значит, он ухватился. Но бедняга ничего не видел. Он и кричать перестал, сразу захлебнулся. Мои ребята перепугались и дали деру. Фернандо примчался ко мне около шести утра и все рассказал, как было. И я пообещал уладить дело. Я не стал ничего предпринимать, так как решил, что все сочтут это несчастным случаем... Но дело приняло другой оборот. Задержали обоих, и даже мне прислали повестку, чтобы я явился через два дня.

Дон Альберто встал.

— Если все, что вы сказали, правда, вы являетесь косвенным соучастником преступления. Мы доведем это до сведения гражданской гвардии, и, возможно, вы отделаетесь крупным штрафом... Разумеется, чтобы все закончилось столь легким наказанием, вам придется сначала представить доказательства вашей правоты.

С дона Дамьяна пот лил в три ручья.

— Дело-то как раз в том, что у меня нет никаких доказательств.

Судья улыбнулся. Пришло время говорить ему:

— А у нас все доказательства имеются. И они прямо противоположны вашим заверениям... Три часа назад ваши работники во всем признались...

Дикий ужас перед возмездием охватил кургузого винодела. Забыв, что он, дон Дамьян — миллионер, он плюхнулся на колени и зарыдал, уткнувшись в ноги судьи.

— Не погубите, сеньор дон Альберто. Не разоряйте, у меня трое детишек, дон Альберто! Ради всего святого, ради вашей и моей матушки! Не погубите!

Дон Альберто презрительно усмехнулся. Такие сцены были ему противны, но в то же время как-то возбуждали его. С минуту он молча наблюдал поверженное жирное тельце, чувствуя себя всемогущим. Один жест — и эта груда жира отправится за решетку, еще один — и его препроводят в каторжную тюрьму в Пуэрто, а может, кто знает? Может, даже наденут неудобную для шеи гарроту. Эта груда жира была

подстрекательницей убийства, она хорошо оплатила наемных убийц, она тряслась от страха, расплывалась, растекалась на полу лужей пота.

— Не бейте меня, дон Альберто!

Судье наскучила эта сцена.

— Успокойтесь, Дамьян. Все в жизни можно уладить...

Страх исчез так же быстро, как и возник. Конвульсивно дернувшись еще раз-другой, дон Дамьян снова стал могущественным виноделом, для которого всегда найдется выход из любого трудного положения. Вытерев глаза платком, он громко высморкался. На стул он сел, уже полностью обретя свое достоинство.

— Что бы то ни было, дон Альберто, я сделаю для Фернандо все, что в моих силах. Он столько лет у меня работает!

Дон Альберто не хотел, чтобы его считали дураком. Следовало показать собеседнику, как недешево стоит правосудие:

— Полагаю, любезный друг, что все это скорее относится к вам самому. Не кажется ли вам, что вы весьма и весьма сильно замешаны в этом деле?

Дон Дамьян запротестовал. Ничего он не знал. Только просил своих людей уговорить Марсиано.

— Вы приказали его убить.

Кургузый винодел собрался было повторить недавнюю сцену, но судья успокоил его.

— Да не волнуйтесь вы. Безусловно, все было так. И этому есть доказательства — вот они.— И судья указал на толстую папку, лежавшую на столе.— Никто и никогда не узнает, отчего умер ваш работник при столь странных обстоятельствах... Возможно, был несчастный случай... свидетели не расслышали... их не было на месте происшествия... они могут дать другие показания. Необходимо вот что: во-первых, опровергнуть кое-какие показания — особенно Тобиаса — и принудить его дать новые. Надо обновить протоколы, уничтожить копии в архиве, изменить даты...

— Вы не знаете, как я был бы вам благодарен...

Дон Альберто понимающе кивнул.

— Приходите завтра и повторите мне свои сегодняшние показания... О драке можете не упоминать... Об остальном я позабочусь сам.

Дон Дамьян поднялся, собираясь уйти. Судья задержал его:

— А теперь мне хотелось поговорить с вами о другом деле. Оно не имеет ничего общего с предыдущим, но весьма меня интересует.

Дон Дамьян снова сел.

— Как я слышал, продается имение Пахоса.

Дон Дамьян поддакнул.

— Прекрасное имение с высокосортными хересскими виноградниками... Просто не понимаю, как это Дюраны решились его продать.

— Кажется, по завещанию...

— Я с удовольствием приобрел бы его...

Дон Дамьян повеселел. Тут можно нагреть руки.

— Хотите, я займусь этой покупкой?

— Дело в том, что в настоящее время я не располагаю необходимой суммой... Конечно, вы могли бы купить его на свое имя... А годика через два перепродать моей дочери... В день, когда будет совершена эта сделка, я вручу вам вот эти бумаги... А пока поберегу их у себя.

— Но у меня нет таких денег!

Дон Альберто встал:

— Весьма сожалею... Я, понятно, сделаю все, что возможно, но обещать ничего не могу... Слишком оно темное... слишком.

Дон Дамьян лихорадочно думал. Конечно, лучше потерять несколько миллионов, чем жизнь.

— Как-нибудь постараюсь, дон Альберто. Сейчас же побегу за маклером. Имение стоящее, и даже очень.

— Я позвоню в отделение гражданской гвардии,— сказал судья, прощаясь с доном Дамьяном на лестнице.

■

Жандармы увели второго арестованного в тюрьму.

— Помещу его туда, где были те, да?

— Нет, что ты! В камеру, где хоть тюфяки есть.

— Почему это?

— С этими нельзя плохо обращаться. Кстати, проследи, чтобы их накормили. Если они появятся на суде в непотребном виде, неприятностей не оберемся. С адвокатами шутки плохи.

— Что ты! Буду я еще ублажать этих гадов. Не очень-то они цацкались с Марсиано.

Солдат Нуньес оборвал его:

— Попридержи-ка язык. Суда еще не было. Пока преступник не приговорен, он считается невиновным. Понял? Так что помалкивай!

— Тогда почему же так отделали тех ребят?

— На то был приказ...

Надзиратель умолк. Приказ есть приказ. Его надо выполнять. Приказ дается не для того, чтоб его обсуждать или понимать. Выполняй — и все тут.

— Ну, понял теперь?

— Понял!

— Обращайся с ними хорошо и поменьше умничай!

— Слушаюсь!

Жандармы ушли, вечер у них был свободный.

■

Капитан жандармерии вызвал к себе капрала Переса:

— Принесите дело Марсиано.

Капрал принес папку. Он гордился проделанной работой. Показания, улики, доказательства — все в идеальном порядке.

— Им не отвертеться, влипли по уши.

Капитан рассеянно листал бумаги, частью написанные на машинке, частью крупным круглым почерком, каким учат писать в военной школе.

— Вот это... неправильно.

Капрал Перес побледнел.

— Все в полном порядке, сеньор капитан. Посмотрите показания Тобиаса! Больше чем нужно, чтобы провернуть дельце!

Капитан откинулся на стуле, и спинка стула царапнула стену. Сапоги зловеще скрипнули.

— В жизни встречается много вещей, которые трудно понять. Во-первых, мне не нравится ваш доклад, он плохо составлен, во-вторых, нас обязали пересмотреть это дело.

— Как же так, жертва убийства похоронена. И все показания уже сняты...

— Все, все можно. Единственно, что надо сделать, это переписать даты. Даты прежде всего, капрал!

Перес никогда не предполагал, что влияние дона Дамьяна так сильно. Он ожидал поздравлений, но никак не взбучки. На лице его отразилось полнейшее непонимание.

— Прочитайте, пожалуйста, сеньор капитан, внимательно это дело, и вы увидите, что я прав. Я весьма заинтересован в том, чтобы вы пере-

смотрели его до конца; следствие проведено так гладко, что я даже надеялся на повышение...

Офицера утомил этот разговор. Он привык отдавать приказы, а не рассуждать с подчиненными.

— Для вашего послужного списка лучше, если это дело вообще не будет там числиться.

— Это приказ?

— Разумеется.

— Тогда... что делать дальше, сеньор капитан?

Старшина поднес зажженную зажигалку к папке с документами. Там лежали оригинал и одна из копий показаний, вторая была отправлена в суд.

— Не беспокойся. Даты записаны на отдельной бумажке... и часы тоже. Марсиано погиб в результате несчастного случая, свидетелями которого были Фернандо и Тобиас. Испугавшись, они побежали к дону Дамьяну и сообщили ему обо всем. Рассказали, как напились все вместе и как их дружок свалился в воду. А дон Дамьян довел об этом до нашего сведения.

Капрал вытянулся в струнку. Приказ не совпадал с уставом, но приказ есть приказ.

— Сразу же приступайте к делу. Завтра в девять ноль-ноль к вам придут... И никому ни слова. Это должно остаться между нами. Чем меньше болтают, тем лучше.

— Недаром говорится: не трожь, оно и не воняет...

Капитан сделал вид, что не расслышал грубой поговорки.

■ ■ ■

Дон Альберто дочитывал книгу, которую ему прислали на прошлой неделе. Это был труд падре Уртеага, верного ученика и последователя падре Эскрива. Книга, глубокая по мысли, была написана с подлинным блеском. Да, религию следовало защищать всеми возможными средствами, вплоть до применения «американских пулеметов», как гласил один из лучших пассажей в книге. Судья с удовлетворением воспринял эти новые веяния в христианстве, которые должны укрепить пошатнувшуюся веру.

■

Батраки опрыскивали виноградники, неся на спинах тяжелые баллоны. Зеленая жидкость медленно высыхала на лозах. Солнце жгло нестерпимо, но никто не осмеливался вытереть со лба пот, боясь, как бы яд не попал в глаза.

■

Капитан закурил вечернюю сигару, размышляя о правосудии. Среди начальства шла дележка, и его явно хотели обойти. Трудно будет этому помешать. И судья знает это лучше, чем кто-либо другой. На дурное у него отличный нюх.

■

Дон Дамьян торговался с маклером Дюпонов.

— Важно заинтересовать. Чем больше ему набрешешь, тем лучше.

— А как же деньги?

Дон Дамьян протянул маклеру полмиллиона. Меньше, чем требовалось на задаток. Но все банки были уже закрыты.

— Сойдет?

Маклер молча кивнул и спрятал деньги за пояс, поближе к сердцу. Не станет он отдавать все сразу дону Станиславу, быстрому на траты

для себя и медлительному, когда дело касается его, маклера. Значит, приходится самому о себе думать.

■

Фернандо и Тобиас кутили напропалую. Так велел им дон Дамьян, когда пришел в тюрьму с приказом судьи:

— ...чтобы все вас видели веселыми. Пейте, напивайтесь, если хотите, но твердите одно: вас задержали по недоразумению, и вы знать ничего не знаете о Марсиано.

И дал им по сорок дуро каждому.

Фернандо и Тобиас послушались хозяина. Они бродили из пивной в пивную, потеряли счет стаканам, но пили в полном одиночестве. Стоило им только войти в бар, как от стойки все шарахались. Бармены подавали им молча, словно расплачивались они фальшивыми деньгами.

Даже певцы и танцовщики — и те не разговаривали с ними. А некоторые и вообще отказывались выполнять их заказы.

— Для дамьяновских прихвостней... да ни в жизнь! Или, может, вы думаете, мы не знаем, где вы были в эти дни? Неужто люди — псы, которых можно убивать безнаказанно?!

Тобиас и Фернандо не возражали и только старались поскорее убраться прочь.

— Дон Дамьян велел нам возмущаться, когда нас станут обзывать убийцами. А вот эти как раз нас и обозвали!

Фернандо только плечами пожал.

— Пускай сам возмущается! А нам сподручней вовремя смотаться. Скажи спасибо, что свободно ходим по городу. Могли бы уже давно пристукнуть.

— Ну, так бывало в другие времена!

— Времена возвращаются, когда меньше всего ожидаешь. Имей это в виду.

■

Дон Дамьян пришел на берег за креветками.

— О, какая радость! Смотри, кто явился!

Дон Пепе поднялся, чтобы обнять винодела. Дон Луис не тронулся с места, а только небрежно махнул рукой, в виде приветствия. Он еще не знал, как обстоят у Дамьяна дела. Но сожалел, что благоразумия ради приходится вести себя так холодно с доном Дамьяном. Когда полиция за кого-нибудь берется, она не удовлетворяется тем преступлением, которое привело ее жертву в тюрьму. Начинает докапываться. Весьма неприятно, когда это затрагивает члена местного самоуправления.

— Ну, раз уж вы тут, пользуюсь случаем и приглашаю вас к себе. Сегодня вечером жду вас у себя в погребах. Немножко повеселимся.

Дон Луис понял, что Пепе непременно согласится на приглашение. И вовремя его остановил.

— Вероятно, мы не сможем... Дел много. Мы заняты...

— Кто из вас не сможет?

— Никто.

Дамьян сообразил, что пришло время объясниться:

— Я послал Фернандо с Тобиасом за девочками. Думаю, что приведут.

Дон Луис не сдержал жеста удивления:

— А разве они не в тюрьме?

— В тюрьме? Пробыли там всего несколько часов. По ошибке. К счастью, все уладилось. Марсиано погиб в результате несчастного случая. Мне стоило немалого труда уладить это дело!

Алькальд мысленно прикинул, сколько получил дон Альберто за улаживание дела. У него даже голова закружилась. Уж очень солидная получалась сумма.

■

Пришли первые гости. Только судья и нотариус отказались от приглашения. Они взяли за правило не ходить на частные пирушки.

На столах, расставленных в патио, появились блюда с яствами. Почетное и значительное место занимали креветки. Правда, икра отсутствовала. Местным богачам еще не было известно, что это одно из самых изысканных кушаний.

Рядом с батареей бутылок доморощенного вина красовались ящики с виски. Каждый мог напиться сообразно своим вкусам.

■

Впервые за всю историю местного суда заседание началось раньше назначенного часа. Секретарь вел протокол.

— Значит, вы были недалеко от затона, когда туда упал Марсиано?

— Нет, сеньор! — поспешно возразил Тобиас. Он совсем не разбирался в этих ухищрениях.

— Говори: да!

— Но ведь...

Тут вмешался дон Дамьян:

— Говори, что тебе велят. Твое дело слушаться!

Судья повторил вопрос.

— Да, сеньор...

— Потом вы пошли к дону Дамьяну и рассказали о случившемся. Дон Дамьян велел вам пойти в казармы.

— Да, сеньор...

Прекрасно, все вполне совпадает с предыдущими показаниями.

В десять часов утра дело Марсиано лежало уже в архиве.

— Будем помещать сообщение в газете?

Судья отрицательно покачал головой.

— Зачем? Публикация только испортит дело.

Капрал Перес вышел из здания суда в смущении. Какая огромная разница между тем, чему его обучали в военной школе, и тем, что он видел в жизни. Он зашел в бар пропустить рюмку. Никогда еще он не заходил в бар в военной форме — это запрещалось уставом. Но устав запрещал и то, что только что совершило его начальство.

Во время обучения ему втолковывали, что превыше всего — защита справедливости. А также приказ. А также розыск и поимка преступников.

Он поступил в соответствии с уставом, но в конечном итоге получилось, что все это неверно. Он выпил еще. Кто посмеет сделать ему замечание, если даже он напьется? Блюститель закона может не считаться ни с чем!

■

Матери Марсиано все уже было известно. Ей сообщил об этом Кармело.

— Сам видел, как Тобиас и Фернандо разгуливают по городу. Ты должна подать на них в суд!

Но Флора слишком много повидала в своей жизни. Вот теперь и сына у нее убили. Могли убить и других детей. Предлог найти нетрудно. Ей припомнилось, как в годы войны никто и пикнуть не смел, когда на обочинах дорог обнаруживали трупы. Такие времена могли вернуть-

ся, и тогда поминай как звали братьев Марсиано: они жизнью своей заплатят за ее неосторожный шаг. Поэтому она не пошла ни в суд, ни в участок. Стала ждать, когда злодеев накажет бог. И утешаться мыслью, что плохие люди всегда плохо кончат.

— Что ни говори, бог все видит!

Хулио, у которого был совсем другой характер, в сердцах возразил:

— Если он все видит и все может, как говорят попы, и все позволяет, то будь он проклят! Если бы я был богом, разве я позволил бы убивать, как убили моего брата, или чтобы люди так голодали, а детишки помирали от болезней и чтобы у одних было всего завались, а у других ни вот столечко! Я был бы добрым богом, а не такой сукой!..

— Замолчи, мальчишка! Тебя же услышат!

— Не замолчу! Не хочу молчать, я говорю правду! Вот когда его вынесут на страстной неделе крестным ходом, я крикну это ему в лицо! К чему ему столько славословий и золота?! К чему столько свечек? Почему он тоже богатей и любит копить деньгу?! А на нас, бедняков, плюет свысока! Не будь он из дерева, небось тоже заимел бы машину, стал бы устраивать пирушки и убивать людей, когда ему вздумается!

Отец схватил Хулио за руку и уволок в дом. Не говоря ни слова, стал стегать его. Вбежала Флора.

— Что ты делаешь?! Ты его убьешь!

— Он же нас всех погубит! Мало нам беды.

■ ■ ■

Падре Деметрио потянулся. К чему это глупейшее правило начинать мессу так рано, в девять утра? Почему не в одиннадцать? Правда, если бы первая месса начиналась в одиннадцать, то вторую пришлось бы служить в обед. Будильник звонил уже в третий раз. Дон Деметрио прихлопнул его рукой.

— Мари-Кармен!

Поспешно вбежала служанка:

— Что угодно, падре?

— Сутану, конечно! Что мне еще может быть угодно в этот час?

Когда падре Деметрио облачался, он любил поговорить.

— Много пришло народу?

— Как всегда, несколько человек. А судьи нет.

— Плохо дело!

Должно быть, случилось что-то серьезное, раз судья пропустил утреннюю мессу. Падре сошел в патио и направился в ризницу.

Сидя в уголке, двое служек ковыряли в носу.

— А ну живо одевайтесь!

Нетерпеливым жестом падре Деметрио взял дарохранительницу.

— Дети, пошли!

Служки выступили вперед, за ними, размахивая кадилом, направился причетник. Служба была не торжественная, но падре обожал запах ладана.

Он спустился по ступенькам алтаря и стал читать псалмы.

■

— Выпустили Тобиаса!

— Говорили, что замешан в этом деле сам дон Дамьян...

— Вот тебе и объяснение!

Только об этом и толковали по дороге на виноградники.

— Кто убьет сеньора, тому не сдобровать. А вот кто прикончит батрака, может жить спокойно. Даже еще приплатят!

Негро усмехнулся: говоривший был прав.

— Отсюда вывод: позволяй себя убивать, а протестовать не смей!

— Точно. Такова жизнь.

Единственное, чего им удалось добиться,— это повышения поденной платы.

Хуан попросил, чтобы его послали на окучивание.

— Сегодня что-то хочется помахать заступом...

Удары лопат звучали отрывисто и глухо. Хуан вымещал свою злобу на земле, она была также виновата во всем. Хоть бы перестала приносить урожай! Хоть бы провалилась ко всем чертям! Богачам бы тогда пришлось хуже, чем беднякам!

— За Антонио! За Марсиано! За моего брата Фернандо, которому удастся кончить от силы начальную школу. За Луисильо, который играет пустыми консервными банками, потому что у него нет других игрушек! За Калеро! За меня! За меня!!!

Хуан наносил удары, не щадя корней лоз. «А черт с ними!» По лицу струился пот.

Надсмотрщик тронул его за плечо.

— Эй, парень, не сходи с ума!

— А-а, пропадай все пропадом!..

Надсмотрщик отобрал у него заступ.

— Пошли со мной!

Хуан послушно поплелся. Собралась вся артель. Было решено провести забастовку.

— В знак траура...

Три дня не работали ни на виноградниках, ни в мастерских. Хозяева не возражали. Они чувствовали за собой вину и помалкивали.

Наступившая в городе тишина всколыхнула воспоминания. Забастовка, убийство Антонио и Марсиано — все это уже начинало забываться, становилось легендой. А в будущем даже тот, кто все пережил это сам, станет вспоминать об этих днях, как о чем-то далеком. И могила героя станет просто одной из многих могил на кладбище. А в один прекрасный день могильщик перенесет останки героя в братскую могилу, и никто уже не скажет: вот здесь лежит наш первый герой-мученик.

■

Судья пришел в церковь ровно в одиннадцать. Дон Деметрио вторично вышел на амвон. Месса была обычная. Вино не претворялось в кровь господню, а хлеб не становился телом Христовым.

Падре ожидал, что исповеди на этой неделе будут весьма любопытными. Столько произошло в городе событий.

Месса кончилась. Дон Альберто зашел в ризницу.

— Я хотел бы исповедаться. Но никак не мог прийти раньше...

— Сейчас буду к вашим услугам.

Падре скинул облачение.

Дон Альберто опустился на колени и положил голову на колени священника. Падре Деметрио накрыл плечи судьи широким бордовым полотнищем, каким занавешивал оконце, через которое принимал отпущение грехов у мужчин.

— Падре, я обвиняю себя в неумении возлюбить господа нашего. Я всюду его ищу, но не могу обрести. Я просто в отчаянии, и порой мне кажется, что господь не примет меня в царствие свое и что он несправедлив.

— Это грех, сын мой. Бог всемилостив и милосерд. Он не оставляет нас, это только кажется нам. Господь делает так во имя нашего же спасения, побуждая нас к самопожертвованию, и таким путем мы приближаемся к нему. Диавол, вот кто искушает нас и вселяет в нас сомнения; ты должен больше молиться, а не терзаться сомнениями.

Дон Альберто, стоя на коленях, продолжал исповедоваться. Грехов у него не было, ибо он никогда не грешил; его мучили лишь сомнения.

— Отпускаю тебе грехи...

Дон Альберто распрямил затекшие ноги.

— Выпьете чашечку кофе?

Судья согласился. Утро выдалось удачное. Сделка с Дамьяном закончилась успешно. Принимать посетителей не хотелось. А останься он в суде, обязательно явились бы люди и пришлось бы с ними разговаривать.

Они поднялись в дом священника.

— Мари-Кармен!

Служанка прибежала на зов:

— Слушаю, падре!

— Дон Альберто будет завтракать со мной.

Мари-Кармен поставила вторую чашку на огромный стол черного дерева.

— Скажите, чем все это кончилось?

Священник любил узнавать о событиях из первых уст, особенно о таких, какие будоражат весь их город.

— Да как всегда.

— Кажется, у дона Дамьяна были неприятности?

— Ничего серьезного, уверяю вас.

Падре задумался. Он не знал, с чего начать. Судья, такой разговорчивый в исповедальне, словно воды в рот набирал в обычной мирской беседе.

— Что, по-вашему, послужило поводом к забастовке?

— Вредное попустительство. В Мадриде считают, будто мы ушли далеко вперед по сравнению с тридцать девятым годом. Но, к несчастью, люди остались прежними. Чуть отпустишь узду, и они кидаются очертя голову в бездну порока и творят беззакония. Только благодаря нашей твердости мы избежали большой беды.

— Говорят, забастовка широко распространилась...

— Не только распространилась, но приняла угрожающие размеры. За два дня докатилась до Чикланы, потом перекинулась в Уэльву. Даже батраки в Морилесе и Монтилье, которые никогда рта не раскрывали, и те присоединились к бастующим. Кордовские власти обратились к нам с просьбой как можно скорее ликвидировать очаг заразы.

— Но почему же тогда сразу не приняли радикальных мер? В таких случаях следует руководствоваться тем, чему учил нас Иисус Христос. В подобных обстоятельствах необходимо применять силу. Он и сам поступил так, изгнав торгашей из храма.

Дон Альберто кивнул:

— Я все время твержу, что необходимо управлять, руководствуясь Евангелием, но мало кто со мной согласен.

— И библией, дон Альберто! Не забывайте библию! Это лучший наставник и путеводитель! Помните то место, где апостол Петр рассказывает, что случилось с двумя язычниками, которые намеревались обмануть его, скрыв цену, за которую продали свои виноградники? Жалкие оборванцы, они намеревались надуть святую церковь!

— Какая страшная кара их постигла! Или, вернее, какая справедливая кара!

— Смерть — слишком малая кара тому, кто скупится на помощь церкви.

— Вы считаете, что не давать церкви, как велят заповеди, значит обкрадывать ее?

— Безусловно! Очень жаль, что утрачен обычай платить церкви десятину и примиции. Правительство не должно было упразднять их.

Это замечательный урок самодисциплины и величайшая отрада для души.

Дон Альберто был полностью согласен с падре. Он тоже хотел попасть на небо, да боялся поскользнуться по дороге.

— Мир неисправим. Чем дальше, тем хуже.

— Да, сын мой. Все устремляют взоры свои на землю, жадно стараясь обрести ее преходящие блага, и забывают о вечном блаженстве.

■

Сальвадора обходила рыбные ряды.

— Один дуро за рыбу.

У нее не хватило денег.

— Ладно. Заплатишь завтра.

Куда же улетучились целых тридцать два дуро? Десять оставила в магазине. Восемь — за прошлую покупку. Два израсходовала сегодня, потом взносы за рассрочку — еще пять дуро. Получилось двадцать пять. Ходила в ломбард за костюмами. Выкупить удалось только один, и то обошлось в сорок песет. Заглянула в «Окасо». Уже шесть взносов сделано. Еще пять дуро. Остальное разошлось на рынке. Встряхнула корзиной. Полупустая.

Повстречала Амелию.

— Хочешь верь, хочешь не верь, а трех заработков нам не хватает! Правда, за стол нас садится одиннадцать человек.

■

Дон Альберто закурил. Это был его единственный порок. Он боролся с ним, но все-таки выкуривал не меньше дюжины сигарет в день.

— Вот чего у нас нет, так это силы воли! Надо превозмочь себя в малом, тогда будет легче в большом,— заметил священник.

Дон Альберто беспокойно заерзал на стуле. Ему не хотелось бросать сигарету, но он чувствовал себя виноватым. И переменил разговор:

— Я думаю, мы утратили что-то очень важное, чем обладали наши отцы.

Дон Деметрио согласился:

— Мы потеряли чувство покорности, сын мой. Покорности — вот чего нам недостает. Прежде люди падали на колени, когда мимо них проходил святейший папа или проносили образ святого. А теперь они задирают голову, словно не видят, или же прячутся в первой подворотне, чтобы гвардейцы не заставили их исполнить первейший свой долг. В прежние времена счастье заключалось в том, чтобы принять страдания во имя господа. А сейчас все открещиваются от страданий. Да, сын мой, эгоизм, нетерпимость, нелюбовь к ближнему привели нас ко всем этим бедам. Когда же это было видано, чтобы работник, которого хозяин поит и кормит, платил ему такой черной неблагодарностью!

— К несчастью, люди любят повторять выражение, которое сами не понимают: «Кто испытывает голод и жажду справедливости, да насытится».

— Они понимают справедливость на свой лад. Подавай им больше гуманности. Они не ведают, что Христос взывал к высшей божественной справедливости только потому, что она была непреклонной.

— Да, это величайшая ошибка. Они полагают, будто в их власти судить и осуждать, не разумея того, что сам бог назначает своих представителей на земле: такого, как вы, священника или такого, как я, которые честно исполняют свой долг. Как вы полагаете, падре?

— Да, сын мой. Ты совершенно прав...

Падре Деметрио уставился на распятие, висевшее на стене.

— Все это можно выразить в единой фразе: мир, жалкий наш мир утратил смирение.

Париж—Фуэнтеррабиа—Санлукар, 1964.

«КРАСНАЯ ГЕРЦОГИНЯ» ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ

(Несколько слов об авторе повести «Тревожные дни в Санлукаре»)

Худенькая, изящная женщина. Тонкая шея, узкое, удлиненное книзу лицо, почти мальчишеская короткая прическа, густые брови и испытующий взгляд глубоко сидящих глаз, в котором ощущается сильный характер и одержимость воинов испанской реконкисты.

Такой предстает на фотографии автор этой повести (которая публикуется здесь в журнальном варианте) Исабель Альварес де Толедо, известная испанскому суду как осужденная Альварес, а всему остальному миру — как «красная герцогиня».

Луиса Исабель Альварес де Толедо, маркиза де-лос-Велес, маркиза де Вильяфранка — 21-я герцогиня Медина-Сидония,— представительница одного из трех древнейших родов Испании, с которым по знатности могли соперничать только герцоги Альба и Мединасели.

Из этого рода на протяжении пяти столетий выходили министры и полководцы. Под командованием капитан-генерала Алонсо Переса — 7-го герцога Медина-Сидония отправилась на покорение Англии «непобедимая Армада».

А нынешняя владелица этого титула преследуется судом и совсем недавно осуждена мадридским Трибуналом общественного порядка на год тюрьмы и десять тысяч песет штрафа за участие в выступлении крестьян.

В чем же провинилась перед Франко герцогиня Медина-Сидония? Может быть, она представительница тех монархических кругов, которые, находясь в оппозиции к «маленькому каудильо», предпочитают сами управлять страной? Ведь выслал же Франко недавно из Испании одного из претендентов на испанский престол. Нет, Исабель Альварес не имеет отношения к монархическим фрондерам. Имя Медина-Сидонии стало известно в связи с трагедией в Паломаресе. Три года назад название этого тогда никому не известного рыбацкого поселка на юге Испании напомнило всему миру об ужасах атомной войны.

В одну из январских ночей 1966 г. в Европу в «учебных целях» летел стратегический бомбардировщик ВВС США «В-52» с четырьмя водородными бомбами на борту. Навстречу ему с военно-воздушной базы США в Торрехон-де-Ардос (в 20 км от Мадрида) поднялся другой самолет-бензозаправщик «КС-135». Самолеты столкнулись и рухнули на Паломарес. Три бомбы были найдены сразу. Поиски четвертой продолжались более 79 дней. Американцы обещали возместить крестьянам понесенные убытки, но когда убедились, что не сожгли поселок дотла, быстро забыли об этом.

И тогда подняла свой голос Медина-Сидония. «Крестьяне доверяют мне. Я была единственная, кто беспокоился не о бомбах, а о них самих»,— рассказывает Исабель Альварес. Когда американские военные власти отвергли требования крестьян, герцогиня организовала поход на Мадрид. «Я знала, что нам не дадут дойти до автобуса, который идет в столицу. И все-таки это было стоящее дело,— вспоминает она,— мы добились своего. Американцы возобновили выплату».

Но Исабель Альварес была брошена франкистскими властями в тюрьму. Ей предъявили обвинение в обструкции. Вскоре она была условно освобождена, а через полгода прокурор передал ее дело в Трибунал общественного порядка. За участие в «незаконной» демонстрации ей опять грозила тюрьма.

В 1967 г. в Париже в издании «Колексьон Эбро» вышла ее первая повесть «Тревожные дни в Санлукаре». Санлукар, в котором развертывается действие повести, в течение многих веков был резиденцией герцогов Медина-Сидония. Исабель Альварес правдиво написала о том, что видела собственными глазами. Повесть Медина-Сидонии по своему духу, социальной направленности, по своим художественным средствам близка к другим произведениям испанской прогрессивной литературы, уже хорошо известным советским читателям,— к таким, как романы Альфонсо Гроссо («Ослепительно голубое небо», «Страстная пятница»), А. Лопеса Салинаса («Шахта»), А. Ферреса («Побежденные») и др.

15 февраля 1968 г. военный трибунал предъявил Луисе Исабель Альварес обвинение в оскорблении военных властей, содержащемся в повести «Тревожные дни в Санлукаре». «Красной герцогине» угрожало 6 лет тюрьмы.

Дело рассматривал специальный суд, ведающий делами печати. Медина-Сидонию поддержала вся прогрессивная Испания. На суде выступил Хосе Мария Гонсалес Руис, каноник собора в Малаге, видный либеральный богослов. Сам каноник также ожидал суда по обвинению в «незаконной пропаганде» — за опубликование статьи, озаглавлен-

ной «Христианство и революция», которую власти считают подстрекательством к классовой борьбе. Гонсалес Руис, защищая герцогиню, заявил, что ее повесть «оказывает благотворное моральное воздействие, так как осуждает правящую на юге Испании олигархию и вызывает реакцию против несправедливостей».

Суд вынес казуистическое решение: «персонажи книги вымышлены и не отражают деятельности государства». На основании этого решения Медина-Сидония была оправдана. Но франкистские власти не успокоились. Прокурор немедленно потребовал нового рассмотрения дела. В результате — приговор к тюремному заключению, утвержденный в декабре 1968 г. Верховным судом.

«Я предпочла бы жить в демократической стране, где не пришлось бы вмешиваться в политику (это мне вовсе не нравится) и сидеть в тюрьме»,— говорит Исабель Альварес.

Но и в ожидании тюрьмы герцогиня не складывает оружия. Она беспокоится не о себе, а о защите осужденных одновременно с нею крестьян.

Январь 1969 года в Испании наполнен драматическими событиями. Массовые студенческие выступления по всей стране. Закрыты университеты Мадрида и Барселоны, забастовки охватывают Астурию, страну басков и другие районы. В стране введено чрезвычайное положение. И среди 1500 подписей представителей испанской культуры — писателей, адвокатов, врачей, священников, архитекторов и других, протестующих против произвола властей, против арестов, пыток и издевательств, которым подвергаются участники оппозиционного движения, одним из первых стоит имя герцогини Медина-Сидонии.

Медина-Сидония говорит о себе: «Меня учили французскому, пытались — английскому, и я в совершенстве постигла искусство приемов и питья чая, и никто никогда не ожидал, что мне понадобится изучать что-либо другое».

Подлинным учителем молодой герцогини была жестокая действительность Испании 40—50 годов. В имении своего мужа Исабель впервые увидела, что значит эксплуатация. «Батраки зарабатывали по 18 песет в день. И жили как свиньи»,— вспоминает Медина-Сидония. Молодая женщина пыталась помогать крестьянам, учила ребят в школе. Но скоро Исабель Альварес поняла, что социальные проблемы не решить филантропией. «Я узнала многое от своих предков,— рассказывает Медина-Сидония,— они научили меня чувству долга перед Испанией. Я понимаю этот долг не так, как они. Но стараюсь выполнить его».

Медина-Сидония побывала на Кубе. Революция национализировала ее обширные заморские владения. Возвратившись, она заявила, что «никогда ее имущество не имело лучшего применения, чем теперь, когда им владеет народ». Она загорелась идеей организовать в своем родном Санлукаре крестьянский кооператив. Исабель Альварес находится в тяжбе с церковниками в Лериде за право владения монастырскими угодьями. Она заявила, что не собирается уступать свои права монахам и, выиграв процесс, отдаст эти земли крестьянам, их обрабатывающим.

Она едет в ФРГ для участия в конференции женщин — сторонниц мира, выступает против войны во Вьетнаме. Вместе с крестьянами родного Санлукара и рыбаками Паломареса она борется за независимость своей родины, за утверждение национального достоинства испанцев. Она обвиняет Франко: «Он продал нас. Мы в руках американцев».

Медина-Сидония не любит, когда ее называют «красной герцогиней». «Я, конечно, не коммунистка»,— говорит она. Но сегодня в Испании против режима Франко выступают не только коммунисты. Серьезные сдвиги происходят в сознании представителей тех социальных слоев, которые еще вчера были верной опорой Франко.

Сын министра авиации оказывается на скамье подсудимых как коммунист. Известный католик, бывший министр и посол в Ватикане Руис Хименес добровольно защищает на суде коммунистов и возглавляет влиятельную католическую оппозицию. В доме одного из лидеров монархической оппозиции графа Монтрико нелегально собираются представители рабочих комиссий, архиепископ Кадиса провозглашает необходимость борьбы с создавшимся положением, при котором четвертая часть населения страны не имеет прожиточного минимума. И, наконец, сам недавно назначенный примас испанской церкви монсеньёр Таранкон выступает с протестом против введения в стране чрезвычайного положения.

В Испании 1969 года каждый честный человек, к какой бы группе общества он ни принадлежал, в силу своей личной убежденности, в силу нравственной ответственности, своего понимания общественного долга поднимает голос против режима Франко.

«Я хочу быть на стороне испанского народа, который терпел много несправедливостей и продолжает страдать». Эти слова мятежной герцогини могут повторить сегодня в Испании многие миллионы людей.

В. ЯСНЫЙ

Из греческой поэзии

Яннис Рицос

К 60-летию со дня рождения

Канун солнца

Поэма *

I

Огонь и видит и слышит,
он знает все твои мысли,
ты делаешь шаг к скамейке,
но там уже пляшет огонь.
Деревья — в огне, и земля под ногами — в огне,
и день уходящий за огнем разглядеть не смогли мы,
и день наступающий тоже огнем заслонен.
Мы имя свое сожгли, мы сожгли все знамена —
и знамя с орлом, и то, другое,— со львом,
и знаменем пламя над головами взметнули,
а пламя меняло лица, лизало воздух
и, красные вены вздув,
в объятия ночь заключало.

Так кто же согреет в ладонях
засохшие листья и птицу,
больную, забытую птицу?

А ветер все дует и дует,
смещая гор очертанья,
колебля их в воздухе зыбком.

Лицо отразилось в воде, это наше лицо,
то в глади затишья,
то в складках морщинистых ветра,
то вовсе уже не лицо под нахлынувшей бурей,
той бурей, что наши следы замела
и гонит без устали пепельно-серые волны,
то вдруг — в озарении жарких багряных лучей
напротив распахнутых настежь окон восхода.

II

Весь день мы курили и пепел роняли рассеянно,
безгласно взывая к тем далям, что скрыты от глаза,
и праведность в солнечном свете пытались найти,
пока не ударила в колокол черная ночь.

* Поэма «Канун солнца» предназначалась Рицосом для сборника «Испытание» (1943), но была изъята оккупационной цензурой.

Уже закрываются окна.
Одна за другой
построились длинной шеренгой солдатские койки.
Луна, как фонарь воровской, пробежала
по лицам убитых.
В таверне под соснами службу ночную несет
какой-то рояль. Там солдаты чужие сидят
за кружкою пива.

Когда открывается дверь,
ты видишь: на стуле одежда убитого сложена,
как странно — не раздетым же он ушел?
Собака скулит — нет покоя от лунного света.
Колеса стучат,
сиреной воет гудок —
куда направляется поезд, разрывающий ночь?
Лохмотьями падает свет,
опять запылилась лампа,
так что же — неужто опять
придется сметать эту пыль?

III

Это солнце, чего оно хочет,
выводя на парад за колонной колонну деревьев?
Как позвать его, как окликнуть,
если тени крыло нас накрыло?
На стене, засижена мухами, —
одинокая маска из гипса.
Прикрыв глаза ее пальцами,
ты познаешь зияние пропасти,
сосчитаешь шаги в никуда
и славой меча заржавевшего время измеришь.

Только солнце ты не измеришь,
не поделишь на части, как слово,—
как биение сердца,
цельно и всегда первозданно оно.
Ты прими его цельность, и солнце
столь же цельным примет
тебя.

IV

В осколках бокалов, разбитый, покоится вечер,
слабеющий отзвук крикливого пыльного дня,
вспотевшая память, вынимающая шпильки.

Кровать деревянная скрипом пугает сон.
На тротуаре гремит костылями калека.

Колодец безводен. Эй, нет ли кого там на дне?
Молчит пустота,
и влажный камень молчит.
Последний окурок,
последний измученный стих,
устало плывущий с клубами едкого дыма.

И вдруг среди ночи тревогу бьет барабан.
Холодные руки сжимают в объятиях штык,
сжимают, как женщину в грязных лохмотьях
постели,
как женщину, не любимую никогда.

Привстань и зажги свечу.
Отодвинь тихонечко штору.
На виселицу взгляни,
взгляни на рябого солдата.
Под стулом ботинки убитого с полом срослись.
Неношеные ботинки.
Недаром тебе не спится.

V

Что бы там ни было,
а солнце поднимется и в окно постучит,
и если глаз у прицела, красный от долгой
бессонницы,—
любовь твоя и моя простирается дальше, чем дуло,
и даже дальше мишени.
Рука не устала целить
в самое сердце смерти.

Все выше день ото дня вздымают дома бессонницу,
все шире день ото дня расступается горизонт,
все больше и больше рук сжимаются в кулаки,
все ярче пылает надежда в наших глазах.

Мы ранами нашими землю измерили до самого
края,
верна эта мера, верен и зорок наш глаз.
И солнце над нами — теплый большой каравай,
румяный, душистый, зовущий к обеду землю.

VI

Деревья-гиганты бегут вереницей, спасаются
от дыма эпохи, от пламени, жгущего травы.
Мечтой опьяненные люди
поют серенады
под окнами звезд,
потом за винтовку берутся
и целятся в круг; и звенят, и трепещут мишени:
цветы, пастухи и пастушки, овечки,
большие птицы, красные, голубые,—
весь мир как тир, освещенный в пору заката,
толпа, ожиданье, победа,—
и с той же винтовкой, с песней
стрелки бросаются в пламя.

Чтение по слогам: три слога и слово —
Свобода;
люди, ставшие рядом и рядом идущие,—
Счастье.

VII

По утрам открываются окна домов.
Простираются руки, как ветви деревьев.
Здравствуйте!
Свое место под солнцем есть у любого цветка,
у любого из смертных есть мечта, есть небо
над зияющей раной
и еще — записка весны, припрятанная в кармане.

Не пытайся огонь запереть на замок,
неуемный огонь, ни конца ему нет, ни начала,
как и небу, бескрайнему небу
над телами убитых.

Большими лопатами дворники
собирают пепел на перекрестках.
Замешан на пепле
наш хлеб.
Огонь за шипами сна, за прикрытыми веками,
за ставнями магазинов, где дымится тень
одиночества,
в витрине с фотографиями спортсменов.
Прыгни в огонь,
ведь все теперь с веткой огня куда-то бегут,
а за пределами ночи в котле рождается солнце,
огромное солнце, сплав доверия и металла.

VIII

Два облака заманили сюда твой взгляд.
Но вот он застыл. Голоса. Подаяния просит малыш.
Стук двери. Еще раз. И выстрел.
Бежит потрясенная мать,
платок соскользнул, расплелась, разметалась коса.
Нить жизни оборвана пулей. Но жизни
не будет конца.
И алая роза, кровью смочив платок,
приветствует мир, который нас любит
и нами любим.

IX

Подъем и обрывист, и крут, и высок,
но солнечный луч, как товарищ, дает тебе руку.

Свободно дышат дома, распахнувшие двери
цветам и деревьям,
свободно плывет в высоте, едва касаясь деревьев,
свободное небо.
Весна золотит наши дни, и на радость любимым
в глазах золотыми колосьями светится счастье.

Сомненья недолго роятся в изгибах бровей,
на черных чашах весов повисая над светом.
Тебя этот свет убеждает.

О, нет ничего,
что нашим надеждам могло бы воздвигнуть
преграду.

Заря прикасается к сердцу. Маняще блестят
пять чашек кофейных на нашем столе деревянном.
Глаза и огонь говорят меж собою.
Знакомимся.
Бросаем в траву старый посох
и старую книгу.
И, к солнцу лицо обращая,
пьем небо
большими глотками.

X

Клубится над птичьими гнездами мирный дымок.
В косах твоих блещут росинки.
Как воду, в ладонях
несешь ты сосной напоенное свежее утро.

Всего лишь вчера стояла под темным навесом
и слушала дождь, только дождь, только дождь,
стучавший по крыше.
А поезд не шел. И глубокая скорбная складка,
как древко без знамени, пролегла меж бровями.

Откуда же вдруг этот смех, утверждающий жизнь?
Откуда взялось это знамя — частица огня?

Вчера еще шли они робко, о тень спотыкаясь.
Сегодня десятки и сотни других незнакомых людей
включаются в ритм их чеканного твердого шага.

И окна, и лица открыты.
Канун Первомая.
Со всех колоколен лучится приветливый свет,
плетут ребятишки большие венки из огня,
а матери гладят рубашки чикагские, красные.

Вставай. Ты услышишь, как ветер поет неумолчно
средь виселиц мрачных, в снастях рыболовных, в
окопах,
в годах пролетевших и тех, что еще впереди.

Вставай же. Не медли. Попробуй скорее на зуб
пшеничного золота свет, заливающий небо.
Вдохни ароматы земли и почувствуешь сразу,
что шире становится грудь и стройнее осанка,
а ребра — железные обручи бочки-гиганта,
в которой слилось и бунтует мирское вино.

Не думай о смерти. О жизни поем мы сегодня.
Для нас поднялось над землей животворное солнце.
Могучим мечом разбиваем мы туч скорлупу
и сочную мякоть плода золотого вскрываем.

Перевод с греческого С. ИЛЬИНСКОЙ

ИРВИН ШОУ

КАК ЭТО ПРИНЯТО У ФРАНЦУЗОВ

РАССКАЗ

Перевод с английского
А. СИМОНОВА

Беддоуз вернулся из Египта утром. Он приехал в свой отель, пожал руку портье, сообщил ему, что поездка была приятная, но египтяне просто невыносимы. От портье он услышал, что город, как всегда, набит приезжими, а цена на номера, как всегда, снова поднялась.

— Теперь туристский сезон продолжается двенадцать месяцев в году,— сказал портье, вручая Беддоузу ключ.— Никто больше не сидит дома, с ума можно сойти.

Беддоуз поднялся к себе наверх и велел провожавшему его рассыльному засунуть пишущую машинку в стенной шкаф, чтобы ее не видеть. Он открыл окно и с удовольствием посмотрел на медленно текущую Сену. Потом принял ванну, переоделся, придвинул телефон и назвал телефонистке номер Кристины. У этой женщины на коммутаторе была зловредная привычка повторять номера по-английски, и Беддоуз с улыбкой подумал, что здесь все осталось как было. Когда телефонистка дозвонилась до нужного номера, там, на том конце провода, началась знакомая суматоха. Телефон в отеле у Кристины стоял в холле, довольно далеко от ее номера, и Беддоузу пришлось медленно повторять ее фамилию по буквам, пока до мужчины, который ответил на звонок, дошло, кто такая мадемуазель Тате — Теодор-Андре-Теодор-Елена, и он пошел сообщить Кристине, что некий американский джентльмен требует ее к телефону.

Беддоуз услышал шаги Кристины, когда она шла через холл к телефону, и подумал, что, судя по звуку, на ней туфли на высоких каблуках.

— Алло,— сказала Кристина. В это время в трубке раздался треск, но Беддоуз все равно узнал этот голос с взволнованным придыханием. Кристина вообще говорила по телефону так, словно каждого звонка она ждала, как приглашения на бал.

— Салют, Крис,— сказал Беддоуз.

— Кто это?

— Голос Египта,— сказал Беддоуз.

— Уолтер! — Кристина страшно обрадовалась.— Когда ты прилетел?

— Сию минуту.— Беддоуз соврал на час, чтобы доставить ей удовольствие.— Скажи, ты на высоких каблуках?

— Что?

— Я спрашиваю, у тебя туфли на высоких каблуках?

— Погоди минуточку, дай погляжу,— сказала Кристина. А затем после паузы добавила: — Ты что, стал ясновидцем в Каире?

Беддоуз хмыкнул:

— Обыкновенное восточное жульничество. Запасся им в невиданном количестве. Где мы завтракаем?

— Уолтер,— сказала Кристина,— я в отчаянии.

— У тебя свидание.

— Ну да. Когда ты научишься пользоваться телеграфом?

— Ладно, ничего страшного,— сказал Беддоуз вроде бы безразлично. Он взял за правило никогда не выказывать разочарования. Он понимал, что, если очень попросить Кристину, она отменит это свидание, но, с другой стороны, он опять же взял за правило никогда ни о чем ее не просить.— Ну что ж, значит, завтракаем врозь.

— Может быть, попозже зайдем куда-нибудь выпьем?

— Для начала это будет неплохо,— сказал Беддоуз.— В пять?

— Лучше в полшестого,— сказала Кристина.

— Где ты в это время будешь? — спросил Беддоуз, слегка задетый новой отсрочкой.

— Около площади Звезды,— сказала Кристина.

— Встретимся у Александра?

— Договорились,— сказала Кристина.— Может, ты для разнообразия сегодня придешь вовремя?

— Нехорошо быть такой невежливой,— сказал Беддоуз.— Человек первый день как вернулся в Париж.

— A tout a l'heure,* — сказала Кристина.

— Что вы сказали, мадам?

— В этом году даже дети все как один научились говорить по-французски.— Кристина засмеялась.— Как хорошо, что ты снова в Париже.

Раздался звонкий щелчок, это она повесила трубку. Беддоуз не спеша опустил трубку на рычаг и подошел к окну. Он смотрел на реку и думал о том, что сегодня впервые за долгое время Кристина не приехала к нему сразу же, как только он вернулся в Париж. Река казалась холодной, деревья облетели, и небо было таким серым, словно оно и не знало другого цвета. И несмотря на это в облике города было что-то нежданное. Даже в такую паршивую зимнюю погоду, когда нет ни солнца, ни снега, Париж таил в себе что-то нежданное.

Он позавтракал с журналистом из Ассошиэйтед Пресс, который только что вернулся из Америки. Этот человек рассказывал, что дела в Америке идут отвратительно, что даже если завтракать в забегаловках, и то с тебя сдерут не меньше полутора долларов, и что Беддоуз должен благодарить бога за то, что он не там, а тут.

Беддоуз чуть-чуть запоздал, но Кристины в кафе еще не было. Он сидел за столиком на застекленной террасе, чувствуя, как зимний день через стекло холодит ему локоть. На террасе было полно женщин, которые пили чай, и мужчин, читавших вечерние газеты. На улице под деревьями собирались ветераны какого-то полка, воевавшего еще в первую мировую войну; пожилые люди со знаменами зябли в своих шинелях и орденах и суетливо выстраивались в колонну, готовясь вслед за военным оркестром промаршировать к Триумфальной арке, чтоб возложить там венок в память о своих товарищах, погибших в битвах, о которых все уже давным-давно позабыли. «Эти французы,— кисло вздохнул про себя Беддоуз, кисло, потому что Кристина опаздывала и день не оправдывал возлагавшихся на него надежд.— Эти мне

* До скорого *(франц.)*.

французы... они всегда найдут повод застопорить уличное движение. У них такой запас мертвецов, что воздавать им и воздавать».

Он заказал себе только пиво, потому что слишком много пил за завтраком. Он и ел слишком много — набросился после египетской кухни на французскую еду. В желудке было как-то неуютно, и он внезапно почувствовал, что очень устал от всех этих миль, которые ему пришлось проделать за последние двадцать четыре часа. Когда тебе тридцать пять, думал он, погружаясь в вечернюю меланхолию, пусть самолет будет самым быстрым, полет самым тихим, а сиденья самыми мягкими, кости уже начинают беспощадно отсчитывать мили. Тридцать пять ему исполнилось три месяца назад, и с тех пор при мысли о возрасте ему становилось как-то не по себе, он разглядывал лицо во всех зеркалах, замечая морщинки под глазами и седину в бороде, когда брился; он где-то слышал, что стареющие футболисты бреются по два-три раза в день, чтобы ни их хозяева, ни спортивные журналисты, не дай бог, не заметили предательского серебра в щетине. Может быть, и профессиональным дипломатам нелишне принять это на вооружение, думал он. Семьдесят минус тридцать пять будет тридцать пять. Это зловещее уравнение все чаще, особенно к концу дня, приходило ему на ум после того, как он перевалил через экватор. Он посмотрел на улицу, где за холодным стеклом все еще топтались, выравнивая нестройные ряды, ветераны со своими флагами—их дыхание вместе с сигаретным дымом в виде маленьких облаков висело у них над головами,— ему вдруг страшно захотелось, чтобы они наконец зашагали и убрались отсюда как можно дальше. Слово «ветеран» неожиданно и больно резануло слух.

А еще ему хотелось, чтоб Кристина наконец пришла. Опаздывать — это было не в ее привычках. Она относилась к той редкой категории девушек, которые прибывают на свидание в точно назначенный час. Тут же он некстати вспомнил, что она еще умеет быстро одеваться и прическу приводит в порядок минуты за две, не больше. У Кристины были светлые волосы, по-парижски коротко остриженные, так что шея оставалась голой. Беддоуз вспомнил о шее Кристины, и ему стало как-то легче.

Они весело проведут вечер, думал он. В Париже человек не имеет права чувствовать себя усталым и старым. Если я себе это позволю, придется бежать куда глаза глядят.

Он думал о предстоящем вечере. Они пройдутся по барам и постараются не встречать друзей, и постараются не пить слишком много, а потом поедут на рынок, в бистро, где можно съесть толстый бифштекс и запить его тяжелым красным вином, а потом, может быть, поедут в ночной клуб, где выступает забавный и необычный театр марионеток и где трое молодых людей поют смешные песни, которые, в отличие от многих песен, какие исполняют в ночных клубах, смешные на самом деле. Когда после их песен выходишь на улицу, чувствуешь себя весело и блаженно, а главное, тебе кажется, что только так и должен себя чувствовать человек в Париже в два часа ночи.

В ночь накануне отлета в Каир они были там с Кристиной, и мысль о том, чтобы пойти туда снова в первый же день после возвращения, показалась ему верной и доставляла ему совершенно необъяснимое удовольствие. В тот вечер Кристина была очень красива, лучше всех в большом зале, где было полно красивых женщин, и он даже пошел танцевать, в первый раз за много месяцев. Оркестр был крохотный: пианино и электрогитара, из которой гитарист извлекал густые колышущиеся звуки; играли они известные французские песни, те самые, слушая которые всегда чувствуешь, как прекрасна любовь в этом городе и как она полна печали и сдержанного раскаяния.

Под эту музыку на Кристину что-то нашло, она впала в мечтательность, что было на нее совсем не похоже, она держала его за руку, пока шла программа, и целовала его, когда свет гас между номерами. А когда он сказал ей, что завтра утром улетает, на глазах у нее навернулись слезы, и она сказала: «Что же я буду делать без тебя целых два месяца?» И он, на которого все это тоже произвело впечатление, устало рассудил, что если она вступает в ту самую фазу, то уехать сейчас — лучший выход. Это была, по его определению, фаза предматримониального томления, и ее следовало опасаться, особенно поздно ночью, в Париже, в залах, где царит полумрак, где рояли и электрогитары поют песни о мертвой листве и мертвой любви и о любящих, разлученных войной.

Беддоуз уже был однажды женат и считал, что пока с него хватит. Жены имеют тенденцию рожать детей, и впадать в меланхолию, и начинать пить, и увлекаться другими мужчинами, когда их мужей на три-четыре месяца отсылают по службе на другой конец света.

Кристина его немножко удивила, томление — это было совсем не в ее духе. Они были знакомы четыре года, почти с самого ее прилета из Штатов, но до последнего времени это было шапочное знакомство. Она понемножку позировала фотографам и была достаточно красива, чтобы неплохо на этом зарабатывать, но, по ее словам, ей было противно чувствовать себя идиоткой, изображая на лице нечто томное, как того требовала мода, и сексапильное, как того требовали заказчики. Она умела печатать на машинке, знала стенографию и от случая к случаю работала с американскими бизнесменами, которые на месяц—на два приезжали по делам в Париж. По-французски она заговорила с первого же дня, как приехала, умела водить машину, а время от времени, ко всеобщему удивлению, устраивалась компаньонкой к старым американским дамам и путешествовала с ними в страну замков или в Швейцарию. Спать она в свои двадцать шесть лет, кажется, никогда не хотела, когда к утру все валились с ног, ей было хоть бы что, она ходила на все и всяческие вечеринки, и, насколько это было известно Беддоузу, за ней числились два романа с его знакомыми: один был фотограф, своего рода вольный художник, второй — пилот транспортного самолета, он погиб в авиационной катастрофе при вылете из Франкфурта. Ей можно было позвонить в любой час дня и ночи, не опасаясь, что она рассердится, можно было появиться с ней в любом обществе, и она на всех производила прекрасное впечатление. Она всегда знала, какое бистро сегодня пользуется самой большой популярностью, кто в каком ночном клубе выступает, кого из художников стоит пойти посмотреть, кто сейчас в городе, а кто должен быть на будущей неделе и в какой из маленьких отелей неподалеку от Парижа стоит поехать вкусно пообедать или приятно провести уик-энд. Больших денег у нее никогда не было, но одевалась она превосходно, достаточно по-французски, чтобы приводить в восторг своих французских друзей, и в то же время не слишком по-французски, так что у американцев не возникало подозрений, будто она делает вид, что родилась в Европе. Одним словом, может быть, чья-то бабушка и не пришла бы от нее в восторг, но, как сказал ей однажды сам Беддоуз, она была украшением самых бестолковых и беспокойных лет — второй половины двадцатого века.

Ветераны наконец тронулись, в наступающих сумерках видно было, как лениво трепещут их знамена; вот демонстрация обогнула контору авиакомпании на углу и двинулась вверх по Елисейским полям. Беддоуз смотрел им вслед и несколько туманно размышлял о других демонстрациях и других знаменах. Потом он увидел Кристину: она шла

широким шагом наискосок через улицу наперерез движению, быстро и уверенно лавируя среди машин. «Сколько бы она ни жила в Европе, хоть до конца дней,— подумал Беддоуз, с улыбкой наблюдая за ее движениями,— но стоит ей пройти десять шагов, как всем сразу ясно, что родилась она по ту сторону океана».

Когда она открыла дверь на террасу, Беддоуз встал. Она была без шляпы, и Беддоуз заметил, что волосы у нее сильно потемнели с тех пор, как он ее не видел, и стричь она их стала не так коротко. Когда она подошла к столику, он расцеловал ее в обе щеки.

— Как это принято у французов,— сказал он.— Добро пожаловать.

Она на мгновение крепко прижалась к нему.

— Смотрите,— сказала она,— он опять тут.

Она села, распахнула пальто и улыбнулась ему через стол. Щеки у нее раскраснелись от холода, глаза сияли, и вся она была ослепительно молодая.

— Дух Парижа из американского квартала,— сказал Беддоуз, дотрагиваясь до ее руки на столе,— что ты будешь пить?

— Чай. Я так рада тебя видеть.

— Чай? — Беддоуз скорчил гримасу.— Что-нибудь случилось?

— Ничего,— Кристина помотала головой.— Просто хочу чаю.

— Разве чаем встречают путешественника, вернувшегося в родные пенаты?

— Тогда, пожалуйста, с лимоном.

Беддоуз пожал плечами и попросил официанта принести чай.

— Ну, как там в Египте? — спросила Кристина.

— А я разве был в Египте? — Беддоуз смотрел Кристине в лицо, и у него было радостно на душе.

— Так, по крайней мере, писали газеты.

— Ах, да...— Беддоуз заговорил серьезно и деловито.— Новый мир жаждет родиться, борется за это, для феодализма — слишком поздно, для демократии — слишком рано...

Кристина состроила гримаску.

— Очаровательное изложение, как будто специально для архивов Госдепартамента. Ну, а если перевести это на язык рюмок, то как там, в Египте?

— Солнечно и печально,— сказал Беддоуз.— После двух недель в Каире проникаешься сочувствием ко всем окружающим. А что тут, в Париже?

— Для демократии слишком поздно, для феодализма слишком рано,— сказала Кристина.

Беддоуз засмеялся, наклонился через стол и поцеловал ее.

— Ну, а если перевести это на язык поцелуев? — спросил он.— Как тут, в Париже?

— Так же,— сказала Кристина, помедлила и добавила: — Почти так же.

— Кто есть на горизонте?

— Вся компания,— ответила Кристина небрежно.— Все те же счастливые изгнанники. Чарльз, Борис, Энн, Тедди...

Тедди был тот самый фотограф.

— Часто его видишь? — спросил Беддоуз как можно небрежнее.

— О-о-о?! — Кристина чуть-чуть улыбнулась.

— Проверка документов,— ухмыльнулся Беддоуз.

— Нет, не часто,— сказала Кристина.— Его гречанка в городе.

— Все еще гречанка?

— Все еще гречанка.

Подошел официант и принес чай. Она налила чай в чашку и выжала туда лимон. У нее были длинные ловкие пальцы, Беддоуз заметил, что она перестала пользоваться ярким лаком.

— А что ты сделала с волосами? — спросил Беддоуз.

Кристина рассеянно провела по ним рукой.

— А ты заметил?

— О где вы, кудри золотые, мы видели вас так недавно!

— Решила вернуть свой цвет.— Кристина помешала сахар в чашке.— Хочу поглядеть, что из этого выйдет. Тебе нравится?

— Я еще не понял. И потом, они стали длиннее.

— Угу. Это на зиму. А то шея мерзнет. Говорят, я теперь выгляжу моложе.

— Правильно говорят,— сказал Беддоуз.— Ты теперь выглядишь на одиннадцать лет ровно.

Кристина улыбнулась и потянулась к нему чашкой с чаем.

— За тех, кто возвращается,— сказала она.

— С чаем не чокаюсь,— сказал Беддоуз.

— Ты просто придира и фанатик спиртных напитков,— сказала Кристина и неторопливо отхлебнула из своей чашки.

— А теперь насчет планов на вечер,— сказал Беддоуз.— Я думаю, мы можем удрать от наших милых друзей и отправиться обедать туда, где мы были, на рынок, потому что я умираю — хочу мяса, а после этого... Что случилось? — перебил он себя.— Мы что, не сможем даже вместе пообедать?

— Дело обстоит не совсем так,— Кристина медленно помешивала чай, не поднимая глаз от чашки.— У меня свидание...

— Так отмени его,— выпалил Беддоуз.— Что еще за нахальство!

— Не могу,— сказала Кристина.— Никак.— Она спокойно посмотрела ему в глаза.— Мы должны с ним встретиться здесь, он может прийти в любую минуту.

— Ах, вот оно что! — Беддоуз понимающе кивнул.— Это несколько меняет дело.

— Да.

— А мы не можем от него избавиться?

— Нет,— сказала Кристина.— Мы от него не можем избавиться.

— Еще не родился такой человек, от которого нельзя было бы избавиться,— сказал Беддоуз.— Ты ему объяснишь, что твой старый друг только что вернулся из пустыни, что он вне себя от ужаса, что жизнь его там висела на волоске, что он едва не умер от дизентерии и едва не погиб в религиозных войнах, ты ему объяснишь, что он нуждается в утешении, что ты должна привести в порядок его расшатавшиеся нервы и т. д. и т. п.

Кристина, улыбаясь, покачала головой:

— Прости, но из этого ничего не получится.

— Хочешь, я это сделаю? — спросил Беддоуз.— Как мужчина с мужчиной. Слушай, старина, мы все люди взрослые, цивилизованные, или что-нибудь в этом духе?

— Нет,— сказала Кристина.

— Почему нет? — спросил Беддоуз, понимая, что нарушает свое собственное, давно и ревностно охраняемое правило ни о чем не просить.— Почему мы не можем этого сделать?

— Потому что я не хочу,— сказала Кристина.

— Вот оно что,— сказал Беддоуз.— Стало быть, ветер переменился.

— Да,— мягко ответила Кристина.— В какой-то степени переменился. А пообедать мы можем все вместе. Втроем. Он очень хороший человек. Он тебе понравится.

— Когда я возвращаюсь в Париж,— сказал Беддоуз,— мне в первый вечер не нравятся никакие человеки мужского пола.

Они помолчали, и Беддоуз вспомнил, сколько раз, бывало, Кристина отвечала по телефону: «О'кей, это, конечно, грешно, но я его спроважу. Значит, встречаемся в восемь». И трудно было поверить, что она не скажет этого ни сейчас, ни через минуту, потому что она так же, как и раньше, смотрела на него, так же, как и раньше, дотрагивалась до его руки, как будто ничего не переменилось.

— Два месяца — долгий срок, а? — спросил Беддоуз.— Особенно в Париже.

— Нет,— сказала Кристина.— Это совсем не долгий срок, ни в Париже, ни в любом другом месте.

— Хелло, Кристина.— Это был высокий, довольно плотного сложения молодой человек, светловолосый и улыбающийся, он стоял возле стола, держа шляпу в руках.— Видишь, нашел я это кафе.— Он наклонился и поцеловал ее в лоб.

Беддоуз встал.

— Джон, это Уолтер Беддоуз,— сказала Кристина.— А это Джон Хэйслип. Доктор Хэйслип.

Мужчины пожали друг другу руки.

— Он хирург,— сказала Кристина, пока Хэйслип отдавал свое пальто и шляпу служителю и усаживался рядом с ней.— Его в прошлом году едва не сфотографировали для «Лайфа», он что-то там такое придумал с почками. Через тридцать лет он будет потрясающе знаменитым человеком.

Хэйслип хмыкнул. Это был большой, спокойный, уверенный в себе человек, в нем было что-то от спортсмена, вероятно, он выглядел моложе, чем был на самом деле. И с первого взгляда Беддоуз понял, как этот человек относится к Кристине. По этой части Хэйслип и не пытался ничего утаить.

— Что будете пить, доктор? — спросил Беддоуз.

— Лимонад, если позволите.

— Un citron pressé,— сказал Беддоуз официанту. Он с любопытством искоса взглянул на Кристину, но лицо ее ничего не выражало.

— Джон не пьет,— сказала Кристина.— Он говорит, что люди, которые зарабатывают себе на жизнь тем, что вспарывают животы другим людям, не имеют права пить.

— Когда я выйду на пенсию,— сказал Хэйслип весело,— я это наверстаю, я стану пить так, что руки у меня будут дрожать, как листья на ветру.— Он повернулся к Беддоузу. Было видно невооруженным глазом, что оторвать взгляд от Кристины стоило ему большого усилия.— Как вы провели время в Египте? — спросил он.

— О-о,— удивленно протянул Беддоуз,— вы знаете, что я был в Египте?

— Кристина мне все о вас рассказала,— ответил Хэйслип.

— Я поклялся страшной клятвой, что, как только вернусь в Париж, я на целый месяц забуду, что на свете есть такая страна,— сказал Беддоуз.

Хэйслип засмеялся, смех у него был басовитый и легкий, а на лице было только дружелюбие и ни следа неловкости.

— Я очень хорошо вас понимаю,— сказал он.— Я иногда чувствую то же самое, когда думаю о своей больнице.

— А где ваша больница? — спросил Беддоуз.

— В Сиэтле,— быстро ответила за него Кристина.

— Вы уже давно в Париже? — Беддоуз заметил, что при этом вопросе Кристина бросила взгляд в его сторону.

— Три недели,— сказал Хэйслип. Он отвернулся от Беддоуза и снова стал смотреть на Кристину, словно только в этом положении ему могло быть хорошо и спокойно.— И подумать только, как все может измениться за три недели. Господи боже мой! — он похлопал Кристину по руке и снова засмеялся.— Еще неделя — и назад, к себе в больницу.

— Вы здесь по делам или просто так? — спросил Беддоуз, чувствуя, что он неудержимо впадает в проклятую волынку, которую американцы, впервые встречаясь за границей, считают беседой.

— Того и другого понемножку,— сказал Хэйслип.— Меня пригласили сюда на съезд хирургов, а уж по собственной инициативе я осмотрел несколько больниц.

— Ну, а теперь, когда вы кое-что посмотрели, что вы можете сказать о французской медицине? — спросил Беддоуз: следователь, который сидел внутри, автоматически задавал вопросы за него.

— Как вам сказать,— Хэйслип на мгновение с трудом отвел взгляд от Кристины,— они здесь работают совсем иначе, чем мы. По интуиции. У них нет нашего оборудования и наших денег на исследовательскую работу, так что им приходится рассчитывать только на проницательность и интуицию.— Он усмехнулся.— Но если вы чувствуете себя неважно, мистер Беддоуз, вы смело можете им довериться. Они ничем не хуже всех прочих.

— Я чувствую себя прекрасно,— сказал Беддоуз и тут же сообразил, что трудно было сказать что-нибудь более идиотское. Этот разговор начинал выбивать его из колеи, но не от того, что́ они говорили, а от того, как этот человек смотрел на Кристину, словно на исповеди, отдавая ей всего себя с ног до головы. Наступила пауза, и Беддоуз почувствовал, что, если он сам не вставит слово, они могут молчать до бесконечности.— Вы хоть немножко побродили по Парижу? — нашел он не самый удачный выход из положения.

— Только по Парижу, и то мало,— сказал Хэйслип.— А я бы с удовольствием в это время года съездил на юг. В Сен-Поль-де-Ванс, о котором Кристина столько рассказывала. Я догадываюсь, что он здорово отличается от Сиэтла, только в мечтах бывает такое, и при всем этом есть водопровод и человеческая еда. Вы ведь там бывали, не правда ли, мистер Беддоуз?

— Бывал,— сказал Беддоуз.

— Кристина мне рассказывала,— сказал Хэйслип.— О, благодарю вас,— сказал он официанту, который поставил перед ним на столик лимонад.

Беддоуз внимательно посмотрел на Кристину. Ранней осенью они провели в этом городе целую неделю вместе, ему было интересно, что же именно она рассказала своему доктору.

— Мы отправимся туда в следующий приезд,— сказал Хэйслип.

— Угу,— сказал Беддоуз, отметив про себя это «мы» и любопытствуя, кого под этим «мы» подразумевает Хэйслип.— Вы собираетесь в скором времени снова приехать в наши края?

— Через три года.— Хэйслип аккуратно извлек кубики льда из своего лимонада и положил их на блюдце.— Я думаю, что летом раз в три года я могу выкроить себе полтора месяца. Летом люди не так часто болеют.— Он встал.— Прошу прощения,— сказал он,— но мне надо позвонить в несколько мест.

— Вниз по лестнице и направо,— сказала Кристина.— Там есть женщина, которая говорит по-английски, она тебя соединит.

— Кристина не доверяет моему французскому,— засмеялся Хэйслип.— Она утверждает, что это уникальный случай, когда человек думает, что говорит по-французски, а сам говорит так, словно распевает

романсы Пюже.— Он двинулся было к выходу, но остановился.— Я искренне надеюсь, мистер Беддоуз, что вы обедаете с нами.

— Как вам сказать, я в принципе договорился кое с кем встретиться. Но посмотрим, может быть, мне удастся отвязаться.

— И прекрасно.— Хэйслип, проходя мимо, на секунду прислонился к плечу Кристины, словно хотел незаметно получить дополнительный заряд уверенности, и двинулся к выходу, минуя столики.

Беддоуз неприязненно смотрел ему вслед и думал: «Ну что ж, по крайней мере я хоть выгляжу не таким чурбаном». Потом он обернулся к Кристине. Кристина с отсутствующим видом гоняла ложкой чаинки по дну чашки.

— Так поэтому и волосы длинные и цвет у них свой,— сказал Беддоуз.

— Да, поэтому.— Кристина продолжала размешивать чаинки в чашке.

— И лак для ногтей.

— И лак для ногтей.

— И чай.

— И чай.

— А что ты ему рассказывала о Сен-Поль-де-Вансе?

— Все.

— Оторвись ты от этой чашки, черт бы ее побрал.

Кристина медленно отложила ложку и подняла голову. Глаза у нее блестели, но бог их знает, отчего они блестели, а рот был плотно сжат, и это, видимо, стоило ей немалых усилий.

— Что значит «все», что ты хочешь этим сказать? — резко спросил Беддоуз.

— Все — значит все.

— Зачем?

— Затем, что мне не нужно ничего от него скрывать.

— Сколько времени вы знакомы?

— Ты же слышал — три недели. Один мой приятель в Нью-Йорке попросил его зайти меня проведать.

— И что ты с ним собираешься делать?

Кристина посмотрела ему прямо в глаза.

— На будущей неделе я выйду за него замуж, а потом вернусь вместе с ним в Америку, в Сиэтл.

— А через три года ты приедешь сюда на шесть недель, обязательно летом, потому что летом люди не так часто болеют.

— Вот именно.

— И тебе это нравится?

— Да.

— По-моему, ты сказала это слишком вызывающе.

— Не надо со мной умничать,— сказала Кристина хрипло.— Все. С этим кончено раз и навсегда.

— Официант! — крикнул Беддоуз.— Принесите виски — Он произнес это по-английски, потому что на мгновение забыл, где он.— А ты,— обратился он к Кристине,— бога ради, выпей что-нибудь.

— Чаю,— сказала Кристина.

— Слушаюсь, мадам,— сказал официант и удалился.

— Я хочу задать тебе несколько вопросов,— сказал Беддоуз.

— Задавай.

— Я могу рассчитывать на откровенность?

— Да

Беддоуз набрал в себя побольше воздуха и посмотрел в окно. Какой-то человек в дождевике неторопливо шел мимо, он читал газету и качал при этом головой.

— Ладно,— сказал Беддоуз,— так что ты в нем нашла такого замечательного?

— А как я, по-твоему, могу ответить на этот вопрос? — спросила Кристина.— Он мягкий, хороший человек, он приносит людям пользу. Ты можешь что-нибудь по этому поводу возразить?

— И это все?

— И он любит меня.— Она произнесла это глухо. За все время, что они были вместе, Беддоуз ни разу не слышал от нее этого слова.— Он любит меня,— повторила Кристина бесцветным голосом.

— Это я видел,— сказал Беддоуз.— До потери сознания.

— Безумно,— сказала Кристина.

— А теперь позволь задать тебе еще один вопрос,— сказал Беддоуз.— Ты хотела бы сейчас встать из-за стола и уйти отсюда со мной?

Кристина отодвинула от себя чашку и задумчиво поворачивала ее из стороны в сторону.

— Да,— сказала она.

— Но ты не уйдешь,— сказал Беддоуз.

— Нет, не уйду.

— Почему?

— Давай поговорим о чем-нибудь другом,— сказала Кристина.— Куда ты собираешься поехать в следующий раз? В Кению? В Бонн? В Токио?

— Так почему нет?

— Потому что я устала от таких, как ты,— сказала Кристина отчетливо.— От корреспондентов, от пилотов, от многообещающих молодых государственных деятелей. Я устала от выдающихся молодых людей, которые постоянно куда-то уезжают описывать революцию, подписывать договор или умирать на войне. Я устала от аэропортов, и я устала от провожаний, я устала от того, что мне не разрешают плакать, пока самолет не взлетит, я устала быть всеобщей скорой помощью, я устала днем и ночью подходить к телефону. Я устала от всех этих избалованных международных душек с их вечным тяжелым похмельем, я устала сидеть за обеденным столом с людьми, с которыми я была близка, и ворковать с их гречанками. Я устала от того, что меня передают из рук в руки, я устала любить людей больше, чем они любят меня. Я ответила на твой вопрос?

— Более или менее,— сказал Беддоуз. Его удивляло одно: как это люди за соседними столиками не начали еще обращать на них внимание.

— Когда ты улетел в Египет,— продолжала Кристина, не понижая голоса,— я приняла решение. Я стояла возле проволочной ограды, смотрела, как заправляют огромные самолеты, смотрела на огни, а потом перестала плакать и решила: в следующий раз кто-нибудь другой будет скулить, как побитая собака,— не я. Я буду сидеть в улетающем самолете.

— И ты нашла этого другого.

— Да, нашла,— просто сказала Кристина.— Но я не хочу, чтобы он скулил.

Беддоуз наклонился и взял ее руки в свои, ее руки безвольно лежали в его ладонях.

— Крис...— сказал он. Она сидела отвернувшись и смотрела в окно. Там, за окном, за толстым окованным стеклом сгущались сумерки и загорались огни улицы, она сидела, четко вырисовываясь на фоне этих огней, чистая, юная, неумолимая. Он смотрел на нее, и беспорядочные воспоминания лезли в голову: первая их встреча и другие первые встречи с другими девчонками, тоже самыми лучшими, и еще, как она лежала рядом с ним ранним утром под лучами осен-

него солнца всего каких-нибудь три месяца назад, когда это солнце вплывало в их комнату в маленьком отеле на юге, а из окна были видны коричневые Нижние Альпы и далекое море. Держа ее руки в своих, узнавая прикосновение маленьких, как будто детских пальцев, он почувствовал, что если сейчас, сию минуту он сумеет заставить ее обернуться, все будет по-другому.

— Крис...— шепнул он.

Но она не повернула головы.

— Пиши мне в Сиэтл,— сказала она, продолжая смотреть в запотевшее стекло, где отражались, искажались и множились огни кафе и ресторана напротив.

Беддоуз выпустил ее руки, она даже не пошевелилась, руки лежали на столе, и блеклый лак ногтей тускло отражался на покрытой пятнами деревянной поверхности стола. Беддоуз встал.

— Лучше я пойду,— сказал он. Говорить было трудно, собственный голос, который он слышал словно издалека, звучал как-то странно. «Господи,— подумал он,— я становлюсь стар, того и гляди, я начну плакать в ресторанах».— Я не хочу ждать, пока принесут счет,— сказал Беддоуз,— скажи своему приятелю, что я, к сожалению, не могу с вами вместе пообедать и что я приношу ему свои извинения за то, что мне пришлось заставить его расплачиваться.

— Это пустяки,— ровным голосом сказала Кристина,— он будет только рад.

Беддоуз наклонился, поцеловал ее сначала в одну щеку, потом в другую.

— Прощай,— сказал он, и ему показалось, что он сумел при этом улыбнуться.— Как это принято у французов.

Он быстро оделся и вышел на улицу. Он прошел мимо конторы авиакомпании и, повернув за угол, вышел на площадь, где за полчаса до него промаршировали ветераны. Ничего не видя, как слепой, он дошел до Арки, там возле вечного огня в вечернем тумане поблескивали листья лаврового венка.

Он знал, что в эту ночь ему нельзя быть одному, что надо куда-нибудь зайти, кому-нибудь позвонить и с кем-нибудь пообедать вместе, но он шел мимо одного, второго, третьего телефона-автомата и хотя у каждого замедлял шаг, но так и не позвонил. Потому что в целом городе не было человека, которого он хотел бы видеть в этот вечер.

УИЛЬЯМ МАКСУЭЛЛ

С ЛЮБОВЬЮ И ПРЕДАННОСТЬЮ

РАССКАЗ

Перевод с английского
Т. ЛИТВИНОВОЙ

ила-была старая дева. Всю свою жизнь она только и делала, что писала письма. В небольшом селении, где она родилась, выросла и умерла, все над ней смеялись. Другие старые девы учили ребятишек арифметике и грамоте, посещали курсы машинописи и стенографии, солили на зиму помидоры в двадцатисемилитровых банках, вязали крючком кружевные салфеточки, помогали бедным, толковали библию в воскресных школах, самоотверженно ухаживали за больным отцом или, наконец, просто участвовали в вековечной борьбе всех женщин за чистоту и порядок. А она писала письма — от пятнадцати до двадцати штук в день. Год за годом, каждый день. И никогда ни на одно из своих писем не получала ответа. Так, во всяком случае, утверждал почтмейстер — а кому бы это было знать, как не ему?

Писала она, разумеется, родственникам — племянникам и племянницам,— и если бы она хоть изредка вкладывала в свои письма какой-нибудь чек, пусть на самую скромную сумму, они бы, разумеется, ей отвечали. Но племянники и племянницы, сколько ни трясли конверты, никакого чека вытряхнуть из них не могли. Непрочитанные, а подчас даже нераспечатанные, письма ее лежали у племянников и племянниц стопками на каминной полке и в прихожей под зеркалом.

Впрочем, большая часть писем старой девы была адресована людям, ей не знакомым: фермеру, у которого корова отелилась бычком о двух головах; знаменитой актрисе; популярному проповеднику; руководителю антимиссионерского общества или выдающемуся ученому, чье имя было известно всем и каждому, а формулы доступны лишь очень немногим. Писала она подчас и людям, снискавшим печальную славу: юному взломщику с ангельским лицом, примерному ученику, очутившемуся на скамье подсудимых за изнасилование и кражу, молоденькой блондинке, посягнувшей на половину состояния почтенного старца,— словом, всем, чье имя, чей портрет и чей адрес попадали в вечернюю газету.

Старая дева заваливала также своими письмами редакции газет, выходивших в столице и в наиболее крупных городах провинции. Послания ее, написанные — под различными псевдонимами — одним и тем же убористым и неутомимым почерком, дожидались очереди на полочках редакторского бюро и в папках, отведенных для писем читателей. Но всякий раз, когда верстался номер газеты, в нем не оказывалось места — ни для «Вашей постоянной читательницы», ни для «Наблюда-

теля», ни для «Той, что верит в окончательное торжество справедливости».

Каждый день в одно и то же время — ровно без трех минут двенадцать — старая дева торопливо входила на почту. Пальцы ее были перепачканы чернилами, фартук усеян кляксами, волосы растрепаны, а в душе царили мир и покой. Просунув в окошечко свою утреннюю продукцию, она смотрела, как ее взвешивают, штемпелюют и отправляют по назначению — в ближние и дальние города. Обычно в полдень возле почты собирался народ — посмотреть, сколько писем она принесла на этот раз. Если среди толпы оказывался приезжий, кто-нибудь из местных жителей подносил к виску палец и делал им легкое вращательное движение, и приезжий в ответ начинал улыбаться и кивать головой. Пантомима эта, разумеется, производилась за спиной у старой девы, без всякого намерения ее обидеть.

Эпистолярная деятельность старой девы расширялась с каждым годом, так что под конец ее письмами были охвачены все шесть континентов, а ее почтовые расходы достигли таких размеров, что она уже не могла позволить себе сменить занавески на окнах или купить новое платье. Высказывались даже опасения, не голодает ли она. На это, правда, резонно возражали, подчеркивая высокое общественное положение адресатов старой девы, среди которых теперь появились графини, герцоги, великий князь, председатель королевского суда—кто-кто, а уж он-то во всяком случае не даст бедной женщине умереть с голоду! — придворный астролог, фрейлина, вдовствующая королева (узнав о королеве, жители селения ужаснулись и стали со дня на день ожидать, что за несчастной рехнувшейся женщиной явится полиция и упрячет ее в тюрьму) и, наконец, король одной из дружественных держав и император другой. Письма старой девы меж тем продолжали поступать на почту непрерывным потоком, и количество их ничуть не уменьшалось. Но вот однажды часы пробили двенадцать, а старая дева все не появлялась. Кончился обеденный перерыв, а ее не было. В тот вечер почтмейстер задержал почту на целый час и наконец послал узнать, что помешало старой деве прийти.

Помешала смерть. Мальчик-посыльный деликатно постучался к старой деве, затем, так как никто не отозвался на его стук, толкнул дверь и увидел, что хозяйка дома лежит на диване с закрытыми глазами. Она прилегла вздремнуть, но сон ее затянулся дольше, чем она рассчитывала. На столе возле окна лежали ее последние письма, каждое в своем конверте, с адресом и маркой. Мальчик все их собрал — их оказалось тридцать восемь штук,— вышел на цыпочках из комнаты и тихонько притворил за собой дверь. Наутро он обнаружил эти письма в карманах своего пиджака и отнес их на почту.

Похороны были скромные, без излишних церемоний. Племянники и племянницы приехали за мебелью, за которой, собственно, можно было не приезжать, так как все ценное покойная продала, чтобы покупать марки для тех самых писем, что лежали у них под толстым слоем пыли на каминных полках и подзеркальниках в прихожей. И только почтмейстер, проходя мимо опустевшего домика старой девы с надписью «Продается» на дверях, подумал, что они что-то упустили и что следует сделать что-то такое, чего они не сделали. Хоть ни на одно из писем, писанию которых старая дева посвятила свою жизнь, она не получила ответа, все же, рассудил почтмейстер, быть может, тем, кому она их писала, не совсем безразлична ее судьба; и уж во всяком случае их должно удивить, что они больше не получают от нее писем. И он решил известить всех адресатов старой девы о том, что корреспондентка

их, проживавшая в таком-то селении, скончалась. К счастью, почтмейстер был методичный человек и — то ли курьеза ради, то ли чтобы показать, что даже такое захолустье, как его селение, является не последним винтиком в механизме человеческого общения,— составил список адресов и фамилий всех, кому писала старая дева. Уже после того, как он дошел до последней фамилии в этом списке и заклеил последнее письмо, ему пришла в голову еще одна мысль: он вскрыл над паром каждый из только что запечатанных конвертов — их оказалось несколько тысяч, и они заняли все помещение почты — и присовокупил к каждой записке постскриптум, в котором сообщал, что панихида по их знакомой имеет быть такого-то числа.

Он не думал, что на панихиду явится хоть одна душа, и ему немалого труда стоило уговорить помощника приходского священника приготовить на всякий случай короткое прощальное слово. Однако в назначенный почтмейстером день дороги на несколько миль кругом были забиты всевозможными экипажами. Здесь были и кареты, украшенные гербами, и обыкновенные деревенские телеги, и фургоны для доставки товаров на дом; среди них затесалась крытая цыганская повозка, полуразвалившаяся двуколка и старомодная извозчичья карета. По железнодорожной ветке пришлось пустить десять поездов сверх расписания. Улица из конца в конец была запружена народом, и так как дом старой девы был слишком тесен и мал, чтобы вместить всех, кто приехал почтить ее память, панихиду решили отслужить на воздухе. При виде этой толпы, в которой было столько высокопоставленных лиц — государственных деятелей, членов всевозможных академий, коронованных особ Европы и Азии,— помощник священника так растерялся, что заготовленная им короткая речь начисто вылетела у него из головы. Зато многие из присутствующих пожелали выступить с речью тут же, на улице, экспромтом. Выдающийся ученый, чье имя было известно всем и каждому, говорил о письмах старой девы, о том, как они его вдохновляли, как полезны ему были ее замечания. Ведь это она, сказал ученый, задолго до других поняла и приняла его формулу пяти измерений (длина, ширина, толщина, любовь и время). Величайший из ныне живущих поэтов превознес до небес литературный слог покойной (земляки ее даже не подозревали, что она таковым обладает) и прочитал довольно длинные стихи, написанные терцинами,— вступление к еще не законченной эпической поэме, которую автор намеревался посвятить старой деве. У вдовствующей королевы струились по щекам слезы, когда она произносила свою речь. «Пока я получала от нее письма,— сказала она,— я чувствовала, что меня не забыли, они придавали мне силы открывать благотворительные базары». Король сказал: «Благодаря ее письмам я знал, чем дышат мои подданные, и мог рассчитывать на их преданность. Я все время собирался написать ей, да руки не доходили. Как я сейчас об этом скорблю!» Император сказал: «Вняв ее советам, я дважды отказался от вступления в войну, которая легла бы на мою казну тяжелым бременем. Все ее письма хранятся в императорских архивах в зеленой веленевой папке, дабы благодарное потомство могло их изучать и восхищаться ими».

Когда кончилась панихида, бывшие адресаты старой девы из преступного мира, те, что находились в это время на свободе,— взломщики, шантажисты, поджигатели, торговцы наркотиками и прочие,— прошествовали стройной колонной к кладбищу и возложили на могилу старой девы венок, сплетенный из цветов белого душистого горошка и изображающий собой гусиное перо. К венку была прикреплена лента, на которой — золотом по серебру — факсимильно воспроизведенным и теперь уже знакомым всему миру почерком были выведены слова: «С любовью и преданностью».

ДЖЕЙМС ПАРДИ

ОСТРЫЙ УГОЛ

РАССКАЗ

■

Перевод с английского
С. МИТИНОЙ

Миссис Зеллер была недовольна тем, что сын ее отпустил бороду. Она жила в своем загородном доме во Флориде, и когда впервые увидела его с бородой, на нее словно нашло оцепенение. В комнату ввалился огромный бородатый детина, и впоследствии ей не раз вспоминалось, какой он был безобразный и как ее испугало его появление, как потом она поняла, что человек этот ей знаком, и, наконец, с ужасом узнала в нем сына.

Он поцеловал ее — а такое случалось не часто,— и она почувствовала, что этим он только хочет усилить ее растерянность. Он долго прижимался бородой к ее лицу, потом вдруг отшатнулся, словно лишь в этот момент почувствовал ее отвращение.

— Зачем ты это сделал? — спросила миссис Зеллер. Она едва владела собой, и он это видел.

— Если бы я написал тебе заранее, то не решился бы приехать.

— Ну, это, разумеется, верно,— подтвердила миссис Зеллер.— Так было бы еще хуже. Тебе, разумеется, придется это сбрить. А до тех пор никто не должен тебя видеть. У твоего отца, разумеется, не хватило духу предупредить меня, но стоило ему войти в дом, как я сразу же заподозрила неладное. Сидит, вероятно, сейчас у себя наверху и посмеивается. Но ничего смешного тут нет.

Гнев миссис Зеллер обратился на отсутствующего мужа, словно именно он был всему виной.

— Ему-то, вероятно, это по вкусу,— добавила она, и сын был поражен острой неприязнью, прозвучавшей в ее голосе.

Взглянув на мать, он подивился ее моложавости. Она выглядела ненамного старше его. А теперь, когда он отпустил бороду, пожалуй, даже моложе.

— Никогда бы не подумала, что мой сын на такое способен,— сказала мать.— Ну зачем тебе борода? Боже милостивый! — громко выкрикнула она, словно он сделал что-то непоправимое, и сделанного уже не воротишь, и от этого рушится весь их привычный уклад.— Потому что ты художник? — спросила она, но тут же скомандовала: — Нет, не отвечай! Я не в силах сейчас выслушивать никаких объяснений...

— Но мне всегда хотелось иметь бороду,— сказал сын.— Помню, я мечтал о ней еще в детстве.

— А я этого совершенно не помню,— сказала миссис Зеллер.

— Зато я помню прекрасно. Дело было в загородном доме, возле этой обвалившейся стены. Я сказал тогда Эллен Уайтлоу: вот вырасту большой, отращу себе бороду.

— Ах, Эллен Уайтлоу — эта туша, эта кретинка. Я давно о ней и думать забыла.

Воспоминание об Эллен Уайтлоу взбудоражило миссис Зеллер, пожалуй, не меньше, чем борода сына.

— Ты недолюбливала Эллен Уайтлоу,— сказал сын, пытаясь припомнить, как же они тогда между собой ладили.

— Она была неумелая и нерадивая прислуга,— проговорила миссис Зеллер уже более спокойно, стараясь скрыть от сына охватившие ее чувства.

— Да, но *он*, по-моему, ее любил,— притворно удивился сын, и в голосе его зазвучали холодные, циничные нотки.

— Ах, твой папаша...— сказала миссис Зеллер.

— Так как же все-таки — любил? — допытывался сын.

— Но ведь он всех их любил, не правда ли? — сказала мать.

Вот до чего борода уже изменила соотношение сил между ними: мать обсуждала с ним отцовский характер, пока сам отец отсиживался наверху, в спальне, страшась неминуемой сцены.

— Всех и всегда, правда ведь? — повторила она, словно ожидая участия от этого нового для нее бородатого человека.

— Правда,— сказал сын, подтверждая то, что было известно ему уже давно.

— Эллен Уайтлоу, господи боже мой,— проговорила миссис Зеллер.

Имя прислуги вызвало у нее в памяти вереницу других лиц и комнат — она и сама не подозревала, что помнит их все. И по мере того, как эти лица и комнаты проходили у нее перед глазами, в бородатом мужчине, который смотрел на нее в упор, все меньше и меньше оставалось от мальчика, каким она помнила его во времена Эллен Уайтлоу.

— А бороду тебе придется сбрить,— сказала миссис Зеллер.

— А почему ты, собственно, думаешь, что я ее сбрею? — поинтересовался сын.

— Ты слышал, что я сказала. Ты что, решил меня с ума свести?

— Но если я не хочу?!

— Тогда я обращусь за помощью *к нему* — впрочем, много ли от этого будет толку! Но в конце концов, должен же он что-нибудь предпринять хоть раз в двадцать лет.

— Ты хочешь сказать,— со смехом подхватил сын,— что за все двадцать лет он никогда ничего не предпринимал?

— Во всяком случае, ничего такого, что сохранилось бы у меня в памяти,— ответила миссис Зеллер.

— Интересно, как это ты обратишься к нему за помощью,— сказал сын.— Давненько мне не приходилось этого слышать.

— Сомневаюсь, чтобы тебе вообще когда-нибудь приходилось это слышать.

— Нет, почему же. Было дело. И опять-таки во времена Эллен Уайтлоу.

— В *те* времена? — удивилась миссис Зеллер.— Не представляю себе, как это могло быть.

— А все-таки было. Уж это я точно помню.

— Но ведь тебе тогда было всего четыре года. Как же ты можешь помнить?

— Я слышал, как ты сказала ему: «Придется тебе попросить ее убраться отсюда».

Миссис Зеллер ничего не ответила. Фразы этой она и вправду не помнила, но подумала, что, пожалуй, так оно и было и эта сцена действительно могла запасть ему в память.

— Ну, прошу тебя, сбрей эту ужасную бороду. Если бы ты только знал, как она тебя уродует. Так и лезет в глаза, кроме нее ничего не замечаешь.

— А в Нью-Йорке все говорили, что она на редкость изящная.

— На редкость изящная...— миссис Зеллер помедлила, как бы пытаясь осмыслить его слова.— Да она омерзительна,— сказала она наконец с прежней твердостью.

— И все-таки я ее не сбрею,— столь же твердо ответил сын.

Его твердости она не почувствовала, но ей было ясно одно: все уже не совсем так, как было прежде,— все, включая, пожалуй, и мужа, отсиживающегося наверху.

— Значит, ты собираешься призвать *его* на помощь? — снова рассмеялся сын, видя, что ей больше нечего сказать.

— Не дразни меня,— ответила мать.— Я поговорю с отцом.— Она все еще пыталась соблюсти декорум.— Ты никуда не пойдешь с нами, имей в виду.

На него это явно не произвело впечатления.

— Я не желаю, чтобы кто-нибудь из моих друзей тебя увидел. Придется тебе сидеть дома или ходить к *своим* знакомым. А бывать там, где бываем мы, и встречаться с нашими друзьями тебе нельзя. Надеюсь, никто из соседей тебя не увидит. А если они меня спросят, кто это такой, я не скажу.

— Тогда я скажу.

Они не ссорились — просто обсуждали все это между собой таким вот образом, пока отец отсиживался наверху.

— Как ты думаешь, он сейчас там напивается или спит? — спросила она наконец.

■

— А я решил, Ферн, что с бородой ему лучше,— сказал мистер Зеллер.

— Чем это — лучше?

— Лицо кажется полнее.— сказал мистер Зеллер, разглядывая обои и удивляясь про себя, что никогда прежде не замечал их рисунка: юноша приносит в жертву какое-то животное.

Он чуть было не спросил жену, почему она выбрала именно этот рисунок, но, чувствуя, что она накаляется все сильнее, промолчал.

Рот и шея у нее подергивались от невыговоренных слов.

— Где он сейчас? — поинтересовался мистер Зеллер.

— А какая разница где? Где-то же должен он находиться, пока сидит дома. Но с нами он никуда не пойдет.

— Что за идиотство,— сказал мистер Зеллер.

Секунду он смотрел жене прямо в глаза.

— Ты это о чем? — спросила она, стараясь сдержать себя.

— А о том, Ферн, что ты взвиваешься из-за каждого пустяка.

На мгновение показалось, что в нем назревает бунт, но потом взгляд его снова вернулся к обоям, и она заговорила с ним прежним тоном победительницы.

— Я сказала ему: или он сбреет бороду, или пускай возвращается в Нью-Йорк.

— Но почему именно борода так тебя расстраивает? — спросил он недоуменно, словно обращаясь к самому себе.

— Дело не только в бороде. Дело в том, как он стал себя держать. И потом, она так его уродует! Я вообще не узнаю его с этой бородой.

— Еще бы, ведь он никогда прежде не поступал по-своему,— неожиданно заявил мистер Зеллер.

— То есть как это — никогда?

Он физически ощущал, как ее гнев заливает его с головы до ног и, отражаясь, жарким солнечным пятном падает на обои.

— Вот так — никогда. В общем, пусть себе ходит с бородой, разговаривать с ним по этому поводу я не стану.

Он поднял было глаза, но взгляд его так и не пошел выше ее юбки и сложенных на коленях рук.

— Пока что я в этом доме хозяйка,— сказала она.— И мне тут жить, в этом городе.

— Когда в Коллинзе отмечалось столетие, все были с бородами.

— Мне тут жить, в этом городе,— повторила она.

— Разговаривать с ним по этому поводу я не стану.

И ей почудилось, что голос Эллен Уайтлоу произнес: *«Ну, что, многого ты от него добилась?»*

■

Она села в шезлонг на веранде и выкурила одну за другой пять сигарет. Мужчины были где-то в доме, и у нее возникло такое чувство, что она здесь всего-навсего дачница. Если бы только сын не заговорил об Эллен Уайтлоу. Теперь это ей казалось важнее, чем заставить его сбрить бороду. Миссис Зеллер поймала себя на том, что думает только об этой девушке. Потом ей пришло в голову, что теперь, двадцать лет спустя, она вообще не может позволить себе держать прислугу, даже такую.

А той, должно быть, уже нет в живых. Она была в этом твердо уверена, сама не зная почему.

Надо было упомянуть об Эллен Уайтлоу в разговоре с мужем, мелькнуло у нее в голове. Может, это сломило бы его и он уступил бы в споре насчет бороды. Впрочем, едва ли. Когда дело касалось той девушки, он становился таким же бесчувственным и непреклонным, как сейчас, когда речь шла о сыне...

Сын вышел из дому в одних шортах и молча прошел мимо нее. Отойдя в глубь сада на безопасное расстояние, он сбросил шорты, повернувшись к ней спиной, и совершенно голый растянулся на солнце.

Миссис Зеллер так и застыла — о сигарете она вспомнила, только когда почувствовала ожог. Она понимала, что уходить нельзя, и все-таки в нерешительности раздумывала, в какую бы комнату ей уйти и под каким предлогом.

Под сверкающим солнцем его тело, уже покрытое загаром, гармонировало с темной блестящей бородой.

Ей опять захотелось призвать на помощь мужа, но она понимала, что никогда уже не сможет к нему обратиться. Ей захотелось позвонить кому-нибудь из приятельниц, но такой приятельницы, с которой можно было бы всем делиться, у нее не было.

События этого дня непроницаемым занавесом отгородили ее от сына и мужа. Она всегда заправляла в доме и командовала ими обоими, даже в ужасные времена Эллен Уайтлоу, а теперь они вдруг взяли над нею верх, словно и не признают ее больше. Сын может расхаживать перед ней бородатый и голый, будто ее не существует. А у нее нет против них никакого оружия, она не может поставить их на место. Они ее попросту не замечают — вот как мистер Зеллер: уставился на обои, а говорить о сыне не пожелал.

■

— Ведь ты можешь отрастить ее снова, когда вернешься в Нью-Йорк,— сказал мистер Зеллер сыну.

Насчет того, что сын лежит перед ним совершенно голый, он промолчал, хотя чувствовал себя оскорбленным, пожалуй, не меньше, чем

жена. Ему нужно было добиться от сына уступки — потому он, должно быть, и не стал говорить о том, что нагота эта для него оскорбительна.

— Не понимаю, почему я все время должен держать себя с вами так, будто я еще маленький.

— Будь мы с тобой здесь вдвоем — пожалуйста, делай что угодно. Сам знаешь, я никогда ни о чем тебя не просил...

Сын промолчал, и мистер Зеллер добавил:

— Так ведь?

— Вот в том-то и беда,— сказал сын.

— В чем? — удивился отец.

— Ты никогда ничего не хотел от меня и никогда ничего не давал мне. Просто я для тебя ничего не значил.

— Что ж, извини, если так,— терпеливо ответил отец.

— Это были времена Эллен Уайтлоу,— сказал сын тоном своей матери.

— Господи помилуй,— пробормотал отец и стал жевать травинку.

Он так привык все держать в себе, внутри у него все так давно было стянуто и застегнуто наглухо, что он уже был не в силах отбиваться, когда кто-нибудь грубо вторгался в его жизнь.

Некоторое время оба молчали. Потом мистер Зеллер услышал свой голос:

— Это она заговорила с тобой об этой девушке?

Сын сделал вид, что не понимает:

— О какой?

— О нашей прислуге.

Сын снова хотел сделать вид, будто не понимает, но для этого требовалось слишком много усилий, и он сказал:

— Нет, об этом заговорил я. К большому ее удивлению.

— Вот видишь, что получается! — Отец опять повернул на свое.— Она не разговаривает с нами обоими, и если ты уедешь, так и не сбрив бороды, вымещать это она будет на мне целых полгода.

— И чего же ты хочешь — чтобы я спас тебя от твоей собственной жены?

— Бобби,— сказал отец тем тоном, каким говорил с ним в детстве.— Когда ты лежишь в саду, надо, чтобы на тебе хоть что-нибудь было надето. Мне-то все равно, делай что хочешь, но она...

— А пошла *она* к черту,— сказал сын.

У отца не хватило духу его осадить. Он только глядел на него умоляющими глазами.

Сын тоже посмотрел на отца и вдруг увидел его потаенную молодость. Отец выглядел так же молодо, как и мать. Оба они еще зеленые, жизнь ничему их не научила, они так и топчутся на том самом месте, где были двадцать лет назад, в дни Эллен Уайтлоу. Но вот *ее*, подумал юноша, жизнь безусловно чему-то научила, у нее-то наверняка выработался характер, а они так и болтаются, словно привязанные, у того берега, где она их оставила.

— Ты только представь себе, каково это — полгода жить под одной крышей с человеком, который с тобой не разговаривает,— проговорил отец, словно бы размышляя вслух.— А знаешь, такое уже однажды было, ты был тогда маленький.

— Что-то не помню,— сказал сын, но в голосе его уже чувствовалась некоторая уступка.

— Тебе было всего четыре года,— сказал отец.— По-моему, до сих пор я тебя ни о чем не просил. Странное дело — я просто припомнить не могу, чтобы хоть раз в жизни просил тебя о чем-нибудь. А ты помнишь?

Сын холодно и сердито отвел глаза, поглядел в небо, потом ответил:

— Нет, не помню,— и в голосе его боролись презрение и жалость.

— Спасибо, Бобби,— сказал отец.

— Только перестань ты меня *умолять*, черт подери.

Сын повернулся к нему спиной.

— Тебе осталось пробыть с нами каких-нибудь два дня, и, если ты сбреешь эту штуковину и на тебе хоть что-нибудь будет надето, это поможет мне кое-как дотянуть с ней год.

Он говорил так, будто год этот для него последний.

— Вправил бы ты ей мозги, что ли.

Сын повернулся к нему всем корпусом. Взгляду отца впервые открылась полностью нагота сына.

■

Бобби сказал, что будет писать маслом наверху, в кладовой, что она может время от времени посылать ему туда сандвич, и родители остались внизу вдвоем. Весь день миссис Зеллер не позволяла мужу подходить к телефону.

Вечером Бобби спустился вниз аккуратно одетый, борода его была тщательно расчесана и, как им обоим показалось, даже завита.

Говорили о посторонних вещах — например, о скачках, которыми все они увлекались,— но в таком раздраженном тоне, будто скачки тоже грозили разрушить их жизнь. Говорили о бесполезности искусства, и зачем люди вообще им занимаются — но это уже с полнейшим безразличием, так что со стороны могло показаться, будто Бобби причастен к нему не больше, чем жокей или нефтяной магнат. Охаивали все подряд, а потом сын опять ушел наверх, и увиделись они только мельком, уже перед сном.

Всю ночь перед его отъездом родителям было слышно, как наверху бежала вода и падали на пол какие-то металлические предметы. Но никто из них не решился подняться наверх и спросить, не случилось ли с ним чего-нибудь. Словно он был богатый родственник, раз и навсегда запретивший о чем бы то ни было его спрашивать или вмешиваться в его действия — даже если он будет умирать.

Когда они вышли к завтраку, он уже ждал их за столом. На нем были шорты, но он казался еще более голым, чем вчера, в саду, потому что бороды не было. Весь подбородок был в зверских ссадинах и порезах — можно было подумать, что он расправлялся с бородой клещами и охотничьим ножом.

Миссис Зеллер схватилась за грудь, но тут же занялась кофе, а мистер Зеллер только проговорил: «Бобби!» — и, сев за стол, уткнулся в вечернюю газету.

— Каким рейсом ты летишь? — спросила миссис Зеллер глухим, безжизненным голосом.

Сын покрывал белой мазью ссадины на подбородке и ничего не ответил.

— Кажется, мать тебя о чем-то спрашивает? — сказал мистер Зеллер. Он побелел и весь дрожал.

— Десять сорок,— буркнул сын.

Он обменялся с матерью взглядом и сразу понял, что жертва его напрасна: все равно под рубцами и ссадинами ей теперь будет видеться борода, и он никогда уже по-настоящему не будет ей сыном. Да и отцу, вероятно, тоже. Он явился домой как чужак, презирающий их обоих, он расхаживал перед ними голый. Всем троим хотелось лишь одного — поскорее избавиться друг от друга.

Но Бобби не мог сдержать закипавший в нем гнев и ярость свою выразил так же, как в детстве. Он налил кофе в блюдечко — так всегда делала мать мистера Зеллера, приводя миссис Зеллер в бешенство этой простецкой привычкой,— и стал тянуть его, прихлебывая изо всех сил.

Родители молча глядели на него, беспомощные, как насекомые, прижатые струей воздуха к ветровому стеклу.

— Вот и рождество скоро,— выдавил из себя мистер Зеллер.— Мы надеемся, что ты приедешь опять и пробудешь здесь все каникулы.

— Очень надеемся,— изменившимся голосом повторила за ним миссис Зеллер.

— Ах, вот как,— начал было Бобби, но гнев захлестнул его, не дал выговорить те беспощадные, злые слова, которые были у него наготове.

Он только ожесточенно захлюпал и пролил немного кофе на девственно-белый летний ковер. Миссис Зеллер не шелохнулась.

— Я бы вас пригласил в Нью-Йорк,— спокойно проговорил он,— но там я, конечно, буду с бородой, а ведь вас это не устраивает.

— Разумеется,— подтвердил мистер Зеллер довольно непоследовательно.

— Надеюсь, ты не считаешь, что я была к тебе...

Миссис Зеллер вдруг всхлипнула. Муж и сын молча ждали, заплачет она или нет, но она не заплакала — может быть, поняла, что слезы все равно не пойдут и что чувства, обуревавшие ее с момента приезда Бобби, тоже уже иссякли.

— Не представляю себе, что я еще могу для вас сделать,— неожиданно сказал Бобби.

Родители обменялись долгим взглядом, словно его здесь уже не было.

— Вам еще что-нибудь от меня надо? — спросил он с холодной злобой.

Они не ответили.

— Я ненавижу и презираю вас обоих за то, что́ вы сделали с собой, но как подумаю, что вы будете сидеть тут, по уши в вашем мещанском дерьме, да еще не разговаривать друг с другом — нет, это даже для меня слишком. Вот почему я и сделал это, а вовсе не из любви к вам. Не хочу, чтобы вы заблуждались на этот счет.

И он с силой подул на кофе.

— Бобби...— сказал мистер Зеллер.

— Ну, что? — проговорил сын с такой безупречно отделанной ледяной интонацией, что даже перестал дуть на кофе, залюбовавшись собственной выдержкой и мастерством.

— Ну, пожалуйста, Бобби...— снова сказал мистер Зеллер.

Чувство неловкости, и без того мучительное, стало совсем невыносимым, таким холодом веяло от сына, и все трое умолкли перед этой сверкающей ледяной броней, которой он был обязан искусству и Нью-Йорку. Она словно была итогом их жизни, завершением пустого двадцатилетия.

БЕЗЫМЯННЫЕ ПОЭТЫ ЗАБАСТОВКИ

Забастовка французских трудящихся в мае 1968 года, беспримерная в истории Франции по своему размаху и широте, породила многих безымянных поэтов, чьи произведения ходили по рукам, вывешивались на стенах. Мы публикуем здесь стихи, напечатанные в газете «Монд».

Майские дни 1968 года

У меня нет другого оружия кроме закона который гласит что я
не желаю терпеть тех кто забыл что хозяин улицы я
У меня нет другого оружия кроме трепетной жизни моей сочный
образ которой я дарю вашим дням
У меня нет другого оружия кроме лица моего на котором слезами
начертана в этот майский холодный и ветреный вечер сила
ваших порядков
Я долго бился в стенах и этой яростью древней я связал наконец
воедино землю и все что земле надлежит возвратить
и голос ведет меня дальше
Я вдыхал испарения серы и хлора но от этого вспыхнуло пламя
и я вырастаю как пламя
В этой жизни суровой я обрел мое имя и теперь я могу вам
сказать без стыда и от чистого сердца что имя мое
Свобода

Некогда писать

Понимаешь
Некогда писать
В этом гаме
Без единого мгновенья тишины
Всю неделю
Будущее
Лезет мне в глаза
Честно говорю некогда писать
Надо уметь ходить
По взбудораженному Парижу
Чтобы его понять
Всюду бывать
Вбирать в себя слова
На всех собраниях
Читать письмена на стенах
Откровения
И прокламации

Разговаривать
С любым на улице
Спать урывками
Чинно шествовать

Быть без гроша как другие
И делить
Полбуханки хлеба и шоколада полдольки
Помнишь на свете
Есть музыка
И случайно ли
Повсюду играют Шопена
Романтического Шопена

Кто-то думает
Что это гулянка
И что все разбегутся под дождиком
Я-то знаю
Что особенно надо стараться
Не заснуть

Вот и сейчас
Когда ретируется ночь
Боясь опоздать
На свиданье с рассветом
Жизнь идет
И усталость ей не знакома

Поэты на улице

Я верю упорно
Что место поэта
На улице в этот час
Что надо взять штурмом
Все башни слоновой кости
Сровнять их с землей
Объявить
Осадное положение

И если позволю себе
Ныть о моей беде
И если эта беда
Не будет бедою твоей
Читатель
Наотмашь меня ударь

Сгинь поэзия
Если ты не среди людей

Перевод с французского ***ЮРИЯ ШКОЛЕНКО***

Колумбийские рассказы

Перевод с испанского
ГАЛИНЫ ЖУЧКОВОЙ

МАНУЭЛЬ САПАТА ОЛИВЕЛЬЯ

АККОРДЕОН ЗА РЕШЕТКОЙ

ни сорвались с места и, перепрыгивая через скамейки, побежали по дну лодки. Голышом. Солнце отблескивало на их мокрых спинах. С носа лодки они, зажав ноздри пальцами, бултыхались в воду, как лягушки. Наверное, в этот час учитель нетерпеливо поджидал их у дверей школы. Пустые скамейки за партами и цифры на черной классной доске — вот и все, что осталось от прошлого урока. Так часто случалось летом, когда течением вернувшейся в свои берега реки уже не притаскивало всякий мусор, деревья, а то и дохлых животных — вода была чище. И потому никто не поверил малышу — испуганный, широко раскрыв глаза, он вдруг выскочил из воды и заорал:

— Там утопленник! Плывет!

Позднее и поодаль, у пристани, гребцы веслами подцепили труп. Сейчас он лежал на берегу, ничком, на его спине виднелись четыре пулевых отверстия.

— Точно как у того, которого я выловил багром на прошлой неделе...

— Иисусе! Ну и достается деревням в верховье реки. И все эта чума — военная полиция...

А детишки радовались. Что ж, мертвец — тоже хороший предлог, теперь весь день напролет можно не появляться в школе. Но залезать в воду они уже боялись.

■

Как странно смотреть на ночь из тюремной камеры и видеть луну разрезанную на четыре куска крестом решетки если б удалось убежать но решетки выкованы кузнецом Аугусто и не помышлял он что его самого бросят в тюрьму можно разобрать голоса сеньоры Ангустии и ее сестры Мануэлы они громко молятся справедливому судье теперь они уже одни ходят на мессу в четыре утра с тех пор как изнасилована их племянница думаю что больше всех был вне себя священник но с амвона ничего не сказал полицейские ведь видели что она беременна а он не воспре-

пятствовал им вытащить пономаря из церкви где тот было спрятался после того как плюнул в лицо сержанту теперь уж некому звонить к заутрене четыре стены сжимают меня будто доски гроба и страшно подумать о всякой чертовщине.

■

Руэда. Да, это фамилия матери. Пассажирский пароход причалил к пристани и стоял четверо суток, пока ремонтировали лопасти винта. Лоцман не заметил плывшего по реке дерева, и от удара лопасти треснули. Капитан Араухо пропьянствовал четыре ночи подряд, не выходя из каюты. Да еще играл на аккордеоне. И мулатка, привлеченная музыкой, не то красивой формой, пришла на пароход. Что верно, то верно, у ее сына, родившегося после, глаза сверкали, как пуговицы на капитанской форме. Пачо Руэда. А кожа его светлее, чем у любого из мальчишек, с которыми купался в реке. Говорят, от капитана он унаследовал страсть к музыке да к странствиям. Сегодня он играет на празднике в Барранко де Лоба, завтра встречает рассвет в Момпоксе. Вверх по реке — до Гуамале, вниз по течению — до Тамаламеке либо до Барранкильи. Он побывал и там, где не звучала его музыка, а его музыку ведь играют по всей реке Магдалене. «Пачо Руэда говорит клавишами своего аккордеона...» Повествует о путях-дорогах. Философствует насчет жизни, выглядывающей из чужих дворов. Хотя и образования у него никакого, зато слух подхватывал на лету каждое словечко, прозвучавшее над рекой. И на площадях он растягивал свой аккордеон. Бесстрастно на вид. А беспощадно высмеивал того восьмидесятилетнего, который, покупая пятнадцатилетних, надеется омолодиться. И не дает спуску священнику, присвоившему приходскую кассу. И нежно воспевает девушку с точеными бедрами.

■

Болит голова будто расколотая терял сознание от удара прикладом в какой-то жидкости плечи словно облили анилиновой краской в дни карнавала а может это кровь мои ноги в колодках но руки свободны так приказал сержант у него свои замыслы раз оставил мне аккордеон однако никогда не буду играть для него предпочту гнить здесь даже если он прикажет полицейским отрубить мне руки ага стучат в стену кто это наверно прячется в темноте жена возможно принесла воды снова удары может дети а еще что такое видать уличный осел дарит мне серенаду что если ответить ему на аккордеоне стащили с кровати даже не дав времени надеть рубашку «мой сержант приказал чтобы ты взял аккордеон» что же задумал этот мерзавец а в дверях жена все-таки успела передать сомбреро ночь холодная и точно предугадала не будь соломенного сомбреро удар прикладом сразил бы наповал и тут стерегут тебя будто преступника в таких же колодках замучили казначея не хотел он им отдать ключи его труп плыл вниз по реке помню как стервятники сидели на нем да уже светает чертовщина ты начинаешь привыкать к тюрьме осел бьет копытами о стену может сейчас жена молит сержанта не убивать тебя все же лучше умереть чем играть для него а он еще будет танцевать с моей крестницей после того как изнасиловал ее ох если бы покойный кум ее видел ведь ей еще не исполнилось и четырнадцати лет и земля под которой он лежит покраснела чувствую как разрывается мочевой пузырь но надо сдержаться иначе скажут с перепугу.

■

Они нагрянули. Сержант командовал дюжиной полицейских, которые шныряли по домам, разыскивая, где прячутся «красные» и молоденькие девушки. К деревенскому алькальду заглянули четверо. Донельзя избили — вся одежда в крови, но пока оставили живым, еле живым. Пусть видит, как его внучкам задирают юбки, чтобы посеять детей с «голубой кровью». Мужчины в селении попрятались за женины юбками, ждут, когда придут за ними.

Сержант сказал ему:

— Я послал за тобой, чтобы ты играл сегодня ночью, я хочу веселиться. О тебе идет слава как о лучшем аккордеонисте по всей реке Магдалене. Значит, мы сто́им друг друга. После меня ты тот человек, о котором больше всего говорят в округе.

Хохот сержанта напоминал очередь автомата, которым он в упор расстреливал неповинных людей. А у музыканта одеревенели пальцы. Он никогда не играл для убийц. Тем более не будет играть для этого. Сидел неподвижно, руки скрещены на аккордеоне. Сомбреро надвинуто на лоб. Полицейские поглядывали на сержанта. И обнимали девушек, готовые пуститься в пляс при звуках меренге*. Аккордеон продолжал молчать, будто горло его перехватило.

— Или ты будешь играть для меня, или твои руки никогда больше не смогут играть для другого!..

Разорванное платье крестницы. Губы ее, посиневшие от диких поцелуев сержанта. Тот, очевидно, напоил ее агуардьенте**.

— Послушайте, крестный, лучше сыграйте. Вы же знаете — многих сбросили в реку...

Он поднял руку — сержант в этот момент уже засунул пистолет в кобуру. Однако рукой аккордеонист лишь еще ниже надвинул сомбреро на глаза, чтобы не видеть лица крестницы. Больше ничего не помнил. Удар прикладом по голове. Придя в себя, обнаружил, что его ноги закованы в колодки.

■

*Ты с детства боялся тюрьмы а теперь сидишь в этом единственном в деревне кирпичном доме решетка крестом и всякий раз ты крестился проходя мимо этого окна возвращаясь из школы луна скрылась скоро рассвет уже более шести часов здесь мочевой пузырь воспален хуже болят лодыжки точно приходится на весу держать колодки из гуайака́на*** вытягиваюсь на холодном полу и подкладываю аккордеон вместо подушки ворчишь ворчишь а на рассвете отрежут тебе руки и чьи-то пальцы будут ласкать клавиши инструмента но это не будут пальцы твоих детей помнишь через эту решетку протягивались руки других узников выпрашивавших табак ты вспоминаешь как старый Аугусто ковал эту решетку на наковальне ты еще накачивал меха до чего же странная штука жизнь если сержант даст мне время пожалуй смогу сочинить песню обо всем этом но лучше плюнуть ему в лицо как сделал пономарь его невеста оказалась беременной им пришлось убить ее чтобы раздвинуть ей ноги ребенок вытягивал сжатый кулачок из ее живота распоротого штыком и хоронили без священника он не захотел ее видеть быть может потому что был его ребенок опять поют петухи как трудно оправляться лежа навзничь.*

---

* Народный танец.

** Спиртной напиток из сока сахарного тростника.

*** Гуайакан — дерево тропиков с прочной древесиной.

■

Ему больше нравилось разъезжать верхом на осле, чем плавать по реке. Мать всегда плохо отзывалась о пароходах. Воспоминания о тех четырех ночах в каюте капитана Араухо. Она просила, чтобы капитан увез ее с собой. Ей было совестно спускаться по трапу — показать глаза грузчикам. А он-то и не задумывался, почему же все-таки предпочитает трястись на осле по пыльным дорогам. Капитан бросил ее — просто так. Должно быть, другая женщина ожидала капитана в следующем порту. Отремонтированные лопасти опять зашлепали вверх по течению. Она плакала. Закрыла лицо платком, и матросы посчитали, что это от стыда. Едет он, едет, потрусывая на осле. И лишь аккордеон укорачивает долгий путь. Встряхнув ушами, осел ускоряет бег, будто заслышав далекий призыв ослицы. Всем помогает его аккордеон. Его тень и друг. Больше, чем друг. На аккордеоне он выражает те чувства, что не выскажешь словами. Женщины, опьяненные его музыкой, легко сдавались на гамаке, под кровом тента или на гибких стеблях сахарного тростника. Он неизменно приносил радость на свадьбы и на крестины. Во время религиозных процессий аккордеон менял свое звучание, торжественно рокотал, как орган, подлаживаясь под латынь проповеди. А во время политических кампаний аккордеон бушевал. Куплеты о кандидате, о каком-то политике...

■

Так хочется раскрыть аккордеон и вот мои пальцы неторопливо нащупывают клавиши как бы подбирая ноты вырвавшегося стона от страха вдруг сержант услышит явится сюда и не для того чтобы приказать развлечь его жалобно откликаются басы не мои а чужие пальцы хотят предать тебя и стены тюремные вторят эхом сержант должен услышать меня где бы он ни находился «или ты будешь играть для меня или твои руки никогда больше не смогут играть для другого» мои пальцы не повинуются мне я понимаю почему он приказал запереть меня вместе с аккордеоном он надеется что оставшись один в камере я не устою перед искушением прикоснусь к инструменту он сам придет сюда с мачете и отрубит мне кисти рук как ветви но что это такое среди басовых все отчетливее слышатся мажорные ведь это твоя музыка ты ее всегда играл на карнавалах еще бы не узнать никто не сможет заглушить ее тебе даже хочется станцевать меренге закрой глаза и ты свободен дьявольская мелодия захватывает словно играешь для красивой девушки и нет на мне колодок уже не думаю о сержанте и полицейских я нечто большее чем просто заключенный мы с моим аккордеоном сильнее всех угроз а если запоет народ то никакие палачи не смогут заставить нас замолчать.

■

Деревня просыпается. Это же аккордеон! Его звуки! Аккордеониста бросили в тюрьму в полночь, и до сих пор никто этого не знал. Музыка льется из окна, откуда раньше лишь слышались стоны избиваемых узников. Женщины, возвращающиеся с реки, останавливаются, чтобы послушать. Подходят к зарешеченной дыре в стене, и никто на этот раз у них не просит табака или воды. Быстрее слов звуки музыки передают весть:

— Он арестован!

Звуки нарастают. Доносятся до грузчиков на пристани. Кофе становится более горьким. На рынке стихает обычный шум, и громче слы-

шен аккордеон. Никогда раньше не казался таким могучим и таким веселым этот аккордеон.

— Мы не позволим, чтобы сержант отрубил ему руки!

Женщины подстрекают мужей:

— Деревня не может остаться без музыканта!

Вооруженные полицейские. Стоят наготове. А на перекрестках собираются крестьяне, хотя прежде перед автоматами они разбегались. Гневные взгляды. Один из полицейских будит сержанта:

— Снова заиграл!..

Музыка проникает к домашним очагам, вызывает на улицу женщин с поленьями в руках. Из-под циновок и подушек мужчины вытаскивают мачете и винтовки. Учитель не открывает двери школы — дети на площади уже бросают камни в ворота тюрьмы.

Разбуженный сержант кричит:

— Я научу его играть! Вот сейчас увидит!

Он спешит к кирпичному дому — единственному в селении,— но путь ему пересекает сын убитого алькальда. Прозвучал выстрел — первый в это утро. Утро, пробужденное песней.

■

Удары топора я зажмуриваю глаза чтобы не видеть полицейских разбивают дверь моя последняя музыка когда я начал играть и зачем но если перестать играть мачете отрубят руки дверь слетает вот-вот не будет пальцев еще крепче закрываю глаза музыка все веселее взгляни два-три удара и колодки спадут с ног открой глаза нет это не дьяволы тебя тащат в ад нет тебя несут на плечах как святого во время процессии и музыка продолжает греметь музыка это оказывается я все играю играю на аккордеоне и с берега реки вижу как течение уносит трупы в полицейской форме а стервятники уже кружатся над стервятниками.

ЭРНАНДО ТЕЛЬЕС

КРОВЬ НА ЦВЕТАХ ЖАСМИНА

Когда солдаты сельской гвардии добрались до ранчо мамы Рóсы, Педрильо уже целую неделю валялся на койке, корчась от боли и гнева. Раны на руке побагровели, будто перезрелый томат, и всю руку раздуло так, что вот-вот лопнет. Заражение и жар пожирали Педрильо. Если проклятые солдаты найдут, в живых его не оставят. Лучше бы сразу убили! Но Педрильо знал, что прежде, чем покончить с ним, как с собакой, выстрелом из винтовки или ловко рассчитанным ударом мачете — шейные позвонки должны переломиться, а голова будет держаться лишь на коже и ее легко отрубить и насадить на шест, чтобы отнести как трофей в алькальдию поселка,— так

прежде, чем все это произойдет, с ним поступят точно так, как уже проделывали с другими. Он знал, что его будут пытать в тюрьме. И мама Роса тоже знала. Мысль об этом мучила его больше всего. Мысль была не менее страшна, чем сами пытки, которым, без сомнения, подвергнут его мерзавцы, если им удастся схватить... Прежде всего ему, наверное, отрежут пальцы на ногах, как Сауло Гóмесу, а потом заставят ходить по камням во дворе. А затем, кто знает, дикари, может быть, подвесят его голого за руки, и станут избивать, и — чтобы поразвлечься — начнут полосовать тело остриями штыков. Святый боже, вдруг еще насильно притащат маму Росу, заставят присутствовать при этом зрелище, как было с несчастной Марией дель Кáрмен Вáргас, которая тут же рехнулась, и ее пришлось сразу отправить в сумасшедший дом. Нет! Он им легко не дастся...

И вот солдаты подходят. Мама Роса увидела их с холма, от которого после полудня падает тень на стены дома. Бегом она спустилась вниз, чтобы предупредить Педрильо. На лице женщины как будто вдруг осела зола, вздымающаяся от погасшего очага при порыве ветра.

— Они!.. Они!..— только и смогла выговорить она.

Педрильо дернулся, стремясь подняться с койки. Лихорадка, как коварный враг, подорвала его силы. А ведь ему всего лишь двадцать пять лет; здоровяк здоровяком, рослый, мускулистый парень, которого и звали-то Педрильо просто в шутку: такого силача да звать уменьшительным, ласкательным именем, каким обычно зовут крошечных детей! Заскорузлая от засохшей крови тряпка, подвязывавшая руку, сорвалась и упала на пол, и рука, став невероятно тяжелой, запылала от страшной боли. Лицо исказилось от ужасной гримасы. С языка сорвалось ругательство. Мама Роса дрожащими руками торопливо вновь завязала раны тряпкой, перекинула перевязь через шею.

— Скорее, мама, винтовку!

Их было две, спрятанные под кроватью.

Она вытащила одну, повесила на плечо здоровой руки сына и открыла дверь.

В комнату беспрепятственно ворвался ясный полуденный свет и вместе с ним, принесенный ветром, нежный аромат сахарного тростника и жасмина — в эту пору вокруг цвел сахарный тростник, цвели кофейные и апельсиновые деревья, цвел великолепный жасмин, несравненный, выращенный мамой Росой.

Педрильо, шатаясь, придерживаясь за стену, вышел из дома. Огромные усилия потребовались, чтобы выпрямить спину, сделать первые шаги. Но вот шаг стал увереннее. Мама Роса осталась в дверях. Солнце било ей прямо в глаза, в расширенные зрачки. Она, казалось, сошла с какой-то картины: иссиня-черные волосы, аккуратно разделенные пробором, рассыпались по плечам, высокая грудь тяжело вздымалась под простой полотняной кофтой, руки оперлись о широкие бедра, горечь и тревога запечатлелись на лице. Она следила, как сын исчезал за сахарным тростником, султаны которого мерно покачивались на ветру, за кофейными деревьями, среди зелени.

Солдаты пришли. От того места, где они были, где их заметила мама Роса, и до ее дома не более пяти-восьми минут ходьбы. Да, какие-то десять минут — и вот они стоят перед ней, почти у самой двери, винтовки наперевес. Но за десять минут мама Роса успела привести в порядок и койку, и кухню. Пониже спустила с кровати выцветшее покрывало, чтобы укрыть вторую винтовку, оставленную Педрильо. Она, впрочем, не знала, зачем это сделала,— оказывать какое-то сопротивление она не собиралась. «Убьют — так убьют. Все в божьей власти».

Уже столько женщин, таких же как мама Роса, погибло за эти месяцы, что ее смерть не явилась бы большим событием.

Были мертвы Кармен, и юная Луиса, и старая Росарио, ее кума, крестная Педрильо. Так что за важность, если убьют еще и ее? И в этом было даже свое преимущество: пока ее станут убивать, у Педрильо будет больше времени, он сможет спастись. Смерть теперь шагала по здешним местам, то одетая в форму правительственных войск, то без военной формы. Уже несколько месяцев подряд одни убивали других. Педрильо, как и другие крестьяне-партизаны, тоже участвовал в стычках. Педрильо, очевидно, тоже имел на своем счету убитых солдат, одетых в мундиры землистого цвета, опоясанных ремнем, на котором висели мачете и сумка с патронами. Все это казалось маме Росе проклятием неба. Но какого черта, жалобами ведь ничего не добьешься! Она не разбиралась в политике, и, когда Педрильо захотел объяснить ей, мама Роса сказала ему, чтобы он слушался господа бога и ни во что не вмешивался. Но Педрильо уже попал в круговорот.

— Если ты не успеешь выстрелить, убьют тебя,— так он сказал ей. И мама Роса смирилась.

Теперь уже ничего нельзя было поделать. Солдаты были здесь.

«Хватит ли у Педрильо сил, чтобы идти?.. Не свалила ли его боль на землю?.. Что нужно этим людям от меня?..» Мама Роса смотрела на них, и внезапно силы стали покидать ее. «Почему не стреляют?.. Я уже должна быть мертва... Святый боже! Святый боже!..» Ничего. Непонятно, почему она еще живая, стоит перед дулами винтовок, и лица солдат совсем не злые. Похожи на Педрильо. Так же молоды, как и он. Они приблизились. «Сейчас будут стрелять... Прости меня, святый...»

Один из них крикнул:

— Старая ведьма! — и, взяв винтовку левой рукой, правой нанес ей удар по лицу.

Мама Роса закрыла лицо руками, а когда отняла их, то на пальцах увидела кровь. Она упала на пол у порога, который показался ей теплым и влажным. Тяжелым носком армейского ботинка ее пнули в грудь, еще раз, еще и еще.

Бедная мама Роса! Боль охватила ее тело — неожиданно возникли в памяти собаки и свиньи, с которыми так же обращались в селе. Сейчас она была ничем не лучше свиньи или собаки. Трое подошли к дверям. Один из них крикнул:

— Эй, сукин сын! Сдавайся, не то убьем тебя!

Они боялись войти в дом. Прошло несколько минут, потом раздались выстрелы. Они стреляли наугад в комнату.

— Там никого нет, никого нет! — крикнула им мама Роса.— Убейте меня, убейте меня!

Солдаты вошли. И мама Роса ползком потащилась за ними. Они обернулись. И тот, который теперь казался более злым, навел на нее винтовку.

— Следите за старухой. Она знает, куда он ушел,— сказал другой.

Откуда-то издали послышался выстрел. Солдаты поспешно выбежали из комнаты с оружием наперевес. Мама Роса начала терять сознание, и уже в затуманившемся мозгу отдался звук второго выстрела, на этот раз ближе. «Это Педрильо»,— мелькнула у нее последняя мысль. Голова женщины с гривой иссиня-черных волос, теперь спутавшихся, запачканных кровью, безвольно опустилась на землю.

Когда сознание вернулось к маме Росе и она смогла приподняться, ей подумалось, что бог несправедлив к ней, раз допустил увидеть то, что предстало перед ее глазами. Солдатам удалось схватить Педрильо — должно быть, это он стрелял в воздух, чтобы отвлечь внимание военных и спасти ее,— и сейчас там, на апельсиновом дереве, украшавшем крошечный садик, он висел, подвешенный за руки, будто говяжья

туша у мясника, с обнаженной спиной, растерзанной и кровоточащей. И кровью были обрызганы цветы жасмина. На крик мамы Росы солдаты обернулись.

— Это он заслужил, сукин сын! И еще не все получил сполна, старая б...— закричал один из них, он вытирал о редкую траву окровавленный ремень. В лучах полуденного солнца мама Роса видела одной сплошной раной крепкую мощную спину гиганта Педрильо, которого, слабого и маленького, как-то ночью она произвела на свет. Теперь полуживой Педрильо висит на дереве.

«Да простит меня господь, висит совсем как распятый Христос...»

Мама Роса забыла о собственной боли. Она уже не чувствовала своего тела. Как будто тело Педрильо стало ее телом. Муки Педрильо отдавались в ней самой, разрывая ее тело и душу. Бедная мама Роса с красивой пышной гривой иссиня-черных волос, когда-то аккуратно разделенных пробором, с головой библейской крестьянки матери; в беспредельном отчаянии она сжимала голову руками.

— И еще не все получил... старая б...— вновь заорал солдат; с силой резанул он воздух ремнем, прежде чем снова и снова обрушить удары на спину Педрильо.

Послышался стон, напоминающий стон умирающего животного; глухая жалоба, казалось, исходила из глубин жизни, из утробы.

— Еще мало! — донесся голос солдата.

Мама Роса поняла: как и Педрильо, она сама на пороге смерти. Вот-вот упадет она, и уже навсегда. «Матерь божья, помоги мне». Рыдания вырывались из груди, душили. Вновь засвистели удары. «Проклятые, проклятые... лучше бы сразу убили!» И тут маме Росе вдруг пришло на ум: под кроватью лежит другая винтовка Педрильо.

Первый выстрел не достиг цели, пуля лишь отщепила кусок коры от дерева. Но вторая пуля вошла в изуродованную, окровавленную спину, покончив с болью и жизнью. Мама Роса рухнула на землю, не выпуская винтовки из рук. Иссиня-черные волосы, когда-то аккуратно разделенные пробором, закрыли ее лицо — казалось, сошла она с какой-то картины.

НЕСТОР МАДРИД МАЛО

—

ПИСЬМО ИЗ КОРЕИ

Патруль осторожно приблизился к первым домам на окраине селения. Или, вернее, к тому, что от них осталось. Теперь они представляли собой всего лишь груду развалин, над которыми вились дымки. С винтовками на изготовку солдаты пошли по улице. Дышать стало труднее: воздух насыщен зноем и гарью после недавнего пожара. По обеим сторонам все превращено в руины. Несколько трупов, некоторые уже обуглившиеся, другие еще дымящиеся, лежали в проемах стен — бывших дверях бывших домов — и посредине улицы. Немного дальше тоскливо завывала собака, сидя

около изрешеченного пулями тела молодого человека. Сержант, которому было не под силу слушать этот жалобный стон, прицелился и выстрелил. Еще какие-то мгновения животное жалобно выло, однако вой уже постепенно переходил в невыносимое, нескончаемое декрещендо. Сержант снова выстрелил, и все затихло.

Шагая между остатков селения, люди не решались перебросить ся словом. В тяжелом молчании они разглядывали ужасную выставку жертв насилия и разрушения, собранных вместе. Все это было делом рук человека, а не разбушевавшейся стихии. Устрашающее зрелище загубленных жизней, заглохших звуков, навсегда остановившихся шагов, тяжело раненной природы.

Солдаты проходили квартал за кварталом, не обнаружив и признаков жизни. Казалось, что какая-то атомная сила внезапно уничтожила все, что было в этом маленьком колумбийском селении, расположенном в западной части департамента Кундинамарки. Как будто бы все здесь было неожиданно оборвано разнузданным зверством человека. Именно так оно и случилось.

Прошлой ночью, когда местные жители спали, вооруженные банды налетели на селение, сжигая, уничтожая все вокруг. Никто — даже дети — не нашел спасения. Проснувшись, люди лицом к лицу встретили смерть, не ожидая ее, не заслужив ее. Она промчалась, как апокалипсический всадник, сорвавшийся с гравюры Дюрера. У людей не хватило времени ни для защиты, ни для бегства. Они, должно быть, могли лишь в агонии кусать землю, бессильно протестуя. Здесь свершилась позорная человеческая резня, которую банды, посланные на «усмирение мятежников», прекратили лишь тогда, когда — при свете занявшейся зари — убедились, что не осталось ничего, что можно было бы разрушить, нет никого, чтобы убить. Наконец, опьяненные спиртом и кровью, они обнаружили, что у них больше нет агуардьенте, чтобы пить, пить, пить.

Солдаты патруля могли лишь догадываться о том, что здесь произошло. Они привыкли к тому, что всегда прибывали чересчур поздно в такие места позора и горя — «наводить порядок». Свой путь по вымершей улице они продолжали с уже покоящимися на плечах винтовками. Было ясно, что кроме собаки тут не в кого стрелять, не предвиделось какой-либо опасности со стороны «мятежников». Разве могли внушать страх одна или две сотни трупов, валявшихся во всю длину и ширину этой новой Лидице в тропиках?

Они подошли к площади, где еще горела сельская церквушка. Было видно, что прежде, чем рухнуть, тут еще многое должно сгореть. На лестнице и на паперти, почти у дверей, солдаты увидели несколько трупов, главным образом женских, в самых нелепых и смешных позах. Смерть не заботится об эстетике последнего момента жизни своих жертв.

— Их, должно быть, прикончили, когда они пытались спастись в церкви,— заметил один солдат.

— Да, дикари...— проронил другой.

И они проследовали дальше.

Они уже почти достигли конца улицы.

Внезапно поднявшийся ветерок осыпал солдат пеплом, окурил дымом, закружил пожухшие листья и какие-то бумажные листки, подняв их на миг в воздух. Перед глазами сержанта пролетел, как бы танцуя, исписанный лист бумаги. Подхватив его на лету, сержант быстро оглядел листок и сказал:

— Письмо.

Остановился и из неожиданно пробудившегося любопытства стал разглядывать бумагу.

— Здесь не все. Похоже, не хватает листка.

Оглядевшись вокруг, он добавил:

— Должен быть где-нибудь здесь. А ну-ка, ребята, давайте поищем.

Поиски увенчались успехом. Солдат вскоре крикнул:

— Может, эти? Еще два листа.

Действительно, это были те самые листы, которых не хватало,— снизу слегка обгорели, но текст сохранился.

Сержант собрал людей отдохнуть под единственным деревом, на котором еще осталась крона, и — от нечего делать — начал вслух читать письмо:

Пусан, 7 августа 1952 г.

Сеньору Присилиано Фахардо.
Ла Энсенада (Якопи), Кундинамарка,
Колумбия.

Дорогой и любимый папа!

Сегодня, после месяца пребывания в американском военном госпитале в этом городе, я наконец-то могу написать Вам несколько строк, благодаря отзывчивости пуэрториканской медсестры, которая очень любезно помогла мне изложить на бумаге то, что я ей продиктовал. Без нее я не смог бы написать это письмо, которое уже давно стремился послать Вам. Надеюсь, что Вы поможете мне отблагодарить ее так, как она этого заслуживает.

Не знаю, сообщили ли Вам, кроме известия о моем ранении, что мне должны были отрезать правую руку почти по локоть. Выстрелом раздробило эту часть руки. Может быть, и удалось бы ее спасти, если бы не началась гангрена из-за отсутствия кровообращения, как сказал мне доктор. Поэтому пришлось ее ампутировать.

Вы, конечно, можете понять, какое горе и отчаяние я испытал. И как мне тяжело, что я должен писать Вам об этом сейчас, добавляя новую горечь к тому, что Вы уже пережили. Но, как сказал бы отец Бильбао, это всего лишь предначертания Провидения и нужно смириться — так он всегда нам рекомендовал в своих проповедях.

Мне хотелось бы рассказать Вам о том, как меня ранили. Но здесь категорически запрещено упоминать в наших письмах о военных действиях. Я могу только сказать Вам, что противнику досталось за причиненные нам потери, среди которых мы особенно сожалеем о гибели нашего лейтенанта Балека; он командовал моей ротой и был убит у меня на глазах.

Вы не представляете себе, как похожа Корея на наши края. Такие же холмы, ущелья, отроги и маленькие долины, что в наших Кордильерах. И люди здесь такие же печальные и так же бедны, как у нас.

Я должен Вам о многом рассказать. Но это я оставляю до того счастливого момента, когда буду там, с Вами. Надеюсь, что очень скоро, так как, по-видимому, в конце будущего месяца начнут эвакуировать раненых и часть личного состава нашего батальона. Так что, с божьей помощью, в середине октября я снова буду с Вами, чтобы помочь Вам, чем смогу, моей культей.

Вчера мне первый раз разрешили выйти. С несколькими ребятами мы сходили на военное кладбище Объединенных наций, где похоронены наши товарищи, павшие в бою. Здесь много могил колумбийцев. Лишь белые кресты с фамилией погибшего, номером его части и датой являются единственной памятью о тех, кто остался на чужой земле, которую нас послали защищать как нашу собственную. Дай боже, чтобы их жертва не пропала даром и чтобы свобода, во имя которой они отдали свои жизни, засветила бы всем.

*Сегодня седьмое августа *. Поэтому я много думаю о Вас и о моих братьях. И особенно о бедной маме, память о которой я сохраню навсегда. Я думаю также о моем народе и о моей колумбийской земле, которой я желаю покоя и мира. Я говорю все это потому, что ребята из последнего пополнения, только что прибывшие из Колумбии, мне рассказывали...*

Прервав чтение, сержант заметил:

— Здесь зачеркнуто. Наверное, цензура.

Затем он продолжал читать:

В связи с нашим праздником здесь готовится программа развлечений. В ней будут участвовать некоторые ребята, находящиеся здесь на отдыхе или на излечении, а также моряки с фрегата «Адмирал Падилья», который вчера прибыл в этот корейский порт. Состоится футбольный матч с английскими моряками, а я не хочу его пропустить.

Надеюсь, что у Вас все хорошо и что в этом году будет хороший урожай. Поэтому я думаю, что у всех должны быть деньги. Скажите Маркосу и Рафаэлю, чтобы они кое-какие песо сохранили для меня, мне очень понадобятся, когда я вернусь. Я крепко обнимаю их и посылаю большой привет им, а также Исабель. Она ведь уже обзавелась женихом.

Если Вы увидите Хеорхину, передайте ей, что я получил ее письмо и скоро отвечу. Не говорите пока ничего о моей руке. Это ее очень расстроит. Скажите, что я все время помню о ней, и она знает, как я ее люблю.

Привет всем моим друзьям. Крепко обнимаю моего двоюродного брата Саула — он все еще в Якопи? Как у него дела в аптеке?

А также, дорогой папа, примите горячие объятия и большой привет от Вашего любящего сына

Хосе Томаса.

. . . . . .

Сержант закончил читать обгоревшие листки. Никто ничего не сказал. Воцарилось тягостное молчание — прерываемое лишь вспышками искр, разлетавшихся от горящей церквушки, да треском досок, кое-где догоравших в домах. Солнце закрыло тучами, обещавшими близкий дождь.

Наконец, один из солдат проговорил:

— Да, дон Присилиано Фахардо жил в этом селе. И другие, о которых упоминается в письме, тоже здесь жили.

— Откуда ты знаешь? — спросил сержант.

— Видите ли, мой сержант, дело в том, что я сам отсюда, знаю всех людей.

— А ты уверен? — переспросил сержант с тревогой в голосе.

— Совершенно уверен, мой сержант. Я даже знавал Хосе Томаса Фахардо. Мы вместе поступали на военную службу. Потом его отправили добровольцем в Корею.

— Стало быть, все они... умерли здесь...

— Должно быть...— И указав на почерневшие развалины, солдат сказал: — Тут был дом Присилиано. Там, на углу, находилась лавка. Сколько пива с ним выпил. Очень хороший человек был...

Над показанным солдатом местом висел густой дым.

Солдаты в нерешительности стояли, не зная, что делать, пока грохот рухнувшей колокольни не вывел их из оцепенения.

— Чудовищно...— пробормотал про себя сержант и тут же приказал немедля идти дальше.

---

* Национальный праздник Колумбии.

ЗЕЛЕНЫЙ БАНАН

Мистеру Тревелину, молодому служащему «Галф фрут компани», Колумбия была по душе еще до того, как он приехал в этот банановый край на побережье Атлантического океана, впервые получив назначение за границу после прохождения обязательной подготовки в главной конторе фирмы в Новом Орлеане. Его галльское происхождение и то обстоятельство, что родился он и получил образование в наиболее латинизированном районе Соединенных Штатов, делали его особенно пригодным — правда, по его собственному мнению — к тому, чтобы легче понять темперамент латиноамериканцев, изучать их и работать с ними. Эти же данные, впрочем, оказали свое воздействие и на шефов, которые избрали именно мистера Тревелина для выполнения первой в его жизни ответственной миссии.

И случилось так, что, приступив к исполнению своих новых обязанностей и завязав дружеские связи, мистер Тревелин однажды обнаружил, что все здесь, на колумбийской земле, нравится ему гораздо больше, чем он предполагал раньше. С новой обстановкой он быстро освоился, и ему не стоило труда превратиться в самого симпатичного и общительного гринго, нога которого когда-либо ступала по здешним берегам. Каждую неделю, после пятидневного пребывания на банановых плантациях Зоны, он выезжал на пляж, чтобы провести уик-энд у моря, под солнцем.

С течением времени мистеру Тревелину пришлось признать, что в колумбийском периоде его жизни было нечто в высшей степени привлекательное: он чувствовал себя буквально потрясенным, когда видел смуглых хорошеньких «туземок», проходивших по улицам или площадям банановых поселков,— юных, свежих, купающихся в лучах тропического солнца. Вот тогда-то Тревелин осознал, что и в самом деле галльская кровь оказалась не просто фамильным преданием, она действительно играет в нем. При взгляде на местных девушек кровь закипала в жилах, а сердце будто летело в страстном танце. Корректный, всегда сдержанный, чуть не флегматичный американец переставал узнавать самого себя — чем темнее был цвет кожи стройных креолок, тем сильнее было его душевное смятение. Воспитанный на Юге США, в суровых традициях заботы о чистоте расы, он даже испытывал какую-то грусть: рушились, постепенно исчезали привычные с детства устои... Он было попытался обуздать непреодолимое влечение к креолкам. «Надо найти белых женщин, надо поискать блондинок»,— убеждал себя мистер Тревелин.

А они здесь были. Такие же красивые, как и на его родине. В прошлую субботу на пляже он смог убедиться в этом. Буквально в нескольких шагах от него неожиданно возникло нечто ослепительное — сияние шествовало в облике женщины. Пламя золотистых волос венчало божественно сверкающее тело в бикини, нисходившее к земле белоснежными стрелами ног. Тревелин так и застыл на месте. Как он потом узнал, ее звали Эвелин, она была наследница одного из самых богатых владельцев банановых плантаций, приехавшая из города. Его приятно поразило забавное фонетическое сходство — он счел это добрым предзнаменованием — между ее именем и его фамилией. «Эвелин Тревелин»,—повторял он про себя. Звучит красиво, даже поэтично, если произнести вот так, вместе. Так должны будут обращаться к ней, когда она станет его супругой. Однако вмешалась, как часто бывает, действительность: Эвелин стояла на чересчур высокой ступени в обществе — недося-

гаемой для молодого чиновника, пусть гринго, но с весьма скромным настоящим и пока что неопределенным будущим.

Эвелин получила воспитание в лучших колледжах Европы и Соединенных Штатов, говорила на нескольких языках. Тревелин же, не считая родного английского, лишь с трудом изъяснялся на ломаном французском, на котором говорят в Луизиане. Кроме того, внешний огонь Эвелин угасал от нерастопимого льда в груди. Молодого американца покинула обычная самоуверенность. Нет, дело не выгорит! Благоразумнее было уйти со сцены, и к тому же Эвелин ничем, собственно, не отличалась от любой университетской «гёрл» из Баттон-Ружа. Ха, стоило уезжать из Луизианы, чтобы здесь — вдали, в тропиках,— найти то, чего хватало в изобилии дома!

Расстроенный крушением своих планов, Тревелин больше времени стал проводить на банановых плантациях — всегда зеленых, всегда тенистых. Теперь он редко появлялся в городе. И опять, даже быстрее, чем прежде, росло его влечение к смуглым дочерям этой тропической земли.

Как-то утром он поймал себя на том, что с повышенным интересом наблюдал за движениями Элоисы, молоденькой дочки старшего по усадьбе в Зоне плантаций. Девушка обивала початки маиса. Ловкие ритмичные удары напоминали игру на барабане, и в ритм ударам корпус девушки покачивался. Для американца это было невиданное зрелище. Сначала его восхищала только ловкость девушки. Потом — своеобразие ее труда. А потом он уже ничего не видел, кроме ее хорошо сложенного, гибкого, смуглого тела, ее небольших и упругих грудей, которые, свободно вздымаясь и опускаясь под тонкой перкалевой блузкой, тоже отмечали ритм и темп. Раскрасневшимся от работы ее лицом, мягко обрамленным черными волосами, спадавшими почти до талии, нельзя было налюбоваться.

Тревелину было нетрудно догадаться, что и он не безразличен девушке. Когда он смотрел на нее, поглощенную домашней работой, Элоиса начинала смущаться, сбивалась с темпа, теряла непосредственность. Размеренный шум от ударов по маисовым початкам распадался на прерывистые звуки, безусловно свидетельствовавшие, что душевное равновесие у девушки потеряно. И Тревелин испытывал наслаждение, стремясь предопределить ход дальнейших событий. Хотя он должен был признаться самому себе, что еще не избавился от прежних предрассудков, да и, откровенно сказать, испытывал некоторый страх перед предстоящей авантюрой. Но в конце концов пыл двадцатипятилетнего мужчины возобладал над духовным наследием родного Юга Соединенных Штатов. Тревелина охватила тайная любовь к смуглой девушке, да с такой силой, какой он никогда не подозревал в себе. Он уже и дня не мог прожить без нее. Элоиса отвечала взаимностью, полюбив белокурого поклонника со страстью, которая поражала юношу, и он даже не мог сдержать изумление перед тем, как быстро они стали близки. Из очень ценного и тонкого материала была соткана ее простая душа.

Прошло несколько месяцев. Тревелин был в восторге от того, что все так счастливо складывалось. Никто ничего не подозревал — оба наслаждались любовью без помех. Или, по крайней мере, он так думал. Но однажды после полудня девушка не пришла на свидание в назначенное место, в чащу банановых зарослей. Встревоженный Тревелин несколько раз выходил на дорогу, по которой она обычно шла. Напрасно ждал ее. «Быть может, внезапно заболела»,— терялся в догадках молодой американец. Он вернулся домой, бросился в гамак, к которому уже привык.

Не прошло и получаса, как его одиночество было прервано резкими ударами в дверь. Он поднялся, чтобы открыть. Отец Элоисы, держа

в руках какие-то рабочие инструменты, с мачете за поясом, быстро вошел в комнату, не спросив разрешения. Даже не поздоровавшись.

— Мистер Тревелин, хочу спросить вас...

— Да, что желать вы, Хавьер? — ответил американец на ломаном испанском.

— Я хочу знать только одно: как поступают у вас на родине с человеком, который соблазняет и обманывает девушку, еще подростка?

Нет, у Тревелина кровь не застыла в жилах. Напротив, он почувствовал, как что-то поднимается в его груди, охватывает все тело. Что-то похожее на холодный озноб, вроде легкой щекотки. Вдруг он вспомнил, что такое же ощущение испытал еще в войну на Гуадалканале, на Окинаве. Это был страх, самый настоящий. Он понял, что сейчас все решится. Однако он ничего не сказал. Скрестив руки, он взглянул в глаза Хавьеру и уловил в них тот же огонек ненависти, которым на один миг обжег его взгляд японца в Тараве, когда он вонзил в того штык в ходе боя.

— Ага, так вы не хотите мне ответить, мистер?

Тревелин услышал голос отца Элоисы как будто издалека. И как в тумане различил он жест Хавьера, быстро выхватившего мачете. А затем — блеск стали в вечереющем воздухе. Тревелин замер на месте. Острая боль у шеи заставила его согнуться. Он рухнул вперед, как бык на арене. Может быть, он еще успел услышать, хотя вряд ли уже понимал смысл, последние слова Хавьера:

— Вот что значит попробовать зеленые бананы, мистер!

КАМЕН КАЛЧЕВ

УЧЕНЬЕ — СВЕТ

РАССКАЗ

И в этом году, без сомнения, солнечный праздник культуры и просвещения, заполненный песнями и музыкой, окончился успешно. Шеренги учащихся, утомленных маршировкой и гимнастическими упражнениями перед официальной трибуной, беспорядочно растянулись по софийским артериям. Постепенно разбрелись по домам и родители, пришедшие полюбоваться своими детьми на этом милом торжестве. Из последних сил играл оркестр женской гимназии, привлекая к себе любопытных. Я дернул за руку своего Ивана и строго сказал ему:

— Хватит пялить глаза на девочек, подумай о себе, тебе предстоит держать экзамен на аттестат зрелости.

Иван смиренно опустил голову и, продолжая идти рядом, думал, вероятно, о предстоящих экзаменах. Я гордо шагал, чувствуя свое превосходство, хотя и был ниже сына сантиметров на десять, если не больше. Нынешняя молодежь—и это полностью доказано,— окруженная заботами общества, не жалеющего средств на ее одежду и питание, растет преимущественно в вышину. Не то, что было в те, прежние годы.

Под лучами майского послеполуденного солнца мы миновали улицу Раковского и направились к нашей улице Экзарха Иосифа. Иван снова стал засматриваться на девочек, расходящихся по домам, возбужденных и раскрасневшихся. Чтобы обмануть мое внимание, он как бы между прочим подбрасывал в руках футбольный мяч, доверенный ему гимназической командой. Я сказал, чтобы он прекратил это, потому что может уронить мяч на мостовую, где весьма большое движение, но он самоуверенно ответил, что, мол, ему не в первый раз, поглядывая, разумеется, искоса на учениц.

Мы пересекли главную артерию — бульвар Дондукова и пошли спокойнее, здесь движение было не таким интенсивным. Я сказал сыну:

— Пока ты не сдашь экзамены на аттестат зрелости, тебе, Иван, надо забыть о футбольном мяче... Предстоят экзамены, учеба в университете, гидроинженером не так легко стать... За последние годы построено много плотин, значит, будущее связано с ними, так и в печати говорится.

Иван, крепко держа мяч под мышкой, задумчиво слушал слова, произносимые мною достаточно серьезным тоном.

В спортивных брюках и белой гимнастической майке он все еще был похож на ребенка, которого надо направлять. И я с еще большим усердием принялся наставлять сына, испытывая угрызения совести оттого, что до сих пор не поступал, как другие родители, которые непрестанно учили своих детей игре на аккордеоне и иностранным языкам.

— Основа всему — болгарский язык и математика,— продолжал я, наблюдая за реакцией Ивана.

— Болгарский я знаю,— сказал Иван,— а по математике мне осталось решить из сборника всего пять задач.

— Да, но Милушев говорит, что у тебя хромает правописание. Ты пишешь «кольтура» вместо «культура», как требует правописание... На первый взгляд мелкая, но достаточно существенная ошибка... Не все слова пишутся так, как слышатся... Например, «рог», как ты напишешь— «рог» или «ров»?..

— Это я знаю,— рассмеялся Иван, удивленный, что ему устраивают экзамен прямо на улице, в часы, не отведенные для занятий.

— Не знаешь!.. Спрашиваю: что напишешь в конце — «к» или «г»... «в» или «ф»... Отвечай!.. На первый взгляд просто, а не знаешь... Молчишь... Как же это так, человек со средним образованием, а не знает, как пишется «рог»!

— Ерунда...

— Совсем не ерунда,— продолжал я атаковать будущего абитуриента, хотя и был простым почтовым служащим с прогимназическим образованием, и задавал ему самые различные вопросы, на которые он отвечал с ошибками, раздосадованный и огорченный.

— Например, февраль... Ты говоришь «фефраль»... А как напишешь?

— Как говорю...

— Двойка! Круглая двойка!.. «Фефраль» говорят плохие ученики!.. Как и «морковь» пишется с «в», а не с «ф»... Ведь так?

Иван задумался. Домой мы пришли опечаленные, но вскоре приободрились, потому что моя жена испекла баницу. И дома, и даже на улице вкусно пахло. Кроме баницы был обещан и жареный барашек. Вдобавок нас ждал на столе кувшин с красным вином, окруженный стаканами и столовыми приборами. На обед были приглашены свояк с Еленкой; наконец-то их семейная жизнь стала счастливой — благодаря здравой рассудительности, проявленной ими в последний момент, они по крайней мере дважды избежали бракоразводного процесса, понимая, что ни интеллектуальный, ни физический труд не могут заменить семьи и семейного счастья.

И вот мы ждали их по случаю праздника с баницей, барашком и красным вином. Решили мы также поговорить в этот день и о будущем Ивана, потому что поступить в Государственный университет имени Климента Охридского становится все труднее. Мы возлагали надежды на свояка и Еленку, у которой были знакомства с профессорами и преподавателями. Нельзя было упустить момент, железо надо ковать, пока горячо.

Войдя в дом, свояк и Еленка сразу развеяли гнетущую атмосферу.

— Не годится так, Драган,— упрекнул меня свояк,— на праздник Кирилла и Мефодия огорчаешь юношу, достигшего зрелости...

— Да, но я ему говорю серьезные вещи, а он играет в мяч. Хорошо это?

— Сегодня праздник учащихся,— вмешалась Еленка,— пускай повеселится, завтра его ждут экзамены.

— Мой муж всегда так,— раздался голос жены из кухни,— за что

бы ни брался, все делает нескладно... Садитесь-ка к столу, а то баница остынет.

Все сели за стол и принялись за еду, предварительно выпив для настроения по рюмочке ракии,— исключение составил свояк, он был трезвенником и выступал со статьями по этим вопросам. Баница была теплой, даже горячей, пышной, жена моя мастерица по части народных кушаний, которые все реже и реже можно встретить в ресторанах. Подошла очередь и барашка. Иван сидел рядом с матерью и ел с аппетитом, не поднимая глаз от тарелки. Время от времени я добавлял ему мяса, приговаривая, что жевать он должен как следует, медленно и долго, для того чтобы облегчить пищеварение. Он слушал меня, но от обжорства забывал о моих советах, глотал целыми кусками, плохо пережевывал их, снова и снова раскрывая рот, снова и снова наполняя его, будто за ним кто-то гнался. Разумеется, я с ним не ссорился, не упрекал его в обжорстве, чтобы не испортить хорошее настроение собравшимся. Наоборот разрешил ему выпить стакан красного вина, и он выпил его с удовольствием, вытер губы и снова воззрился на барашка с рисом и изюмом. Я налил ему второй стакан, за что получил замечание свояка.

— Впадаешь в крайности,— сказал он,— с одной стороны бранишь, с другой — наливаешь вино, наносящее вред организму.

— Пусть выпьет,— сказал я,— утром ему снова готовиться к экзаменам.

— Дали вам программу? — спросил свояк.

— Дали,— ответил Иван.

— Если будут какие-либо затруднения, спрашивай! Я готов помочь!.. Язык и до Царьграда доведет... Правда?.. А правописание не так важно, как изложение. Мысль должна развиваться логично, с известной долей фантазии, необходимой для литературы и науки, потому что воображение играет огромную роль. Оно освещает путь науке и обогащает ее, как, например, науку об атомной энергии и электронику.

— Почему бы ему не поступить на литературный факультет? — спросила Еленка, допивая вино.— У литературы большое будущее.

— Ты права, Еленка,— прервал ее свояк,— но все определяет влечение. В данном случае имеет место большее влечение к точным наукам, а не к литературе.

— У нас построили много водохранилищ,— сказал я,— эксплуатировать их надо правильно, а кадров не хватает.

— Да, нужны инженеры, особенно в последнее время... Но и желающих поступить на технические факультеты очень много,— говорил свояк, вытирая руки бумажной салфеткой,— нужны связи. как бы это ни было нежелательно и плохо, не так ли? Отрицать этого не приходится.

— Все так делают,— сказала моя жена, подкладывая в тарелку свояка рису,— почему же нам быть исключением?

— Стоит обратиться к товарищу Мичеву, и все будет в порядке! — воскликнул я.

— Нет, с Мичева начинать не надо,— возразил свояк,— положение его сейчас немного пошатнулось. Не надо!

— Да ну?

— Да, Мичев идет на пенсию. Сейчас восходит звезда Ивана Г. Иванова, но с ним по таким вопросам незачем говорить, потому что он откажет... Лучше будет, если Иван, получив аттестат зрелости, придет ко мне, и мы вместе обдумаем ходы, не так ли?

— Профессор Чанакчиев поможет! — заявила Еленка.— И нечего вам мудрить...

— Чанакчиев Чанакчиевым, его мы подержим в резерве.

— Почему в резерве?

— Прежде посмотрим, каковы будут успехи у Ивана...

— В успехах можно не сомневаться,— сказал я,— он сейчас приналяжет, а уж я прослежу... Как только получит аттестат зрелости, сразу должен поступать в университет!

— Именно так!.. Одновременно надо подать заявления на несколько факультетов — где-нибудь да повезет... В крайнем случае можно поступить и на литературный, а потом подумаем о переводе... Жизнь — борьба.

— Да, да, Любчо,— с улыбкой сказала моя жена, подкладывая ему еще две ложки риса с изюмом,— мой муж заботится только о чужих, а о своем сыне и не подумает...

Снова в мой огород полетели камни, но свояк сумел взять меня под защиту — он сказал, что я альтруист и вношу свой вклад в область самообразования и это не может не быть отмечено ответственными товарищами, несмотря на их занятость партийной работой.

— К диплому приложим и справку с места жительства о том, что отец его активист и морально устойчив, что у него ничем не запятнанное прошлое. Разумеется, решающее значение будут иметь знания Ивана, а я ему обещаю полное содействие до экзаменов и после... Только бы он захотел, но, естественно, в нерабочее время. Не так ли?

— Благодарю тебя, свояк!

— Не за что!

— Всю жизнь буду тебя благословлять,— добавила моя жена,— лишь бы сына определить и дать ему в руки кусок хлеба.

— Да, зарплата гидроинженера не маленькая.

— Сколько, к примеру?

— Точно не могу сказать, но достаточная!

— Дай-то бог!.. Хорошо бы было!..

Выпили мы еще кувшин вина, а свояку кофе сварили. Жена с улыбкой поставила перед ним чашечку кофе, благодарная за то, что он готов был забыть и сон и покой, лишь бы помочь Ивану определить его будущее и счастье в ответственный, так сказать, момент жизни. Мы поговорили еще немного и после сытного обеда прилегли отдохнуть, довольные тем, что и этот светлый праздник культуры и науки благополучно кончился. И, наконец, в этот день мы приняли мудрое решение направить по правильному пути единственного, горячо нами любимого ребенка, ради которого готовы отказаться от последнего куска, лишь бы он был сыт и счастлив, несмотря на все его недостатки, присущие нынешней молодежи, как давно известно, слишком избалованной.

Свояк с Еленкой ушли, повторив еще раз, что они всегда готовы прийти нам на помощь в критический момент.

Сколько времени спали мы с женой, разморенные вином и теплой баницей, а также барашком с рисом и изюмом, не помню, но, проснувшись, я увидел, что Иван сидит на кухне и решает задачи, раскрыв программу с вопросами.

— Выходят? — спросил я.

— Выходят, папа,— ответил он.

— Если споткнешься, свояк близко. Позови!

— Сейчас все в порядке... Одно только мне мешает... Нет у меня пособий по физике и химии.

— А почему бы тебе не пойти в гимназию, если нужно?

— Я так и сделаю, папа.

— Ты знаешь, мой мальчик, мы хотим, чтобы ты получил знания... Не так ли?

— Да, папа, а сейчас не мешай мне решать последнюю задачу, и я пойду погуляю, а то у меня разболелась голова. Сегодня я устал.

— Не переутомляйся, сынок! — Я назидательно поднял палец.— Не стоит становиться инвалидом из-за диплома!

— Известное дело.

Я оставил его в покое, он решил задачку, встал, умылся, чтобы освежиться, надел новый костюм, сказал, что немного подышит воздухом, прогуляется в парке или по соседним, шумным в это время улицам.

И мать и я, счастливые, смотрели на сына — вырос как тополь, уже пробиваются усы, брови черные, глаза, полные огня. Впервые он повязал галстук, положил белый платочек в кармашек пиджака и сразу стал похож на юношу. Жена пошла проводить его до поворота, улыбаясь до ушей от радости, что вырастила такого абитуриента — ростом почти в два метра, широкоплечего, будущего гидроинженера, готового бескорыстно и самоотверженно служить обществу, как его учили и воспитывали больше восемнадцати лет.

— Каков жених! — сказала она, вернувшись домой.— Все оборачиваются, чтобы поглядеть на него, и я не могу на него нарадоваться, просто млею от счастья.

— Спокойнее,— сказал я,— не волнуйся!

Она присела на стул возле радиоприемника и заплакала, вытирая слезы носовым платочком. А я тем временем, прохаживаясь по комнате, говорил о плотинах и водохранилищах, украсивших нашу родину своей зеркальной гладью, и горных потоках, используемых для получения электроэнергии, необходимой в промышленности и быту. Жена успокоилась и впервые слушала меня внимательно, не прерывая. Сейчас мы вполне понимали друг друга. Мы включили радио, чтобы послушать народную музыку. И так закончился вечер светлого праздника.

Потом наступили будни. Иван продолжал решать задачки, иногда уходил в гимназическую лабораторию, чтобы ставить там необходимые для экзаменов опыты по физике и химии. Время от времени заглядывали к нам свояк с Еленкой и озабоченно спрашивали:

— Как дела у абитуриента?

— Очень хорошо, покончил с задачами, теперь занимается в лаборатории.

— Есть ли у него трудности?

— Пока нет.

— Я бы хотел дать ему тему свободного сочинения, чтобы проверить его стиль, это очень важно.

— Пожалуйста.

— Поищу его в лаборатории.

— Прекрасно, свояк.

Все шло, как полагалось. Иван похудел, утомленный занятиями. Перед самыми экзаменами, когда напряжение достигло кульминации, свояк сказал мне доверительно и озабоченно:

— Иван выглядит переутомленным и рассеянным... Как бы чего не вышло... Сразу после экзаменов нужно все забросить и отдохнуть. Никакого чтения, никакой работы.

— И я так же думаю, свояк, очень он осунулся.

— Волнуется. Это естественно, но все-таки.

— Посоветуй ему.

— Я посоветую.

За день или за два до экзаменов, не помню уже точно, свояк пришел ко мне в почтовое отделение. Это меня удивило. До сих пор он никогда не приходил ко мне на работу. И я с тревогой спросил его:

— Что случилось?

Он смущенно молчал, опустив глаза.

— Говори,— сказал я и схватил его за лацканы пиджака.

— Одна небольшая неприятность, Драган... Я был в гимназии... в лаборатории...

— Ну?

— Его нет. Ушел. Отправился в сквер.

— А дальше?

— Вижу — сидит на скамейке с Лилией Кацарской, с которой он, конечно, вступил в гражданский брак...

Я отпустил лацканы его пиджака. В свою очередь он схватил меня за руки, чтобы я не упал, и принялся меня трясти:

— Что с тобой, брат? Возьми себя в руки!.. Обычное безумие молодости... И я двадцать лет тому назад так же женился...

— А экзамены?

— И на экзамены есть время... Можно осенью, можно и сейчас, если любовь, конечно, не помешает... Она тоже абитуриентка, единственная дочь у матери и отца... Мать — врач, отец — адвокат... с положением, безусловно...

— Не твоих ли это рук дело, свояк? — спросил я с отчаянием.

— Как ты мог такое подумать, Драган!

— А экзамены?.. А экзамены? — повторял я и еле тащился за ним.— Как я сообщу это жене?

— Иди смелее, брат!.. Давай их захватим с собой из сквера, а то они боятся идти домой, напуганы очень... Нельзя их бросить в такой критический момент...

— А экзамены?..

— Да оставь ты эти экзамены, возьми себя в руки!..

Он насильно потащил меня к скверу. Там на деревянной скамейке под плакучей ивой рядышком, держась за руки, сидели молодожены. Увидев их, я от умиления не мог произнести ни одного бранного слова. Только спросил, пойдут ли они на следующий день сдавать экзамены на аттестат зрелости. На что они мне довольно дерзко ответили:

— Мы никогда и не думали иначе, папа!

Дети встали, поцеловали мне руку, поклонившись до пояса. И я благословил их — пусть будут до старости здоровы и счастливы...

Перевод с болгарского Т. КАРПОВОЙ

ЙОРДАН РАДИЧКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

НОВЕЛЛА

Человек без тайны — что цветок без аромата. Аромат — это тайна цветка. У моего дома тоже есть свои тайны. Всю ночь у нас кукарекает петух, мы все его слышим, но в чьей ванной он живет — никто не знает. Иногда кажется, что он поет на пятом этаже, иногда его голос доносится словно из-под земли. Ребята со двора называют его «Баскервильской собакой». Еще у нас в доме есть «Троянская война». Воины шмыгают носами и скрещивают мечи, а «троянки» в коротких юбочках, приподняв попки, лепят из песка фигурки. «Троянский конь» стоит на пороге гаража и время от времени чихает. Его владелец,

до ушей вымазанный в масле и исполненный надежд, ходит вокруг него. Мальчик сидит у окна и смотрит на войну, на «троянок» и на «москвича». Он расскажет воинам о Шиншилле, но это произойдет позже, когда ребята вынесут во двор роликовые коньки, а «Три мушкетера» спустятся туда с коляской. Но младенцам еще рано гулять, они спят сейчас в своих кроватках под белыми марлевыми пологами. Когда они выспятся, мы вынесем их во двор, а сейчас надо стирать пеленки, и папы крутят резиновые валики стиральных машин. Пеленки должны быть снежно-белыми, они — точно лепестки цветка, укрывающие собой тычинку. Тычинки спят в кроватках, наморщив лобики,— они стараются видеть сны. У подъезда стоит Зинка и грезит, глядя на горы.

■

У Зинки растет грудь. Блузка ее оттопыривается, а она вот уже несколько недель стоит у подъезда, глядя на горы или на облака, и ждет, когда что-нибудь случится. Она не знает, что то, что должно случиться, заключено в ней самой, что оно зреет и набухает, а наступит день — и оно покажет свой цвет, обдаст ее таинственным ароматом, одарит ее вкусом жизни. Мальчик из окна разговаривает с Зинкой и стесняется смотреть на ее грудь, а Зинка ничуть не стесняется.

Но вот женщины кончили стирку.

Они разогнали «Троянскую войну», чтобы она не вымазала белье, и стали вешать простыни. «Троянская война» переместилась к гаражу и уселась на свои щиты. Сорок пять лошадиных сил, обернувшись мертвым железом, стояли на пороге и не желали двинуться с места. Но владелец их Иван Флоров ничуть не волновался, а, посвистывая, спокойно занимался своим делом. Один из троянцев воспользовался передышкой, чтобы доесть кусок хлеба с маслом. Он с грустью смотрел, как белье захватывает половину поля боя. Белье было до того белое, что больно было смотреть!

И в эту минуту раздались крики. Женщины метались, натыкаясь на веревки, и вопили:

— Мышь! Мышь!

Выскочивший во двор маленький мышонок, совсем маленький, испугался женского крика и стал бегать взад-вперед, наталкиваясь на тени простынь. Невозможно было понять, кто кого боится больше — женщины мышонка или мышонок женщин. Он носился по двору, кидался то туда, то сюда, обезумев от страха, пытаясь спрятать куда-нибудь свой длинный хвост, но женщины тоже бросались в разные стороны, натыкаясь на веревки, а иные побежали через весь двор, высоко задрав подолы юбок.

Бог его знает, почему женщины, завидев мышь, задирают подолы!

Тогда во дворе появился Иван Барабанов. Он был коротконог и коротко острижен. Оценив обстановку, он несколькими энергичными прыжками догнал мышь. Но только он хотел наступить ей на хвост, как она извернулась и, юркнув у него меж ног, засеменила назад. Женщины кинулись на другой конец двора, добежали до ограды и остановились, с ужасом и отвращением глядя на мохнатого зверька, бежавшего прямо на них.

Мальчик, сидевший у окна, смеялся и хлопал в ладоши.

Иван Барабанов бежал, свирепо наклонив свою стриженую голову. Мышь пищала, предчувствуя конец, и мела хвостом, чтобы на него не наступили. Но Иван Барабанов не стал наступать ей на хвост: он ударил ее ногой по мордочке. Мышь перевернулась и затихла.

Мышонок, и зачем только ты вылез из подвала?

Женщины вздохнули и опустили подолы. Иван Барабанов взял мышь двумя пальцами за хвост и высоко поднял ее, чтоб все видели. «Троянки» в коротких юбочках и мальчик в окошке подарили ему улыбки, с

верхнего этажа послышалось: «Ай, ай!» — вероятно, этот возглас принадлежал «Трем мушкетерам», а женщины стояли, прижавшись к стене, и смотрели с одинаковой ненавистью и отвращением и на мышь и на ее убийцу. Может быть, это правда, что когда уничтожаешь какую-нибудь гадость, часть ее переходит на тебя?.. Человек с мышью так не считал, он победоносно прошел со своим трофеем по двору, показал его «Троянской войне», которая тут же повскакала и схватилась за щиты, показал и Ивану Флорову, шоферу, а тот сказал:

— Да брось ты ее!

Иван Барабанов раскачал мохнатый трофей и швырнул его через ограду в соседний двор.

— Не заводится? — спросил он Ивана Флорова и вытер пальцы о штаны.

— Заведется,— ответил шофер.— Мы такие моторы приводим в чувство, ты б нипочем не поверил!

Он работал механиком на авторемонтном заводе на станции Искыр.

— Состарился твой «москвич»,— сказал Иван Барабанов.

— Восемьдесят тысяч километров,— сказал Иван Флоров.— Два раза обошел экватор.

— Действительно,— согласился Иван Барабанов.— Длина экватора — сорок тысяч километров. Сорок на два получается восемьдесят.

— Я ж тебе говорю, два раза обошел. И третий раз обойдем. Это не машина, а зверь.

Он похлопал зверя по капоту и залез в машину, чтобы попробовать еще раз. Нажал стартер, послышалось урчание, скрежет, что-то чихнуло и затряслось, а Иван Барабанов на всякий случай отошел в сторонку. Но машина не завелась.

— Все равно пойдет,— сказал Иван Флоров и снова поднял капот.

Он засвистел, а мальчишки стали рядком около гаража. Они знали, что каждое воскресенье до обеда Иван Флоров чинил мотор «Троянского коня», а после обеда «Троянская война», побросав щиты, принималась толкать «москвича» по улице. Благодаря этим усилиям «москвич», хотя и медленно, вступал в свой третий пробег по экватору.

Иван Барабанов пошел к дому, продолжая вытирать пальцы о штаны. Он остановился под окном, у которого сидел мальчик, и спросил, нет ли чего почитать.

— Про Ивана-дурака есть. Очень хорошая книжка.

— А другой нет?

— Еще есть братья Гримм, но ее я сам читаю.

— Ладно, давай про Ивана-дурака. Тем более мы тезки.

Мальчик подал ему в окно книжку.

— Видел, как у женщин поджилки затряслись? — спросил Иван Барабанов.— Чуть в обморок не попадали из-за какой-то мыши.

— Видел,— сказал мальчик.

— Смешно было, да?

— Смешно,— согласился мальчик.

Иван Барабанов засмеялся, и мальчику показалось, что он смеется как-то неестественно. Он не знал, почему все, кто проходит мимо его окна, что-нибудь говорят ему, все стараются сказать посмешнее, а когда не получается смешно, все равно смеются, потому что хотят, чтобы и мальчик непременно засмеялся. И мальчик смеялся, хотя и не так громко, как те, что останавливались у окна.

Он посмотрел на белоснежное белье во дворе — ветер покачивал его легко и плавно; рубашки дергались, размахивали рукавами, но женщины на совесть прихватили их прищепками. Мальчик подумал, что, если бы не прищепки, все белье убежало бы со двора.

(Он сидел в своем кресле, залитый солнцем, и мечтал о просторе. Он верил, что наступит день, когда он выйдет во двор, как другие, и будет толкать «москвича», будет драться на войне, будет бежать за самолетом, который гудит над домами и тянет на хвосте призыв «Покупайте в ЦУМе», как это делают другие ребята, и будет кататься на роликах, которые отец купил ему на прошлой неделе. Он не сознавал, что прикован к этому креслу так же, как приковано к веревкам белье во дворе.)

Он взял сказки братьев Гримм и стал читать. Благодаря книжкам мальчик мог путешествовать где угодно. Вот отправился он в путь с одним юношей, который «ходил страху учиться»... «Однажды и говорит ему отец:

— Эй, послушай ты, там в углу! Ты вон, гляди, какой уже большой вырос и силы набрался, надо будет тебе тоже чему-нибудь научиться, чтобы хлеб себе зарабатывать. Видишь, как брат твой старается, а ты ни к чему не гож.

— Эх, батюшка,— ответил младший сын,— я бы охотно чему-нибудь научился; и раз уж на то пошло, то хотелось бы мне научиться, чтоб было мне страшно; в этом деле, видно, я еще ничего не смыслю.

Услыхал это старший брат, посмеялся и подумал: «Боже ты мой, какой, однако, у меня брат дурень, из него никогда ничего не получится — кто хочет чем-нибудь сделаться, должен быть изворотливее». Вздохнул отец и говорит младшему сыну:

— Уж чему-чему, а страху ты должен научиться; но на хлеб себе этим вряд ли ты заработаешь.

А тут вскоре зашел к ним в гости пономарь. Стал ему отец на свою беду жаловаться и рассказал, что младший сын у него несмышленый — ничего не знает, ничему не учится.

— Вы только подумайте, спрашиваю я у него, чем ты хлеб себе зарабатывать хочешь, а он говорит: хотел бы я страху научиться...»

И так далее.

(Сущий ад — учиться страху и этим зарабатывать себе на хлеб.)

Над домом пролетел самолет, за хвостом у него полоскался призыв «Покупайте в ЦУМе», и исчез на востоке, в той стороне, где стоят ангары Софийского аэропорта.

■

А у меня дома жена занимается с сыном или, как она его называет, «маминым сокровищем». Они пишут в тетрадке прописную букву Д. Из соседней комнаты я слышу объяснения жены. По ее словам, эту букву надо писать с небольшим наклоном, с небольшим утолщением, потом тонко, потом слегка завернуть, еще чуть и еще чуть и, наконец, завершив налево, с утолщением изобразить ее ухо. Или:

Прописная буква Д похожа на Косолапого Мишку, который сидит в клетке в зоопарке и, повернув голову к публике, ждет, чтоб его угостили конфеткой: спина у него согнута, он сидит спокойно, но одним ухом прислушивается, потому что он зверь и людям не слишком доверяет. Линейки в тетрадке — это дом Косолапого Мишки. Надо быть внимательным, чтобы он не вышел из дому, как, например, тот, на верхней строчке — лапы вылезли за линейку, а пол-уха торчит над крышей.

Сынишка пишет свою букву, я слышу, как он шмыгает носом, перо стучит о чернильницу («Осторожно с чернилами, посадишь кляксу!»), еще раз шмыгает носом и жалуется, что у него заболела шея, а жена говорит, что шея у него не заболела, а устала от напряжения — оттого что он не хочет заниматься только уроками и сосредоточиться. Самое важное — это сосредоточиться, думать только о букве, не отвлекаться. Зачем он отвлекается, зачем он вертится на стуле? Зачем он постоянно смотрит в окно?.. Да самолет летит очень низко. Третий раз уже проле-

тает и гудит над самым домом. «Покупайте в ЦУМе». Самолет для того и тянет на хвосте надпись, чтобы ее читали жители Софии.

Вот самолет пролетел, можно спокойно продолжать, сосредоточиться на тетрадке. Ну, мамино сокровище!.. Сокровище опять принимается за дрессировку буквы Д. Но, видно, нелегко дрессировать зверя, когда первый раз берешься за такое дело. Как тут ни бейся, буква то зад задерет, то вертится между линейками, то лапами водит, то ухо поднимет — никак не может найти себе место, так же как и мой сынишка не может найти себе место на стуле. Он высовывает язык, чешется (когда садишься за уроки, всюду начинает чесаться), вертит головой, потому что сзади что-то мешает, и все старается выглянуть в окно, на улицу, потому что оттуда доносится скрежет роликовых коньков.

И зачем ты поставил букву на носки, словно балерину? Зачем ты ее так вытянул? Стук, стук, стук — стукает перо о чернильницу. Ужасная буква! Один господь знает, когда мы ее выдрессируем и заставим наконец сидеть смирно на тетрадочных линейках. Такой строптивой буквы мы еще не встречали, словно кто пустил ей слепня под хвост. Всю тетрадку измазала!

Влепят тебе двойку, так и знай!

Пока мой сын дрессирует в соседней комнате прописную букву Д, я сижу у окна и пишу. Всегда, когда я пишу, я смотрю на дом напротив. Это совсем новый дом, с очень широкими окнами, с балконами, и весь он легко уходит ввысь, почти до самого неба. Иногда мне думается, что достаточно посмотреть на балконы, чтобы многое узнать о жизни и о тайнах соседнего дома. На балконах второго этажа всегда стоят корзинки, а осенью они завалены тыквами и большими глиняными кувшинами. Нетрудно догадаться, откуда эти корзины, тыквы и кувшины. На балконе четвертого этажа всегда виднеется велосипедная рама, щиток, какие-то скобяные товары или старые латунные детали — не потому, что они могут пригодиться, а просто потому, что латунь дефицитна. Иметь у себя дефицитный товар, даже если он никому не нужен, всегда приятно.

Окна шестого этажа обычно закрыты, а когда это правило нарушается, я вижу, как женская рука гонит из комнаты мух. Там не любят мух. На следующем этаже каждое воскресенье после завтрака на балкон выходит мужчина и курит. Вероятно, кто-то в этой квартире не выносит табака. Сегодня мужчина выкурил две сигареты.

На следующем этаже... Впрочем, остальные этажи я оглядываю мимоходом, чтобы задержать свой взгляд на последнем. Там я вижу красный халатик, руки, облокотившиеся на перила, красивую голову с мальчишеской прической. Может быть, это свойство молодости, но девушка как-то действует на меня, даже когда не смотрит на мое окно.

Я беру из игрушек сына трубку, сворачиваю бумажные фунтики и дую в нее, посылая фунтики вверх. Живи я высоко, все было бы очень просто, но я живу на первом этаже. Однако же, чтобы игра не была такой уж детской, я пишу на листочке: «Вы прелестны»,— сворачиваю его фунтиком и закладываю в трубку. На мою беду, листочек падает на балкон механика. Он берет его, разворачивает и удивленно пожимает плечами. Я вижу, что он смотрит на мое окно, поэтому начинаю писать. Очень серьезно, очень сосредоточенно: тук-тук-тук — никогда я так быстро не писал на машинке.

Но он, видно, не глуп: он берет резиновую грушу и начинает так сильно ее сжимать, что слышно на всех соседних дворах. Я не могу больше изображать безразличие и жестами спрашиваю, что случилось. Механик показывает мне листок. Разводя руками, я отвечаю ему, что ничего не понимаю.

В эту минуту на балконе показывается его жена, тощая и усатая, с головой в папильотках, и, под гневным взглядом механика, читает ли-

сток. Потом механик снова поворачивается к моему окну, а жена за его спиной, просияв, кланяется мне. Механик прогоняет ее в комнату и принимается сбивать ржавчину с велосипедного щитка. У меня такое ощущение, будто над головой работает жестянщик.

Наверху, на последнем балконе, красный халатик наклонился и просунул между прутьями ограды ножку. Просунул и покачивает легонько, налево и направо, налево-направо. И улыбается. Красивая ножка, и я знаю, что она заканчивается кружевами — белье, которое сохнет на верхнем балконе, всегда бывает с кружевами. Я тоже начинаю улыбаться и вижу только этот халатик, очень далеко, очень высоко, чуть ли не в самом небе, но, несмотря на расстояние, мне приятно смотреть на это красное пятно, на эти мальчишеские светлые волосы и на ножку, просунутую меж двух прутьев. Ножка искрится на солнце, как наэлектризованная.

Можно любоваться ею так, как в детстве любуешься облаками, вытянувшись посреди луга на спине.

Это бы, разумеется, прекрасно, если бы не шаги жены. Она вытирает руки о фартук и спрашивает, на что я так засмотрелся.

— Смотрю,— говорю я,— на небо соседей. Красивое, синее, глубокое. Летнее небо.

— Летом небо всегда летнее.

Она мнительна и не верит мне.

— Неприлично отцу двух детей засматриваться на небо соседей.

— Будь добра,— говорю я,— не мешай мне работать!

— Но как ты можешь работать в этом шуме! С ума можно сойти!

— Слава богу, дома всегда шумно, а я еще не сошел с ума.

— Надо сосредоточиваться на шуме в собственном доме, а не на внешних шумах.

Я не возражаю, потому что женщины в доме всегда правы. Она закрывает окно, задергивает занавески и тут же успокаивается. Она наивна не меньше, чем мнительна!

— Разрешишь мне выкурить сигарету?

Она кротко садится рядом со мной. Усталая, немножко рассеянная. Или мы уже стареем?

Я говорю ей в шутку:

— Послушай, ты задернула занавески, но я вижу небо соседей даже тогда, когда на него не смотрю.

А она говорит мне в шутку:

— Дурачок, небо повсюду одинаковое.

И пошла открывать, потому что кто-то позвонил. Это сосед Иван Врачев, студент.

— Чудо природы! — сказал Иван Врачев.— Лягушка в Перловской реке!

Он держал в руках аквариум и поставил его на ковер.

— Я никогда не видел лягушки в аквариуме,— сказал я.— Ну и украшение будет у тебя в доме!

— Выброс-ка ее подальше,— вмешалась жена.— Вся комната у тебя провоняет.

Лягушка лежала на поверхности воды, показывая нам свое белое горло, и мигала, словно прислушивалась к нашему разговору. Иван Врачев ткнул ее пальцем, она шевельнулась и поплыла на дно, с силой выбрасывая задние лапы.

— Видишь, какая она длинноногая, как спортсменка.

Лягушка посидела на дне, спрятав голову в лапках, и опять выплыла на поверхность. Не выплыла, а просто всплыла, как пробка, и снова уставилась на нас.

— Не хочет квакать.

— Заквакает,-- сказал Иван Врачев.— Когда начну делать с ней опыты. Еще Гален учился на животных.

— А лягушка разве животное?

— Лягушка помогла физиологии подняться на еще большую высоту. В борьбе против рака человечество тоже опирается на лягушек. Знаете, сколько опытов с ними проведено? Мы им многим обязаны и разными способами выражали свою благодарность...

— Что-то я не слышал, чтобы человечество благодарило лягушек.

Студент поднял аквариум с ковра.

— Во Франции, в Сорбонне,— сказал он,— там, где работал великий физиолог Клод Бернар, поставлен памятник лягушке.

-- А я читал, что в прошлом году миллионы летучих муравьев опустились на дорогу между городами Эскорт и Колензо в Южной Африке. Движение транспорта было приостановлено на долгое время на протяжении сорока километров. Моторы машин, ехавших по шоссе, были забиты муравьями и перестали работать. Тогда на шоссе напало огромное количество тропических лягушек. Муравьи для лягушек — лакомство. Представляешь себе ужас шоферов, которые стояли там с заглохшими моторами и смотрели, как лягушки скачут по их автомобилям.

— Я запишу себе этот факт,— сказал Иван Врачев.— Я не знал... А где дети?

— Дети во дворе,— сказала жена.

— Я хотел показать им лягушку,— сказал студент.— Пошлите их потом ко мне!

Он пошел к двери, но остановился:

— Завтра я снова пойду на Перловскую реку и, если поймаю еще лягушек, подарю вам одну.

— Ради бога,— сказала жена,— не дари нам лягушек.

Сосед смотрел на свою длинноногую спортсменку.

— Только лягушек нам не хватало! — сказала жена.

— С тех пор как человечество выдумало романтическую любовь, женщины не любят лягушек,— сказал я студенту.

— Лягушка есть лягушка. Как я могу ее любить?

— Ты ведь знаешь, почему они их не любят? — спросил я Ивана Врачева.

— Почему? Я думаю, что никаких особых причин нет,— настаивала жена.

— Потому что однажды один романтично настроенный человек, возвращаясь поздно вечером домой, нашел на улице лягушку. Лягушке было холодно, и она попросила человека сжалиться над ней и взять ее домой погреться. Романтично настроенный человек принес лягушку домой и посадил ее рядом с камином, но когда он лег под одеяло, она попросила его взять ее к себе, чтобы согреть. Человек взял ее под одеяло и согрел. Тогда лягушка призналась ему, что она заколдованная и что, если он ее поцелует, она тут же превратится в молодую красивую девушку. Романтично настроенный человек так и сделал, и лягушка тут же превратилась в молодую красивую девушку. Но в этот момент в комнату вошла жена романтично настроенного человека... Как мог он объяснить ей, что в постели с ним лежит простая лягушка?

— Малоубедительный довод,— сказала моя жена пренебрежительно.

Через минуту она уже была в кухне, и я слышал, как гремят сковородки на плите.

(Сущий ад — чувствовать, что тобой пренебрегают!)

■

Зинка продолжала грезить, глядя на горы. На вершине горы была снежная шапка, а над ней в синем небе плыло облачко, белое и чистое, и казалось, что это отражение снежной шапки. Потом там появилось другое, серое, оно куда-то спешило, обогнало белое облачко и продолжало свой путь по небу, постоянно меняя форму. Низкие облака всегда движутся быстрее. Они собираются группами на самой горе, сползают по ее склонам, выплескивают на город свой мокрый груз и разбегаются, чтобы на следующий день собраться снова. Но это серое облачко совсем маленькое, а других за ним не видно. Наверно, дождя не будет!

— Дождя не будет,— сказал Иван Флоров.— Эти облака не дождевые

— Откуда ты знаешь? — спросила Зинка.

— В горах вырос, знаю.

— А ты когда-нибудь был там, где образуются тучи?

— Много раз. Особенно на Стара-Планине.

— Мне тоже хочется на Стара-Планину.

— Ты еще мала,— сказал Иван Флоров и посмотрел в зеркальце автомобиля.— У тебя волосы станут дыбом от страха.

— Неужели так страшно?

— В прошлое воскресенье было страшно. Мы поехали всей бригадой, и девушки с нами были. Застала нас гроза, но в небе молний не было. Молнии шныряли по земле, как змеи в траве: ссс-ссс-ссс. Все наэлектризовалось. От электричества волосы у девушек стали дыбом. Не от страха, а от электричества. Стали дыбом и трещат... Горы требуют смелости.

— Ты шутишь,— сказала Зинка и снова засмотрелась на снежное облачко над снежной шапкой горы.

Иван Флоров снова засвистел и наклонился над мотором своей машины.

Серое облачко продолжало свой путь на юг от города и добралось до телевизионной башни. Оно спешило куда-то и, чтобы двигаться быстрей, становилось то птицей, то животным, то колобком и катилось по небу. Как легко облакам принимать разные формы и обличья! Зинка чувствовала, что в этом есть какая-то магия.

■

Девчонки, став в кружок посреди двора, подпрыгивали и пели:

Подружка моя
Гвоздей накупила.
Всех решила удивить —
суп из них сварила.

Мальчик, который сидел у окна, прочел сказку братьев Гримм и смотрел на ребят под окном. «Троянской войны» не было, и нигде вокруг не слышно было криков.

Но вот из подвала послышался собачий визг, и оттуда показалась сама «Троянская война». Она несла жестяной бачок для мусора и поставила его у мальчика под окном.

— Спутник будем запускать,— сказал один из ребят.

Он приподнял крышку бачка, и мальчик из окна увидел белую собачонку француженки из французского посольства. Эта француженка уже два года жила в нашем доме вместе с собачонкой и с мужем. Никто не знал, как ее зовут, потому что на дверях у них была не дощечка с именем, а французский флажок. «Они дипломатчики,— говорил Иван Барабанов.— Нечего нам соваться в их имена».

Французская собачонка ничего не понимала в игре, она царапала когтями стенки бачка и скулила. Мальчишки с мечами в руках были начеку, и только она пыталась выпрыгнуть из бачка, стукали ее по голове и кричали, чтобы она сидела смирно, но собачонка не понимала по-болгарски. Потом ребята закрыли крышку и стали колотить по бачку. Двор заполнился лаем и звоном жести. Иван Флоров показался перед гаражом с болтом от мотора, но, поняв, в чем дело, вернулся к машине. Дети колошматили по бачку и кричали: «Пи-пи-пи», пока во двор снова не вышел Иван Барабанов. (Мой дом не помнит такого события во дворе, в котором не участвовал бы Иван Барабанов.)

— Что здесь происходит? — спросил он.

Дети не успели ответить, потому что увидели француженку из французского посольства. Она вытащила собачонку из бачка и пошла пить валерьянку. Самые храбрые из «Троянской войны» пошли за ней. Она захлопнула дверь перед их носом, и ребята слышали с площадки, как она что-то говорит собаке, а потом в ванной зашумела вода, и собаку стали купать. Собачонка скулила и чихала, наверно, вода в нос попала. Ребята сорвали французский флажок с двери французов из посольства и вернулись с ним во двор.

Однако Иван Барабанов, увидев флажок, отругал их.

— Отнесите туда, откуда взяли!

— Не понесем,— сказали ребята.— Зачем она взяла у нас собаку?

— Отнесите,— сказал Иван Барабанов.— Это неприкосновенная территория! Они дипломатчики!

— Ну и что ж, что дипломаты? — вмешался Иван Флоров.

— Они могут послать ноту,— сказал Иван Барабанов.— Ты что, думаешь, Франция выпускает только французские машины?

— «Рено»,— сказал Иван Флоров.

— Французские машины «рено»,— уточнил Иван Барабанов.— Франция выпускает и ноты... Отнесите флажок!

Ребята немного струсили и, шушукаясь, понесли флажок обратно. Вода в ванной еще шумела, и они надеялись, что в квартире не услышат, как они прицепляют флажок обратно к двери. По лестнице они спускались на цыпочках и старались потише дышать. В это время петух забил крыльями и закукарекал. Голос его доносился откуда-то снизу и, поверьте мне, звенел в ушах, как рев Баскервильской собаки.

Натерпелись ребята страху, пока спускались по лестнице, но до ноты дело не дошло.

— Дядя Иван! — позвал мальчик, который всегда сидел у окна.— Правда, вы вчера проиграли?

— Ну и что? — сказал Иван Барабанов.— Мы всегда побеждали и снова будем побеждать, а что вчера проиграли, это ерунда. Просто не повезло вчера, вот и все.

— «Левскому» всегда не везет,— подал от гаража голос Иван Флоров.— У этой команды нет нападения.

— А у твоей есть? Ваши только толкутся у ворот.

— «Славия» — это команда.

— А ты что, считаться вздумал? — пожал плечами Иван Барабанов.— Каждый честный болельщик знает, что может просто не повезти. Ты почему столько машин приводишь в чувство, а свою никак не заведешь? Не везет.

— Дело не в везенье,— сказал Иван Флоров.— Зажигание барахлит.

Сверху во двор выплеснули воду.

— Кто льет? — резко повернулся Иван Барабанов.

— Наверно, «Три мушкетера»,— сказали ребята.

— Как же это можно — воду во двор выливать? Кто ж это позво-

лит — воду лить? Не-ет, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы воду выливали во двор!

— Хорошо еще, что тебя не облили,— сказал Иван Флоров.— Повезло.

— А-а, видишь? — засмеялся вдруг Иван Барабанов.— Признал, что бывает везенье!

Смеясь и грозя соседу пальцем, он пошел обратно в дом.

— Ты видел Ицо Длинные Уши? — спросили ребята мальчика, сидевшего у окна.

— Сегодня не видел,— сказал мальчик.

— Что ж он не выходит?

И они стали кричать: «Ицо-о-о! Ицо-о-о!»

Они смотрели наверх, но окна Ицо были закрыты. Они покричали еще немножко и примирились с тем, что сегодня не придется кататься на Ицовом велосипеде.

— Я вам дам мои ролики,— сказал мальчик в окне.

И он спустил их сверху.

— А мы дадим тебе оружие,— сказали ребята.— Все, если хочешь.

«Троянская война» оставила под окном кучу оружия и побежала с роликами на улицу. Девчонки снова стали в кружок, запели свою песню и запрыгали. Мальчик в окне мысленно выбрал себе самый лучший щит, самый лучший меч и, вооружившись до зубов, посмотрел на свое отражение в оконном стекле. Он увидел маленького мальчика в рубашке с короткими рукавами, с черными, как маслины, глазами и ушами торчком. Он улыбнулся ему, и мальчик с глазами-маслинками тоже ему улыбнулся. У мальчика с маслинками впереди не хватало зубика. «Все будут кататься на моих роликах,— подумал мальчик,— потому что Ицо с велосипедом не вышел».

■

Ицо сидел дома. Он давно спустился бы с велосипедом во двор, если бы не этот глупый котенок. Он не мог съесть весь свой завтрак и хотел, чтобы котенок ему помог. Он гладил его по спинке, чувствовал под пальцами его мягкую шубку, тонкие прогибающиеся ребрышки и, наконец, биение сердца, легкое и равномерное. Так же стучал и будильник, пока Ицо его не сломал и не убедился, что внутри у него одни колесики.

Но сколько Ицо его ни гладил, котенок не желал есть хлеб с маслом. Ицо тыкал его мордочкой в хлеб, но котенок упирался, царапался, и мальчик рассердился «Вот отрежу тебе хвост, будешь знать». Он взял ножницы и схватил котенка за хвост; испуганный котенок, вцепившись когтями в ковер, рванулся вперед. Он дергался, хвост натягивался, и это облегчало Ицо задачу.

Но серый кошачий хвост оказался очень крепким. Ицо изо всех сил сжимал ножницы, у него даже пальцы заболели, а всего-то он и сумел, что ободрать хвост в двух-трех местах. Обезумевшее от ужаса животное дико взвыло, вырвалось, прыгнуло на стол и опрокинуло себе на спину вазу с цветами. Со стола во все стороны полилась вода, но Ицо ничего не мог поделать.

Котенок шмякнулся о ковер и, растопырив лапы, стал отряхиваться. Ицо попытался собрать воду со стола рукой, но разве воду руками соберешь? Все стекло на ковер. А котенок стоял у его ног и отряхивался. Ицо разозлился и пнул его ногой. Пушистый комок замяукал и, пролетев по комнате, упал на кровать, свернулся там и больше уже не смел шевельнуться, только поглядывал на свой мокрый хвост.

В комнату вбежала мать.

Боже! — воскликнула она, прижимая руки к груди и не выпус-

кая терки, которой орудовала перед этим в кухне.— Боже, фанера отойдет!

Стол был новый, в баварском стиле, и когда его покупали, продавец в магазине сказал, чтобы не проливали на него воду и не ставили горячее, потому что тогда отклеится фанера. А если надо ставить что-нибудь горячее, то лучше ставить на решетку; такие решетки продаются сейчас во всех магазинах. «Знаю, знаю,— сказала тогда мать,— складные».

Она бросилась вытирать стол фартуком, а Ицо пробрался к кровати и скорей лег, лицом в подушку. Он по опыту знал, что когда он лежит, его не бьют. А когда он стоит, щеки никуда не спрячешь, и мама и папа с удовольствием его шлепают. Они так и говорили: «Сейчас мы тебя отшлепаем»,— и шлепали его, а он поднимал руки, чтобы защититься, но папа отводил их вниз; в таких случаях он плакал, ему было обидно, что у него такие слабые руки и он не может обороняться. Поэтому сейчас он поспешил спрятать щеки в подушку и приготовился зареветь во все горло, если его попытаются поднять. Ни за что на свете он не расстался бы сейчас с подушкой; это была его крепость, маленькая пуховая крепость, которая пахла, как волосы мамы. Когда отец уезжал в командировку и мама брала Ицо к себе в постель, он не мог отличить запах маминых волос от запаха подушки.

— А котенок! — воскликнула мама.— Что ты сделал с котенком! Подожди, сейчас отец придет. Пусть он с тобой воюет.

Ицо сунул руки под подушку и сжимал ее изо всех сил. Он решил ни за что на свете не показывать щек, а по голове его бить не посмеют. Это он тоже знал по опыту. Отец как-то дал ему подзатыльник, но мама раскричалась: «Ах, что ты делаешь! Не бей по голове! Еще станет идиотом, и я всю жизнь буду рвать на себе волосы!» Мальчик тогда подумал, что это очень неприятно — всю жизнь рвать на себе волосы. Один раз во дворе они с ребятами таскали друг друга за волосы, и у него от боли даже слезы потекли. Это было здорово неприятно, и мама была права, когда говорила, что не хочет всю жизнь рвать на себе волосы.

От подушки ему стало жарко, и он чуть повернул голову, чтобы можно было дышать носом. Краешком глаза он увидел, как мать, сидя на корточках, подбирает цветы. Она поставила их обратно в вазу, а потом стала ощупывать фанеру на столе и приглаживать ее фартуком. Снаружи хлопнула дверь, в передней звякнуло ведро и кто-то прокашлялся. Это был отец Ицо — Иван Николчов.

Иван Николчов принес из подвала уголь, снял ботинки, отнес ведро в кухню и зашаркал в домашних туфлях по квартире. Войдя в комнату, он спросил у жены, что она здесь делает с этой теркой, а она ему сказала, что Ицо искромсал котенку хвост, что он пролил на стол воду, что она всю неделю воюет с ним, а теперь пусть он повоюет, сегодня воскресенье, он целый день дома, пусть попробует с ним повоевать.

Иван Николчов посмотрел на Ицо, потом на котенка; тот лежал в ногах у мальчика и зализывал свои раны. Мокрый хвост, ободранный ножницами, выглядел совсем тонким и жалким. Котенок посматривал на хозяина и безразлично моргал.

— Спит? — спросил Иван Николчов.

— Ну да, спит! — сердито сказала мать.— Притворяется!

— Я с ним воевать не собираюсь,— сказал Иван Николчов.— Я просто выгоню его на улицу. Искромсаю ему уши ножницами и выгоню его.

— Правильно! — поддержала его мать.

— Искромсаю как следует и пущу в назидание на улицу! Пусть идет куда хочет, пусть спит с крысами в подвале, мне совершенно все равно! Пусть узнает, что такое жестокость!

Ицо сжимал подушку и думал о дворе.

— Ох! — воскликнула мать.— Я забыла пирог в духовке.

Ицо слышал, как она побежала в кухню, потом крикнула что-то, потом чем-то загремела и снова вернулась в комнату, вздыхая:

— Сгорел! Обуглился весь!

— И пирог из-за него сгорел,—сказал Иван Николчов.— Прекрасно! Если я сегодня увижу, что ты даешь ему есть, я тебе руки переломаю. Так и знай!

— Не буду давать, не буду! — сказала мама.

— И завтра не давай ему есть. Руки тебе переломаю, слышишь?

— Слышу,— сказала мама.

Они пошли в кухню, а Ицо сжимал пуховую подушку и думал про себя, что один день он вполне проживет без еды. Когда он болел гриппом, он два дня не ел, есть совсем и не хотелось, и все равно он не умер. Он услышал, как его зовут со двора: «Ицо-о-о! Ицо-о-о!» — но не посмел встать и подойти к окну. И Ивана Флорова он слышал, и Ивана Барабанова и представлял себе все, что происходит во дворе, потому что он околачивался там целыми днями, но встать и выглянуть в окно не посмел.

Потом он вспомнил, что у него в коробочке из-под ленты для пишущей машинки лежит монета в один лев. Коробочку ему дал отец в Народном банке. Другие ребята заходят с мамами в учреждения, где работают их отцы, чтобы вместе идти домой, но Ицо ходил к отцу на работу только один раз — ведь Иван Николчов работает в Болгарском народном банке. Все деньги Болгарии хранятся в этом банке, и туда нельзя ходить просто так.

В коробке лежала не только монета. Ицо держал там и треугольную марку Сан-Марино. За эту марку любой мальчишка со двора уступит ему свой хлеб с маслом. Ведь половине ребят обычно не хочется есть, и матери гоняются за ними и пичкают их. А на один лев можно купить множество разных вещей!

Ицо все лежал, хотя уже вспотел от пуха, и тут почувствовал, что кто-то трогает его за ногу. Он поднял голову и увидел котенка; тот сидел у него в ногах и трогал его лапой. Ицо пошевелил пальцами, котенок поднял лапку и ударил его по ступне. Потом облизал лапку, старательно умылся и снова сел спокойно.

Ицо перевернулся на спину и позвал его. Котенок подошел, подняв мокрый хвост трубой, и потерся о щеку мальчика. У Ицо защекотало в носу, но он не шелохнулся. Котенок сел рядом с ним на подушку и начал помаргивать и мурлыкать, вращая невидимое веретено и прядя невидимую нить своей пряжи. Ицо погладил его мордочку, спину, хвост. Шубка у котенка была мягкая-мягкая, мягче, чем подушка, сердчишко его все так же равномерно стучало под тонкими ребрышками, и усы торчали так же, как раньше.

Котенок нагнулся и лизнул Ицо в нос. Язык у него был шершавый. Ицо хотел было ответить ему тем же, но раздумал и только подергал его за усы, да так осторожно, так легко, что котенок не ощутил ни малейшей боли.

■

В это время Иван Николчов, служащий Болгарского народного банка, убеждал в кухне жену, что люди в нашем доме — все равно как монеты в банке: цена у каждого своя, но все чего-нибудь да стоят. И не только в этом доме — и в других домах, и во всем городе.

Я не знаю, каковы именно богатства моего дома, но совершенно уверен, что он хранит в себе много сокровищ, так много, что перед ним побледнели бы сказки «Тысячи и одной ночи». Мне жаль только, что я не могу воскликнуть: «Сезам, откройся!» — и показать вам все богатства разом, как это делал Али-Баба.

■

Вернув французский флажок французам из французского посольства, Иван Барабанов пошел домой — он снимал комнату на пятом этаже — и еще на лестнице усомнился в том, что все дело в везенье: ведь если бы «Левский» лучше играл на флангах и чаще прорывался к воротам, то, вероятно, команде больше бы и везло; но крайние нападающие были слабые, на ворота выходили редко, потому им и не везло, и команда проиграла, как это, впрочем, случалось с ней довольно часто (пусть это, конечно, останется между нами), и на стадионе никто не сжег свой зонтик, потому что при проигрыше публика скисает; впрочем, мы много раз обращали свои зонты в огонь и дым и снова будем делать из них факелы — Иван Барабанов совершенно был в этом уверен. Что касается «Славии» — это посредственная команда, она всегда застревает в середине таблицы и никогда не выходит вперед. И болельщиков у этой команды нет, всего каких-нибудь двести человек. У армейцев болельщиков человек триста, железнодорожники приводят на стадион самое большее сотню своих ребят, а за «Левским» стоят восемь миллионов левскарей. Говорят, что и за границей у нас есть почитатели и что в Мадриде есть даже кафе «Левский». «Хорошая команда все равно что хороший табак,— подумал Иван Барабанов (он был завзятый курильщик),— хотя вчера нам и дали прикурить. Но пусть армейцы не радуются раньше времени, вот начнется осенний сезон, и мы разделаем их под орех».

Размышляя об этом, он вошел в свою комнату и первым делом взглянул на телефон. Черный аппарат молчал, притаившись в углу комнаты. Телефон ему поставили накануне, и он сказал мне, что ему пришлось вести пуническую войну, пока он его добился. Сегодня он отказался от прогулки в горы из-за того, что кто-нибудь мог ему позвонить. Он не знал, кто именно мог ему позвонить, но когда у тебя в комнате стоит такое достижение техники, кто-то же должен тебе звонить. На то ведь и существуют телефоны!

Он прилег на диван с толстовской сказкой об Иване-дураке. Иван-дурак два раза победил чертенка и стал царем. Иван Барабанов читал и улыбался, представляя себе, как осенью они разделают на стадионе армейцев. А читал он вот что:

«Привез отца с матерью и девку немую и стал опять работать.

Ему и говорят:

— Да ведь ты царь!

— Ну что ж,— говорит,— и царю жрать надо.

Пришел к нему министр, говорит:

— У нас,— говорит,— денег нет жалованье платить.

— Ну что ж,— говорит,—нет, так и не плати.

— Да они,— говорит,— служить не станут.

— Ну что ж,— говорит,— пускай,— говорит,— не служат, им свободнее работать будет; пускай навоз вывозят, они много его нанавозили.

Пришли к Ивану судиться. Один говорит:

— Он у меня деньги украл.

А Иван говорит:

— Ну что ж! Значит, ему нужно.

Узнали все, что Иван — дурак».

Иван Барабанов почувствовал досаду. Он любил читать сказки, но эта показалась ему неинтересной, может быть, потому, что он был рассеян и больше думал о телефоне. Он положил книгу на грудь и попытался отвлечься, вспоминая прогулки в горы. Но вспомнить было нечего — на этих прогулках он обычно скучал. Он ходил в горы с Иваном Флоровым, механиком с авторемонтного завода на станции Искыр, а Иван Флоров нигде не останавливался, знай бродил целый день по го-

рам, да еще приговаривал, что это не горы, а так — холмики. В позапрошлое воскресенье Иван Барабанов видел зайца — тот бежал по поляне, прижав к спине длинные коричневые уши; да, именно такие были у него уши — длинные и коричневые. Разумеется, зайца можно увидеть и в зоопарке или на большом рынке за Львиным мостом, так что едва ли имеет смысл тащиться в горы, чтобы в глазах у тебя мелькнула пара длинных ушей. К тому же и птиц там не было — птицы не любят сосновых лесов. «Вот выберись-ка в Стара-Планину,—говорил ему Иван Флоров,— до Петрохана я тебя на машине довезу, а дальше пойдем пешком. Такие виды — голова закружится». Иван Флоров — турист, у него даже на «москвиче» прицеплен эдельвейс. А Ивану Барабанову это все ни к чему.

Он снова принялся за «Ивана-дурака». Тот в третий раз победил чертенка и послал министров работать. Тут он почувствовал, что одна пружина в диване вылезла и впивается ему в спину. Она торчала под самой поясницей и вгрызалась в него, хотя вылезла она уже давно, и он не раз с тех пор лежал на диване.

Телефон все еще молчал. Но если ему никто сейчас не звонил, он сам может позвонить. Иначе зачем стоит здесь это достижение техники.

Диск работал безупречно, пружины у него были новые. Вжик, вжик, вжик... Можно проверить часы по «точному времени» из Астрономической обсерватории; можно узнать в любом кино, есть ли билеты; вжик, вжик, вжик... Можно спросить, как закончился вчерашний матч, неважно, что он сам на нем был. Вжик, вжик, вжик... Разумеется, это достижение надо использовать, а то какой смысл было вести из-за телефона пуническую войну.

Он снова сел на диван, остерегаясь торчащей пружины. Хотел было закурить, но не успел чиркнуть спичкой, как услышал из-за стены стоны своей хозяйки. Вот уже две недели она каждый день в это время принималась стонать и доводила его до бешенства. Он ненавидел эту толстуху с косматой бородавкой на щеке, жирную и глупую, как утка. И хотя он ее ненавидел и называл про себя чудовищем, ему вдруг пришло в голову, что ей, может быть, нужно помочь. Если ей нужна помощь, Иван Барабанов тут же вызовет кого надо по телефону.

Он вскочил и решительно постучал в дверь.

— Войдите! — послышалось между двух стонов.

Чудовище прикладывало к своим распухшим ревматическим коленям распаренное горчичное семя. От компресса поднимался пар, но женщина стоически терпела, хотя кривилась и охала.

— Очень больно? — спросил Иван Барабанов.

— Очень! — сказала женщина и показала на свои жирные колени, которые от горчицы покраснели и пошли пузырями.— Больно, но надо терпеть, потому что ревматизм доконает мое сердце.

— Может быть, вам нужен врач. Если пузыри лопнут, как бы не получилось заражения.

— Что вы! — покачала головой хозяйка, и Иван Барабанов, решивший быть объективным и снисходительным, увидел, что это просто добродушная старая женщина, которая пускает в ход все средства, присоветованные другими добродушными старухами со двора.— Вы уж извините, наверно, я вам мешаю своим оханьем, когда меняю припарки.

— Ничуть! — сказал Иван Барабанов.— Если нужен врач, я могу позвонить.

Старуха растроганно смотрела на него, положив руки на колени, а Иван Барабанов думал, что это правда приятно — вертеть диск телефона, потому что пружины у него совсем новые и работают мягко и безупречно.

Но старуха оказалась упрямой и не захотела звать врача. Иван Барабанов вышел из ее комнаты, и, пока он шел по передней, неприязненное чувство к этой старой толстухе снова им овладело. Теперь он ненавидел ее даже больше, и не только потому, что увидел ее безобразные колени, способные сделать женоненавистником даже жителя пустыни.

Телефон, это достижение техники, все так же спал в углу. Почему никто из сослуживцев ему не звонит, ведь вчера они записали его номер! Он вспомнил, что и у него записаны телефоны сослуживцев, но он никогда до сих пор им не звонил и упрекнул себя. Дружба требует взаимности. И не только дружба, с футболом тоже так. Если бы «Левский» больше ценил свою публику, больше уважал ее, он бы так часто не проигрывал.

Он вздохнул и снова лег на диван, на этот раз подперев голову рукой. Неохотно раскрыл книгу и по рассеянности еще раз прочел страницу, на которой Иван-дурак посылает министров работать; рассердился на себя, повернулся на спину и, решив заснуть, закрыл глаза. Что-то затопало на лестнице, кто-то кричал: «Осторожней! Осторожней!» Иван Барабанов подумал, что это «Три мушкетера» спускают коляску с младенцем во двор.

За стенкой хозяйка охала, но совсем тихо, наверно, припарки остывали.

■

«Три мушкетера» были три бабки с шестого этажа моего дома. По воскресеньям они присматривали за малышом своей племянницы, и счастью их не было границ. Прозвище им придумали ребята со двора и хранили его в тайне, так же как они хранили тайну «Баскервильской собаки».

Посоветовавшись между собой, «Три мушкетера» решили раскрыть младенцу ножки, чтобы он позагорал на солнце, а головку держали в тени. Как только солнце пригрело ножки, младенец намочил штанишки, и «Три мушкетера», стоявшие вокруг коляски, пришли в восторг. Одна бабка держала мокрые штанишки, другая держала сухие штанишки, а третья подтирала младенца, и все три были счастливы, как матросы Колумба, увидевшие на горизонте землю.

Самолет за это время наполнил свои баки бензином, взял на борт оператора кинохроники и снова полетел над городом, и за хвостом у него заполоскался призыв «Покупайте в ЦУМе».

■

К этому времени я кончил писать рассказ, жена принесла мне кофе, и я стал читать рассказ вслух — привычка, оставшаяся у меня с первого класса. Рассказ был такой:

«ВЕСНА ИДЕТ!
Рассказ Глигора Глигорова

Председатель сельсовета в селе Черказки, человек молодой и энергичный, распираемый инициативой, сидел в совете и время от времени обращался к рассыльному:

— Гоца!

— Сейчас, товарищ председатель!

Гоца Герасков, рассыльный сельсовета, коренной черказец, выходил, тотчас возвращался и докладывал:

— Шестнадцать, товарищ председатель!

Они садились, выкуривали по сигарете, и председатель начинал ерзать на стуле.

— Не похоже, чтоб было шестнадцать,— говорил он.— Смотри, солнце-то уж где!

— Как скажете, товарищ председатель! — говорил Гоца Герасков и снова выходил на улицу, чтобы проверить. Вскоре он возвращался обратно и докладывал:

— Семнадцать, товарищ председатель!

— То-то же! — говорил председатель и начинал ходить по комнате.— Не может он оставаться на шестнадцати, когда солнце вон уже как печет. И чтоб на семнадцати застрял, тоже сомнительно.

— Сомнительно, товарищ председатель,— говорил Гоца Герасков.

К чести и славе села Черказки, сельсовет незадолго до того купил градусник. Его повесили на фасад сельсовета, под громкоговорителем. Спирт, конечно, был подкрашен, чтоб издали было видно. Именно об этом градуснике и разговаривали сейчас председатель с Гоцой Герасковым.

Потом они снова садились, выкуривали по сигарете. И Гоца Герасков вслух вспоминал, что когда он был в армии, он тоже мерил себе температуру градусником, но тот градусник был совсем маленький, и пяди не будет, а ртуть и вовсе не разглядишь. К самому свету надо было подходить, к окну, да и то еле различишь, поблескивает там чего в трубочке или нет. Не то что этот, сельсоветовский, метровой высоты и цветной, так даже старики-пенсионеры, приходя за пенсией, спокойно смотрят на него без очков. Газету читают в очках, а на градусник смотрят запросто, пока Гоца Герасков объясняет им, что такое «Цельсий».

— Градусник — не газета,— сказал председатель.

— Не газета, товарищ председатель,— согласился рассыльный.

Он не просто соглашался, он говорил убежденно.

— Хотя и у газеты есть свои градусы,— сказал председатель.

— Есть, товарищ председатель.

— Газета должна поддерживать определенную температуру.

— Должна, товарищ председатель. Если у кого грамоты хватает.

Гоца Герасков думал о той колонке, в которой Астрономическая обсерватория дает сводку погоды по стране. Для всего, разумеется, нужно соображение, грамотность, главное же — чтобы все было ясно и наглядно. Теперь, к примеру, каждый будет знать, что значат семнадцать градусов для села Черказки.

Председатель же думал не об этой колонке, а о других вещах — ведь председатель никогда не думает так же, как рассыльный.

Вот так, за разговором, они вдруг услышали на улице шум.

— Что там такое? — спросил председатель.

Гоца Герасков уже выглядывал в окно.

— Козы, товарищ председатель! Возвращаются с пастбища.

Они вышли на улицу и увидели черказских коз. С полным выменем, они, толкаясь, брели по улице. За ними шел пастух в ноговицах из козлиной шкуры.

— Как козы? — спросил председатель.

— Отлично, товарищ председатель,— сказал пастух.— Сейчас запущу их в загон, пусть переваривают.

Председатель посмотрел на градусник — цветной столбик поднялся до двадцати градусов.

— Смотри, в тень веди! — сказал он пастуху.— Пусть в тени стоят, а то двадцать градусов уже, солнечный удар их хватит, если на солнце оставишь.

— В тень, в тень! — сказал пастух.

— Всем разъяснять приходится,— обернулся председатель к Гоце Гераскову.— А то оставит на солнце, и их всех солнечный удар хватит. Шутка ли — двадцать градусов!

— Непременно хватит, товарищ председатель,— сказал Гоца Герасков.— Вол — тот бы выдержал, у него голова здоровая, крепкая, его солнце так легко не проймет. А у козы что за голова — с мой кулак. Оглянуться не успеешь, как ее удар хватит.

— А чего это в корчме окна позакрывали? — спросил председатель.— Разве можно при двадцати градусах окна закрытыми держать?

И он энергично зашагал к корчме, сопровождаемый рассыльным.

— Что вы окна не откроете? — спросил он корчмаря.— Двадцать градусов.

— Когда же это двадцать стало? — удивился корчмарь и стал суетливо открывать окна.

— Так вот и стало,— сказал председатель.— Градусник не суетится, как мы. Он свое дело знает.

Гоца Герасков сказал, что когда он был в армии, то как только в казарме становилось восемнадцать градусов, так сразу переставали топить печку.

— Восемнадцать градусов — это солдатская температура,— сказал председатель.— А у нас уже двадцать.

Гоца Герасков продолжал вспоминать, что когда градусник показывал восемнадцать, они выносили его на улицу, зарывали в снег, и он опускался до нуля. Тогда его вносили обратно в помещение и набивали печь дровами, потому что все любили тепло. Но не успевал огонь в печке разгореться, как градусник («пройдоха этакий») снова показывал восемнадцать, они снова зарывали его в снег, снова вносили в казарму, и столбик снова лез вверх.

— Никак то есть невозможно было его обмануть,— заключил рассыльный.

— Да, тут уж без обману,— сказал председатель.

— Никакого обману, товарищ председатель. Человек, глядишь, иной раз тебя и обманет, а градусник — ни в жисть. Меряет он, значит, как ему положено, и хоть ты тут человек, хоть ты тут коза, он знай свое меряет. Вот оно дело-то какое!

Но председатель уже не слушал его, а, повернувшись, энергично зашагал в сторону школы, не спуская глаз с ее закрытых окон.

— Отчего вы не откроете окна? — спросил председатель одного из учителей.— Двадцать градусов.

Учитель как раз рассказывал детям об агрегатных состояниях и о том, что под воздействием тепла все твердые тела расширяются. Для доказательства он нагревал кольцо, и надо было проверить, пройдет ли в него после этого шарик.

Шарик не прошел.

Учитель открыл окна.

— Вот и весна пришла,— сказал он детям.

— Пришла, пришла,— сказал председатель.— Градусник это дело давно уже отметил — еще когда козы с пастбища возвращались.

На всякий случай он подошел к загонам. Козы лежали в тени и спокойно жевали жвачку. Пастух снял свои ноговицы и сушил их на солнце.

Председатель и рассыльный пошли дальше по селу и остановились у реки. Хорошо было бы перейти и на другой берег, но не было моста. Мост унесло, когда в верховьях таял снег. Река билась о берега, вода уносила стога сена и крушила все на своем пути.

— Надо спрямить реку,— сказал председатель.— И берега спрямить, и дно выровнять. Гляди, как крутит, двадцать метров — и поворот. Зачем реке столько поворотов?

— Да это старая река, товарищ председатель,— сказал Гоца Герасков.

— Знаю, что старая!

— С турецких времен осталась, товарищ председатель!

Потом они прошли мимо церкви и увидели, что окна там закрыты ставнями. Служка убирал граблями двор, и председатель подумал было, не сказать ли и ему, чтоб он открыл окна. Двадцать градусов, как же можно держать окна закрытыми!

— Святые, верно, взопрели в церкви,— сказал Гоца Герасков.

Председатель, поколебавшись, пошел дальше.

Не дело атеиста — проветривать церкви.

Обойдя село, председатель и Гоца Герасков пошли обратно в совет. И еще издали, сквозь дрожащее марево, увидели, что градусник спокойно висит себе под громкоговорителем. Гремела маршевая музыка, началась дневная передача. Председатель, улыбаясь, смотрел на цветной столбик.

К большому удивлению председателя и всего села Черказки, градусник показывал двадцать два градуса! Он обманул их, мошенник!»

(Вот какой рассказ я написал в промежутках между дрессировкой прописного Д, созерцанием соседского неба и разговорами о лягушке из Перловской реки — студент Иван Врачев, вероятно, уже начал делать с ней опыты. «Раньше ты писал романтичнее»,— сказала жена. «Боюсь,— сказал я ей,— что сочинение рассказов превратит меня в романтично настроенного человека. А романтично настроенный человек может встретить на своем пути заколдованную лягушку». «Я бы не хотела, чтобы ты настраивался романтично»,— сказала жена.)

■

Мальчик полюбовался своим отражением в оконном стекле и стал пускать мыльные пузыри. Пену взбивал его отец, Иван Алеков, наборщик Государственного полиграфического комбината. Он взял мыло для бритья, оно дает хорошую легкую пену, и пузыри из нее получаются величиной с футбольный мяч.

— А этот вышел розовый,— сказал мальчик.

— Его солнце осветило,— сказал Иван Алеков.— Сам розовый, а по краям фиолетовый. Смотри — лопнул.

— Я другой сделаю,— сказал мальчик.

Он опустил трубочку в миску и стал дуть, а Иван Алеков продолжал работать кисточкой и сбрасывать с нее пену. Миска наполнилась доверху.

— Смотри, куда поднялся! — крикнул мальчик.

Мыльный пузырь покачивался в воздухе и, подхваченный ветром, подымался все выше. Он пролетел над гаражом и лопнул.

— Бум! — воскликнул мальчик.

Из окна вылетел следующий пузырь. Ветер унес его к соседям — к тому самому механику, который сбивал ржавчину с велосипедного щитка.

— Бум! — воскликнул мальчик.

Пузырь ткнулся в балкон и лопнул.

Два следующих слиплись, образовав цифру 8, и заколыхались над двором. Они были слишком тяжелые, и ветер не мог поднять их вверх. Они покачались, покачались и, подумав, упали на коляску с младенцем. Младенец замахал ручками и очень удивился, когда пузыри исчезли. Мальчик в окне пришел в восторг и захлопал в ладоши.

Следующий пузырь неподвижно повис в воздухе.

— Когда я выздоровлю, я выйду во двор,— сказал мальчик.

— Конечно,— улыбнулся Иван Алеков.

— Ты будешь пускать пузыри, а я буду стоять внизу и дуть на них, чтобы они не падали на землю.

Бум!

Но трубочка — вот она, пена — на подоконнике, сейчас мы сделаем следующий. Пузырь оторвался и легко поплыл над двором.

— Конечно,— сказал Иван Алеков.

— И пойдем в зоопарк,— сказал мальчик.

Бум!

— Как в прошлом году.

— И ты меня посадишь в тележку, и я покатаюсь. В разноцветную такую тележку, с пони.

Следующий пузырь упал отвесно вниз, ему помешал взлететь хвост из пены.

— Как в прошлом году,-- сказал Иван Алеков.

— Только я теперь два раза прокачусь!

Пузырь упал на землю.

Миска у нас полна пены. Вот сейчас два пузыря сразу оторвались от трубочки и полетели наперегонки над нашим двором... Но почему, стоит нам что-нибудь задумать, и пузыри тотчас лопаются! Может быть, потому, что они мыльные пузыри?

— А вот я ему наподдам! — крикнул мужчина со двора.

Мальчик выглянул и увидел под окном пятерых мужчин.

— Дядя! Дядя! — закричал он обрадованно.

Мужчина побежал и пнул мыльный пузырь.

— Го-ол! -- крикнул он.

— Заходите! — позвал их из окна Иван Алеков.

Это были наборщики из полиграфического комбината. Каждое воскресенье они заходили перед обедом за Иваном Алековым, чтобы вместе посидеть в ресторане «Дикие петухи». Когда они вошли к мальчику, тот, что играл мыльным пузырем в футбол, спросил его, знает ли он, как делать зайчонка. Мальчик не знал, тогда наборщик сложил ладони, и на стене появился зайчонок. Тень пошевелила ушами, умыла мордочку, прислушалась, хвостик у зайца задрожал, и он пустился бежать по стене.

— Гав! Гав! — крикнул наборщик.

— Почему он бежит? — спросил мальчик.

— Собаки испугался.

— А где он спрячется?

— Под столом.

Тень зайчонка пробежала по стене и спряталась под столом.

— Папа,— сказал мальчик.— Я хочу зайчика!

— Хорошо, сынок,— сказал Иван Алеков.

— На рынке есть кролики,— сказал один из наборщиков.— Если сейчас пойти, можно сразу купить.

— Отчего же не пойти!

— Пойдем, рынок-то в двух шагах. Принесем кролика, а потом уж — в «Дикие петухи». А ящичек у тебя найдется?

— Ящики есть,— сказал Иван Алеков.— В подвале полно ящиков, еще с прошлого года.

— Посадим кролика в ящик, и будешь его кормить морковкой. И капусту он ест.

— Капусту мы купим на рынке.

— Зачем ее покупать? Подойдем туда, где ее разгружают, там капустных листьев знаешь сколько валяется. Дайте мне только сумку побольше, я ее доверху листьями набью.

— Я буду его дрессировать,— сказал мальчик.

— Кролик — очень хорошее животное,— сказал наборщик, который пнул мыльный пузырь.— Бывают кролики по пять килограммов.

— Это великаны.

— Я хочу маленького крольчонка,— сказал мальчик.— Чтоб у него от страха шерстка вставала дыбом.

Наборщики обещали купить маленького крольчонка, чтоб у него от страха шерстка вставала дыбом, и вышли. Мальчик улыбнулся им вслед и заглянул под стол. Зайчика, которого сделал наборщик, там не было. Вместо него сидела старая кошка и умывала лапой морду. Потом кошка потянулась и, облизнувшись, замурлыкала. Мальчик догадался, что ей хочется спать. Кошки всегда сами на себя нагоняют сон, рассказывают себе что-нибудь и под свой рассказ засыпают.

— Это ты съела зайчонка! — погрозил ей мальчик пальцем и стал снова пускать мыльные пузыри.

Он пустил только два, один за другим, и отложил трубочку. «Троянская война» вернулась во двор и, сбившись в кучку, стояла у гаража. Иван Флоров, механик авторемонтного завода на станции Искыр, сел в «москвича», и ребята стали его толкать. Машина лениво качнулась, выползла из гаража и покатилась по двору, выбрасывая тучи дыма. «Три мушкетера» испугались, как бы их не задавили, и, подхватив младенца и коляску, исчезли со двора.

«Троянский конь» двигался медленно, с грозным урчанием, то застревал на месте, то вдруг, окутавшись дымом, делал рывок вперед и время от времени сигналил клаксоном. Но как ни старалась вся «Троянская война», мотор так и не завелся, машина еще раз споткнулась и стала, словно кто-то намазал шины клеем.

Иван Флоров вылез из машины, подумал, подумал и сказал:

— Верно, зажигание барахлит.

— А ты бы позвал дядю Ивана Шулева,— сказал мальчик из окна.

— Я ему звонил,— сказал Иван Флоров.— Или его дома нет, или спит.

Иван Шулев был лучший в доме техник, и о нем говорили, что, родись он раньше, он бы изобрел автомобиль. Но мы знаем, что никто не рождается по собственному желанию и что, если изобретать уже нечего, можно хорошо изучить то, что изобрели до нас. И сам Иван Шулев много чего изучил, видел египетскую пирамиду (между прочим, он единственный в нашем доме видел египетскую пирамиду) и как-то рассказал мальчику из окна, что он видел багдадского халифа Гарун-аль-Рашида и двух фараонов.

«Троянская война» побежала к двери Ивана Шулева и так долго звонила, что разбудила его, объяснила, в чем дело, и он спустился во двор, чтобы помочь Ивану Флорову оживить «москвича».

— Зажигание, видно,— сказал Иван Флоров.

— Посмотрим,— сказал Иван Шулев.

— Я звонил,— сказал Иван Флоров.— Подумал, что тебя дома нет или ты спишь.

— Я спал,— сказал Иван Шулев.— Вчера я допоздна читал книгу о болгарской национальной кухне. Великая вещь — наша национальная кухня. А у тебя нигде не закоротило? Но женщины ничего не понимают в этом деле, в кулинарном, только зря продукты переводят. Знаешь, например, как готовить молодого барашка с овощами и грибами? Великая вещь, говорю тебе, только надо непременно в глиняном горшке, от него аромат особый... у тебя мотор захлебнулся, бензина много налил... и так с незапамятных времен готовили. А прерыватель у тебя как?

— Прерыватель в порядке, я смотрел,— сказал Иван Флоров.

— За этими машинами глаз да глаз нужен,— сказал Иван Шулев.— Одно дело «роллс-ройс», другое дело эта машина. Я в натуре «роллс-ройс» видел, в Вене — великая вещь...

Все во дворе знали, что он видел в Вене «роллс-ройс» два года назад и что эта машина произвела на него неизгладимое впечатление.

Человек, повидавший египетскую пирамиду, багдадского халифа, двух фараонов и «роллс-ройс» в натуре, засучил рукава и наклонился над мотором, чтобы найти повреждение.

— Ремонта требует,— сказал Иван Шулев.

— Что? — спросил Иван Флоров.

— Надо найти что,— сказал Иван Шулев.— Сейчас найдем.

— Дядя Иван,— окликнул его мальчик из окна.— Мне сейчас принесут кролика, с рынка.

— Вот и хорошо, малыш,— сказал Иван Шулев.— Тушеный кролик — вкусная штука!

— Живого кролика! — сказал мальчик.— Я его научу страху.

— Да он с рожденья пуганый,— засмеялся Иван Шулев.— Кролика хоть зажарь, у него все равно вид испуганный.

— Видно, испуг у него в крови,— сказал Иван Флоров.

— В крови-то в крови, но ведь его раньше, чем тушить, надо в воде с уксусом вымочить. Сутки он должен так полежать, а уж тогда его можно тушить. В этой книге, которую я вчера читал, про болгарскую национальную кухню...

Он, однако, не мог закончить свою мысль, потому что все услышали доносящийся с улицы какой-то странный шум и, спрашивая друг друга: «Что такое? Что случилось?» — кинулись на улицу. Один только мальчик остался сидеть у окна, выдул мыльный пузырь, тот пересек по диагонали двор и ткнулся в гараж.

— Скорее, сынок! — вбежала в комнату его мама.

Она взяла мальчика на руки, мальчик обхватил ее шею и почувствовал, как они, точно подхваченные вихрем, перенеслись в другую комнату, окно которой выходило на улицу. Мать посадила мальчика на стул и широко распахнула окно, так чтобы вся улица была ему видна.

■

Но вы, может быть, не знаете нашей улицы?

Улица у нас центральная. Посередине тянутся кусты роз, с двух сторон ее охраняют два ряда тополей, высоко поднявших свои копья. По ней ходит троллейбус № 1, по ней гуляют дети из детского сада, держа друг друга сзади за халатики, по ней катаются на роликах, особенно вечером, когда движение стихает, по ней Девятого сентября проходят танки и орудия, возвращаясь с военного парада, и идут на демонстрацию рабочие колонны из северного района Софии; по ней прошли однажды слоны немецкого цирка «Буш», белый верблюд и дикий бык с колокольчиком на шее, по ней проезжают электрокары с углем, и на ней же Ицо и другие ребята со двора научились кататься на велосипеде. У регулировщиков здесь много работы, особенно днем, когда сильное движение. По улице ходят автобусы к станции Искыр, и Иван Флоров ездит на автобусе на работу, а Иван Алеков ездит на работу троллейбусом и потом идет пешком по Орлову мосту. Иван Николчов вообще ходит на работу пешком, потому что Болгарский народный банк от нас близко. На нашей улице, как и на всякой другой, есть магазины, а по праздникам на домах вывешивают по три флага — трехцветный, красный и голубой. По праздникам в ресторане «Дикие петухи» играет оркестр, и люди с нашей улицы говорят, что в праздники у ресторана весь день — рабочий. Иван Алеков в такие дни обычно задерживается на работе, потому что выходят специальные выпуски газет. Первого мая улица заполняется воздушными шарами, а когда проходят физкультурники, Иван Флоров идет с колонной «Славии». Иногда мимо нас бредет стриженая женщина, закутанная в одеяло. Она идет посередине улицы, и автомобили и троллейбусы останавливаются, давая ей дорогу. Эта женщина тронулась умом во время бомбежки, и, когда она проходит по

улице, всем становится не по себе... Осенью на тротуарах жарят каштаны и приготовляют воздушную кукурузу, а когда начинаются дожди, троллейбусы рассыпают синие искры. Но я думаю, что все это встречается на любой улице, хотя, если говорить начистоту, наша улица — лучше всех, и мы верим Ивану Шулеву — он видел много улиц во многих странах, видел фараонов и самого Гарун-аль-Рашида,— что улиц лучше нашей ему нигде не попадалось.

А вот сейчас какой-то необычный шум вызвал всех на улицу.

По нашей улице с грохотом двигался эскорт мотоциклистов в милицейской форме, на красных мотоциклах. Они парализовали все движение. За ними медленно ползла огромная машина на нескольких осях. Машина тянула за собой складной фургон, закрытый полотном, и заполняла всю улицу. Такого автопоезда никто никогда не видел, и все с любопытством глазели на него с тротуаров. А он двигался с такой торжественностью, как будто по улице ехал президент; да и эскорт мотоциклистов придавал процессии торжественность.

И вдруг раздались крики:

— Кит! Кит!

— Какой кит?

— Кит Голиаф!

Вот, наконец, и кит Голиаф на нашей улице! Дети пришли в восторг, стали кидать в воздух шапки и бросились к автопоезду. Милиционеры сидели, строго выпрямившись, на своих мотоциклах и смотрели вперед.

Когда процессия проходила мимо нас, дверца автопоезда открылась и оттуда, улыбаясь до ушей, соскочил — кто бы вы думали?

Соскочил мой брат Иван Глигоров, служащий базы Болгарских государственных цирков. Я уверен, что вся улица в эту минуту чуть не лопнула от зависти. Он махнул мне шапкой, пробился сквозь толпу и пошел к дому. Автопоезд, рыча, полз по улице, а вся «Троянская война» бежала следом, надеясь хоть в щелку увидеть океанское чудище, которое взгромоздили на моторизованного гиганта и отправили путешествовать по суше. Впервые в истории кит покинул океан и пустился в путь по континенту, чтобы жители континента увидели, откуда они произошли, если они верят в данную теорию происхождения мира.

Мой брат Иван Глигоров только начал мне рассказывать, как прошла поездка с китом — он сопровождал кита во время его турне,— когда в комнату вошел Иван Барабанов.

— Громадное какое чудище! — сказал Иван Барабанов.

— Громадное,— сказал мой брат.— В океане росло.

— А как он размножается? — спросил Иван Барабанов.

— Как всякая живая тварь,— сказал брат.

— Ух, киты как начнут любиться в океане, верно, буря подымается,— предположил Иван Барабанов.— А правда, что киты — млекопитающие?

— Правда,— сказал брат.— Они детенышей молоком вскармливают.

— Ух ты! — удивился Иван Барабанов.

В эту минуту к нам вошел Иван Шулев.

— Вот кита я еще не видел,— сказал он и спросил моего брата: — А ты знаешь, как он размножается?

— Как всякая живая тварь,— сказал брат.

— Представляю себе, что делается, когда они начинают любиться,— засмеялся Иван Шулев.— Весь океан кипит. Буря — только держись.

— Наверно,— вмешался Иван Барабанов.

— А правда, что они детенышей молоком вскармливают?

— Ну да, кит ведь млекопитающее.

— Смотри-ка,— удивился Иван Шулев.— Значит, и соски у них есть.

— Конечно, есть.

— А как делают, чтобы он не протухал? — спросил Иван Барабанов

— Как вытащат его из океана, чуть присаливают,— объяснил мой брат,— столько, сколько нужно, формалина добавляют, сколько нужно, а потом, может, еще досаливают, если потребуется, потому что иначе он протухнет.

— Рецепт есть для этого дела,— сказал Иван Шулев.— Если сделать все по рецепту, как огурчик будет. А если не по рецепту действовать, так и кильки не приготовишь.

— Ты думаешь, женщины все по рецептам готовят?

— Не готовят они по рецептам, потому и переводят зря продукты,— сказал Иван Шулев.— А кита приготовили так, чтоб он мог все континенты объехать.

— Он потом в Азию поедет,— сказал мой брат.

После того как все усвоили, что у китов бывает любовь и что они вскармливают детенышей молоком, мой брат Иван Глигоров рассказал нам, как поймали кита Голиафа, гарпуном поймали — китов ведь ловят гарпуном,— как его подтащили к берегу, как кому-то пришло в голову показать его на континенте, как на заводе была заказана специальная автомашина, как... и т. д.

Между тем наши наборщики прошли Львиный мост и вышли на столичный кооперативный рынок, с северной его стороны, где продается птица и кролики. Кролики сидели в больших клетках, расставленных на асфальте, и каждый продавец расхваливал свой товар, но наши наборщики сразу направились к прилавку, где вело торговлю кролиководческое общество Софии.

Перед прилавком толпились покупатели, конечно больше дети, а продавец по одному вытаскивал кроликов из клеток и рекламировал товар.

— Кто хотел лилового? — спрашивал он.— Вы хотели лилового?

— Нет, нет! — кричали из толпы.

— Казанского голубого не хотите? Белого великана? Кто хотел белого великана?

— Мы хотим хорошего кролика,— сказал Иван Алеков.— Выбери нам самого хорошего кролика.

— Если на пух, так ангорского или белого пухового? — сказал продавец.

— Нет, не на пух. Нам красивого.

— Смотрите сами,— сказал продавец.— Вот бельгийский великан, белый великан, шиншилла, французский серебристый, тюленевый, шампань. Если на развод, возьмите казанского голубого. Отличная порода. Самая плодовитая порода. Каждый день размножается. Или шиншиллу. Или какую другую? Болгария выращивает полмиллиона кроликов всех пород. Трудно сказать, какие лучше, это вопрос вкуса. Все кролики отличные.

— Ого,— сказал Иван Алеков.— Много-то как, полмиллиона кроликов.

— Это мало,— сказал продавец, поднимая венца.— Знаете, как во Франции развито кролиководство? А Советский Союз — там больше двухсот миллионов кроликов. На третьем месте — Бельгия, а мы в хвосте.

— Зато у нас есть зайцы,— сказал один из наборщиков.

— И зайцев нет,— сказал продавец.— В других странах не продохнешь от зайцев. Куда ни плюнь, в зайца попадешь. Совет министров раз-

решил «Главмясу» закупить за границей две тысячи элитных животных. И издано постановление о кролиководческих обществах, которые должны объединить кролиководов всей страны. Вы хотели белого великана?.. Берите на здоровье и берегите его от кошек.

— А нам какого взять? — спросил Иван Алеков.— Я и не знал, что кроликов так много.

— Возьмем серого,— предложил тот наборщик, который пнул во дворе мыльный пузырь.— Кролик должен быть серый. Вот этого, например.

Он показал на кролика, сидящего в клетке. Уши его, длинные и лохматые, лежали на спине. Он шевелил губами и смотрел на наших глазами навыкате.

— Вот этого, серого,— сказал Иван Алеков.— Который один в клетке.

— Этого? — удивился продавец.— Этот вам не подойдет.

— Почему не подойдет? Мы заплатим, сколько надо.

— Он каннибал,— сказал продавец.— Зачем мне вас обманывать, чтоб вы меня потом ругали. Он жрет детенышей. Два приплода сожрал.

— Ух ты! — удивились наши и, подталкивая друг друга, наклонились все вместе над клеткой кролика-каннибала.— Гляди-ка! Жрет их, говоришь?

— Я оглянуться не успел, как он у меня два приплода сожрал.

— Нет, такого не возьмем. Какого же нам тогда взять?

— Лучше всего шиншиллу,— сказал один из наборщиков.— И имя придумывать не надо. Мальчонка будет рад. Шиншиллу.

— Который шиншилла? — спросил Иван Алеков.

— Вот шиншилла.

Кролик задрыгал ногами в воздухе.

— Хороший кролик. И имя красивое. Шиншилла!

Они взяли кролика и пошли к горам капусты, чтобы набить сумку капустными листьями.

— Кролиководство-то посложней будет, чем типографская техника,— сказал один из наборщиков.

— В наше время на все наука нужна,— сказал Иван Алеков.— Даже чтоб кроликов разводить.

Часом позже они уже сидели в ресторане «Дикие петухи» и рассказывали знакомым с соседних столиков, как они ходили на рынок покупать кролика, а сын Ивана Алекова, посадив Шиншиллу на подоконник, где были набросаны капустные листья, взялся учить ее страху. «Троянская война» прекратила сражение во дворе и прогнала «троянок», потому что они не хотели реветь. Мальчишки собрались под окном и, точно в кукольном театре, смотрели, задрав голову, на Шиншиллу. Кролик прыгал туда-сюда по подоконнику и время от времени шевелил ушами. Вдруг петух, погруженный во мрак чьей-то ванной, закукарекал в надежде на то, что тьме когда-нибудь придет конец. Прислушиваясь к кукареканью, кролик насторожился и наставил уши.

Но это был не страх, а любопытство.

Ведь Шиншилла знала все шумы города и четыре месяца провела на кооперативном рынке, в той его стороне, где продается птица и кролики, так что она часто слышала петушиное пение, доносившееся из клеток.

— Гав! Гав! — сказал мальчик.

Шиншилла посмотрела на него своим выпуклым глазом и принялась жевать капустный лист.

— Гав! Тяф! — кричали дети со двора.

Шиншилла спокойно ела капусту, не обращая внимания на ребят со двора.

— Не так легко будет ей научиться страху,— сказал мальчик в окне.— Вот верхняя губа у нее рассечена, значит, она уже когда-нибудь в жизни дрожала от страха.

Раздвоенная верхняя губа была у Шиншиллы от рождения, это была одна из ее наследственных черт, так же как и уши, которые стали длинными еще во времена ее прадедов, когда кролики как-то раз расшалились и вымокли до нитки, а Мишка Косолапый развесил их на веревке сушиться, прихватив за уши прищепками. Верно, у Шиншиллы уши стали еще длинней, потому что четыре месяца продавец поднимал ее за уши и показывал покупателям, но никто не хотел купить Шиншиллу, а все норовили взять бельгийских великанов, у которых длинная шерсть.

Хотя кролик ведь не овца, чтоб его стричь, и ничего глупее стриженого кролика и не придумаешь.

Быть трусливым кролику не стыдно, это соответствует его природе.

А вот быть стриженым кролику или зайцу стыдно. Лучше всего это чувствуют зайцы, живущие на воле,— они предпочитают скорее умереть, чем быть остриженными.

Но мы отвлеклись, а заниматься этим вопросом нам сейчас некогда, потому что в эту самую минуту из-под стола вылезла кошка и, распушив хвост, вспрыгнула на диван. Шиншилла пискнула и попятилась, потом сжалась, а верхняя губа у нее приподнялась и задергалась. Потом она забила лапами, часто и сильно, а глаза у нее выкатились еще сильнее. Мальчик увидел, как шерстка у нее на спине встает дыбом.

Он был озадачен. И пока он гадал, чего испугался кролик, он увидел, как мимо него метнулась кошка. Мальчик толкнул ее, она пролетела мимо сжавшейся взъерошенной Шиншиллы и, смешно раскорячив лапы, стала падать во двор к ребятам. «Троянская война» подняла щиты, чтобы защитить себя от нападения, а когда кошка упала на землю, кинулась к ней. Но кошка ловко юркнула у армии между ног и припустила по двору, в сторону гаража. В одно мгновенье она вскарабкалась по стене, и преследователи увидели ее спину и задранный хвост уже на крыше. Там она села на черепицы и стала лапой умывать мордочку.

Шиншилла опустила уши на спину и принялась за следующий капустный лист. Она слышала смех, доносившийся из-за развешанного во дворе белья, но это не меняло ее настроения, потому что кролики и без того всегда улыбаются.

■

По другую сторону висевшего на веревке белья сидели старики моего дома. Перебивая друг друга, точно дети, они обсуждали, как в церковь святого Георгия Победоносца во время последнего богослужения, когда там было полно народу, зашли какие-то молодые парни и девчонки с транзисторами; видно, они где-то веселились и вместе решили позабавиться еще, выкинуть какой-нибудь смешной номер; вот и придумали войти в церковь, а транзисторы их гремели и играли твисты и чачи. Мало этого, некоторые из них стали кричать: «Даешь «Левского»!» — и другие вещи, которые никак не пристало произносить в церкви во время богослужения. Священник разгневался и спросил, кто они и чего им нужно, а они сказали, что они — святая Петка Самарджийская и что им ничего не нужно. Священник произнес речь, назвал их хулиганами и дикарями, а когда он кончил, парни зааплодировали. Священник повернулся к ним спиной и прочел «Отче наш», а когда он кончил «Отче наш», парни пришли в восторг и снова зааплодировали. Священник с трудом выгнал их из церкви, тогда они сели на ступеньки паперти, пустили транзисторы на полную мощность и продолжали вопить: «Даешь

«Левского»!» Вот какое было происшествие, и старики оживленно его комментировали, дополняя и перебивая друг друга и предлагая каждый свое объяснение, а потом кто-то вспомнил, что Иван Барабанов тоже болеет за «Левского» и что, наверно, он знает этих ребят и надо его спросить. Потом они рассказали несколько анекдотов, совершенно пресных, и долго над ними смеялись, потому что старый человек довольствуется и пресным анекдотом. Но Иван Цеков сказал, что знает один очень хороший анекдот еще со времен Балканской войны, когда он служил в 44-м кавалерийском полку и они продвигались в сторону Драмы. Все стали смеяться его анекдоту и подталкивать друг друга, а один сказал, что, верно, дело было в Сахаре. Когда они насмеялись вдоволь, один из стариков сказал: «Глядите, как бы нас эти анекдоты не испортили». «Испортят они нас,— сказал Иван Цеков,— а там, глядишь, и мы взяли по транзистору да и пошли к святому Георгию Победоносцу играть чачу!» «А вот однажды,— сказал другой старик, вытерев слезы,— один человек сел в поезд. Вошел в купе, а там уже сидят трое. Нет, кажется, двое уже сидели в купе. Или двое, или трое их было, но я, верно, забыл этот анекдот... Забыл»,— признался старик. «Хороший анекдот,— сказал третий старик,— я в прошлом году в «Диких петухах» слыхал, да никак не вспомню. Очень хороший анекдот, смешной. Не зря говорят, надо их записывать»... Они помолчали и снова принялись комментировать происшествие в церкви святого Георгия Победоносца и снова повторили, как молодежь ворвалась в церковь, как транзисторы играли твисты и чачи, а парни кричали: «Даешь «Левского»!» И откуда только им пришла в голову Петка Самарджийская?.. Ох, уж эта молодежь! Случись такое в старые времена, все бы в ад попали.

Новые-то времена лучше!

■

Получив необходимые сведения о ките Голиафе, Иван Барабанов вернулся в свою комнату и решил поспать. Телефон молчал. Барабанов бросил на него лишь беглый взгляд, потому что стал уже остывать к этому достижению техники. Он прилег на диван и, размышляя о ките, заснул.

Разбудил его звон. Первым делом он посмотрел в угол. Нет, телефон молчал. Зазвенело в кухне, упала, наверно, какая-нибудь крышка или сковородка; он с неприязнью подумал, что это жирное животное с горчичниками готовит себе обед.

От выпирающей из дивана пружины болела спина. Иван Барабанов решил размяться, пойти пообедать к «Диким петухам» и снова вернуться домой, потому что ему могут позвонить по телефону. Многие уходили на прогулку в горы, сейчас они уже возвращаются, один за другим, и кто-нибудь может позвонить.

Иван Барабанов увидел на нашей улице много людей с рюкзаками, с удочками, со свернутыми в трубку одеялами; кожа у всех покраснела от солнца. Рыболовы шли гордые, в их ведерках плескалось по нескольку искырских уклеек, величиной со спичку. Иван Барабанов сел у широкого окна, чтобы наблюдать за улицей, и, пока ел, смотрел на юные парочки по ту сторону стекла. Он смотрел, как разлетаются колокольчиками девичьи юбки и манят, влекут, зовут. У некоторых юбки были совсем узкие, и это тоже было красиво, и коротенькие юбочки тоже были хороши, потому что открывали коленки; он сидел за толстым стеклом «Диких петухов», отделенный от разноцветных колокольчиков девичьих юбок, и ему стало грустно. Он не мог понять, отчего напала на него эта грусть — то ли от одиночества, то ли оттого, что когда он причесывается по утрам, все больше волос остается на гребешке (сущий ад — чувствовать, что стареешь).

Он вышел на улицу и увидел перед телефонной будкой длинную очередь. Люди даже в очереди стоят, чтобы позвонить по телефону. Сотни телефонов, наверно, звонят сейчас во всех домах нашей улицы и всего города, погруженного в жаркое летнее марево. Только его телефон молчит, притаившись в углу. Он увидел руку девушки, опускавшую монету, красивую белую руку, какой он давно не касался. Когда кабина освободилась, он вошел в нее, и на него пахнуло ароматом женских духов. Он было заколебался, но потом бросил монету и набрал номер собственного телефона. В трубке послышались гудки — они доносились, как сигналы спутника из космоса, которые он столько раз слышал по радио.

Иван Барабанов оставил трубку болтаться на шнуре и кинулся домой. Никогда еще он так быстро не взбегал по лестнице. Руки его ходили ходуном, пока он отпирал, и первое, что он увидел, когда открыл дверь, было круглое лицо хозяйки; она стояла в испуге и тут же начала ему объяснять, что телефон звонит, но она не решается войти в комнату и узнать, кто его спрашивает.

— Да пожалуйста, пожалуйста! — любезно отвечал ей Иван Барабанов, пока, улыбаясь до ушей, бежал по комнате к телефону.

Телефон заполнял звоном всю комнату. Аппарат ожил и посылал в воздух свои мелодичные импульсы. Иван Барабанов снял трубку и, повернувшись к хозяйке, со счастливым лицом крикнул: «Алло!»

— Может, девушка,— сказала хозяйка и прикрыла дверь.

«Деликатная и воспитанная женщина»,— подумал Иван Барабанов.

— Кто-то оставил трубку висеть на шнуре,— говорил голос в трубке.

— Наверно, не работает,— сказал другой голос, женский.

— Дай попробую,— сказал первый голос.

— Сначала положи трубку,— сказал женский голос.

Что-то щелкнуло.

Иван Барабанов подержал еще трубку около уха и медленно опустил ее на вилку. Телефон скалился белыми цифрами диска. Дразнит он его или смеется над тем, что он один?

Он прошелся взад и вперед по комнате. Откуда-то из глубины дома доносилось гортанное кукареканье «Баскервильской собаки», слышен был шум «Троянской войны» во дворе, и время от времени подавал голос клаксон.

Открыв окно, он увидел внизу «москвич». Иван Шулев и Иван Флоров разбирали мотор. Рядом с машиной лежало запасное колесо. Он подумал, что если бы понимал в автомобилях, тут же спустился бы во двор и работал бы наравне с другими, чтобы «москвич» стал на колеса. Но он работал чертежником в архитектурной мастерской и умел только чертить.

Тогда ему вдруг пришло в голову, что он может накачивать шины, он сколько угодно шин набил бы воздухом, лишь бы это могло пригодиться Ивану Флорову.

Он оставил открытым окно и пошел по двору к механикам, намереваясь спросить их: «А не надо ли подкачать какую шину?»

■

Если самолет гудит в небе, призывая всех: «Покупайте в ЦУМе», мы можем закрыть окна и не впускать шум. Если солнце спустится низко и заглянет в комнату, мы можем задернуть занавески и укрыться от его любопытства. Если паркет скрипит как раз там, у буфета, мы не будем на него ступать, мы обойдем это место и буфет не будем открывать. В комнате должны царить тишина и прохлада, чтобы младенец мог как следует выспаться....

Но эта муха — откуда она взялась, как могла проникнуть в комнату эта ужасная муха, я ведь сказала, чтоб окно приоткрыть только чуть-чуть и не подымать тюлевую занавеску, потому что мухи боятся тюля, и она бы не влетела.

Я и не поднимала тюль, это, наверно, ветер его приподнял и муха влетела.

Принеси щетку для паутины, сейчас мы ее достанем, вот она куда села, на потолок!

Щеткой ничего не выйдет, она летает, не подпускает к себе. Злая стала от жары, так она и даст убить себя щеткой! А где твой шарф, тот длинный, шлепни ее шарфом, сразу прикончишь.

Нет, нет, шарфом не получится, видишь, куда она забралась, в абажур забилась, негодяйка!

Ну-ка, зажги свет, сожжем ей лапки.

Снова полетела.

Ох, до чего же нахальная муха, разбудит малыша! Смотри, как кружит.

Так переговаривались «Три мушкетера», взбудораженные присутствием мухи. А муха кружила по комнате, пикировала на младенца, который спал, сжав кулачки, и один раз сумела сесть на его носишко, на самый кончик, потому что мухи всегда ищут для приземления какую-нибудь вершину, чтобы потом прогуляться по гребню и ощупать своей поганой мордой всю окрестную территорию.

Подлетела б она только к окну, ударилась бы о стекло, тут бы мы ее и прикончили.

Пока она билась бы о стекло, мы б ее и прикончили.

Но не летит она к окну, хитрая она и злая от жары.

От жары они становятся злыми, как собаки.

Даже злей, чем собака, эта нахальная муха и грязная до ужаса. Кто знает, на каких грязных помойках она сидела!

Не гони ее туда, где малыш, зачем ты ее все в ту сторону гонишь?

Разве я стала бы ее туда гнать, сама летит, проклятая!

Шарфом ее, шарфом, брось щетку!

Стой, стой!

Ах, гадина!..

Наконец муха со свернутой шеей упала на ковер. Младенец все так же сжимал кулачки и сосал во сне. Младенцы сосут и во сне, поэтому они так быстро растут.

■

А мы с сыном, дочкой и с моим братом Иваном Глигоровым шли на цирковую базу посмотреть на львов. Мой брат работает на этой базе и ухаживает за львами и медведями. Или, как он говорит, служит «львиным поваром».

Жена сказала, чтобы по дороге я тренировал сына на букву Д. Надо было находить слова, которые начинаются на эту букву, и повторять их по дороге, чтобы мальчик их запомнил.

— Дивдядово начинается на Д,— сказал мой брат Иван Глигоров.

— Дикарь начинается на Д,— сказал сын.

— Что ты выдумываешь какие-то нелепые слова,— сказал я сыну,— вспомни какое-нибудь другое слово, поприятней.

— Дракон,— сказал мальчик.

— Как ты не можешь вспомнить что-нибудь хорошее,— выбранил я его.— Ну, например, «добрый день». И красиво, и приятно.

— Дождик,— сказала моя дочка.

— Дурак,— сказал сын.— Дурак тоже начинается на Д.

— Где ты слышишь такие слова? — спросил я.

— Дома,— сказал мальчик.

— Дети все слышат,— сказал брат.

— Дыня,— сказала дочка.

— Дырка,— сказал сын.— Тоже начинается на Д.

— Хорошо! Еще придумай!

— Дивдядово.— сказал мальчик и улыбнулся.

— Ладно, Дивдядово. А еще?

— Дивдядово,— сказал мальчик.— Очень хорошее это слово — Дивдядово!

— Дивдядово,— сказала девочка.

— Да ладно, далось тебе Дивдядово, неужели других слов, кроме Дивдядово, нет?

— Есть, папа, другие, но Дивдядово очень хорошее слово. Дивдядово! Очень хорошее слово!

— Но учительница не станет тебя спрашивать про одно только Дивдядово. А ты, кстати, знаешь, где село Дивдядово? Не знаешь. Оно находится в другом слове, которое тоже начинается на Д. В Добрудже оно находится. Ну, придумай еще какое-нибудь слово.

— «Дикие петухи»,— сказал мальчик.

— Это же ресторан. Как ты это объяснишь? Ты можешь сказать «дикий петух», но петух не начинается на Д.

— «Дикая собака Динго»,— сказал мальчик.— Динго начинается на Д.

— Все ты придумаешь бог знает что!

— Начинается на Д,— повторил мальчик.— И длинный начинается на Д. А у нас в классе Васко длинный. И дылда начинается на Д. Васко поэтому дылдой и зовут. А если хочешь знать, дразниться тоже начинается на Д.

Мы шли по мосту за вокзалом. Под нами маневрировал паровоз. Дети просунули носы сквозь перила и смотрели, как труба дышит у них под ногами и выбрасывает тучи пара и дыма. Паровоз дал задний ход и стал толкать перед собой вагоны.

— А вон там живут трамваи,— сказал я дочке.

— Они там спят? — спросила она.

— Они здесь спят, и здесь их лечат, когда они больны, и здесь они умываются. Трамваи тоже умываются.

— А едят они тоже здесь? — спросила дочка.

— Вот глупая! — вмешался сын.— Это депо. Депо тоже начинается на Д. Но Дивдядово лучше всего.

— Я не глупая,—'сказала дочка.— Папа, скажи ему.

— Ты дама из Амстердама,— сказал сын.

— Дикий петух,— сказала дочка.— Я не дама.

— Дама,— сказал сын.— Дама-мадама.

— Сейчас я вас нашлепаю,— пригрозил я. — Что вы дурачитесь?

И я запретил им упражняться дальше на букву Д.

Когда мы прошли мост и стали спускаться вниз, вдали показался хребет Стара-Планины. Синеватым венцом он подпирал небо, чтобы оно не упало на город. Город становился все ниже, дома — все меньше, и постепенно они почти сливались с полями. Города никогда не начинаются внезапно. Дома в них растут понемногу, пока не вымахивают в высоченные громады центра. Если смотреть на города издали, они похожи на курганы.

Стара-Планина тоже уходит вверх с необычайной легкостью, постепенно выбираясь из утонувших в дыму равнин, подтягивая к своему подножью холмы, там и сям укрепленные скалами, пока не достигает обнаженных склонов своих вершин, рождающих грозы, окутанных тучами и

тайнами Города, вероятно, стараются быть похожими на Стара-Планину.

— Как увижу Стара-Планину, всегда на душе хорошо становится,— сказал я брату.

— А я, как ее увижу,— сказал он,— сразу вспоминаю маму и село Черказки. Оттуда все лето виден снег на горах.

— Гомер, который воспел Олимп, считал Хемус* самой высокой вершиной в мире.

— А наши горы и есть самые высокие и громадные,—сказал брат.— Нигде больше таких прекрасных гор нет. Когда мы гастролировали с китом Голиафом, я всякие горы видел, но таких красивых, как Стара-Планина, нигде нет. Стара-Планина — все равно что кит, который вылез на сушу.

Иван Николчов, служащий банка, наверно, сказал бы, что наша Стара-Планина — это банк, в котором хранятся легенды. Иван Флоров, механик, сказал бы, что на Стара-Планине молнии ходят по земле. Зинка не усомнилась бы в том, что у Стара-Планины есть душа. Иван Шулев сказал бы свою любимую фразу: «Великая вещь — Стара-Планина». Гомер сказал бы, что это самые высокие горы в мире.

А я соглашусь со всеми, потому что все, что сказано о Стара-Планине,— правда.

Трамвай выходил из города, окидывал взглядом пустые поля и возвращался обратно. Мы прошли еще немного и подошли к цирковой базе, где мой брат служил львиным поваром. База со своими фургонами и временными пристройками для животных была похожа на военный лагерь. Несколько лошадей дремали у коновязи, ожидая, когда придет время кормить львов. Мальчик нес два ведра с молоком, и мой брат сказал ему, что доктор распорядился дать старой медведице только полведра, и спросил, покормил ли он львов в три часа, как они договаривались. Мальчик с ведрами сказал, что львов в три часа покормили, но он не видел, съели они все мясо или нет.

— Сейчас посмотрим,— сказал брат и повел нас в пристройку с клетками.

Дети крепко сжимали мне руки, и у меня вспотели ладони.

Вначале мы увидели сковороду и сердце («Лошадиное»,— сказал брат), которое жарилось на сковороде. Брат сказал, что они научились есть лошадиные сердца у собственников кита Голиафа, пока участвовали в турне; там был один Франсуа, так он только конину и ел.

— А вот это Серенгетти,— сказал брат.

В клетке лежал лев и смотрел поверх наших голов. Он не моргал, не шевелился, а просто лежал, подняв свою львиную голову, и никто бы не угадал, что мелет эта большая мельница и чем она полна там, за большим косматым лбом. Около него вертелась и терлась боками о железную решетку львица, то и дело приседавшая, точно собиралась броситься на нас. Она держалась беспокойно, нервничала и, видимо, своей нервностью раздражала Серенгетти. Раз она подошла к нему вплотную и тронула его мордой, верно, хотела что-то ему сказать, а он рассердился, что ему мешают предаваться размышлениям, и двинул ее лапой. Львица извернулась и отскочила назад, на другую половину клетки, но тут же снова принялась метаться из угла в угол, посматривая на нас своими желтыми глазами. Видно, не только в человечьих домах женщины — ипохондрики.

— Дядя! А где живет лев? — спросил мой сын.

— В джунглях,— сказал мой брат Иван Глигоров.— В джунглях полно львов и тропических животных. Этот лев из Серенгетти, есть та-

---

* Хемус — древнее название Стара-Планины.

кая область, потому его и зовут Серенгетти. Серенгетти — царь манежа, а не только царь зверей.

Царь, лишенный трона, продолжал смотреть поверх наших голов.

— А капризный, как женщина,— добавил брат.— Вот, не съел свою порцию.

У лап льва лежало красное конское бедро.

— А вот этот самый старый,— сказал брат, подводя нас к другой клетке.— Его зовут Джунгли — тоже начинается на Д. Ему, наверно, сто лет, он еле двигается, еле видит, и в цирке с ним делают больше всего номеров. Ему бы только дремать, как кошке, по двадцать четыре часа в сутки спит.

Джунгли лежал, опустив свою тяжелую голову на лапы. Видно, устал столько лет держать эту тяжелую голову прямо. Годы и работа в цирке могут заставить склониться даже львиную голову.

Брат потрепал льва по шее и вырвал из его гривы несколько волосков.

— Возьмите эти волоски. Они львиные. Все будут вам завидовать, когда узнают, что у вас есть волосы из львиной гривы. Это талисман.

Дети сжали львиные волосы в кулачках и улыбнулись Джунгли. Но Джунгли не смотрел на них, а продолжал спать, слегка приподняв одну бровь.

— Лев, так же как и кит, млекопитающее,— сказал брат, пока мы шли к клеткам с медведями.

Млекопитающие остались у нас за спиной, но дети все еще оборачивались, чтобы взглянуть на страшную голову Серенгетти, а дочка спросила меня, живой ли это лев.

— Живой,— сказал я.

— Он дышит,— сказал брат,— только через нос.

Теперь детям стало ясно, что млекопитающие львы дышат через нос, и мы остановились около медведей. Они сидели или лежали в своих клетках и были похожи на прописную букву Д.

Потом мы вышли, чтобы пойти посмотреть на лошадей.

— Дядя,— сказал мой сын,— можно нам еще раз посмотреть на Серенгетти?

— Конечно, малыш!

И мы снова вернулись к Серенгетти. Он все так же смотрел поверх наших голов, медленно двигая жерновами мозга, и грива облаком окружала его громадную голову. Конское бедро лежало нетронутое возле его лап. Львица сновала по клетке, но не смела к нему приблизиться, а он грезил, и взгляд его был устремлен словно в иной мир. У львов, вероятно, нет нервов.

Мы снова вышли на улицу, и дети остановились, чтобы рассмотреть волосы из львиной гривы, которые они сжимали в кулачках. А мой сын снова стал оборачиваться назад, к клетке царя джунглей.

— Дядя, а можно еще раз посмотреть на льва? — спросил он.

И мы еще раз вернулись, чтобы посмотреть на царственную голову Серенгетти. Так стоит, не склоняясь, и лев в государственном гербе Болгарии, укрыв за своим высоким челом и гнев, и силу. Так и Стара-Планина стоит величественно и прямо, как этот Серенгетти, устремив взгляд в синеву над облаками... Львы у нас есть даже на монетах.

■

— Лучше «роллс-ройса» не бывает,— сказал Иван Шулев.— Это царь автомобилей. Я в Вене видел «роллс-ройс» в натуре. Он катит по улице, как лев, среди других машин, и все шоферы его боятся, норовят держаться от него подальше.

— Еще заденешь его,— сказал Иван Флоров, механик с авторемонтного завода на станции Искыр,— потом не расплатишься!

Иван Барабанов накачивал запасную шину.

— Царское качество,— сказал Иван Шулев.— Пятнадцать лет можно не открывать мотор. А то что это за мотор, если в нем каждый день надо копаться.

— Как же не копаться, когда он портится? — спросил Иван Флоров.

— Все-таки ты поосторожней,— посоветовал ему Иван Шулев.— Ты все разворошил, а дело-то в реле. Контакты надо было почистить. Говорят, что у «роллс-ройса» нет реле.

— Не может быть, чтоб не было реле,— сказал Иван Флоров.— Нет таких машин.

— В переносном смысле,— сказал Иван Шулев.

— А я не променяю своего «москвича» на «роллс-ройс», хоть он и царь автомобилей. И на «рено» не променяю. Я два раза обошел экватор на этом «москвиче». «Москвич» — это машина будущего.

— Да «рено» — это разве машина,— сморщился Иван Шулев.— Над «рено» на дорогах все смеются. Это не машина, хоть она с виду и ладная. У меня ведь была такая машина, я ее продал, чтобы купить дачу в Драгалевцах.

Все у нас во дворе знают, что с тех пор, как семейство Шулевых продало «рено», чтобы купить дачу в Драгалевцах, Иван Шулев — уже не Иван Шулев; что-то в нем сломалось, потому что дачу ведь не поставишь на колеса и не поедешь на ней, куда захочется. Но он притерпелся к потере, время притупило боль, и теперь, принимаясь иногда ругать «рено», он думал, что сумеет его возненавидеть. Ничего из этого не получалось, да что поделаешь — человеку не дано управлять своей судьбой, особенно такому человеку, как Иван Шулев, который не может принадлежать ни автомобилю, ни даче, ни своей жене, а принадлежит всем, кто живет в моем доме, на моей улице, всему моему городу и даже, если хотите, всему человечеству. Вероятно, ради какого-то равновесия земле нужны и такие люди, которые до конца жизни остаются большими детьми, и, чем больше стареют, тем более детскими кажутся нам их поступки и рассуждения.

Мы наконец вернулись с базы, после того как пять раз возвращались к льву Серенгетти, и теперь вся «Троянская война» разглядывала волосы из львиной гривы. Мальчик в окне гладил по спинке свою Шиншиллу, и мой сын отнес ему два волоска из львиной гривы, а в обмен получил целую горсть кроличьего пуха.

— В джунглях Серенгетти,— сказал Иван Шулев,— звери и газели живут так же естественно и просто, как мы живем в этом доме. Был один фильм о Серенгетти, так у меня голова кругом пошла, когда я его посмотрел. Великая вещь — джунгли!

— Я слышал, что устраивают перепись животных,— сказал Иван Барабанов и перестал накачивать запасную шину, чтобы вытереть пот со лба.

— Конечно, устраивают,— сказал Иван Шулев.— У нас тоже переписывают диких животных. Мы, например, всегда знаем, сколько у нас серн в горах, сколько волков, сколько зайцев.

— Ну уж,— сказал Иван Барабанов.— Что-то мне не верится, чтоб даже про зайцев знали.

— Тебе не верится, но так оно и есть,— сказал Иван Шулев.— Особые приемы разработаны, как их переписывать. Человек все, что ему нужно, придумал.

— Только лягушки не переписаны,— сказал из окна Иван Врачев, студент.

Он поставил на подоконник свой аквариум с лягушкой.

— Лягушки не входят в номенклатуру,— сказал Иван Шулев.— Кто это станет заниматься такой ничтожной тварью, она никакого хозяйственного значения не имеет.

— В Сорбонне есть памятник лягушке,— сказал Иван Врачев.— Там работал великий...

Он не успел договорить, потому что в небе раздался страшный грохот. Все посмотрели наверх и почувствовали, как воздух дрогнул от еще одного взрыва. Словно натянутое над головами синее небо лопнуло и посыпалось во двор. Раздался еще один взрыв, зазвенело расколовшееся небо, и послышались голоса и крики людей.

Толстые стекла ресторана «Дикие петухи» лежали разбитые на земле. Посыпались стекла и из других окон. Весь дом сразу ожил, из окон выглядывали люди, аквариум Ивана Врачева упал с подоконника в комнату и разбился. Шиншилла стояла на задних лапах, и уши ее торчали прямо вверх.

— Что это, землетрясение? — спрашивали люди.

— Смотри-ка, машина заработала,— спохватился Иван Флоров.

«Москвич» тихонько, как оса, жужжал перед гаражом.

— Вот это да,— сказал Иван Шулев.— Верно, от сотрясения.

— Может, бомбу бросили?

Жители моего дома столпились на балконах, некоторые вышли во двор, тревожные голоса и шум доносились из соседних дворов и с улицы, в комнатах заревели младенцы, а «Три мушкетера» свесились с балкона и спрашивали, не началась ли война.

Старики прервали обсуждение события у святого Георгия Победоносца и вышли из-за сохнущего белья. Все смотрели на пустое небо и ждали, что взрыв повторится. Но небо было спокойно, пусто, и только вдали виднелся маленький самолетик, который тянул на хвосте полотняную рекламу.

И тогда кто-то из «Диких петухов» сказал, что пролетели сверхзвуковые самолеты. Эти машины летят благодаря мощным взрывам, и при этом раздается именно такой грохот. Если самолеты проходят низко, говорил человек из «Диких петухов», то рушатся легкие постройки.

— А у нас разве есть уже такие самолеты? — спросил Иван Барабанов.

— Раз пролетели, значит, есть,— сказал Иван Шулев.

Старики опять стали толковать о том, какая страшная штука война, и Иван Цеков из 44-го кавалерийского полка рассказал, что однажды, когда они двигались по пустому шоссе в направлении к Драме, из колючих кустов на дорогу вышло много детей. Они все плакали и просили хлеба, солдаты дали им, сколько у них было, но из кустов все выходили и выходили дети, словно там открыли какой-то шлюз, и не было им конца, и солдатам уже нечего было им дать, а они все выскакивали из кустов, и их стало так много, что каждый солдат посадил к себе на лошадь по трое-четверо ребятишек. Потом выяснилось, что это были греческие дети из одного большого района, матери оставили их в кустах дожидаться армии, а они разбрелись по холмам, выкапывая корешки для еды.

Пока Иван Цеков рассказывал, Иван Николчов сказал своей жене, чтобы она пустила сынишку во двор и велосипед тоже разрешила бы ему взять.

— О, Ицо! — бросилась к нему «Троянская война».— Мы весь день ждем твой велосипед. Тебя что, отлупили дома?

Ицо, шмыгнув носом, сказал, что не лупили, и спросил, что сегодня было на дворе. Ребята рассказали ему, что Иван Барабанов убил мышь.

что француженка из французского посольства отобрала у них собачку и что по улице проехал кит Голиаф.

— А у меня есть Шиншилла,— сказал мальчик из окна.

Мой сын похвастался, что он ходил на цирковую базу и видел льва Серенгетти — «самого страшного льва» — и что он знает одно очень хорошее слово, которое начинается на букву Д — Дивдядово!

— Теперь уж ты нас покатаешь,— сказал Иван Барабанов, пока запасной баллон укладывали в багажник.— К «Аистову гнезду» нас доставишь, даже и не думай отвертеться.

Барабанов поднялся к себе наверх, чтобы переодеться, и не успел закрыть дверь, как зазвонил телефон. Он остановился посередине комнаты и слушал, как нервно ударяет по звонку молоточек. Он подошел, но трубку не взял. Аппарат казался блестящим, ожившим, нежным, а белые цифры диска улыбались ему. Это была уже не свирепо оскалившаяся коробка; она звала его, манила, влекла, как звали и манили его девичьи юбки сквозь оконные стекла «Диких петухов».

— Это я, я! — обрадованно закричал в трубку Иван Барабанов.

В этот миг он готов был рассказать все, о чем бы его ни спросили, готов был раздать себя всему миру, лишь бы это ему удалось, но в трубке что-то щелкало и трещало, пока не прорезался наконец мужской голос.

Звонил его соквартирант, Иван Милев, полировщик мебельной фабрики «Родопы». Он с самого утра ушел в родильный дом и ждал, пока выпишут его младенца. Теперь он просил, чтобы Иван Флоров, если может, приехал за ними на машине.

— Сию секунду, сию секунду! — завопил Иван Барабанов в трубку.— Мы накачали все шины, мотор работает, мы тут же примчимся. Подожди минутку, я сейчас крикну Ивану в окно.

Он высунулся из окна, и позвал Ивана Флорова, и кричал так громко, что весь дом узнал, что надо поехать в родильный дом за младенцем Ивана Милева.

Иван Барабанов поцеловал трубку, положил ее, поцеловал в передней хозяйку, ту самую толстуху, и через три ступеньки сбежал вниз.

Дети проводили «Троянского коня» до улицы, он выпустил синий дым и, набирая скорость, начал свой третий пробег вокруг экватора.

— Шесть часов,— сказал Иван Николчов своей жене.

— Шесть часов,— сказали «Три мушкетера».

— Уже шесть часов,— сказали старики.

— Шесть часов,— сказал мой дом.

Пора было снимать белье с веревок.

Над моим домом летел звон колоколов храма Александра Невского. Каждый вечер в шесть часов София слышит сначала голоса малых колоколов, и они звучат, как эхо конских копыт, словно дробный их перезвон доносится с далеких дорог болгарской истории. В их легкое звучание вплетаются раскаты средних колоколов. Не отдается ли в них грохот колес тех орудий, что катились по каменистым тропам Шипкинского перевала? Так гремели и обкованные пушки генерала Гурко по булыжнику софийских улиц. Они гудят долго и неотступно, звон набегает на звон, и вот внезапно в их гул вторгается гром больших колоколов, густой и торжественный. Звуки, звуки — они стекают с колокольни и каждый вечер, в шесть часов, заливают мой дом, мою улицу, мой город.

В шесть часов, наверно, начинается и богослужение в этом храме, но никто в моем городе не слышит песнопений, обращенных к богу. Мы слушаем только колокола, и они все снова и снова, каждый вечер будут напоминать нам о болгарской истории.

Человечество знает множество памятников, чудесных и величественных, но молчаливых памятников. Наш памятник Освобождения увенчан колоколами, это поющий памятник. Солнце решает задержаться еще немного на золоте его куполов, туристы спешат запечатлеть на пленке последние блики солнечного света на этом символе, который София возвела и бережно хранит в самом своем сердце.

Мальчик в окне гладит свою Шиншиллу по спинке и смотрит на женщин во дворе. «Спокойной ночи!» — говорят женщины мальчику. Они снимают белье, тень моего дома удлиняется, чтобы слиться с тенями других домов. Двор меркнет, становится вдруг просторным и пустым, и веревки тоже болтаются пустые. А белье разнесут по квартирам, и вместе с ним в комнаты войдет чистый запах мыла и солнца.

Тихо переговариваясь, женщины одна за другой исчезают в подъездах со своими огромными белыми ворохами. Мальчик смотрит из окна, как небо постепенно сереет, как, клонясь влево, пролетает турбовинтовой самолет из Москвы, как мигают его бортовые огоньки. Мир за окном притих; постепенно его заполнит темнота. Для мальчика этот длинный воскресный день был исполнен света, и он верил, что наступит и такой день, когда он спустится во двор, погрузится в его сияние, будет участвовать в войне и будет толкать машину дяди Ивана Флорова...

А Шиншилла будет сидеть на подоконнике, жевать капустные листья и смотреть на него своими испуганными глазами.

— Пора закрывать окно,— сказала мать, вернувшаяся со двора с бельем.— На улице уже прохладно.

Мальчик еще раз увидел свое отражение в оконном стекле. Зубик за день так и не вырос.

■

Зинка вышла со своими роликовыми коньками на улицу. Там по асфальту гремели и скрежетали и другие ролики — гимназисты нашей улицы всегда выходят в это время. Пока Зинка пристегивала свои ролики, один мальчик споткнулся, хотел повернуть, но потерял равновесие и упал на тротуар.

Он поднялся, держась за колено.

— Ушибся? — спросила Зинка.

— Немножко,— сказал мальчик.— Хорошо, что брюки не порвал. Нет, не порвались. Они совсем новые, хорошо, что не порвались.

Брюки были совсем новые, от них едва уловимо пахло портняжной мастерской.

— Габардиновые,— сказал мальчик.

— Вам хорошо,— сказала Зинка.— Вы в брюках. А мы как упадем, так обдираем себе коленки.

— Если ты боишься, я тебя повезу,— сказал мальчик.— Хочешь вместе?

Он взял ее за руку и, поддерживая, медленно повез по асфальту. Зинка мечтательно улыбалась, да и робела немножко, потому что ей все время казалось, будто вот-вот что-то случится. И это что-то было не на небе, не в горах — они исчезли в темноте,— а где-то здесь, на самой улице, настороженно притаившейся во тьме. Они с мальчиком катились вдвоем, и чем больше они увеличивали скорость, тем крепче Зинка сжимала руку мальчика в габардиновых брюках и тем ближе, казалось ей, была та минута, когда свершится чудо и принесет с собой неведомый аромат своей тайны.

Тогда и у Зинки будет своя тайна, как у всех Иванов моего дома, и у нее будет своя кладовая сокровищ, которая станет открываться, как только она скажет: «Сезам, откройся!» Так, как у всех в моем доме, как

у всех в моем городе, как у всех в моей Болгарии. Потому что ни человек, ни город, ни страна не могут жить без своих тайн и без своих милых сокровищ, которые, поверьте мне, я не отдал бы за все чудеса и небывальщину сказок «Тысячи и одной ночи».

Мой дом, даже когда он засыпает, до крыши полон великих чудес — в нем разыгрываются сражения «Троянской войны»; младенцы чмокают и растут не по дням, а по часам в своих пеленках; открываются сейфы Болгарского народного банка; чинно, как рыцари, стоят дрессированные прописные буквы; лев Серенгетти, поднявшись на монетах на задние лапы, смотрит в темноту и видит утро; проходит огромный автопоезд кита Голиафа; муха кружит по комнате, за ней тянется надпись «Покупайте в ЦУМе», а «Три мушкетера» хватают оружие «Троянской войны» и стоят на посту, охраняя от мухи младенца; раздается грохот сверхзвуковых самолетов; мыльные пузыри лопаются так, словно это трещат ракеты первомайского салюта; Шиншилле снится, что ее сжирает кошка, а кошке снится, что она сжирает Шиншиллу. И облачка летают по дому, перекатываются по дому волшебные облачка, а сам дом надевает роликовые коньки и легонько скользит на них, потом он звонит по телефону Ивана Барабанова другим домам на улице, те тоже надевают ролики и начинают скользить по асфальту. А гараж Ивана Флорова трогается с места, выезжает на четырех резиновых колесах на улицу и останавливается там, засмотревшись на это чудо из чудес.

Перевод с болгарского Н. ГЛЕН

ЕФРЕМ КАРАНФИЛОВ

МОЛОДОСТЬ ГЕРОЯ

Заметки о болгарской прозе

Молодой герой в литературе — тема удивительно широкая, а в известной степени и неопределенная. Ведь, как правило, наиболее интересные герои крупных литературных произведений молоды если не годами, то духом. Сама история молодого человека в литературе нередко отражает сущность эпохи (Гамлет, Вертер, Жюльен Сорель, Печорин, Власов, Корчагин и т. д.).

Нетрудно заметить, что молодой человек часто выступает как носитель активного начала: он путешественник и открыватель в широком смысле слова, борец и революционер, поэт и созидатель, а его сегодняшний день — это широко распахнутое окно в завтра. Вот почему, говоря о молодом герое в искусстве, следует говорить и о жизни, о тех ее сторонах, которые открыты будущему.

В то же время, обращаясь к нашей современной литературе, мы не можем не заметить, что молодой герой сегодня стал более противоречив и мозаичен, чем, скажем, лучшие герои Вазова или Елина Пелина.

Не останавливаясь на причинах подобного положения, скажу лишь, что в нашу динамичную эпоху, несомненно, трудно найти единый устойчивый и определенный тип молодого героя. С другой стороны, в искусстве он подвергается самым различным влияниям, которые разрушают его типологическое единство. Проблема постоянного и изменчивого в человеческом характере, в сущности, одна из наиболее интересных, когда мы касаемся литературного героя.

Душевная раздробленность героя — характерное явление для творчества многих крупных писателей современного Запада. Трудное искусство превращения индивидуального в типическое, столь характерное для великих реалистов прошлого, сейчас как будто начинает утрачиваться. Причины этого нужно искать прежде всего в характере самой личности, а уже затем в литературе.

Житель современного большого города на Западе вынужден не только работать, но и жить, как автомат. Он не может отгородиться от действительности, прикрыться щитом индивидуализма. В его дом, некогда бывший его крепостью, проникают голоса радио, лучи телевидения, которые оказывают на него постоянное духовное давление. Законы меркантилизма, как кислота, разъедают человеческие индивидуальности, превращая их в серый стандарт. Западная литература сегодня бедна подлинными героями, особенно молодыми. И здесь успехи социологии не могут восполнить утрат литературы.

В нашей социалистической действительности человек — это созидатель материальных и духовных ценностей, он активный участник событий. Через него осуществляется динамика социальных связей, с их внутренними противоречиями и очевидным взаимодействием. Сама сущность нашей социальной структуры является препятствием для той деиндивидуализации, которая так характерна для человека в буржуазном обществе. И то, что образ молодого героя в нашей литературе все еще мозаичен, а порой и расплывчат, указывает лишь на быстроту развития нашей жизни, на трудность кристаллизации общественных явлений в отдельном человеческом характере, на спешку, с которой мы пишем.

Если попытаться проследить хотя бы бегло эволюцию характера молодого героя в болгарской литературе, то мы увидим, что при большом эмоциональном подъеме, при единой вдохновляющей цели, которая

объединяет народные силы, легче проявляется и сущность определенного социального характера. В дни Сопротивления, в период Отечественной войны, а раньше — в дни Сентябрьского восстания (1923 года) были созданы крупные обобщающие образы молодых людей — выразителей стремлений, целей и воли больших социальных групп. Достаточно вспомнить хотя бы такие значительные произведения болгарской литературы, как «Село Борово» К. Велкова, «Иван Кондарев» Э. Станева, «Табак», Д. Димова, «Простые люди» Г. Караславова.

■

Начну с одного из самых «старых» молодых людей в современной болгарской прозе — с Марина Масларского из романа К. Калчева «Двое в новом городе». О нем уже много писали и в нашей и в советской критике. И все же он еще долго будет привлекать внимание.

Я не собираюсь здесь подробно разбирать образ Марина Масларского. Меня интересует прежде всего его духовная молодость. Несмотря на многие испытания, выпавшие ему в жизни, он остается молодым. Не случайно одновременно с романом «Двое в новом городе» К. Калчев написал повесть — исповедь мальчика «У истока жизни», где мы найдем источники тех чистых струй, которые живут в душе Масларского. Неуловимая на первый взгляд непосредственность, которую мы скорее ощущаем, чем обнаруживаем в логике характера Масларского, заставляет нас говорить о его духовной силе и молодости.

Мы редко встречаемся в нашей литературе с человеческими муками, сомнениями, страданием. Марин Масларский заставляет нас пережить все это. Он словно не только утратил мечту о человеческом счастье, но и познал тяжесть разочарований в любви и потери доверия к окружающим.

Две тенденции — любовь к жизни и разочарование в действительности — в образе самого Масларского противопоставлены, пожалуй, тезисно, потому что призваны оттенить не столько раздвоенность героя, сколько облик его любимой — Виолетты. Отношения с Виолеттой, этой неверной, поверхностной и очень жизнелюбивой женщиной, рассмотрены по-новому, но так, что они заставляют нас вспомнить о некоторых старых нравственных принципах. Мучительные попытки героя, с его хрупкой внутренней организацией, преодолеть сомнения и прийти к новой вере — основной пафос книги. Диалектическая сложность характера Масларского отражает динамизм революционной эпохи, ибо в этом человеке сочетается неприятие бездушности догматизма с признанием поэтической красоты нашего общественного идеала.

Противостоит ли Марин Масларский как характер Эмилияну Кирову из «Семи дней нашей жизни» Андрея Гуляшки? Если Масларский в плане эмоциональном (а не только логическом) представляет собой дальнейшее развитие характера мальчика из повести «У истока жизни», то Эмилиян Киров выступает как бы продолжателем дела Исая Дамова из предшествующего романа Гуляшки «Золотое руно». Два художника слова сумели в своих героях раскрыть разные тенденции нашего общественного развития и их связь с нашей современностью.

Книгу А. Гуляшки «Семь дней нашей жизни» можно назвать романом о пути одного человека. А. Гуляшки как бы сознательно ищет необыкновенную, отличающуюся от других, сильную и энергичную личность. Его основная идея состоит в том, чтобы показать, как такой человек под влиянием различных обстоятельств находит свое место в жизни.

Калчев сознательно обращается к рядовому партийному работнику. Его герой пострадал в годы культа личности и в новой обстановке медленно, постепенно, шаг за шагом вновь обретает утраченную веру в жизнь. Герой Гуляшки входит в атмосферу демократизации нашей общественной жизни со старыми представлениями о «волевой» личности, и поэтому ему так трудно акклиматизироваться. Писатель говорит об отношении между большой целью и средствами ее достижения, между человеком, призванным выражать народные стремления, и людьми, которые по тем или иным причинам должны ему подчиняться. Герой Гуляшки «не типичен» в том смысле, что он не представляет собой некой среднеарифметической величины. Это молодой человек, наделенный богатыми возможностями и сознанием своей роли и значения. Автор намеренно создавал его крупными штрихами, избегая детализации, умело пользуясь средствами очерка; он стремился достигнуть большей правдоподобности. Внутренняя драма Эмилияна Кирова получила художественно убедительное воплощение. На примере этого характера молодого человека мы начинаем понимать, как полезно и необходимо некоторым честолюбивым людям пережить «семь дней своей жизни».

В небольшом по объему романе А. Гуляшки действие как бы спрессовано во времени до семи дней, когда нужно решить кардинальные вопросы жизни. Конденсируется при этом и образ героя. Масштабность и смелость обобщений, творческая самостоятельность — вот качества Эмилияна Кирова, которые характерны для нашей современной молодежи. Вместе с тем в нем нет теплоты, понимания обыкновенных радостей простых людей и уважения к ним, нет разборчивости в средствах достижения цели.

Некоторых критиков смутило такое заострение образа героя. Отсутствие детализации в раскрытии душевных переживаний, использование аллегорий, символов, всякого рода публицистических отступлений — все это на первый взгляд дает основания говорить об известной тезисности в обрисовке героя.

Но это только на первый взгляд. Характер Эмилияна Кирова углублен психологи-

чески. В нем раскрыта психология тех, в чьих сердцах пламенеет ярость к старому богу, потому что в глубине души они все еще преданы ему. Вот в чем трагедия Эмилияна Кирова.

А. Гуляшки, всегда предпочитавший романтических героев, и теперь остается верен себе. Не боясь пафоса в обрисовке характера, он ставит нас перед новыми проблемами поисков жизненной правды и перед новыми сторонами образа молодого современника. Его романтика обращена к современным проблемам. Потому она действенна и впечатляюща.

В том же ряду находится еще один характер. Это тоже не совсем молодой герой, но Богомил Райнов в своей новой повести «Дороги в никуда» заставляет нас поверить в его молодость. Научный работник Петр Александров рос и складывался в годы культа личности. Как и Марин Масларский, он глубоко травмирован. Сейчас он тяжело болен, умирает. Подобно Эмилияну Кирову, он уходит из жизни в расцвете своих сил. Смерть его сродни самоубийству человека, который сдался, опустил руки. На больничной койке он подвергает переоценке свою молодость, свой жизненный путь, соизмеряя их с теми большими изменениями, которые произошли в общественной жизни. Повествование ведется от первого лица, но сам писатель непосредственно вмешивается в судьбу героев. И мы видим, что в герое его горит внутренний огонь, живет стремление к истине.

Петр Александров исполнен жизнелюбия и энергии, веры и несокрушимой силы. В биографии этого интеллигента-коммуниста, который скромен, но тверд, переживает любовь и разочарование, как будто нет ничего необыкновенного. С тонким мастерством автор воскрешает его прошлое, заставляет нас, не забывая об этом прошлом, думать о настоящем. Прошлое и настоящее вырисовываются стереоскопически рельефно. Здесь видно подлинное искусство ретроспективного повествования, присущее лишь немногим писателям.

Однако не будем специально останавливаться на особенностях художественных средств писателя, а обратимся к сущности характера героя. По-настоящему он был счастлив только тогда, когда открыто боролся и когда верил. В кабинете полицейского Гешева, стоя перед своим коварным противником, он чувствовал себя счастливым. Даже неразделенная любовь не омрачила в ту минуту счастья юноши. После свершения социальной революции энтузиазм борьбы перешел в энтузиазм строительства. Новые люди теперь окружают Петра Александрова и новые жизненные судьбы переплетаются с его судьбой. Он остается все тем же восторженным борцом и коммунистом. И так продолжается, пока он не встречается со Стоевым.

Теперь ему предстоит борьба с противником, стоящим по эту сторону баррикады, способным таить свои намерения под маской «принципиальности». Я не буду рассматривать эту борьбу шаг за шагом. О книге Б. Райнова советский читатель уже хорошо знает. Важно подчеркнуть, что Петр Александров в силу своих личных качеств оказывается не способным обезвредить своего искусного противника и, находясь рядом с этим нравственно нечистоплотным человеком, занимающим профессорскую кафедру, начинает чувствовать себя морально запятнанным. Бацилла «стоевщины» раньше, чем болезнь печени, поразила здоровую ткань молодой души.

Можно обвинять героя Райнова в пассивности, в неспособности вести борьбу с беспринципностью, карьеризмом, но нельзя отказать ему во внутренней чистоте, юношеской вере в идеал. Только тот, кто глубоко и искренне верит, может испытать такое глубокое отчаяние. Исходя из социальной мотивировки характеров, писатель создает жизненно убедительный конфликт, а образы его приобретают общественную значимость.

К этим ярким героям нашей современной литературы можно было бы добавить еще множество живо и интересно воссозданных молодых людей из романа «Мужчины» Г. Маркова, некоторых героев П. Вежинова, И. Петрова, И. Радичкова, Л. Дилова. Всех их глубоко волнуют насущные общественные проблемы, они переживают сложное психологическое развитие, внутренне оставаясь честными и готовыми к борьбе. Многие из них оказываются способными преодолеть все преграды, чтобы найти социальную и личную правду. Вспомним хотя бы о Марии из романа А. Наковского «Мария против Пиралкова», о мальчике из «Жаркого полдня» И. Радичкова. Они — носители творческого начала в нашей жизни, в их характерах по-разному проявляется их вера в наше социалистическое будущее.

■

Как реакция на книги, создававшиеся в годы культа личности, в нашей литературе начался и разговор о героизме и антигероизме, о человеке «необыкновенном» и «рядовом», о патетике борьбы и будничных слабостях в характере нашего современника. Во всем этом давала себя знать историческая необходимость. Однако по логике инерции мы пришли к другой крайности — к отречению от всякого героизма и к тенденции вовсе не говорить о трудовой деятельности людей, отрывать нравственные проблемы от тех переживаний, которые связаны с работой, с социальным утверждением личности.

После того как этот сравнительно короткий период в нашей литературе миновал, некоторые писатели снова обратились к образу человека, непосредственно связанного с производством. Теперь стала «модной» тенденция изображать нарочито грубую мужественность героя-строителя, как бы оттеняющую его внутреннюю чистоту.

ЕФРЕМ КАРАНФИЛОВ
МОЛОДОСТЬ ГЕРОЯ

В этом есть известная жизненная правда, потому что шахтеры горных рудников, строители гидросооружений, кооператоры из бедных горных сел действительно живут все еще в суровых, трудных условиях. Плохо, однако, что в этой тенденции намечается известное однообразие. Так, после того как с «грубыми мужчинами» на больших стройках познакомил нас Т. Монов в романе «Смерти нет», появилась целая плеяда писателей, продолживших галерею таких же персонажей. Это К. Странджев, Э. Калычев, С. Бабаков и др.

В рассказе одного из молодых писателей, Колю Николова, «Образ в белом свете», давшем название небольшому его сборнику, герой выступает, с одной стороны, против излишнего пафоса, напыщенных фраз, а с другой — против размягченности и сентиментальности. Автор стремится изобразить героический подвиг так, чтобы пафос оставался глубоко скрытым. Поэтому подчас в повествовании сквозит ироническая нотка в отношении к герою произведения. Через удачно найденные подробности писатель заставляет нас проникнуть в душевный мир «маленького» человека, хотя внутренняя связь между общей атмосферой и психологическими процессами в характере персонажа часто при этом утрачивается. Лучшее у этого молодого, но несомненно наблюдательного автора — именно поэтическая струя, пробивающаяся неожиданно и робко в разных местах повествования.

Не буду останавливаться на многочисленных героях Косты Странджева, другого нашего молодого писателя, хорошо знающего психологию строителей больших Родопских плотин и рудников и умеющего рассказывать о них так, словно он вместе с ними совершает трудовые подвиги, умеющего выразить веру и волю тех, кто изменяет облик глухого горного края. Своей новой книгой «Сколько стоит человек» он сумел сказать новое слово о молодом строителе. Такие персонажи, как Христо Максимов, Васил Андреев, раскрывают нам некоторые стороны этого героя, внешне грубого, но внутренне деликатного, показывают, что этот молодой человек, умеющий по-настоящему трудиться, но желающий веселиться с нарочитым размахом и наивной расточительностью, не так уж прост и прямолинеен.

В рассказах Эмила Калычева, написанных крайне экономно, повествование строится вокруг конкретного случая или события, и герои действуют в тщательно, детально выписанной обстановке. Характерен рассказ «Свидетельство о честности», давший название одной из его книг. Здесь мы вновь встречаемся с образом внешне неотесанного, грубоватого, но внутренне чистого и наивного человека — человека, который выступает против привычных, прописных истин. Есть что-то общее и красивое в активных, энергичных людях дела и борьбы, не способных разобраться в бесчисленных лабиринтах, искусно создаваемых некоторыми бюрократами.

Не будем разбирать все образы молодых людей в книгах, действие которых происходит на наших стройках. Мы встречаемся с ними на полях сельскохозяйственных кооперативов (как в сборнике рассказов Ст. Ц. Даскалова «Осеннее сено»), в трудовых буднях армейской жизни (как в повести Р. Игнатова «Кусочек неба на троих», в произведениях Н. Хайтова, автора, наделенного поистине первозданной силой и здоровым реалистическим чувством). Исторический пафос нашей социалистической современности и молодости звучит в рассказах и повестях Лады Галиной, и особенно в ее романе «Цвет источника», где проблемы стройки показаны через призму сложных и трудных судеб героев.

Наиболее характерное и важное в изображении наших молодых строителей состоит в том, что писатели стремятся раскрыть их героизм, который возникает в повседневной действительности неожиданно. Это правдиво по существу и отвечает облику нашего современника. Но мне думается, что боязнь пафоса, ярких колоритных фигур не всегда оправдана. Нарочитое приземление героического до обыденного не дает возможности писателям показать сложные переживания героев, всю гамму их чувств и патетику подвига. Здесь кроется одна из причин того, почему в болгарской прозе о стройках все еще нет героя, равного по художественным достоинствам лирическому герою Пеньо Пенева. Очевидно, мало просто воспроизвести внешнюю грубость при сопутствующей ей внутренней честности. Надо подняться до поэтической взволнованности, чтобы раскрыть сложность характеров, чтобы создать более сильные произведения. Актуальная и трудная задача — показать, как наши социалистические идеалы будят творческое начало в обыкновенных строителях и превращают их в подлинных творцов. В прошлом на протяжении многих лет и десятилетий люди работали по-старому. Сегодня они непрерывно ищут обновления, преодолевают старые формы, не выносят инерции привычки.

Наш молодой современник голому энтузиазму предпочитает компетентность, фразе — дело. Он ироничен и насмешлив ко всему, что хоть отчасти напоминает позу, напыщенную фразу, и только творческие стремления, рушащие устаревшие схемы и догмы, вдохновляют его. Живой человек сложнее всяческих постулатов, и поэтому трудно воссоздать в литературе душу этого героя. Сегодня в искусстве производственная обстановка и человек в его социальной функции, взятые сами по себе, не в состоянии заменить невидимую биографию духа. Отсюда и большая трудность для писателей: здесь не могут помочь никакие схемы.

Если говорить об интеллектуальном герое и его участии в нашей современной жизни, то нужно отметить роман Эмила Коралова «Чинары зашумели». Писатель вплетает нравственные проблемы современности в ткань повседневной жизни. За мелкими заботами они открываются по-новому и наполняются внутренним смыслом. Э. Коралов не сумел избежать одной из частых

схем, используемых в развязке для торжества правды,— появления в конце книги членов проверочной комиссии или высокого государственного руководителя, которые с легкостью разрешают нравственные проблемы, после чего правда торжествует.

Среди многих героев романа нас привлекает молодой журналист Любен Калинков, человек, который в любых условиях, всегда и везде борется за истину. В нашей прозе мы уже встречались с подобными героями. Правда, как характер, Любен Калинков бледнее своего отца, старого учителя, уступает ему в силе и душевной молодости. Наиболее интересно отношение молодого Калинкова к Елене Мерджановой — героине романа. Именно здесь мы наблюдаем нечто живое, типичное для современной любви молодых людей, хотя действие и развивается в маленьком провинциальном городке, где новое и старое причудливо переплетаются.

Если окинуть взглядом образы молодых героев в современной литературе, то нетрудно заметить, как в них отражаются разные стороны нашей молодежи — в зависимости от позиций и творческой индивидуальности писателей. Каждый писатель по-своему раскрывает интеллектуальные и эмоциональные конфликты молодого человека, привносит свои черты в его образ. И если объединить их все, то получится сравнительно полный собирательный портрет. Разнообразие в толковании образа указывает как на богатство стилей и выразительных средств отдельных писателей, так и на душевное богатство самого молодого человека, который столь властно вторгается в нашу литературу.

Исследуя образ молодого героя, мы можем уловить и некоторые новые тенденции в болгарской литературе, характерные для последних лет ее развития.

Прежде всего следует обратить внимание на усиление интереса к внутреннему миру человека. При этом моральная проблематика не рассматривается в отрыве от производственной, а, напротив, изображается в тесной связи с самыми значительными социальными явлениями современной действительности. Это дает возможность талантливым авторам проникать глубже в душевный мир героя и открывать зарождение психологических процессов, раскрывать сложные и противоречивые мотивы, которые часто борются в душе человека. Понятия «положительный» и «отрицательный» герой, ранее связывавшиеся часто только с социальной их сущностью, а не с их внутренним миром, теперь обогащаются. И это естественно, потому что в одном и том же герое порой могут бороться различные тенденции, сочетаясь в бесчисленных комбинациях. Вспомним хотя бы героев К. Калчева, П. Вежинова, А. Гуляшки, Б. Райнова, И. Радичкова и др.

При изображении сложного духовного мира героя писатели часто пользуются современной литературной техникой—так называемым потоком сознания, сменой ассоциаций, и тем не менее это не влияет на цельность образа человека, всегда остающегося в центре внимания автора. В этом отношении большинство наших писателей не поддалось тем западным влияниям, в которых за сложностью ассоциаций исчезает человеческий характер.

Некоторые прозаики отказываются от традиционной описательности и строго последовательного изображения событий в хронологическом порядке. Вместе с тем они нередко стремятся говорить на «ты» с читателем, не боясь публицистических или лирических отступлений, которые придают произведениям доверительную интонацию, лирическое звучание или заостряют их общественный смысл. Часто усиление «личного начала» в прозе вызывается стремлением к большей непосредственности в общении с читателями и дает большую свободу автору в раскрытии его концепции. В этом отношении особенно характерны новые произведения И. Радичкова — от «Дурного настроения» до «Козьей бороды».

Весьма характерно, что болгарские писатели нередко обращаются к своей биографии, и тогда возникают интересные книги о детстве, как «У истока жизни» К. Калчева, «Детство» Л. Стоянова, «Среди народа» К. Григорова.

Строгие контуры жанров начинают расплываться. Появляются и свежие книги путевых очерков. Мечты о романтике путешествий, открытий, столь свойственные юности, находят интересные воплощения в наш век технических скоростей, когда путешествие сразу оборачивается прибытием. Характерны в этом отношении путевые заметки И. Радичкова о Советском Союзе «Неосвещенные дворы» или «Европа без солнца» Ст. Ц. Даскалова.

У эссеистской прозы в современной болгарской литературе также есть несомненные удачи. Хотелось бы здесь напомнить о книге «Фрагменты» А. Далчева, о воспоминаниях С. Радева, «Вершинах» К. Константинова, эссеистских заметках И. Волена «Мысль и слова» и др.

И наконец для нашей современной литературы характерен и расцвет мемуарного жанра — особенно связанного с темой Сопротивления, где главными героями выступают молодые люди. В одном из своих эссе по поводу осужденных на смерть во время второй мировой войны антифашистов Томас Манн пишет, что иной раз сила литературы достигает силы жизни, но бывает и так, что сила жизни в ее драматических моментах превращается в подлинную литературу. Эти слова приходят на ум, когда читаешь партизанские воспоминания Митки Грыбчевой, Елены и Добри Джуровых, Славчо Трынского, Петра Илиева.

Современная болгарская проза становится более разнообразной, более гибкой и в сущности более близкой нашей жизни. Проблемы типизации и жизненной правды получа-

---

ЕФРЕМ КАРАНФИЛОВ
МОЛОДОСТЬ ГЕРОЯ

ют новое осмысление, не теряя своего глубокого общественного значения. Таким образом, естественно и непринужденно наша проза поднимается до больших вопросов социалистического гуманизма, когда народность и партийность взаимно обогащаются.

Не стану перечислять все новое, что возникает в нашей литературе, рисующей молодого героя. Важно подчеркнуть, что это новое появилось и продолжает развиваться не только как следствие обновления творческой атмосферы в литературе последнего десятилетия, но и благодаря требованиям самой жизни, с которой литература вступает в более тесный контакт, благодаря решительному вторжению в нее образа молодого героя. Его богатый душевный мир, сложность переживаний, влияние на него всей разнообразной духовной атмосферы, которой проникнута наша современность,— все это требует от писателя большей взыскательности, большей глубины, большего богатства выразительных средств.

Одним из интересных вопросов, волнующих не только писателей, но и социологов, занимающихся проблемой молодежи в капиталистических странах Запада, является вопрос о взаимоотношениях между эгоистическо-потребительским и общественно-творческим началом в душе молодого человека. Уже много написано о нигилистических стремлениях и о силе вещей, разлагающих духовное богатство молодого человека в капиталистических странах, об отчуждении и одиночестве человека в толпе, о страхе перед будущим. Алчная жажда развлечений часто прикрывает глубокий пессимизм, животный страх перед будущим.

Встречаются и у нас молодые люди, которые предпочитают радоваться результату, не заботясь о том, как он достигнут, для которых вопрос «как» важнее вопроса «почему». Литература показывает — для того чтобы устроиться в жизни, хорошо жить, работая мало, нужно отмести присущий молодости вечный вопрос «почему», вопрос, который является результатом творческого сомнения, беспокойства. Что важнее: ради покоя и хорошей жизни пожертвовать лучшим в себе или же ради лучшего в себе пожертвовать хорошей жизнью?

Как видим, болгарские писатели борются со схематическими представлениями о жизни, с догматизмом, с карьеризмом и современными разновидностями мещанства. Средствами искусства они стремятся обогатить облик современного человека. Их усилия обращены к раскрытию богатства человеческой личности. Если догматик воюет против человеческой индивидуальности, против сложных душевных переживаний, то современный болгарский писатель обращается к тем живым эмоциям, чувствам, которые всегда конкретны и не умещаются в схеме и шаблоне. Не случайно в повести Райнова «Дороги в никуда» карьерист Стоев нападает на Петра Александрова за то, что тот «предается переживаниям». И не случайно Стоев так легко выходит победителем. Догматики любого происхождения менее чувствительны и часто бывают более приспособлены к борьбе. Вот почему, сражаясь за большое внутреннее богатство своих героев, наши лучшие писатели стремятся не только к жизненной правде, но и к тому, чтобы преградить путь деиндивидуализации и дегуманизации — едва ли не самым большим опасностям литературы как творчества.

Проблема взаимоотношений между поколениями в нашей литературе остро не стоит потому, что она не стоит остро и в нашей жизни. Ее подымают в своих произведениях П. Вежинов («Мальчик и скрипка»), Э. Манов («Ваня и статуэтка»), Д. Фучеджиев («Гневное путешествие») и др. Несомненно, старшее и молодое поколения не похожи друг на друга, порой их представители не понимают друг друга, но не в существенных и кардинальных вопросах нашей жизни. Об этом рассказывает Д. Фучеджиев в повести «Гневное путешествие». В основе ее лежит конфликт между отцом — ученым с большими заслугами и разгневанным сыном, который его не понимает. Развязка дается в психологической плоскости: отца и сына сближает то, что для них важнее всего,— любимая профессия, геология, существующая для них обоих не как перечень научных формул и постулатов, а как живое творчество. Конфликт преодолен через творческое начало, горящее в каждом из наших людей, строителей социализма, независимо от того, к какому поколению они принадлежат.

Хотелось бы сказать несколько слов также о первой книге молодого писателя Милчо Радева «По тротуару». Вначале кажется, в ней многое знакомо. Даже сам сюжет строится привычно. Молодой человек, на сей раз врач, уезжает на строительство и там сталкивается с трудностями, которые — как мы уже с самого начала убеждены — он преодолеет и из которых выйдет победителем. И все же есть здесь нечто новое — писатель попытался проникнуть в сокровенное, раскрыть душевный мир героя. Этот герой не только страдает от несамостоятельности, присущей молодым людям с психологией так называемых «примерных учеников», окруженных родительской заботой, но еще и до известной степени безволен. То, что любимая им девушка, которая видит его слабости и которой он не нравится, отправляет его на строительство, дабы он там возмужал,— представляется надуманным. С другой стороны, есть здесь и психологическая правда: неудача в любви может заставить чувствительного и самолюбивого молодого человека порвать с привычным образом жизни и показать самостоятельность характера. Таким образом, в этой книге конфликт преодолевается в труде и через труд.

Раскрытие сложных переживаний личности, взятой в разнообразных условиях ее бытия, показывает как духовный рост нашей молодежи, так и новые условия жизни

социалистического коллектива. Только творчески богатые индивидуальности могут образовать здоровый коллектив. Проникая в глубины острых человеческих проблем, писатели вместе с тем обнажают и сущность важнейших социальных и эстетических вопросов нашей современной жизни и литературы. Логически следуя в этом направлении, нельзя не убедиться, что богатство личности и раскрытие ее истинных возможностей связаны со способностью к активной деятельности во имя социалистических идеалов.

Подлинное творчество — это смелость, выход за рамки испытанного, привычного. Это движение по нехоженым тропам. Всякое творчество несет в себе риск и готовность его преодоления. И наоборот: подлинная смелость — это творчество. Хорошее может быть показано каждый раз иной стороной и выступать новым, неведомым. Поэтому героизм и творчество — это две стороны жизни, лучшее, что в ней есть, и прямая антитеза мещанству.

Прослеживая творческое начало у современного молодого человека как одну из основных особенностей нашей действительности и литературы, необходимо подчеркнуть огромную роль общественного и этического идеала. Этот идеал стал внутренней сущностью характера и эмоционально окрашивает его. Для подлинной молодежи он — не лозунг, не отвлеченная формула, а живая сущность. Он воплощается в обостренном гражданском сознании, в критическом чувстве, в творческом беспокойстве и непрерывных поисках новых средств и путей к активному взаимодействию с жизнью.

Раскрыть этот идеал художественно-убедительно, впечатляюще — вот к чему стремятся наши писатели.

г. София.

Перевод с болгарского А. ОПУЛЬСКОГО

Критика

А. СТАРЦЕВ

ПЕСНЯ О СЕБЕ

К 150-летию со дня рождения Уитмена

1

Юбилейная дата Уолта Уитмена, приходящаяся на май этого года, позволяет еще раз вернуться к некоторым важным проблемам, возникающим в связи с его жизнью и творчеством.

Если говорить об Уитмене, касаясь вопроса о национальных особенностях культуры США, нужно будет признать, что во всей американской словесности не было другой, столь поразительной по своеобразию и характерно американской по своему складу фигуры.

И второе, что нужно сказать об Уитмене теперь, когда парадоксальные стороны его творчества перестали казаться сенсацией и привлекать к себе чрезмерное и преувеличенное внимание, — что ему удалось с редкой силой и искренностью выразить многие важные черты американской народной жизни, как они откристаллизовались на протяжении истории США, и что вклад его в мировую поэзию в огромной мере связан именно с этим.

И третье — что главнейшее противоречие американской культуры, разрыв между так называемым «американским мифом» и американской действительностью, сказалось с особенной остротой в творчестве Уолта Уитмена, и те, кто писал и пишет по сей день статьи (и целые книги) о пресловутом оптимизме Уитмена, слишком часто не видят или не хотят замечать трагического отпечатка, накладываемого этим разрывом мечты и реальности на мысль и судьбу поэта.

2

Один из традиционных сюжетов обширной уитменовской литературы — различного рода догадки по поводу «чудесного превращения» тридцатишестилетнего нью-йоркского журналиста и плотника Уолта Уитмена в крупнейшего и оригинальнейшего из американских поэтов.

Проблема ставится так: то, что говорил и писал Уитмен до выхода «Листьев травы» весной 1855 года, нельзя считать в какой-либо степени предвкушением его поэзии. Стихотворные и прозаические опыты молодого Уитмена этой поры не представляют ценности и принадлежат, как формулирует один из его биографов, «к худшей традиции литературного чтива тех лет».

В этой связи западные уитменоведы выдвинули ряд гипотез, скорее притягательных для романиста, нежели для историка литературы. В одной из них говорится о страстной любви Уитмена к неизвестной нам женщине, якобы преобразившей его духовную жизнь и сделавшей его совершенно иным человеком. В основе другой гипотезы—мысль о религиозно-мистическом кризисе, постигшем Уитмена посреди его жизненного пути и ставшем для него источником «пророческого вдохновения». Позднейшие биографы фрейдистского толка внесли свою щедрую лепту, высказывая догадки еще более рискованные, но тоже весьма зыбкие. Так или иначе, теория двух разных Уитменов — до и после «Листьев травы» — нигде не подкрепляется фактическим материалом.

Если даже признать, что в появлении «Листьев травы» имеется некоторый элемент «чуда» (как и во всяком рождении поэта), то основным фактом биографии Уолта Уитмена остается единство — не только физическое, но и духовное—личности нью-йоркского журналиста и плотника и автора «Листьев травы» со всеми плюсами и минусами, из этого вытекающими. Огромная же противоречивость Уолта Уитмена—по преимуществу противоречивость самой американской действительности, его породившей и формиро-

вавшей из него и журналиста, и плотника, и поэта.

Читая «Листья травы» и одновременно историю жизни Уолта Уитмена, видишь воочию трудности, которые ждали поэта на предстоящем ему пути и которые далеко не всегда отступали перед могуществом его дарования.

Видишь автодидакта, мучительно преодолевающего провинциальность среды и ограниченный, узкий круг своего чтения.

Видишь, как пылкая вера поэта в прогресс человечества, в его лучшее будущее снижается им же самим до расхожих формул американской политической публицистики.

Тяга к новому, смелый отход от традиции получают навязчивое авторское истолкование как вызов Нового Света—«дряхлой Европе». И любовь к своей родине и к своему народу оборачивается броской рекламой США.

А за этим — неизбежные спады столь громогласно провозглашаемой веры в свое высокое назначение. И полувысказанные и, как следует думать, подавляемые тревоги.

Выступая с книгой стихов, Уитмен выступил одновременно с теоретическим обоснованием своей поэзии. Он предпослал первому изданию «Листьев травы» обширную декларацию, в которой изложил свою поэтическую программу и охарактеризовал свою миссию как воплощение «гения Соединенных Штатов». Это один из наиболее примечательных манифестов во всей истории американской литературы. Уитмен не перепечатывал свое предисловие в новых изданиях «Листьев травы», но зато включал целые куски из него в свои стихи и поэмы.

Те страницы манифеста Уитмена, в которых США прославляются как новоявленный гегемон человечества в моральной и эстетической сфере, вызывают сегодня недоумение и улыбку. Если американская литература сравнялась с литературами европейских стран, то в значительной мере как раз потому, что сумела проникнуть критическим взором в тайники американского буржуазного общества, обнажить его пороки и противоречия. Уитмен имеет в виду нечто совсем иное.

Так, например, он заявляет, что среди народов, населяющих землю, американцы обладают «наиболее поэтической натурой» из всех и сами Соединенные Штаты, собственно говоря, не страна, а «величайшая из поэм».

Он так говорит, хотя к этому времени «проза» буржуазных имущественных отношений уже глубоко укоренилась в американской жизни, а черствый утилитаризм, корыстность и беспардонность американского буржуа-дельца стали буквально притчей во языцех, были запечатлены Диккенсом в «Американских заметках» и «Приключениях Мартина Чезльвита» и получили прочную мировую известность.

Дальше Уитмен рисует своих соотечественников, не скупясь на неумеренные комплименты. «Свежесть их лиц и прямота речи», «великолепная небрежность осанки», «бессмертная привязанность к свободе», «отвращение ко всему неблаговидному и низкому», «чувство собственного достоинства и нежелание спускать обиду», «добродушие и щедрость», «независимость людей, не знающих, что значит принадлежать к низшему классу», — все это тоже, по его словам, «поэзия, хотя и без рифм».

Читая это, трудно не вспомнить известные строки современника и сверстника Уитмена, американского романтика Германа Мелвилла, высмеявшего в своем «Марди» национальное бахвальство американцев: «Да видели ли вы когда-либо подобную страну? Столь обширную и славную республику? Поглядите, какого мы все высокого роста! А ну, пощупайте-ка наши мускулы! Скажите теперь, разве мы не замечательный народ? Поглядите, какие у нас бороды!..»

В «Предисловии 1855 года» Уитмен почти не затрагивает вопроса о европейском культурном и литературном наследии; однако пренебрежение, с которым он говорит об историческом прошлом человечества вплоть до возникновения США («театрик античности», «сомиамбулизм средних веков» и т. д.), достаточно ясно показывает ход его мысли. Позднее он резко ставит эту проблему, противопоставляя американскую литературу (собственно говоря, свои стихи) всей литературе Старого Света, проникнутой, как он утверждает, «феодальным духом». «Те литературные образцы, которые пришли к нам из других стран, из-за моря, — писал он в «Перспективах демократии», — родились при дворах, росли и нежились в сиянии замков. Все они пахнут королевскими милостями... Великие произведения этой поэзии, включая Шекспира, отравны для гордости и достоинства простого народа, для жизненных соков демократии».

Сваливая в кучу без разбора все, что ему угодно считать «антидемократическими авторитетами прошлого», Уитмен клеймит эти «старые песни» как барскую блажь, чуждую жизни и интересам народа.

Так прочь же эти старые песни!
Эти романы и драмы о чужеземных дворах,
Эти любовные стансы, облитые патокой
рифмы, эти интриги и амуры
бездельников,
Годные лишь для банкетов...*

(«Песня о выставке»)

Там же задиристо и не без юмора он приглашает Музу переехать, как почетную эмигрантку, на постоянное жительство в Соединенные Штаты.

Муза, беги из Эллады, покинь Ионию,
Сколько еще переплачивать по этому
старому счету
За сказки о Трое, об ахиллесовом гневе,
о скитаниях Энея, Одиссея.
К скалам своего снегового Парнаса дощечку
прибей: «За отъездом сдается в наем...»

---

* «Песня о выставке» цитируется в переводе К. И. Чуковского.

А. СТАРЦЕВ
ПЕСНЯ О СЕБЕ

В последний период жизни Уитмен проявлял больший пиетет к литературному наследию прошлого и даже амнистировал коекого из «феодалов», но по существу его позиция не претерпела больших изменений. Не будем предъявлять чрезмерных претензий к поэту за эти и другие высказывания, которые на языке сегодняшней критики можно было бы квалифицировать как «буржуазно-демократический вульгарный социологизм». Притом, однако, нельзя не видеть, какую огромную роль в программе Уитмена играет «американизм», заставляющий его ограничивать все новое и прогрессивное, как в жизни, так и в поэзии, только и исключительно практикой Соединенных Штатов.

Из сказанного можно было бы сделать вывод, что американская буржуазная демократия приобрела в лице автора «Листьев травы» своего апологета и верного барда, если бы другие строки Уитмена из того же «Предисловия 1855 года» не заставляли сразу же в этом сильнейшим образом усомниться.

«Любите землю, солнце, зверей, — пишет Уитмен в своем «завете», обращаясь к читателям «Листьев травы», — пренебрегайте богатством, подавайте милостыню каждому, кто просит о ней, заступайтесь за малого и безумного, посвятите свой труд и заработок другим...»

Этот «завет» Уитмена, конечно, находится в явном конфликте с экономической и моральной программой столь безудержно им идеализируемого и стремительно развивающегося американского буржуазного общества.

Каков же был истинный взгляд Уитмена на США, на американскую жизнь?

Для того чтобы это понять, нужно глубже проникнуть в социальную проблематику его творчества.

3

«Песня о себе» — важнейшее и наиболее программное произведение Уитмена. Хотя эта поэма относится к начальному периоду его творчества, экспериментальна и полемична — в ней присутствуют все главные мотивы его поэзии, а также с громадной силой выражен ее основной пафос. Это попытка реализовать программу новой американской поэзии, выдвинутую в «Предисловии 1855 года», и предвосхищение всего, что было создано Уитменом в дальнейшем. Такие крупные вещи Уитмена, как «Песня радостей», «Песня о топоре», «Песня большой дороги», «Пионеры, о пионеры!», и большая часть лирики чрезвычайно убедительно соединены с его первой поэмой.

Намеренно не фиксированное сюжетом, свободное течение «Поэмы» допускает почти ничем не ограниченные вариации и переходы отдельных образов и мотивов на всем ее протяжении. Притом в ней присутствует определенный композиционный замысел, очень важный для понимания мысли Уитмена в целом. Я здесь коснусь только одной стороны поэмы — вопроса о том, кто ее герой, кого воспевает Уитмен.

На первый взгляд, ответ заключен в первоначальном заглавии поэмы, которая именовалась так: «Поэма об Уолте Уитмене, американце».

Но «Песня о себе» открывается знаменательными строками, из которых сразу видна узость такого решения:

Я славлю себя и воспеваю себя,
И что я принимаю, то примете вы,
Ибо каждый атом, принадлежащий мне,
принадлежит и вам...*

Уолт Уитмен, американец, беспечный и жизнерадостный обитатель Нью-Йорка, присутствует, конечно, в поэме, и его нетрудно найти:

Глядя все утро в витрины Бродвея,
приплюснувшись носом к зеркальному стеклу,
А после полудня шатаясь весь день по
проселкам или по берегу моря
с запрокинутым в небо лицом,
Обхватив рукою товарища, а другою
другого, а сам — посредине...
...Я теперь тридцати семи лет, в полном
здравии,
Начинаю эту песню, надеясь не кончить
до смерти.

Именно этому Уолту Уитмену принадлежат портретные зарисовки его соотечественников в первых разделах поэмы. Больше всего, как он сам заявляет, он любит простых рабочих, «что живут со скотом, дышат океаном или лесом», тех, что «владеют топором или молотом»:

Подручный мясника снимает одежду,
в которой он резал скот, или точит нож
о базарную стойку.
Я замедляю шаги, мне по сердцу его бойкий
язык и его бесшабашная пляска.
Кузнецы с волосатою закопченною грудью
встали вокруг наковальни...
Я стою на покрытом золою пороге и слежу
их движения...
Вверх поднимаются молоты, вверх так
медленно, вверх так увереннo...

В 15-м разделе поэмы эти зарисовки отдельных людей перерастают в многофигурную панораму, в опьяняющую картину бурной и разносторонней человеческой деятельности:

Чистое контральто поет в церковном хоре.
Плотник строгает доску, его рубанок
шепелявит с диким возрастающим
свистом...
Маляр пишет буквы на вывеске лазурью
и золотом...
Матросы закрепили пароходик у пристани
и бросили на берег доску, чтобы дать
пассажирам сойти.

Другие участники поглощены интеллектуальными интересами, искусством, политикой:

Знаток изогнулся и полуприщуренным
взором озирает картину на выставке.
Дирижер отбивает такт для оркестра, и все
музыканты послушны ему...
Президент ведет заседание кабинета,
окруженный важными министрами.

Так продолжается безостановочно, все с тем же напором, пока поэма не вступает в новую фазу. Герой перевоплощается.

Суть перемены в том, что Уолт Уитмен, американец, проникается столь безграничной

* «Песня о себе» цитируется в переводе К. И. Чуковского.

близостью к людям, которых воспел, что «входит» в них, отожествляется с ними и предстает читателю уже не в собственном образе, а в виде этих множеств людей.

И все они льются в меня, и я выливаюсь
в них,
И все они — я,
Из них изо всех и из каждого я лью эту
песню.

Изумленный герой вдруг чувствует, что он многолик. Он и южанин, и северянин, и янки-промышленник, и пионер-кентуккиец, и ранчеро из Техаса, и многие, многие другие:

Я всех цветов и всех каст, все веры и все
ранги — мои,
Я фермер, джентльмен, мастеровой,
художник, матрос,
Арестант, мечтатель, буян, адвокат,
священник, врач...

Но с особенной силой ему удается перевоплотиться в тех, кто страдает, взвалить себе на плечи чужое унижение и горе:

Я вижу себя в тюрьме в облике другого
человека,
Я чувствую тупую безысходную боль...
К каждому мятежнику, что идет в тюрьму
в кандалах, я прикован рука к руке
и шагаю с ним рядом.
(Я грустнее, чем он, я больше молчу, у меня
пот на искаженных губах.)

И еще, с потрясающей конкретностью:

Я этот загнанный раб, это я от собак
отбиваюсь ногами,
Вся преисподняя следом за мной, щелкают,
щелкают выстрелы,
Я за плетень ухватился, мои струпья
сцарапаны, кровь сочится и каплет,
Я падаю, на колени, в бурьян...
И вот меня бьют с размаху по голове
кнутовищами.

Но этим не завершаются метаморфозы героя.

Олицетворившись в других, добившись полного тождества с ними, он рождается в третий раз. Следует наиболее удивительная страница поэмы.

Если только что личность героя была растворена в бесчисленных людях, то сейчас она как бы вбирает в себя всех этих людей. Появляется гигант, сродни гигантам американского фольклора, который мог бы явиться собратом самому Полю Бэньяну.

Я Уолт Уитмен, я космос, я сын могучего
Манхэттена,
Буйный, дородный, чувственный, поющий,
едящий, рождающий...

Гигант разминается, он в расцвете сил и здоровья. Водопад Ниагара — «вуаль у него на лице». Он «упирается локтями в морские пучины», «обнимает сьерры», «покрывает ладонями сушу». Он запанибрата со стихиями:

Сусальное солнце, проваливай, не нуждаюсь
в твоей тепленькой ласке.

Зычным голосом он сообщает о своем жизнелюбии и оптимизме:

Я не хнычу сопливым хныком, которым
хнычет весь мир...

Он великий бахвал:

Я божество и внутри и снаружи, все
становится свято, чего ни коснусь.
Запах пота у меня под мышками ароматнее
всякой молитвы.

В то же время он ревнитель социального равенства и покровитель униженных:

Кто унижает другого, тот унижает меня...
Клянусь, я не приму ничего, что досталось
бы не всякому поровну.

Изображение странствий великана по американскому континенту в 33-м разделе поэмы сходно по применяемому приему с изображением людей и профессий в 15-м разделе, о котором уже говорилось. Изменились только масштабы: великан шагает от моря до моря и включает в свои «зрелища» не только людей, населяющих материк, но и природу, флору и фауну, всю страну.

Описанные три «ипостаси» героя поэмы далеко не всегда четко очерчены и разграничены так, чтобы их можно было рассматривать по отдельности. Напротив, чаще они находятся в состоянии движения и взаимопроникновения, переходя одна в другую и меняясь местами. Изменчивость, «протеизм» героя составляют душу поэмы. О нем можно с полным правом сказать словами его создателя, что он «весь не вмещается между сапогами и шляпой».

В чем смысл этой троичности героя поэмы? Как ее понимать?

Американец по имени Уолт Уитмен—рядовой гражданин американской республики, индивидуальная ячейка американской демократии, со всеми своими характерными особенностями, запросами и интересами. Хотя этот образ получает у автора весьма конкретную разработку, не позволяющую сомневаться в его реальности, он подвержен общей стихии текучести, господствующей в поэме, и потому так легко выясняется в ходе ее развития, что он не только нью-йоркский журналист Уолт Уитмен, но и «строгающий доску столяр», и «кузнец с волосатой грудью», и «маляр, пишущий буквы на вывеске лазурью и золотом», и очень многие другие. Таким образом, это не только определенная отдельная ячейка американской демократии, но и всякая ее отдельная ячейка. Благодаря же такой структуре образ имеет тенденцию перерастать в собирательный образ демократии в целом, и неожиданное появление метафорического великана в «Песне о себе» получает в этом плане законное истолкование.

Таким образом, заключая этот краткий анализ, можно сказать, что по замыслу поэта героем поэмы выступает и он сам, Уолт Уитмен, и каждый американец, и Соединенные Штаты в целом.

То, что герой «Листьев травы» и личен и безличен, индивидуален и тысячелик, имеет серьезное, принципиальное значение для

А. СТАРЦЕВ
ПЕСНЯ О СЕБЕ

трактовки всей темы американской буржуазной демократии в «Песне о себе».

Окончательно скомпонованное издание «Листьев травы» открывается стихотворением, первое двустишие которого звучит как лозунг и действительно представляет для Уитмена род заклятия, перед которым должны «стушеваться» противоречия книги:

Одного я пою — простую отдельную личность
И все же твержу слово Демократия, слово En masse *.

С большим чутьем Уитмен нащупывает здесь центральный пункт всей своей социальной проблематики, как певца идеализированной буржуазной демократии. Если он сможет, не погрешая против реальности, воспеть отдельную, активно действующую частицу своей демократии и одновременно всю демократию в целом как гармонически слаженный коллектив, тогда его задача будет разрешена. Но была ли вообще выполнимой эта задача?

4

Уитмен выступил в роли поэта американской буржуазной демократии в момент, когда она переживала относительно лучезарный период своего развития. Экономические невзгоды, постигавшие ее, казались еще преходящими, социальные противоречия — устранимыми, и перспективы роста и совершенствования — как бы неограниченными. Романтические критики капитализма в США, такие как Готори или Мелвилл, с тяжелыми предчувствиями или даже с прямым омерзением отворачивались от бурного течения американской жизни. Отдельные, более проницательные мыслители, соприкоснувшиеся с идеями социализма, трезво анализировали американскую действительность и находили в ней растущие предпосылки непримиримых социальных конфликтов. Тем не менее массы американского народа были настроены оптимистически и верили в безоблачное будущее американской демократии. Они пришли к первым тяжким разочарованиям в десятилетия после Гражданской войны Севера с Югом, когда дальнейшее развитие капитализма в США обнаружило с очевидностью, что демократия расколота на противостоящие один другому социальные классы, что буржуазия безраздельно господствует в американской жизни и открыто строит свое благоденствие за счет трудящихся, огромного большинства населения страны.

Особенность молодого Уитмена среди великих американских писателей, его современников, заключается в том, что в 40-х и в 50-х годах он развивается как идеолог вне сферы идей критически настроенной интеллигенции и занимает по многим вопросам позицию рядового представителя американской буржуазной демократии своего времени. Так молодой Уитмен полностью принимает доктрину «свободной экономической деятельности», вплоть до отказа поддерживать борьбу американских рабочих за законодательное ограничение рабочего дня и за право на стачки. Волнующие трансценденталистов идеи утопического социализма оставляют его холодным. Он отмежевывается и от аболиционистов.

Это не должно понимать в том смысле, что он поддерживает фабрикантов против рабочих или терпимо относится к рабовладению. Уитмен-журналист 40-х и 50-х годов — левый демократ и затем фрисойлер — ставит во главу угла благоденствие масс. Однако он еще полагает, что американская буржуазная демократия настолько совершенна в своей основе, что сумеет лучше всего излечить свои недостатки сама без какого-либо прямого вмешательства или мучительной перестройки.

Даже в «Восемнадцатых выборах президента», не увидевшем света памфлете, где Уитмен развивает исключительно резкую критику антинародных сторон американской политической жизни, на жгучий вопрос, следует ли возвращать беглых рабов их хозяевам-рабовладельцам, он отвечает: «Да, следует!» — ссылаясь притом на соответствующие параграфы конституции США. За два года до этого, отвечая на тот же вопрос, лидер аболиционистов Уильям Ллойд Гаррисон сжег конституцию на публичном собрании в Бостоне. Но Уитмен пока что считает конституцию США «величайшим из когда-либо созданных моральных сооружений».

Во многом и далее он исповедует как оптимистические надежды, так и некоторые предрассудки масс, держится за них до последней возможности и делит разочарование народа, когда «вдруг» обнаруживается иллюзорность этих надежд.

Так обстояло дело с Уитменом — идеологом и гражданином буржуазной республики, от всей души желавшим ей процветания. Но Уитменом-поэтом в то же самое время владели другие чувства, не уступавшие первым по своей интенсивности. Он желал счастья каждому угнетенному человеку, и любая несправедливость была невыносима для него, какие бы убедительные доводы в извинение ее ни приводились.

Подобный конфликт принимает подчас у Уитмена «вопиющий» характер.

Не только в 1840-х годах, но и в 1850-х он не раз порицал за «фанатическое безумие» сторонников немедленной и насильственной борьбы с Югом, считая их опасными экстремистами. Это умонастроение достигает кульминационной точки в равнодушии Уитмена к судьбе Джона Брауна — знаменитого вождя антирабовладельческого восстания, казненного южанами в 1859 году. Вспоминая позже свою реакцию на казнь Брауна и не пытаясь задним числом себя обелять, Уитмен говорит, что она «не лишила его аппетита, не испортила ужина».

Но в сохранившейся беглой заметке, современной событиям, тот же Уитмен пишет, что намерен «воспеть» смерть Брауна. И когда он в стихах касается этого замысла («Год метеоров»), то сдержанный жар его строк полностью исключает всякое равнодушие:

* Все вместе *(франц.)*.

Я спою о том, как высокий старик с седой
головой поднялся на эшафот в Виргинии.
(Я был тут же, я стоял, стиснув зубы,
я наблюдал,
Я был рядом с тобой, старик, когда,
невозмутимый, бесстрастный,
Дрожа лишь от старости и кровоточащих
ран, ты поднялся на эшафот).

Принимая «свободную игру экономических интересов», это евангелие буржуазного общества, Уитмен не мог исключить фабрикантов и банкиров из демократии, которую он воспевал. Признать их несовместимость с демократией значило бы тем самым признать несостоятельность общественного порядка, в котором каждый из мелких собственников стремится стать крупным собственником. Поэтому в «Перспективах демократии», желая свести концы с концами, Уитмен писал, трудно сказать с какой степенью убежденности: «Для меня очевидно, что необычайная энергия в делах и почти маниакальная жажда богатства, господствующая в Соединенных Штатах, являются элементами совершенствования и прогресса, необходимыми, чтобы подготовить те конечные результаты, к которым я стремлюсь».

Однако Уитмен-поэт исключает эксплуататоров из своей демократии. В стихах 1850-х годов, опубликованных после смерти Уитмена, читаем такие строки:

Приходилось ли вам слышать чавканье
обжор, набивающих себе брюхо
И хихикающих над тем, что другим нечего
есть?
Когда же худой и голодный смущенно
подходит взять свой кусок,
Их спокойствие сменяется злобной
истерикой...

И хотя в «Песне о себе», объединяя себя с миллионами американцев, он утверждает, что «все касты — мои» и «все ранги — мои», на поверку, как и следовало ожидать, он может перевоплотиться в мятежника, но не может в тюремщика, может — в загнанного раба, но не может — в плантатора, может — в рабочего, ремесленника, фермера, но не может — в капиталиста.

В «Перспективах демократии» Уитмен констатирует без какого-либо протеста, что американская демократия «с подозрением и неудовольствием» смотрит на очень бедных людей. И действительно, само существование бедного человека есть прямой вызов обществу, которое утверждает, что предоставляет каждому из своих членов неограниченные возможности благоденствия. Однако тот же Уитмен обращается к американским рабочим с призывом «не богатеть» и берет на себя смелость в США середины XIX столетия, где жажда обогащения и вера в материальный успех были родом общественной религии, воспевать неудачника и «того, кто потерпел поражение».

Как примирял Уитмен все эти крайности? С характерной для него интуицией он живо чувствовал, что в его взгляде на американскую социальную жизнь заключено непримиримое противоречие, и пытался узаконить его «поэтически».

«Я противоречу себе?» — вопрошает он воображаемого оппонента в одном из последних разделов «Песни о себе» и отвечает: «Отлично, значит, я противоречу себе» (поясняя небрежно: «Я велик, я вмещаю многое»).

На самом деле все обстояло гораздо тревожнее. Те, кто привык отождествлять поэта с его бравурно-оптимистической музой, часто не знают других, менее известных, его стихов, как бы вырвавшихся ненароком.

Быть может, самое поразительное из них — это десятистишье 1860 года «Я сижу и смотрю»:

Я сижу и смотрю на горести мира — я вижу
позор, произвол, гнет,
Я вижу незримые слезы, я слышу рыдания
юношей,
Которых мучает совесть, раскаяние
в подлых поступках,
Я наблюдаю уродства жизни: вот матери,
брошенные детьми, голодные нищие,
близкие к смерти,
Вот жены, чья жизнь исковеркана мужем,
а вот вероломные соблазнители;
Я вижу все, что скрыто от взора,—
страдания ревности и неразделенной
любви, все тайные язвы людские,
Я вижу битвы, чуму, тиранию, я вижу
замученных, брошенных в тюрьмы,
Я вижу голод на корабле — матросы
бросают жребий, кого убить, чтобы
спаслись остальные,
Я вижу высокомерье богатых, агонию
нищих — рабочих и негров и всех,
кто делит их жребий.
Да, все — и низость одних, и бесконечные
муки других — я, сидя здесь, наблюдаю,
Я вижу, я слышу, и я молчу *.

Что значит это «...и я молчу» в устах поэта, хвалящегося на весь мир своей неутомимой луженой глоткой? Или он втайне чувствует сам, что это цена его оптимизма, выкуп, который надо платить за должность идеолога и трубадура буржуазной демократии?

Подлинные герои Уитмена, о которых он пишет, что «больше всего их любит», были рядовыми людьми воспеваемой им демократии, и его забота была — о них. Каждый и любой из этих людей был глубоко симпатичен Уитмену и вызывал в нем энтузиазм. Однако в каждом из них можно было увидеть как бы двух людей разом: один был труженик и добрый товарищ, другой стремился к успеху и обособлению. Это были два лика мелкого собственника в буржуазном обществе. Уитмен ищет равновесия этих противоречивых черт, когда говорит в «Предисловии 1855 года» о «безмерной гордости души» и «безмерной способности сочувствия», о двух близнецах, в которых «заключена наивысшая тайна искусства». Это противоречие выражено в «Песне о себе» в виде характерной «антиномии», живущей в душе героя: «Нет мне забот о других, я только и забочусь о других». Общественные связи, которые объединяли героев Уитмена как членов буржуазной демократии, апеллировали, главным образом, к первому их качеству — «гордости души», иначе говоря, к индивидуализму и эгоизму, которые сплошь и рядом вы-

* Перевод В. Левика.

тесняли и убивали второе их качество, важнейшее для Уитмена, — «сочувствие», то есть бескорыстную любовь и товарищескую солидарность (это слово принадлежит к любимым словам Уитмена и часто пишется им с большой буквы: «великое слово Солидарность»).

При постоянной одержимости мысли Уитмена сочетанием интересов индивидуума и общества нужно было немногое, чтобы перейти от воспевания «сочувствия» как атрибута отдельной личности к попытке создать, в согласии с тем же принципом, картину гармонических общественных связей.

Делая это, он немедленно выходит за пределы реальных условий буржуазной демократии и вступает в область социальной утопии.

5

В том же третьем издании «Листьев травы» 1860 года, где появились стихи «Я сижу и смотрю», Уитмен печатает небольшое стихотворение «Мне приснился город»:

Мне приснился город, который нельзя
победить, хотя бы напали на него все
страны земли,
И мне снилось, что это был город друзей,
какого еще никогда не бывало,
И что выше всего в этом городе крепкая
ценилась любовь, а все прочие его
качества происходили отсюда,
И что эта любовь каждый раз сказывалась
в каждом поступке жителей этого города,
Во всех их взорах и в их словах*.

«Город друзей», как видно, населен идеальными личностями, свободными от тех пороков и недостатков («безмерная гордость души»), которые изнутри подрывают жизнь коллектива. Для Уитмена это, однако, хотя и сон, но не область воображаемого, одной лишь бесплотной мечты. Он имеет в виду все тех же своих героев—американских рабочих и фермеров, ремесленников, мелких собственников, но очистившихся от всех отрицательных, темных сторон своей жизни и объединившихся в некое бескорыстное трудовое товарищество. «Какое-нибудь славное селение или же городок,— как писал он позднее в «Перспективах демократии»,— где несколько сотен первоклассных мужчин и женщин умеренного достатка, по счастливой игре случая, собрались воедино». Уитмен как бы предпринимает попытку сконструировать свой идеал из готовых элементов буржуазной демократии, лишь «отсекая негодное», пробует обобщать, отказавшись от страшащего его предварительного анализа.

Довольно трудно, конечно, даже при самой пылкой фантазии представить себе подобный «город друзей» где-нибудь между Нью-Йорком и Вашингтоном в США 1870-х годов.

Чтобы отдать должное этому порыву Уитмена, следует вспомнить, что сам он жил так, как если бы он уже был гражданином «города друзей». Свой «завет» в предисловии к первому изданию «Листьев травы» (Любите землю... пренебрегайте богатством... посвятите свой труд и заработок другим...) он фактически осуществлял в своей жизни. Было бы грубо ошибочным отождествлять «Я» «Песни о себе» в его хвастливом и эгоцентричном аспекте с биографической личностью поэта. Торо, пораженный при встрече смелостью и искренностью Уитмена, чертами характера, которыми его нелегко было удивить, писал в письме к другу (Гаррисону Блейку): «С тех пор как я познакомился с ним лично, меня больше не беспокоит бахвальство или эгоизм, выраженные в его книге. Быть может, он наименьший бахвал из всех...»

Слово «товарищ» (или «Камерадо», которым чаще пользовался Уитмен) принадлежало, на равных правах с «Солидарностью», к его священным словам, и он вкладывал в них вполне конкретное содержание помощи другому человеку:

Я хватаю того, кто идет ко дну, и поднимаю
его с несокрушимым упорством.
Ты, отчаявшийся, вот моя шея,
Клянусь, тебе не придется утонуть!
Всей тяжестью повисни на мне.

(«Песня о себе»)

При всей настойчивости этих идеальных образов у Уитмена, он не мог, конечно, не видеть слабый и чем далее, тем более слабеющий их контакт с окружающей жизнью. И он жаждал найти им реальный фундамент, опереться шире и явственней на действительность.

Этим в значительной мере объясняется то особое отношение, какое связало Уитмена с Гражданской войной 1861—1865 годов.

Его заявление (в предисловии к шестому изданию «Листьев травы» 1876 года): «Стержень всей моей книги — эти четыре года войны» (хотя на самом деле важнейшая часть книги была написана до войны и почти не затрагивала связанных с нею мотивов) следует понимать именно в этом, особом смысле.

Война с мятежными рабовладельцами потребовала от американской буржуазной демократии огромных людских ресурсов и жертв. Народные массы Севера целиком отдали себя задаче разгрома плантаторского мятежа. Они спасали республику от рабовладельцев, проявляя величайшее самоотвержение и не думая в тот момент, что воззвавшая к ним буржуазия — ненадежный союзник. Во главе борьбы стоял президент Линкольн, мужественный человек, вышедший сам из народа. В эти годы народ значил в государственной жизни США больше, чем когда-либо со времени буржуазно-демократической революции XVIII столетия.

Для Уитмена эти годы войны были взлетом тех идеальных представлений, которые он продолжает связывать с американской жизнью. Он плохо вникает в экономическую подоплеку событий, но чутко улавливает, что тревожащие его конфликты и противоречия в жизни страны и народа как бы временно «отменены» войной или, во всяком случае, отсрочены.

Как известно, в годы войны Уитмен живет в Вашингтоне и посвящает себя уходу

* Перевод К. И. Чуковского.

за тяжелоранеными, отдает этому все свои силы и те небольшие деньги, которые зарабатывает журналистикой и перепиской бумаг в государственных учреждениях.

Письма Уитмена из Вашингтона к матери и друзьям показывают, как трудно ему приходилось. Это летопись страданий сотен и сотен людей. Бывает, что между строк у поэта вырвется стон или жалоба. Но он себя не щадит. «Хожу главным образом в госпиталь на Армори-сквер, — пишет Уитмен, — потому, что там самые трудные случаи, самые страшные раны, больше всего страданий и больше всего нужна помощь. С утра хожу туда каждый день, а бывает и вечером, и тогда остаюсь допоздна; охрана, сестры, врачи меня теперь знают, никто не задерживает, и я успеваю со всем управиться». Болезнь, преждевременно сделавшая Уитмена инвалидом, была, как считается, следствием инфекции, полученной в госпитале.

Как хорошо известно, Уитмен выступил также в эти военные годы как поэт Гражданской войны. Его цикл военных стихов «Дробь барабанов» принадлежит по сей день к лучшему, что написано о Гражданской войне в американской поэзии.

Впечатления военных лет оставались для Уитмена до конца его жизни залогом его веры в народ и в грядущую демократию. «Быть может, будущие века не узнают того, что известно мне, — писал он в «Перспективах демократии», — что эту отчаяннейшую и жесточайшую войну вынес один на своих плечах безымянный, безвестный, простой, рядовой солдат и что вся тягота его смертного подвига была добровольной». Аналогичную роль символа демократии занимает в творчестве Уитмена образ президента Линкольна, начиная с кратких заметок в письмах военных лет о мимолетных встречах с Линкольном на вашингтонских улицах и до траурных «О, капитан! Мой капитан!» и «Когда во дворе перед домом цвела этой весною сирень», написанных вслед за убийством Линкольна.

С достаточным основанием можно считать, что в годы после Гражданской войны Уитмен не решился взглянуть американской действительности «прямо в лицо» (нужно помнить и то, что это были годы болезней и постепенного одряхления).

От человека, прошедшего длительную школу политической журналистики, не могли, конечно, укрыться ни разгоравшиеся в США классовые сражения, ни те позорные факты американской общественной жизни 70—80-х годов, которые повергли в отчаяние не одного из «могикан американской демократии». Есть много свидетельств глубокой тревоги Уитмена.

В середине 70-х гг., выпуская шестое издание «Листьев травы», он выделил в особый раздел книги несколько стихотворений, написанных в разное время, в которых воспевается политическая борьба («Европейскому революционеру, который потерпел поражение» и др.), и назвал этот раздел «Песни восстания». В не вошедшей в книгу заметке, предназначенной, видимо, служить предисловием к «Песням восстания», Уитмен писал, что, хотя и надеется, что его тревога напрасна, он все же полагает, что мотивы, выраженные в этих стихах, могут оказаться жизненно важными для американского народа в новых условиях, характеризуя которые, он называет и «все более и более коварно усиливающуюся власть капитала».

В «Перспективах демократии» Уитмен также не скупится на резкие формулировки. «При беспримерном материальном прогрессе,—пишет он,—общество в Штатах испорчено, развращено, полно грубых суеверий и гнило. Во всех слоях нашего общества совершенно отсутствует или недоразвит и серьезно ослаблен важнейший элемент всякой личности и всякого государства: совесть». Несколько дальше он пишет: «Мы стали похожи на существо, одаренное громадным, хорошо сформированным и все более развивающимся телом,— но почти лишенное души».

Однако, как уже говорилось, Уитмен там же дает свое благословение «почти маниакальной жажде богатства», господствующей в американской жизни. Он остается «раздвоенным» и высказывает по множеству вопросов противоречащие или даже взаимоисключающие суждения. Так, о появившемся модном слове «бизнес» (которому предстояло столь зловеще-громкое будущее) он отозвался в «Перспективах демократии» иронически-отрицательно, но в более поздних заметках к задуманной лекции он говорит, что «бизнес» — не синоним стяжательства, а «слово современного героя» и «благородный атрибут человека».

Как и всегда, симпатии Уитмена — на стороне трудящихся. Их он считает основой и надеждой демократии, и, наоборот, капиталистов рассматривает как элемент, опасный для общества. В беседах со своими молодыми друзьями-социалистами Уитмен порой говорнл в эти последние годы, что и он в большей степени социалист, чем сам раньше думал; если не политически, то, во всяком случае, по сути своих устремлений, в конечных целях.

Но для него по-прежнему мучительно трудно признать бесповоротный характер случившихся перемен, сделать все выводы из того, что американскую буржуазную демократию так же, как и Европу, раздирают непримиримые и неизбежные классовые противоречия. В монументальном собрании бесед с Уитменом, записанных Горейсом Траубелом в конце 80-х годов («С Уолтом Уитменом в Кэмдене»), имеется следующая весьма характерная запись:

«Траубел: Не встанем ли мы скоро перед теми же проблемами, что и Европа?

Уитмен: Да!

Траубел: Проблема нищеты, проблема земли, машин, собственности.

Уитмен: Почему же нет, конечно, что может этому воспрепятствовать? Мы идем по тому же проклятому пути.

А. СТАРЦЕВ
ПЕСНЯ О СЕБЕ

Траубел: Неустранимому пути.
Уитмен: И проклятому!»

6

С уходом в небытие американской буржуазной демократии XIX столетия и с воцарением монополистического капитализма в США поэзия Уитмена все более утрачивает свои связи с исторически обусловленным и исторически преходящим порядком, который он думал воспеть как якобы конечный результат мирового прогресса. Работа времени мало-помалу высвобождает «Листья травы» от того, что в них было ограниченного, наносного, недолговечного.

Если, отбросив «американизм» Уитмена, свести морально-философские и лирические мотивы «Песни о себе» к некоторому единству, то ее можно будет охарактеризовать как поэму о творчески активной и счастливой деятельности человека в благоприятных социальных условиях. «Быть может, все эти песни,— писал сам поэт о «Листьях травы» в так называемом «Предисловии 1876 года», — только вариации одного восклицания: «Как необъятна, как желанна, как радостна, как реальна жизнь человека, мужчины и женщины».

«Втискивая» свой идеал в исторические рамки развития буржуазной демократии в США, Уитмен сам его обескрыливал; но, с другой стороны, преувеличивая возможности подобного замысла, он примеривается к мыслям, чувствам, деяниям такого масштаба, что они как бы сами собой преступают положенные автором рамки и выходят на простор развития человечества в целом. Стремление Уитмена к общественному идеалу сохраняет при этом свое значение, он— чем дальше, тем более — апеллирует к иному, **бесклассовому** обществу, к **социалистическому** порядку.

Вот почему американское социалистическое движение издавна считало Уитмена своим поэтом.

В согласии с этим важнейшим сдвигом в исторических судьбах наследия Уитмена перемещаются и другие аспекты в сегодняшнем читательском восприятии его поэзии.

Уитмен с энтузиазмом воспел индустриальный прогресс, стремительный рост городской материальной культуры, и именно эти черты его творчества, зачастую преувеличиваемые, казались многим из современников главной приметой его как поэта будущего.

Сформировавшаяся в Европе (и прежде всего во Франции) в канун империалистической войны 1914—1918 годов новая уитменианская школа — так называемый унанимизм — решила «одухотворить» урбанизм Уитмена и призвала воспеть «единую душу» человека и города как апофеоз современности; она придала гуманизму Уитмена абстрактный и полумистический характер и лишила его всякого социального содержания.

Сейчас, в условиях нарастающей дегуманизации культуры на капиталистическом Западе, эти квазиуитменовские мотивы питают лишь малые и боковые каналы искусства.

Но, затмевая знаменитые урбанистические парадоксы Уитмена (давно переставшие быть парадоксами), выступают с огромной силой на первый план реальные элементы его гуманизма — горячая вера поэта в «мельчайшую пылинку живого», в неколебимое достоинство человека как деятеля и творца, в неуклонность его пути.

Это знаменитый эстетический манифест Уитмена (в удивительно верном и духу и букве подлинника переводе К. И. Чуковского):

Я верю, что листик травы не мельче
поденщины звезд,
И что не хуже их муравей, и песчинка,
и яйцо королька,
И что древесная жаба — шедевр, выше
которого нет,
И что черника достойна быть украшением
небесных гостиных...
И что корова, понуро жующая жвачку,
превосходит любую статую,
И что мышь — это чудо, которое может одно
пошатнуть секстильоны неверных.

Это Уитмен, который борется с фетишизацией вещи и слова в ущерб человеку:

Что эта печатная и переплетенная книга,
как не наборщик и типографский
мальчишка?
И что этот черный корабль, обитый железом,
и его могучие орудия в башнях, как
не храбрость капитана и его команды?..
И что такое проповеди богословия, религии,
как не бездонный человеческий мозг?

Уитмен, который никогда не бывает доволен сегодняшним днем человечества и зовет неустанно, бесстрашно продолжать путь:

Сегодня перед рассветом я взошел на
вершину горы и увидел кишащее
звездами небо,
И сказал моей душе: «Когда мы овладеем
всеми этими шарами вселенной и
всеми их усладами и всеми их
знаниями, будет ли с нас довольно?»
И моя душа сказала: «Нет, этого мало для
нас, мы пойдем мимо — и дальше».

И «Песня о себе» читается заново, как песня о трудовом человеке, освободившемся от всех и всяческих социальных препон и вступившем на путь ничем не ограниченного развития, в единстве с природой и обществом. И поэт приходит тогда в согласие с собой. Он не вынужден больше соединять несоединимое и мирить то, что не должно мирить. И он может прямо, открыто сказать о себе всему миру то, что было всегда его подлинным символом веры:

Я любил эту землю, солнце, зверей,
Я презирал богатство.

ПИСЬМА К. ЛИБКНЕХТА

Публикация и вступительная статья
М. КОРАЛЛОВА

Полвека, прошедшие со дня убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург, подтвердили безоговорочно: они принадлежат не остывшему и отделенному уже прошлому, а жгучей и злободневной современности.

С осени 1968 года, когда в ФРГ начали появляться отклики на приближающуюся годовщину Ноябрьской революции 1918 года, и до первых весенних дней, когда сдавался в набор майский номер журнала «Иностранная литература», имена Либкнехта и Розы не сходили со страниц газет и журналов, не исчезали из радио- и телепередач. Фашиствующая «Националь-цейтунг», респектабельно-буржуазная «Цейт», центральный орган правящей социал-демократической партии «Форвертс» — все они предлагали собственные вариации на тему «Ноябрь», «Карл и Роза». С газетами и друг с другом конкурировали массовые журналы — «Штерн», издаваемый сейчас тиражом в 2 млн. 300 тыс. экземпляров, «Шпигель», уступающий ему в числе подписчиков, но явно превосходящий в реакционности оценок, сравнительно маломощный, однако при всем при том слышный в хоре западнонемецкой прессы «леворадикальный» «Конкрет».

И «Штерн», и «Шпигель» завершали прошлый, 1968, год своего рода публицистическим залпом: целыми сериями статей о Ноябрьской революции, о ее жертвах и палачах, предателях и героях.

К исторической объективности все это, пожалуй, имеет отдаленное отношение. Поглощенные «злобой дня», авторы не очень-то озабочены достоверностью и строгой истиной. Приведем только один, но весьма знаменательный пример.

«Был ли это поворотный пункт?» — так озаглавил Герман Вебер свою статью в «Форвертс», опубликованную 19 декабря 1968 года и приуроченную к 30 декабря, когда исполнялось 50 лет со дня основания немецкой компартии. Заглавие статьи полемично по отношению к оценке, которая утвердилась в марксистской историографии и принята в восьмитомной истории немецкого рабочего движения,— самый факт создания немецкой компартии рассматривается в ней как поворотный пункт в истории Германии. Полемично не только заглавие, но и вся статья Германа Вебера. На его взгляд, о партии, созданной 30 декабря, сохранилось не больше чем историческое воспоминание в трагической главе немецкого рабочего движения. На его взгляд, нет ничего общего между старой КПГ и партией, стоящей во главе ГДР, но зато существует равенство между тем «вариантом демократического коммунизма», основателем которого Вебер признает Розу Люксембург, позициями его нынешних защитников — по сути Вебер относит к ним каждого, кого считает противником Москвы.

Что касается Карла Либкнехта, то ему Герман Вебер отводит роль предшественника бунтарей-анархистов, играющих сегодня немалую роль в движении студентов. «Огненная голова», натура эмоциональная, чья жажда революционного действия, как пишет Вебер, сильней, чем голос рассудка и теоретической мысли, Карл Либкнехт зачислен в разряд революционно-утопических энтузиастов, враждебных организационно-фетишистскому началу, принципу иерархии и пр. Если же отбросить всю эту терминологию и в двух словах выразить то, что за нею скрывается, то окажется, что Либкнехт сегодня уже не столько враг милитаризма, капитала и реформистской, предавшей немецкую революцию социал-демократии, сколько противник Ленина и ленинизма.

Но может быть, это позиция лично Германа Вебера и не стоит придавать ей характер всеобщности?

Однако «Форвертс» 14 ноября 1968 года опубликовала речь председателя социал-демократической партии и вице-канцлера Федеративной Республики Вилли

Брандта, который высказал точку зрения, повторенную через месяц Германом Вебером.

Сущность этого наиболее распространенного из вариантов «модернизации» все та же: он превращает Либкнехта и Розу Люксембург в либералов, по всему складу враждебных Ленину и России.

Старая, знакомая история! Вернее — легенда, которая слишком часто подменяет историю.

Вскоре после убийства вождей «Союза Спартака» Карл Каутский писал, что Либкнехт и Роза были «проводниками русского мышления», неприемлемого для Германии. Лет двадцать назад сын Каутского Бенедикт в предисловии к гамбургскому изданию писем Розы Люксембург утверждал уже прямо противоположное: «Роза Люксембург показала, что она значительно переросла ограниченность чисто русского мышления Ленина и его последователей».

Последний из живущих ныне сыновей Карла Каутского — тоже Карл — в письме из Калифорнии погибшему недавно в авиационной катастрофе англичанину Петеру Неттлю — автору тысячестраничной биографии Розы Люксембург — продолжает семейный или родовой курс, предъявляя Розе Люксембург мелочащие с годами упреки.

Новые творцы старой легенды вступают в противоречие с фактами. Они как будто не читали Либкнехта, который 8 сентября 1918 года писал из тюрьмы: «Я хотел бы прийти на помощь русской революции и миру, отдать им тысячу своих жизней, если бы они у меня были. Проклятое бессилие! Меня теснят со всех сторон стены».

...15 января 1919 года осознается сегодня каждым демократически мыслящим немцем как один из самых трагических дней отечественной истории — с него начался роковой путь к не ограниченному законом и правом торжеству наглой силы, путь, приведшей к господству фашизма, к миллионам жертв, к катастрофе. День убийств организаторов «Союза Спартака» и немецкой коммунистической партии воспринимается сегодня как рубеж, с которого фашизм пошел в наступление на немецкую революцию и демократию. Имена Либкнехта и Розы Люксембург поэтому обретают сегодня значение символов, относящихся уже не только к прошлому Германии, но и к ее будущему.

■

С разрешения старшего сына Либкнехта — Вильгельма — сегодня впервые публикуются письма Карла Либкнехта*, относящиеся главным образом к первому десятилетию века. За долгие годы строки этих лирических писем не стерлись, не потускнели, напротив, они наполнились новым историческим содержанием, обрели новое эстетическое значение.

Фашизм с его тотальной демагогией и двуличием пробудил небывало острую тоску по жанрам, в которых человек ближе к себе самому; исповедь ценится в послевоенные годы, кажется, выше, чем проповедь. Рыцарь героически цельной идеи, Либкнехт один и тот же в проповеди и в исповеди. Между письмами и речами в рейхстаге, в суде, на митингах нет какого-либо разрыва, разлада. Когда Либкнехт сообщает, что завтра предстоит слушать «Дон Карлоса» Верди, стоя в четвертом ярусе, и бросает: «там, на верхотуре, находишься, правда, в хорошем, почти чисто русском обществе»; или когда он просит писать ему по-русски все самое приятное — «буду распаковывать это, как хорошо завернутый подарок»,— он все тот же, каким был на Кёнигсбергском процессе 1904 года, защищая русских революционеров, и каким останется до конца жизни — соратником революционной России и верным, влюбленным в ее культуру другом.

Нельзя, однако, не признать особые качества жанра. Ни в каких статьях и речах прекрасная яичность Либкнехта, его мировоззрение и нравственные устои, его эстетические взгляды и вкусы не проявились с такой органической цельностью и полнотой, как здесь, в сокровенно-интимных письмах.

И в этом столько же заслуга Либкнехта, сколько той, кому письма его адресованы.

Софья Рысс (1884—1964) закончила гимназию в Лозанне, училась в Гейдельбергском университете (1906—1909), работала в мангеймской «Галерее искусства», читала лекции в Народном университете Вены, а после возвращения в Россию четверть века (1933—1958) преподавала иностранные языки в Высшей дипломатической школе.

Встреча Либкнехта с Софьей Рысс произошла в 1906 году. Первое же из публикуемых здесь писем говорит о нелегкой борьбе против возникшего чувства. «Как черт душу грешника», ждет Либкнехт ответных строк.

---

* Публикация подготовлена по материалам Центрального партархива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ф. 210), и автор пользуется случаем вновь поблагодарить сотрудников архива за помощь и поддержку.

Часть писем К. Либкнехта, относящихся к фронтовому и тюремному периоду 1915—1918 гг., была напечатана Софьей Либкнехт в 1920 году в Германии и вскоре, два года спустя, переведена у нас, в России. Во вступительной статье цитируются некоторые письма из сборника 1922 года, а также выдержки из неопубликованных тюремных конспектов произведений Гёте и Геббеля, являющихся частью подготовительных материалов к «Исследованиям законов общественного развития».

27 ноября 1906 года из души рвется крик: «Вот уже два месяца, как мы не видались. Больше уже не могу выдержать...»

Арест вносит иные ноты в переписку. Читатель заметит, как меняется тон Либкнехта, который хочет обойти тюремную цензуру и обращается к шифровке. Слова кажутся ему плоскими и вялыми, «как мясо, трижды вываренное в супе».

На свободе Либкнехта по-прежнему преследует мысль о невозможности, запретности счастья. «Мысль о стройной русской девушке с романтической головкой и страстной душой» превращается в «навязчивую идею»: «Далекая, далекая звезда».

22 августа 1911 года на операционном столе умирает первая жена Либкнехта Юлия Парадиз, мать его троих детей: Вильгельма, Роберта, здравствующих поныне, и Веры, скончавшейся в 28-летнем возрасте от туберкулеза. 1 октября 1912 года Софья Рысс становится Софьей Либкнехт. На ее плечи ложится груз еще более тяжкий, чем воспитание детей мужа и забота о благополучии семьи,— она разделяет судьбу революционера, всей логикой событий, талантом и темпераментом поднятого на гребень революционной волны истории.

Промелькнул последний мирный год. И вскоре Софья Либкнехт оказывается солдаткой, женой сапера, посланного на русский фронт. Еще год — и вновь перелом в жизни Либкнехта. Разделяя его судьбу, она становится теперь женой государственного преступника, заключенного в каторжную тюрьму.

Через все испытания, однако, и ее и Либкнехта чувство проходит непотускневшим. 18 марта 1917 года, после тюремного свидания, Либкнехт вспоминает о давней встрече в Гейдельберге: «Те же чудесные, полные счастья и муки часы; и все-таки теперь все иначе; все сильнее, все могучее». А незадолго перед тем, как исполнилось двенадцать лет со дня первой встречи, он пишет: «Что может нас разлучить, кроме разлуки с жизнью? С тех пор, как ты стала моей соратницей, моей спутницей, товарищем по оружию, мы составляем единое целое, мы едины и там, где раньше шли в одиночку».

Когда приближалась шестилетняя годовщина супружеской жизни, проведенной почти сплошь в разлуке, Либкнехт писал: «Я себе не представляю ни одного дня, когда мы не принадлежали бы друг другу». Любовь, переполнявшая его сердце, не удовлетворялась прозой, и он переходил на стихи: «С тобою смерть мне станет жизнью! В тот день, когда тебя утрачу, погибну я навеки сам!»

Софья Либкнехт действительно была неотступно с мужем — и тогда, когда он на фронте, сидя в укрытии у соседей-пулеметчиков, листал книгу о немецкой живописи XIX века, и особенно, прежде всего, в тюрьме: «Что бы я теперь ни читал (раньше это тоже бывало, но не с такой силой) и что бы мысленно ни припоминал, меня сразу охватывает желание: это Соне тоже надо, это она должна прочесть, вот вместе с ней бы читать и наслаждаться» (26 декабря 1917 года). Поэтому Либкнехт выписывает из «Эгмонта» Гёте: «Не только тогда люди вместе, когда они друг подле друга. И далекий и отбывший — жив для нас». Поэтому из трагедии Фридриха Геббеля «Гиг и его кольцо» Либкнехт, отчеркнув на полях и сопроводив надписью «К Соне», выписывает стихи:

Я никогда так страстно не желал
Тебя хранить не только от скорбей,
Что дух гнетут и оставляют раны,
Но даже от теней, едва заметных,
Что мимолетно омрачают душу,—
Хотя б я сам такую тень набросил!
Тебя хранить я буду, как ресница
Хранит зрачок: не только я пылинки
Не допущу, нет, даже солнца луч
Я отвращу, когда он вдруг ударит.

Карла и Софью Либкнехт связывало не только единство мыслей, но и глубокая общность морали, основу которой составляло обостренное чувство долга. Соратники мужа тоже находили в Софье Либкнехт чуткого и верного товарища, которому можно доверить и самую интимную мысль, и самое серьезное дело. Суровым долгом стали для нее тюремные свидания (с Францем Мерингом, с Розой Люксембург), тайная передача записок и поручений, книг с двойным переплетом, нечаянный обмен сумками, обходившийся, однако, не без осечек.

Кроме писем мужа, быть может, лучшим памятником ей останутся письма Розы Люксембург, тоже нашедшей в Софье Либкнехт родственную «прекрасную душу», если воспользоваться словами Гёте.

Когда будут изданы оставшиеся недоработанными воспоминания Софьи Либкнехт — вернее, их наброски, эскизы,— ее сдержанно-скромный и оттого особенно поэтичный облик полнее раскроется в богатстве всего пережитого и передуманного.

Новые грани обнаружатся и в чувстве Либкнехта: в нем сконцентрировалось все, что отличало его личность,— непреклонность воли, богатство и страстность мысли, цельность натуры. Любовь его героична, как жизнь. Тюрьма не задавила, а укрепила чувство, помножив на стремление к свободе, на неколебимую веру, коренившуюся в историческом оптимизме и в сознании правоты. Перестать любить значило для

Либкнехта перестать быть, отказаться от самого себя, от надежды на волю и торжество идеи.

Почти полвека — 45 лет — после гибели мужа прожила Софья Либкнехт, храня верность его памяти, имени, делу. В 20-е годы она собирала архив, она спасла его в 1933 году, когда в Германии власть захватили фашисты, сохранила его до наших дней. Без ее энергии, без ее непосредственного участия вряд ли когда-нибудь вышли бы в свет «Исследования законов общественного развития» — тюремный труд, который был Либкнехту бесконечно дорог.

11 февраля 1917 года Либкнехт писал жене из тюрьмы Луккау, что придает этой работе «чрезвычайное значение»; «и для тебя, и для меня она — часть жизни, прошедшей, настоящей и будущей». Среди разделов, касающихся проблем эстетики или специально им посвященных, наиболее важной является глава «Искусство»*, трактующая вопросы формы и содержания, трагического и комического, романа и драмы... Она завершается параграфами «Апология тенденциозной поэзии», «Народ и искусство», в которых главная тема эстетических рассуждений Либкнехта получает оригинальное и сильное развитие. Не только в этой главе, но и во многих других разделах книги Либкнехт отчетливо виден как революционный теоретик, историк и социолог искусства, как вдумчивый и тонкий ценитель современной культуры и художественного наследия человечества. Таким он предстает и в своих письмах.

Мангейм, 23/IX-06.

Дорогая моя фрейлейн Соня!

...Для меня не существует большей загадки, чем я сам, и как раз я меньше, чем кто-либо, способен разгадать эту загадку. Но я точно знаю, как разгадали бы ее другие и как расценили бы это решение, если бы им его представили. Но, как бы то ни было, мне *не в чем каяться, не в чем выпрашивать прощения.* Ад кромешный! Глаза смыкаются. Состояние такое, будто у меня перестает биться сердце. Но я уже знаю, что мне приснится.

Партийный съезд открылся. Покуда все идет по программе. Зал Нибелунгов чудесен...

■■■

Мангейм, 26/IX-06.

Дорогая моя фрейлейн Соня!

Жаль, что Вы меня не понимали, а я Вас слышал и понял, и это меня очень обрадовало и успокоило. Как черт душу грешника, так я ждал Вашего письма, ведь Вы мне обещали написать...

Вчерашнее бегство в гейдельбергский рай освежило меня, как прохлада воды... Я терплю поистине танталовы муки, и я устал от жизни не потому, что мне не хватает жизнерадостности и жажды наслаждения миром, а от безграничного избытка этой потребности наслаждаться, восхищаться миром, который я не могу ни назвать своим, ни сделать своим...

И вдруг мерцание сквозь темную листву; еще несколько шагов — и словно море огней сверкнуло в глаза. Подо мной главная улица, как огненная, пламенеющая змея. В каждом углу, в каждом закоулке лабиринта зданий все блестит, сверкает, переливается всеми красками. Неккар струится, а на том берегу этажи домов, украшенные гирляндами огней; расплываясь и сливаясь, трепеща и колыхаясь, отражаются они в водах реки. И чем дольше я стоял, тем разнообразнее становились оттенки. Вид меняется, приобретая все больше очарования, благодаря таинственным полутонам, которые пробиваются сквозь неосвещенные окна квартир. И сквозь надвигающиеся зигзаги улиц и домов. И доносящиеся снизу приглушенные людские голоса.

А надо всем этим тихая, кроткая луна и полусонное звездное небо. И чудесный пряный воздух. Передо мной оттененные луной очертания гор и столько воспоминаний — о многом, многом, многом. И о Вас...

■■■

24/X-06.

Только сейчас, в 2 часа ночи, стало быть, во время наших автомобильных поездок по темному лесу, я улучил минуту, чтобы спокойно написать несколько слов, углубиться в свои мысли и чувства. Мне действительно кажется нереальным, что Шлахтензее уже не Шлахтензее и что я остался, застрял здесь, выброшенный потоком жизни, давно уже умчавшимся вперед, в Гейдельберг, в Нью-Йорк...

О чем я грежу? Не Соне бы об этом спрашивать. Слишком хорошо она это знает. Знает она и то, что я не должен писать об этом, если она не позволит. Я грежу о чем-то, что жарче раскаленного железа, о чем-то, что темнее полуночного леса у Шлахтензее, и чудится мне ад с тысячами алчущих дьяволов и злосчастный Тантал...

Но я много работаю и много разъезжаю. В пятницу—в Гамбург, в понедельник и во вторник опять в Лейпциг. А вскоре буду также и в Гейдельберге. Для меня эти 40 часов ничего не значат.

И Вы тоже трудитесь. Вы обретете успокоение и мир в труде, который и есть единственный спаситель личности, по крайней мере, может им быть. Труд — это действительно та мюнхгаузеновская коса, уцепившись за которую потерявший себя может сам выбраться из трясины. Умей только уцепиться и с упорством тянуть...

* Перевод этой главы см. в журнале «Театр» (январь 1959 г.).

■■■

Берлин, 17/XI-06.

...Какой ученой станет теперь Соня. По вопросам искусства я уже не посмею при ней и рта раскрыть. В этой маленькой головке прочно все укладывается.

А меня тем временем терзает 1001 дело... Для искусства и науки остается слишком мало. От театра я опять отдалился...

Вскоре предстоит постановка «Голода» Скитальца. Знакомы ли Вы с этой вещью? Как расцениваете ее?

■■■

Берлин, 27/XI-06.

Вот уже два месяца, как мы не виделись. Больше уже не могу выдержать, особенно с тех пор, как снята привязь, удерживавшая меня здесь,— с тех пор как работа сдана. Остается, конечно, корректура. Своей продукцией я очень недоволен. Но пусть выходит. Раз выстрел сделан, не люблю следить за полетом пули, даже бросить взгляд вослед не хочу, что бы ни произошло — у меня уже другой замысел.

■■■

Дорогая моя Соня!

...Проезжая по широким снежным равнинам, я столько видел дичи, зайцев, куропаток, косуль, которые, скитаясь среди всего этого серебряного великолепия, гибнут от голода — как некогда Мидас на грудах золота. Им приходится так же туго, как алчущим и жаждущим поэтам и фантастам на этом свете...

■■■

Берлин, 26/II-07.

...И работа, и отдых, и сила, какую придает человеку забота о других несчастных, подымают тебя, помогают постепенно утвердиться на прочной и ясной позиции, и тогда ты имеешь возможность ориентироваться в окружающем тебя мире — внешнем и внутреннем. Каждый человек — даже если у него, подобно комете, склонность к эгоцентризму — должен найти свое главное светило, должен включиться в какую-то систему миров, иначе он погибнет. Ты многому научилась, мне бы так хотелось побольше этим насладиться. Ты можешь так много мне дать, дать то, чего у меня нет и к чему я так стремлюсь. Я постараюсь сделать все, что могу, для твоего дальнейшего развития...

Посылаю тебе сегодня последние 5 томов Ибсена, теперь у тебя все полностью.

■■■

Берлин, 8/IV-07.

Сегодня опять ни слова. В чем дело? Не оставляй же меня в таком неведении. Я ведь каждый день тебе писал. Будь со мной совсем откровенна. Ты и должна быть совсем откровенной, даже если это худо для меня. И если ты в смятении и нет у тебя ясности, пиши мне и об этом тоже, я ведь все отлично пойму... Прекрасная погода пробуждающейся весны сменилась здесь угрюмостью хмурого неба. А тебе я желаю, чтобы весеннее солнце вечно сияло для тебя.

Позавчера слушал «Осуждение Фауста». Было очень интересно, либретто покоряет своей французской наивностью. Это я должен описать тебе позднее как-нибудь подробнее. Забавнейшая мозаика, очень смешная невольная пародия на Гёте — разумеется, в тексте. Текст-то лишь прилажен Гунсбургом, руководителем оперы в Монте-Карло, по наметкам и эскизам Берлиоза. Как оперу, «Осуждение» следовало бы подвергнуть полицейскому запрету; к композиции Берлиоза это либретто, во всяком случае, подходит примерно так же, как опереточная музыка Миллёкера * подошла бы к гётевскому тексту.

А вчера «Мефистофель» Бойто ** с Шаляпиным, Собиновым и другими жемчужинами. Шаляпин — Мефистофель; Собинов — Фауст. Хотя у меня было отвратительное место и мне в течение четырех часов пришлось вертеться на большом пальце левой ноги и вытягивать шею вверх, примерно так, как у повешенного она вытягивается вниз, одним словом, выкидывать подлинно акробатические номера, да еще к тому же вести четырехчасовую борьбу с двумя унылыми мисс, я был и остаюсь в восторге прежде всего от обоих твоих земляков. Таким совершенством и в пении и в игре, как у Шаляпина, и таким симпатичным, правда, несколько лиричным баритоном ***, как у Собинова, я еще никогда не наслаждался.

Твой брат, как ни странно, не был в таком восторге. Возможно, что первый спектакль, на котором он присутствовал (в пятницу), не был столь хорош, как второй. Быть может, я завтра еще послушаю «Дон Карлоса» Верди. Не пугайся: *стоячее место в четвертом ярусе!!* Но и это чертовски дорого. Там, на верхотуре, находишься, правда, в хорошем, почти чисто русском обществе...

■■■

Берлин, 11/V-07.

...Я приеду, обязательно приеду... Вот уже несколько недель я веду настоящую дипломатическую работу, чтобы побыстрее подготовить предстоящую поездку в долину Некара...

Ты, моя умная, маленькая Порция ****, будешь беседовать со мной и научишь меня понимать Рафаэля и Микеланджело. А я расскажу тебе об ужасной политике. Мы будем чувствовать биение наших сердец, и нам будет казаться, что кровь наша переливается от одного к другому. Так фантазия моя рисует наше будущее.

---

* Миллёкер Карл (1842—1899) — композитор и дирижер, один из создателей венской классической оперетты.

** Бойто Арриго (1842—1918) — итальянский композитор и поэт. Его перу принадлежит опера «Мефистофель», написанная на основе обеих частей «Фауста».

*** В немецком языке оперные голоса имеют несколько иное обозначение, чем в русском: немцы различают бас-баритон и тенор-бариток.

**** Героиня трагедии Шекспира «Венецианский купец».

Тебе кажется, что я все же не знаю и не понимаю тебя. И если весенняя пора доставляет мне радость, так это лишь безнадежный приступ бурного желания жизни; при всей экзальтации минуты радость отступит под напором охватывающей меня страшной безнадежности.

Да — безнадежности, если бы не было тебя, моего спасения, моего убежища от всех злых духов...

■■■

Берлин, 20/V-07.

...Выходила ли ты вообще? Погода настолько свинская — прошу прощения за крепкое словцо,— что действительно может отбить всякую охоту пойти в театр. Не благопрятствует она и посещению картинных галерей; прелесть красок не почувствуешь, если естественный свет не оживляет их. Правда, чтобы поглубже заглянуть в свою собственную и чужую душу, это всеохватывающее уныние, эта мировая скорбь природы очень даже соблазнительны — только, к сожалению, настраивают меланхолично...

Сейчас и я собираюсь посетить местную выставку — я напишу тебе, что я о ней думаю. Как жаль, что не ты мой чичероне!...

Вчера — роскошная постановка «Золота Рейна *.

■■■

Пятница, 5/VII-07.

...Ты не представляешь, какое у меня сейчас горячее время. Я кажусь себе бедным Фальстафом на маскараде в летнем саду. В данный момент меня интересует процесс об одном убийстве... И еще многое другое! Одно заседание за другим! Поездка за поездкой! В самом ближайшем будущем я должен съездить в Мангейм, Штутгарт, Вену и в Цюрих. И все очень быстро! Затем на очереди Клеве и т. д. и Бонн. Потом международный конгресс в Штутгарте, затем партийный съезд в Эссене... И еще разного рода работа для печати. Надо бы втрое день увеличить, чтобы все это выполнить. Не остается ни одной свободной минуты для размышлений, для наслаждения искусством, для более глубокого знакомства с наукой. Все поверхностно, поверхностно! Приходится только действовать — не думать!

Что поделаешь! Деятельность захватывает целиком. Но в сердце моем живет очаровательное созданьице; оно само искусство и стремление к красоте, и это приводит меня в равновесие...

■■■

Берлин, 11/X-07.

...Само собой разумеется, что я тебе буду писать, когда только смогу... Конечно, все будут прочитывать **. Но можно будет как-нибудь сформулировать. И потом: без сомнения, без всякого сомнения, смогу оказать тебе помощь при окончательной редакции твоей работы. Ты пришлешь мне ее, а времени у меня много...

Когда мне захочется написать тебе что-нибудь, чего никто не должен знать, зашифрую по известной системе: в письме или в приложенных газетных вырезках первая точка указывает на ряд, вторая — место буквы в ряду.

■■■

Глац, 25/X-07.

Итак, все обошлось еще лучше, чем я думал. Я пользуюсь правом свободной переписки, без контроля. Могу даже читать «Форвертс»,* конечно, осторожно. Имею ежедневно пять часов свободного времени — 2 часа утром и 3 после обеда. Через две недели я смогу эти часы свободно и без всякого контроля проводить в городе, правда, не в ресторанах. Комендант как будто прекрасный человек, и все остальные господа держатся очень мило.

А комната моя — но тут я должен начать издалека. Крепость Глац, где я нахожусь, расположена на вершине скалы на высоте примерно 150 м над рекой Нейсе, которую ты видишь на карте (по ширине лишь $^1/_3$ Неккара и с прозрачной бурлящей горной водой). Вокруг — долины, за ними низкие холмы, поросшие густым лесом. Дальше — крутизна за крутизной до утопающих в синеве Исполинских гор и Ойленгебирге; они как могучие отвесные стены. Город приветливо раскинулся на берегу Нейсе; старинная церковь с двумя башнями — мощное, тяжеловесное по формам строение — образует архитектурный центр. Однако у города совсем нет своего исторического лица, какое присуще Гейдельбергу.

Величавость, мощность придает городу не сам вид его, а крепость, и как раз «моя» крепость, состоящая из множества концентрических сооружений, бастионов, могучих валов, каменных стен и рвов, соединяющихся воротами и подъемными мостами; все это громоздится одно над другим до самого центрального укрепления, занимающего всю вершину горы,— главной башни со старинной толстенной вышкой, куда теперь за входную плату в 50 пфеннигов пускают посторонних для обозрения местности. В главной башне на самом высоком валу — моя камера. Это длинное сводчатое помещение в 23 шага (около 20 метров) в длину и около 7 шагов в ширину. Величиной с танцевальный зал, 100 человек здесь могут уместиться. Правда, этот свод образует ровный полукруг от самого пола, стало быть, бочкообразный свод, достигающий у самого верха лишь 2 и $^3/_4$ м высоты. Зимой в этих стенах будет, должно быть, довольно прохладно. А пока вполне удобно и не сыро. Конечно, не так благоустроен-

---

* Опера Рихарда Вагнера.

** Речь идет о тюремной цензуре. Письмо написано после ареста Либкнехта в связи с выходом его книги «Милитаризм и антимилитаризм». На процессе, состоявшемся 9 и 10 октября, Либкнехт был осужден на полтора года тюрьмы.

* Центральный орган немецкой социал-демократии.

но, как в отеле «Астория» или в «Гранд-отеле» в Гейдельберге. Но я не избалован и смогу дополнительно получить, что понадобится. Пока мне хватает одного стола, двух стульев, комода и платяного шкафа, походной кровати и самого простого умывальника. Приходилось ли тебе когда-нибудь видеть жилище людей, которым судебный исполнитель оставил лишь самое необходимое? Так вот и здесь. Но уже имеется просвет. Существенным украшением служат графин и два стакана. И еще одно — большая кафельная печь посередине. Уже четыре дня ее отлично протапливают. Славная, уютная печка. Она всегда напоминает мне благодушных фельдфебелей. К тому же она поэтична и в добром настроении исполняет целые рапсодии. Вчера она меня прекрасно встретила и распевала, в то время как снаружи всю ночь бешено завывал ветер.

Вчера я прибыл сюда смертельно усталым. Вечером в 6 часов. В среду меня еще раз навестили мои старые и молодые друзья: Бебель, Каутский, Меринг, Ледебур и др. Только на часок я уснул перед отъездом, а в пути не отдыхал ни одной минуты, лихорадочно работал над корректурой. В Бреславле меня приветствовали многочисленные друзья. Не смог я воспрепятствовать и многочисленным проводам на вокзале «Ам Цоо». В Каменсе ко мне в вагон подсел один старый партийный товарищ. С трогательной заботливостью он проводил меня до самой комендатуры.

■■■

Глац, 28/X-07.*

Я здесь совсем один. Лишь изредка денщик — польский гренадер — прерывает мое уединение; иногда появляется и другой солдат, вестовой, который мне кое-что покупает. Сегодня меня навестил семилетний мальчуган с белыми, как лен, волосами, сынишка фельдфебеля, моего надзирателя. Между прочим, неплохой человек. Да и все остальные относятся ко мне неплохо. Большим яблоком я обеспечил себе навеки дружбу карапуза. Две мухи — никак не больше!—мои единственные домашние звери. В углу между двумя дверями пристроилась было на зиму бабочка — как в самых аристократических отелях, у меня в стене полутораметровой толщины двойные двери,— но ее настигла судьба в лице моего гренадера, любителя порядка!

Перед окнами, правда, сменяя караул, кудахчут куры. А с валов я с удовольствием гляжу на жизнь вокруг. Внизу подо мной, грохоча и лязгая, проносятся со свистом поезда, скрежещут вагоны, бьют колокола, слышна учебная стрельба. Все время до меня доносятся барабанный бой и звуки труб — репетируют военные оркестранты и горнисты. Вижу я и как люди идут — крохотные фигурки — далеко внизу и по ту сторону Нейсе. Иногда кажется, что слышишь звук их шагов, а порою в самом деле улавливаешь совсем отдаленную, смутную перекличку голосов. И каждый день внизу на плацу играет военный оркестр, исполняя то веселую, то меланхоличную музыку, меняя танцы на хоралы и часто безбожно фальшивя. А в силу неумолимых законов физики фальшивые ноты врезаются в слух громче и упорнее, нежели верные,— часто музыка невыносимо тягуче-сентиментальна, сплошной сироп! Но все-таки музыка. Иной раз вспорхнут два-три затерявшихся мотылька, гонимых и беззащитных перед сильным порывом ветра; бросает их из стороны в сторону, но уже не принося им былой радости.

■■■

Глац, 1/XI-07.

...Ты знаешь, что теперь мне твои письма нужнее, чем когда-либо. Конечно, ты занята, очень занята, и ни в коем случае никто не должен мешать твоей работе...

Ну и расскажи мне немножко о твоем искусстве, это мне так приятно слушать.

Подумай только: я стал настоящим философом *. День и ночь бьюсь над разными «системами», всему радуюсь и огорчаюсь. Большей частью это лишь великолепная, скорее художественная фантастика, правда, наделенная мощной научной интуицией. Нужно только научиться понимать системы символически. И требуется весьма и весьма серьезное, углубленное напряжение мысли, чтобы понять каждого их творца, с его собственной платформой, с его способами выражения и отображения.

Сейчас, справившись с ясной и умной работой Эбера, я перешел к фантастическим концепциям Шеллинга, которые часто производят грандиозное впечатление. Я в самой гуще гегелевской феноменологии. Рад, что наконец-то составил себе об этом более четкое представление. Моя собственная «система» тоже скоро будет закончена.

Погода становится осенней и неприятной. По утрам я часто бываю свидетелем, пораженным свидетелем великой схватки солнца с туманом — само оно сперва рождает туман, а потом нередко оказывается им же задушенным.

■■■

Глац, 6/XI-07.

...Не смог ли бы твой брат указать несколько *новинок* из философской литературы? А также из историко-философской. Я бы тогда попросил прислать мне их из Берлина. В детали можно пока не вдаваться, мне важен обзор самого существенного и в общих чертах.

Обо всех других важных вещах, которые вам попадутся, будь то в области истории, политики, эстетики и т. п., тоже всегда *сообщайте* мне. Теперь у меня столько времени для сбора материала, сколько никогда не было и не будет. И мне хочется полностью использовать это время...

---

* Оригинал письма отсутствует.

* К. Либкнехт начал работу над «Исследованиями».

Можно книги и на французском и на английском, на русском пока не надо.

Еще одно.

Как-нибудь напиши мне, пожалуйста, возможно точнее, *нашими* буквами, как ты произносишь букву Ы—«еры». В моей грамматике (Пиетро Моттн?) так много противоречивых указаний об этом. Не совсем ясно мне и произношение буквы «Ж», «je», то ли это «s», то ли легкое «sch» или мягкое «ch»? Там написано: «Французское «j» и «sh». Этого мне недостаточно. Приведи мне немецкий пример. Буква Ы передается как «uß» или как «ü». Так что же правильно?..

Горький прислал мне свою книгу «Мать» с очень сердечным посвящением («с большой любовью и глубоким уважением»). Мне это приятно.

❀❀❀

Глац, 7/XI-07.

Моя дорогяя предобрьяя
Сонничка! *

Это, черт возьми, далось трудно, да и получилось неразборчиво и к тому же, пожалуй, неправильно! Ведь я, собственно, до этого еще не дошел, это прыжок в неизвестное, anticipatia gloriae futurae **. Означать это должно: «Моя бесконечно дорогая прекрасная Сонечка». Так правильно ли это? Напиши мне точно!

Написанное от руки я еще даже читать не могу! Но начинаю. *Писать* я еще и не пробовал. То, что написано сверху,— первая попытка, да и почерк у меня такой неуклюжий!

❀❀❀

Глац, 11/XI-07.

...большое спасибо за письмо и разъяснения. Русский текст я частично не разобрал, но еще разберусь в нем. Можешь уже писать мне, не пользуясь печатными буквами, я уже в некоторой степени овладел письменными.

Сейчас сорвал на валу цветочки — только что распустились!

❀❀❀

Глац, 4/XII-07.

...Очень благодарен тебе за русские разъяснения. Пиши мне каждый раз по-русски (то есть часть письма) — и все самое приятное. Буду распаковывать это как хорошо завернутый подарок.

А теперь сразу же несколько вопросов. В учебнике, которым я пользуюсь, нет никаких указаний насчет того, как образуется в русских глаголах *страдательный залог* (во всех временах: в настоящем, прошедшем — имперфект и перфект, в будущем, в прнчастиях и т. д.), а также как образуется *прошедшее время* (в действительном залоге). И, наконец, как передается «man» (geht, schreibt и т. п.). Иногда встречаю возвратную форму в страдательном залоге и окончание ят вместо ит (в настоящем времени взамен «man»). Как это понять?

❀❀❀

Глац, 24/I-08.

Сегодня уже три месяца, как я сижу,— 1/4, вернее, 1/6 всего срока. Время быстро прошло, и остальное пробежит так же. Теперь предо мною довольно ясная цель: философская работа, о которой я уже писал. Полной ясности в данный момент у меня еще нет — лишь в некоторых общих концепцнях и «предчувствиях» я нахожу путеводную нить. Я в философии профан, вернее, дилетант, но я надеюсь, что добьюсь цели. В конце концов, только такая работа дает возможность абстрагироваться от самого себя и пробиваться к достнжимой и относительной ясности.

Сейчас меня очень занимает английский прагматизм. Знакома ли ты с Джемсом, Шиллером, Пьерром и пр.? Поразительно, как националнстически обособленно опять развивается современная философия! Это следствие ее психологических основ.

❀❀❀

Глац, 24/I-08.

...А как обстоит дело со скандинавскими новеллами Браузеветтера («Антология»)? Знакома ты с нимн?

Почему ты о русском ничего больше не пишешь? Я прочел одно трогательное стихотворение Некрасова «Das vergessene Dorf» («Зябытяя деревня») *. Знаешь ли ты его? Весь аграрный вопрос в поэтнческой форме. Или по-русски оно не звучит? О языке я, конечно, не могу судить. Два вопроса. Постоянны ли у вас ударения? И связана ли ваша *поэзия* ударениями? Чтение вслух дается мне с еще большим трудом. Затем: я уже однажды спрашивал о прошедшем времени; например, «ich habe geküßt» (не «ich küßte») **. Как это будет по-русски?

Любимая моя! Ты так тревожишься обо мне. Не бойся, я на коне...

Тебя беспокоит моя разбросанность. В этом, правда, всегда крылась большая опасность для меня. Очень благодарен тебе за то, что ты напоминаешь мне об этом...

Почему ты никогда ни словом не обмолвишься о *своей работе?* Разве не должно быть в ней моего участия? Часто ли ты бываешь в театре в Мангейме? А на концертах? Так расскажи об этом, чтобы я мог представить себе, будто и я там побывал. Стала ли и ты немного смелее в жизни? Как н я теперь?

❀❀❀

Глац, 23/III-08.

У меня за плечами уже 36 лет, и на висках у меня уже седина. Кто знает, хватит ли еще времени и сил сделать что-либо

* Написано по-русски.
** Предвосхищение будущей славы *(лат.)*.

* Написано по-русски печатными буквами.
** «Ich habe geküßt» — я поцеловал. «Ich küßte» — я целовал.

действительно стоящее. Столько драгоценных лет ушло. Конечно, у меня есть кое-какие способности. Но я не пользовался ими, не направлял их как следует, ничему не научился — строитель без кирпичей. Теперь я охвачен поистине бешеной жаждой: учиться, учиться, учиться. Но ведь целый океан знаний. Я бросился в него, чтобы исчерпать его,— либо потону, либо поплыву.

■■■

Глац, 11/IV-08.

Вчера от той же рыночной торговки — ей 65 лет, как она пишет, и она, по ее собственному, заслуживающему доверия, признанию, хочет снискать мою любовь — я получил коллекцию замечательных яиц: индюшачьих, утиных, гусиных и др. И вдобавок чудесные цветы: сирень, розы, гвоздики,— которые, к сожалению, я не могу переслать.

■■■

Глац, 11/IV-08.

...Была ли ты в театре?

О переписке Вагнера я совершенно ничего не знаю. Я отъявленный варвар.

■■■

Глац, 17/V-08.

...Часто ли вы гуляете? Сейчас так удивительно хорошо.

Мне так весело весною,
Взявши посох в день погожий
И убрав цветами шляпу,
Побродить по саду божью.

Знакомы ли тебе «Тринадцать лип», эпос Вебера *?

Здесь все цветет и поет. Мириадами золотистых одуванчиков усеяны валы, луга; куда ни глянь — сияющий, золотыми звездами расцвеченный ковер. Иногда я забираюсь туда, читаю или гляжу на небо...

А на обратном пути ты старалась утешить меня; как это было хорошо. Сохранилось ли у тебя хоть смутное воспоминание об этом? Держу пари, что нет. Во мне все это засело крепко, крепче всякой философии, искусства и науки...

■■■

Глац, 22/V-08.

Берлинцы действительно поставили меня во главе своего кандидатского списка. Я колеблюсь, не отказаться ли. Не хотелось бы увязнуть в парламентаризме, как бы интересно ни было в прусском ландтаге, где я оказался бы первым избранным туда социал-демократом и где предстояла бы крайне серьезная борьба — позиция «историческая». Но меня слишком захватила наука. Вот я и стою, как осел между двумя охапками сена...

Ты спрашиваешь, над чем я работаю? После проработки основных проблем дарвинизма (по многим томам в оригинале) я принялся за изучение экономических источников, чтобы и здесь уяснить себе некоторые вопросы, которые мучают меня с 18 лет,— коренные вопросы. Сейчас я изучаю три тома теории прибавочной стоимости (большая посмертно изданная работа Маркса, по которой можно проследить, как Маркс одолевал проблемы, как сам он исследовал их). С этим мне надо уже кончать. Еще неделя, и я хочу перейти к специальным трудам по вопросам материалистического понимания истории, после чего снова погружусь в глубины философии; литературы по философии у меня здесь набралось уже довольно много. План у меня совершенно универсальный. Но я уже вижу все очертания. И могу достичь цели, понимаешь? Несмотря на все, считаю себя достаточно умным для этого. Знаю, что обладаю большой дозой аналитической проницательности и способностью к логической дифференциации. Но я чувствую себя слишком вяло, а год так короток. Вот видишь, сам я оцениваю себя совсем не низко — как тебе это, вероятно, казалось. Но все-таки способности мои расшатаны. На всех парусах пустился я в жизненное плаванье. К каким только лаврам я не стремился. И вот, как говорится, крушение, крушение армады.

■■■

Глац, 4/VI-08.

Слова часто кажутся мне такими плоскими и вялыми, как мясо, трижды вываренное в супе. Это меня и приводит всякий раз в отчаяние — отсутствие какой-либо возможности показать тебе всю мою ласку и заботу.

Несомненно и тебя мучит адский зной, которым нас одаривает чрезмерно щедрое солнце. Из-за жары я совершенно тупею и работаю с перебоями и без толку. Беда нагрянула: я прикован к галере, выбит из колеи, а ведь я рассчитывал достичь какой-то цели. При том глубочайшем отвращении к парламентской деятельности, которое я как раз теперь испытываю — и сам же буду ее проводить! — что путного может получиться. Возможно, года через два. Теперь же мне надо в первую очередь справиться с самим собой. В глубине своей души. Иначе ни для чего не будет спокойной, прочной основы. Отказаться от научных занятий! И все-таки я *не могу* уклониться, потому что это важно и положение бедственное: Бебель болен, Зингер * болен — слишком велика нехватка сил, и уклониться в такой момент значило бы дезертировать и струсить перед врагом. Поверь, для меня это весьма решающий поворот во всей моей деятельности...

Если бы у меня было больше веры в себя! Но я думаю, все это кончится для меня

---

* Вебер Фридрих-Вильгельм (1813—1894) — поэт, филолог. Наиболее известна его поэма «Тринадцать лип» о введении христианства в Саксонии.

* Зингер Пауль (1844—1911) — один из вождей немецкой социал-демократии ее раннего, боевого периода.

плачевным парламентским провалом. Мой судебный процесс и мое «мученичество» всех ослепили и превратили меня в мифическую личность, героя, способного творить чудеса. А если он не сможет творить чудеса? Разобьют его тогда, как не оправдавшего надежд глиняного божка?

Отвратительно! Вчера, получив это сообщение, я даже кинулся в объятия алкоголя.

■■■

Глац, 30/VI-08.

...Я опять с головой ушел в Маркса. Посмотрела бы ты, сколько здесь набралось книг! И все прибавляются новые и новые.

■■■

Глац, 2/VII-08.

...Как раз сейчас я много читал Платона, и описание Академии напомнило мне один эпизод — мы были с тобой вместе в Потсдаме, вы приехали позже. В замке Сан-Суси мы натолкнулись на большую фреску — помнишь, в том зале, по которому нам пришлось прошлепать в больших войлочных туфлях,— ты сразу правильно определила: это Академия («Афинская школа» Рафаэля) и так хорошо разобралась в отдельных фигурах, что мне стало стыдно. А гид на набившем оскомину интернациональном жаргоне, свойственном всем гидам, излагал то, что намертво зазубрил.

...писать о себе? Да я ведь пишу тебе гораздо больше, чем следовало бы мужчине. Моя жизнь здесь монотонна. Я тут единственный заключенный — уже давно. Это дает мне несколько большую свободу передвижения внутри крепостных стен.

■■■

Глац, 6/VII-08.

Сейчас я — на то особая причина — целиком занят крестьянской войной (Циммерман *, Энгельс и т. п.). Время бежит, и я утопаю в океане науки. Быть может, еще вынесет меня из бездны — каким-нибудь течением или случайностью, как шиллеровского «Ныряльщика»...

...Зверушки мои время от времени преподносят что-нибудь новое. Мой черный дрозд рассыпает ликующие трели, свистит и заливается теперь на всю крепость. Его свежий, как ручеек, призыв к жизни освежает часто и меня. Светлячки мигают и трепещут по вечерам во дворе. Порою летучая мышь залетит ко мне и носится по камере...

Когда ты едешь в Баденвайлер? Знаешь ли ты, что именно там разыгралась крестьянская война или, вернее, пролог к ней, во главе с Максом Штюдленом, которого в октябре 1512 года там четвертовали? Читала ли ты «Крестьянскую войну» Циммермана? Она в значительной мере разворачивалась в ваших краях. Не зная его, нельзя, мне кажется, понять страну, в которой ты уже так давно живешь. Может, прислать тебе эту книгу? Тебе это должно быть особенно интересно и как параллель с Россией!

■■■

Глац, 12/IX-08.

Как раз сейчас прибыло твое письмо от 10-го и посылка с Горьким и Чеховым.

Чествование Толстого * все-таки состоится, они не смогли помешать этому. Это холодный душ для торжествующих контрреволюционеров.

Сельму Лагерлёф ** я знаю, только очень поверхностно. Я кое-что читал, не помню даже что, и не составил себе ясного представления.

■■■

Берлин, 6/X-08.

...Вчера получил от Меринга его новые литературные работы с посвящением. Очень интересные вещи.

■■■

Глац, апрель 09.

Об этих «судебных разбирательствах» *** я слышал. Достаточно характерное для России развлечение! И для той огромной роли, какую в последние годы сыграли судебные процессы, прежде всего в жизни интеллигенции. Со времени контрреволюции она, так сказать, живет судебными делами... Даже «Санин» ****, которого я читал в октяб-

---

* Циммерман Вильгельм (1807—1878) — немецкий историк и поэт. Главный труд его — «История Великой крестьянской войны» (1840—1844).

* Как известно, восьмидесятилетний юбилей Толстого, вопреки усилиям царского правительства, отмечался широко.

** Сельма Лагерлёф (1858—1940) — шведская писательница, в 1909 году получила Нобелевскую премию.

*** Непосредственным поводом для этого отправленного в Россию письма (его начало и конец уничтожены) было сообщение Софьи Либкнехт о модных тогда в России «судебных разбирательствах» над Раскольниковым, Анной Карениной и другими литературными героями. В своем ответе Карл Либкнехт касается, также иной темы. В годы реакции, наступившей после поражения революции 1905 года, в России было проведено более полутора тысяч политических судебных процессов. Из них пятьсот тридцать три закончились приговорами к смерти и бессрочной и долгосрочной каторге. В 1908 году по приговорам судов во всем мире было казнено 971 человек, а в одной лишь России — 1340. Чтобы добиться таких результатов, направляющим политику инстанциям пришлось в 1907 году понизить в звании и деквалифицировать за недостаточно суровые приговоры почти половину всего корпуса высших военных судей. Количество заключенных нарастало неуклонно: 114 тысяч — в 1906, 139 тысяч — в 1907, 166 тысяч — в 1908, 181 тысяча — в 1909... И столь же неуклонно росло количество самоубийств. Позднее об этом будут писать Толстой в статье «Не могу молчать», Короленко — в статье «Бытовое явление»; какая-то часть этих фактов была Либкнехту, несомненно, известна.

**** Роман М. П. Арцыбашева (1878—1927), вышел в 1907 году и выразил упадочные настроения части русского общества после подавления революции 1905 года.

ре, представляет интерес только как явление социальное. Довольно бесталанная халтура — разумеется, с чисто эстетической точки зрения. Но как некая разновидность борьбы в области морали и как документ программный представляет собой большой интерес. Роман этот — объявление морального банкротства буржуазной революционной романтики в России. Ликвидация старых революционных идеалов русской интеллигенции. Настроение полного отчаяния, которое в переводе на фаустовский мотив гласит:

Теперь конец всему: порвалась нить
мышленья,
К науке я давно исполнен отвращенья.
Тушить страстей своих пожар
В восторгах чувственных я буду...*

(Перевод И. Холодковского)

Разумеется, в «Санине» это сально, куда извращенней, безнадежней, без величия и без звезды...

(Продолженя нет.).

■■■

Глац, 3/V-09.

...только сейчас... я по-настоящему понял, как безответственно я часто поступал в отношении тебя; как порою доходил до того, что подвергал тебя, которую так безгранично любил и люблю, большой опасности; понял, что, вероятно, был и остаюсь злым роком, преградившим тебе путь к счастью. А ты мне дарила только доброе, прекрасное, нежное, счастливое. Такая огромно важная часть моей жизни! Такое великое, великое обогащение моего внутреннего мира, за которое я никогда не смогу отплатить тебе...

Большое, пребольшое спасибо, моя дорогая, за офорт ** (или как это еще зовется). Он великолепен! И сделан, видимо, только в 1906 году? Мне даже кажется, что где-то я уже его видел. Сильная, мастерски исполненная характеристика, полная глубокой внутренней жизни. Так, вероятно, и выглядел этот самобичеватель. Портрет доставляет мне очень большую радость! Как получше сохранить его? Пожалуйста, посоветуй! Быть может, лучше всего положить его в папку вместе с другими подаренными тобой вещами. Он для меня всегда будет источником наслаждения. Еще раз большое, большое спасибо, моя милая девочка.

Вейнингера ***, кстати, я как раз достаточно хорошо знаю; одна знакомая подарила мне его к рождеству. Глупейшая книга, продукт слепящего ложным блеском слабоумия, совместимого с «математической гениальностью» известных вундеркиндов, которые через некоторое время сходят с ума. Не интересна книга и еще менее интересен автор, человек, который, если бы сам не покончил с собой, через несколько лет, заболев идиотизмом, все равно попал бы в дом для умалишенных. И подумать только: такое сумасбродство может стать почти сенсацией, своего рода психической эпидемией, захватывающей, как известно, некоторые расположенные к этому культуры!

■■■

Дрезден, 9/VI-09.

...Меня же не покидает мысль о стройной русской девушке с романтнческой головкой и страстной душой. Это превратилось у меня в навязчивую идею. Далекая, далекая звезда. Неотступно вижу перед собой резвящуюся в лесу н на лугу быстроногую, грациозную серну. Я ее знаю, я ношу ее в себе. Теперь она далеко н совсем для меня потеряна...

■■■

Западный экспресс.
Сан-Франциско — Новый Орлеан,
19/XI-10.

...Сегодня видел секвойи—род елей с красной древесиной, называемой поэтому красным деревом. Высотой до 370 футов (а в долине Йоземит до 500 футов). 50 футов и больше в окружности, 6 метров и больше в диаметре. Целый лес таких деревьев, необычайно мощных—каждое как башня собора. А затем Санта-Крус, город пальм, весь в цвету. Я уплыл в лодке далеко в океан, подставляя себя брызгам прибоя, и видел закат солнца на просторе моря; а вчера я наблюдал закат у Golden Gate * — узкого ущелья при входе в бухту Сан-Франциско. Я накопил очень много и смогу неделями рассказывать обо всем, что в течение недель повидал.

■■■

Берлин, 13/IV-11.

...Знаешь ли ты Любек? Мне кажется, знаешь. Немногие немецкие города так живописны, как он. Но эта живописность уже изрядно обветшала и придушена буйной порослью нового; правда, не до конца. Кое-что оставляет еще целостное впечатление: и ворота Хольстертор, и Зальцхаузен, и Вассер-Бургтор, но больше всего рынок с церковью Св. Марин, а также дом Якоби и Мореходный дом.

■■■

Берлин, 16/V-11.

...есть ли у тебя Ван-Гог? Закрылась ли уже выставка? Она была, наверное, очень интересной, судя по каталогу.

■■■

Берлин, 6/I-12.

Очень *прошу тебя* **сохрани** *Сирано.* **Он для меня** очень важен. Так ведь? Пойми это.

---

* Гёте. «Фауст», действие 1, сцена IV.

** На полях письма Софья Либкнехт пометила, что речь идет о портрете Достоевского. Наиболее вероятно, что в тюрьму был послан офорт на китайской бумаге, выпущенный в России небольшим тиражом М. В. Рундальцевым (1904). Офорт также сделан с фотографии М. М. Панова (1880).

*** Вейнингер Отто (1880—1903) — автор нашумевшей книги «Пол и характер», психолог венской школы.

* Золотые ворота *(англ.)*.

■■■

В предварительном заключении,
Моабит, 1916.

...Вот увидишь,, мечта еще сбудется. Не сейчас, так через четыре года. Если ты до тех пор еще будешь любить меня. Какой ты тогда еще будешь молодой и здоровой — *если захочешь!* А мне к тому времени будет уже около 50!..

За эти четыре года я 400 раз вновь переживу все то, что мы пережили вместе, и все в том же сиянии нежных золотых и серебряных лучей, как я все это увидел и почувствовал в первый раз. Ты даже не представляешь себе, сколько счастья ты подарила мне за эти 10 лет — всему, всему наперекор.

Читаю сейчас «Войну и мир». Первые описания боев явно напоминают битву при Ватерлоо, Стендаля *. Не так тонко и не с такой силой фантазии. Более обширно, более объективно, а все-таки... Экспозиция даже еще не закончена, хотя я прочел уже около 300 страниц. Неимоверно многопланово, и тем не менее вся тысяча нитей мастерски увязана.

Сегодня, к сожалению, не смогу продолжать чтение, есть более срочная, неотложная работа.

Между прочим: знаешь ли ты Стерна? «Тристама Шэнди», «Sentimental Journey» **? Мне бы очень хотелось услышать твое мнение и, может быть, прочесть эти вещи.

■■■

В предварительном заключении,
Моабит, 17/X-16.

...Я действительно имел вчера в виду Людвига фон Хольберга, его «Подземное путешествие Николауса Клумса» (по Гулливеру), комедии и т. п. «Отец новой датской литературы» (1684—1754) — по словарю.

Кстати, читала ли ты что-нибудь Эленшлегера?*** Так как ты любишь новую скандинавскую литературу, тебе бы следовало хоть на пробу прочесть кого-нибудь из стариков.

■■■

Из Луккау, начало апреля, 1917 г.

...все время беспокоюсь, сумела ли ты хорошо сложить, проверить и сохранить мои теперешние записки (с начала 1917). *Это намного важнее, чем мое физическое здоровье.* Если и эта моя работа****, этот строительный материал — полуфабрикат для более обширного замысла — пропадет, как пропало уже столь многое, мне это повредит впоследствии больше, чем физическое недомогание. Для меня нет жизни, если не идти вперед, не совершать чего-нибудь стоящего. Этой предпосылкой обусловлен минимум собственного достоинства, необходимый мне для существования. Так прошу тебя, очень прошу!

...Не пропусти все же — вопреки городским толкам—*Вюльнеровского «Манфреда»*. Вюльнер * грандиозен и т. д., а этот Манфред еще более конгениален байроновскому тем, что из-за подобных же переживаний ищет забвения (forgetfulness, oblivion, self-oblivion) **.

Нелепо воспринимать Манфреда как некий привой к Фаусту или Гамлету. Это самое индивидуалистическое, самое глубоколичное из всех байроновских произведений; чисто личное, даже слишком личное признание, драма, символически передающая душевное состояние, в которое он был ввергнут отношениями с сестрой. Намеки достаточно ясны. Но все поднято на такую высоту и в конечном счете доведено до такой общезначимости, что вряд ли найдется другой такой захватывающий человеческий документ.

Боюсь только, что нет хорошего перевода. Музыка Шопена тебя тоже увлечет...

■■■

Луккау, 26/XII-17.

...а послезавтра останется три недели до дня твоего рождения... И пусть это мое письмо будет поздравительным. 18 января 1918 г. исполнится 12 лет с тех пор, как мы впервые встретились. Чего только нам не довелось за это время совместно пережить! Много и тяжелого и радостного выпало нам на долю. И разве не соединяло это нас все крепче и крепче? Не самый ли это верный залог на будущее? Что может нас разлучить, кроме разлуки с жизнью?.. С тех пор как ты стала моей соратницей, моей спутницей, товарищем по оружию, мы составляем единое целое, мы едины и там, где раньше шли в одиночку.

Если к тому времени ты не получишь никаких известий от твоей матери, этот день рождения будет самым тревожным в твоей жизни. А я не смогу положить тебе руку на лоб, не смогу посадить тебя к себе на колени и целовать твои глаза.

Даже настоящего подарка я тебе сделать не могу. Но насчет кольца не позабудь. И еще одно: купи себе, пожалуйста,— тоже как подарок — хорошее издание произведений Вальтера фон дер Фогельвейде***, Вольфрама фон Эшенбаха ****, Готфрида

---

* Имеется в виду роман Стендаля «Пармская обитель».
** «Сентиментальное путешествие» *(англ.)*.
*** Эленшлегер Адам Готлиб (1779—1850) — выдающийся датский писатель, профессор эстетики в Копенгагене.
**** «Исследование законов общественного развития».

* Вюльнер Франц (1832—1902) — немецкий дирижер, пианист, композитор.
** Забытье, забвение, самозабвение *(англ.)*.
*** Вальтер фон дер Фогельвейде (около 1170—1230) — немецкий лирик, выдающийся представитель так называемого «миннезанга».
**** Вольфрам фон Эшенбах (около 1170—1220) — немецкий лирик, автор знаменитого романа в стихах «Парцифаль», примыкающего к эпическому куртуазиому циклу Святого Грааля.

Страсбургского *. Быть может, все эти «придворные» поэты и миннезингеры имеются в одном сборнике? И туда включены еще и песнь о Вальтарн и песнь о Роланде? Поверь мне, это стоящее дело. Несмотря на некоторые длинноты и кое-какой балласт. Что бы я теперь ни читал (раньше это тоже бывало, но не с такой силой) и что бы мысленно ни припомнинал, меня сразу охватывает желание: это Соне тоже надо, это она должна прочесть, вот вместе с ней бы читать и наслаждаться. Сегодня ночью припомнился мне Брентано **, его «Романсы из цикла Розенкранц». Хотел бегло пройтись; с трудом начал и был захвачен, а местами даже очарован. Его стоит читать! Если бы я мог сразу показать и прочесть тебе самое лучшее!

Не упусти и Брет-Гарта, которого сегодня возвращаю. На меня он на сей раз произвел еще большее впечатление, чем раньше, потому что я познакомился с местами действия и с людьми*** (правда, почти за два поколения сильно обтесанными и переменившимися).

Для *Розы*** **** я *подарок* придумал: «Coming Race» Булвера (Таухниц)***** и Диккенса «Tale from Two Cities» ****** (но его ведь ты не любишь). Можешь и хочешь ли это выполнить? «Coming Race» — малоизвестная, интересная утопия.

...Театр во Франкфурте хороший. И в доме у нас ты услышишь хорошую музыку — игру Эльзы *******, пение Отто,— хотя в последние годы они мало этим занимаются. Эльза играет чудесно: смотри не упусти. Вспомни нашу «Sehnsucht» ********, постарайся послушать ее; она со мной здесь неотступно.

Только бы ты была *здесь* со мной. Ничто тебя не сломит, если только сама не будешь поддаваться. Глубокий снег кругом, было 11 градусов мороза. Но скоро уже март, апрель, май — весна. Морозный воздух глотаю сегодня как шампанское, уже ощущаю в нем весенний аромат. И все будет хорошо. Всего тебе, всего, всего на свете, моя новорожденная. И целую, целую, сколько могу. Ведь я тебя так люблю. Не забывай меня.

Твой Каролус.

■■■

Луккау, 13/I-18.

...Гоголь ужасающе переведен — это жестокое надругательство, но все же я понимаю и наслаждаюсь им, как когда-то Моцартом в исполнении Детмольдовской «Придворной капеллы» в Падерборне.

Скоро примусь за Пушкина. (Я знаю «Евгения Онегина», кстати, и оперу тоже).

Книгу с актами мне не выдают — из политических соображений!

Не выдают и анонимно присланный мне обширный труд Гаузенштейна * с обнаженной натурой.

Отто** обещал прислать Микеланджело, пока его еще нет. Получил только «Веселую книжку» (Авенариуса) ***. Очень ему благодарен за нее...

■■■

Луккау, 20/V-18.

...Сейчас читаю Лаврова — к сожалению, впервые. Он великолепен, но, конечно, с дюжиной теоретических оговорок, касающихся, однако, большей частью только терминологии — совсем в духе Кропоткина. И часто очень актуальных!

Скажи Маузи ****, что птенцы скворцов, ласточек и воробьев уже оперились. Я наблюдаю за ними во время прогулок...

---

* Готфрид Страсбургский (умер около 1220) — немецкий поэт, на основе старинного сказания написавший роман «Тристан и Изольда».

** Брентано Клеменс (1778—1842) — немецкий романтик, совместно с фон Арнимом издавший сборник немецкой народной поэзии «Волшебный рог мальчика».

*** Либкнехт имеет в виду свое путешествие в Америку (10/X — 7/XI. 1910).

**** Для Розы Люксембург.

***** «Грядущая раса» — роман английского писателя и политического деятеля Вулвер-Литтона (1803—1873), вышедший в немецком издательстве «Таухниц», которое выпускало литературу на английском языке для Европы.

****** «Повесть о двух городах» *(англ.)*.

******* Эльза — пианистка, жена Отто, третьего из пяти братьев Либкнехтов (Карл был вторым).

******** Скорее всего, речь идет о романсе Шумана или Шуберта на слова Миньоны — героини романа Гёте «Годы ученья Вильгельма Мейстера».

* Гаузенштейн Вильгельм (1882—1957) — известный немецкий искусствовед.

** Отто — брат Карла Либкнехта.

*** Авенариус Фердинанд (1856 - 1923) — автор антологии составленной из творений немецких поэтов и художников. Либкнехту, видимо, было прислано последнее мюнхенское издание 1916 года.

**** Маузи — дочь Вера

Перевод М. КОРАЛЛОВА и В. СЛАВУЦКОЙ

ПУБЛИЦИСТИКА

САРА ЛИДМАН

—

РУДНИК

В предыдущем номере «Иностранной литературы» в разделе «Из месяца в месяц» была помещена заметка под названием «Писатель спускается в ад». Речь шла в ней о бурных откликах шведской печати, радио, телевидения на только что вышедшую из печати книгу «Рудник» известной писательницы Сары Лидман, удостоенной «Малой Нобелевской премии» «за беспримерное служение людям, получившее отражение в ее произведениях, начиная с самых ранних».

Ниже мы публикуем в сокращении главы из этой книги, «не имеющей себе равных,— как почти единодушно утверждают критики,— в шведской литературе 1968 года».

На пути в Сваппаваару

Осенью 67-го года группы, поддерживающие Национальный фронт освобождения, постановили провести собрания сразу по всей стране, и на мою долю выпал район, расположенный в Верхнем Норланде. Сваппаваара! Это звучит почти как Владивосток. Когда я собиралась в дорогу, мне позвонил Одд и сказал: «Я неизвестный фотограф, но я сделал несколько интересных снимков из жизни горняков в Мальмбергете, Кируне и Сваппаваре. Снимки удались, издательство обещает выпустить их отдельной книгой, если ты напишешь к ним текст». Я ответила, что напишу непременно, и даже с большим удовольствием, но что сейчас у меня нет времени говорить с ним, потому что через тридцать две минуты уходит мой поезд на Сваппаваару.

Был конец октября, падал густой, тяжелый снег, и народный дом в Сваппаваре напомнил мне пылающий камин в молельне. Мне очень хотелось отложить в сторону шпаргалку и поговорить по душам с этими горняками об их товарищах во Вьетнаме. Но опасаясь быть причисленной к тем, «кто во вьетнамском вопросе руководствуется только эмоциями», я строго придерживалась фактов.

(Потом один старик сказал мне: «В общем-то все было хорошо, только ты уж очень долго говорила про СЕАТО, я даже вздремнул. Извини, если я храпел слишком громко, я не хотел никого обидеть. Но утром я встаю в половине пятого».)

Сразу после фильма женщины угостили нас кофе, дабы мы подкрепились перед дискуссией. Одному из горняков, который работал в Кируне, а жил в поселке недалеко от Сваппаваары, пришлось уйти, так и не дождавшись конца собрания. Он простился со всеми у порога. Вот примерно его слова:

— Я работаю под землей. Иногда там бывает плохой воздух. Мы ворчим. Но ведь, возвращаясь домой со смены, я спокоен, я знаю, что домишко мой не разбомбили и что жена с детьми живы и здоровы. А каково тем, кто работает под землей во Вьетнаме? Что они чувствуют, когда поднимаются после работы на свет божий? У нас многие с радостью поехали бы помогать вьетнамцам, даже тот, кто уже и не молод. (Он вытащил

двадцать крон и вложил их мне в руку.) Если ты знаешь кого-нибудь из членов НФО, кто сейчас находится во Вьетнаме, отправь ему эти деньги от моего имени вместе с приветом.

В декабре я возвратилась в Стокгольм. Снег был голубой, а небо — зеленое и такое низкое, что казалось, будто луне на нем не хватает места. Она прижалась к первому попавшемуся сугробу, заблудившаяся, но всюду чувствующая себя как дома. Прозрачная, безмолвная, красная. В Сваппаваараре о луне пели бы блюзы, если б умели. О том, как она безнаказанно гладит поднятое лезвие косилки, трепещущей от страха, что больше ей не придется впиться зубами в траву. О том, как она приобщила святым тайнам Большого Змея *, невзирая на злобу, которую бревенчатые избы питают к этому безбожному жилому дому... Ведь луна могла опуститься на любую балконную решетку или подставку для выколачивания одежды вдали и от Швеции, и от ЮМС**, и от всего на свете.

Тот, кто видел луну в Сваппаваараре ранним декабрьским утром, видел небесное тело.

На почте и в магазинах слышна только финская речь. Девушки прикрывают платками короны из бигуди, мужчины ездят на машинах тех же марок, что и в Грёндале, дети читают про Калле Анку и клянчат на мороженое. Но все говорят на языке, которого я не понимаю, как будто я нахожусь в Иркутске.

Левеэниеми, комплекс горнорудных предприятий, расположен в нескольких километрах от поселка. В него входят камнедробилка, фабрики по сортировке и обогащению руды, подсобное помещение для рабочих, компрессорная станция, контора и железнодорожная станция для отправки руды — обычно все это называется просто КОМБИНАТОМ. До комбината не достигает напряжение, царящее между старым поселком и Большим Змеем, напряжение, однако, столь неопасное, что его не боятся даже дети. КОМБИНАТ не расположен к шуткам. **«Приидите ко мне все, не желающие работать, но алчущие лунного света, озер, полных рыбы и браконьерской добычи, — приидите ко мне, и я обломаю вас...»**

С годами рядом с комбинатом выросла и окрепла фабрика по производству окатышей. Ее проектировали американские специалисты, они же вели наблюдение за строительством этого громадного нового предприятия.

С сельским хозяйством в Сваппаваараре давно покончено. Теперь большинство жителей живет только за счет рудника, который вступил в действие десять лет тому назад. На руднике работает почти триста рабочих. Сваппаваара лежит в четырех милях от Кируны и главного рудника Луосаваара — Кирунаваара, там работает три тысячи рабочих.

Я беседовала с сорока горняками, работающими в Сваппаваараре и в Кируне (в Мальмбергет я, к сожалению, так и не попала), наши беседы я записала на магнитофон. Текст этой книги состоит в основном из рассказов рабочих, незначительно отредактированных и сокращенных. Мне не удалось встретить тех людей, которых фотографировал Одд, но на лицах рабочих я видела то же самое выражение. Я встречалась с ними в штреках, у бурильных машин, у вагонеток, в столовых, на складах, в автобусах, в магазине, у них дома, на субботних танцах...

Одни объясняли, что дает горнякам руда (и принцип рентабельности) до того, как этот приносящий большие доходы продукт покидает рудник. Интересно было бы задать и такой вопрос: какой процент шведской железной руды идет на кастрюли, а какой на бомбы? Но пока я еще не знаю, к кому следует обращаться с этим вопросом.

Мне хочется привести два высказывания, которые во время моего пребывания в Кируне и Сваппаваараре, каждое по-своему, словно эпиграф и контрэпиграф, освещали рассказы горняков.

I. «Если строительство моста не овладело мыслями тех, кто его строит, мост не будет построен и жителям придется по-прежнему переправляться через реку вплавь или на лодках. Мост нельзя спустить на парашютах, он не может возникнуть благодаря сверхъестественным силам, нет, он должен быть построен с помощью умственных и физических усилий самих рабочих. Конечно, для этого необходимы инженеры и архитекторы, ими могут быть даже иностранцы, но партия, осуществляющая строительство на месте, должна позаботиться о том, чтобы техника овладела умами рабочих, чтобы мост был понят и одобрен ими во всех своих деталях. Рабочие должны считать этот мост своим. Только тогда строительство будет возможно».

(«Проклятьем заклейменный». Франц Фанон).

II. «Планирование капиталовложений — дело специалистов: техников и экономистов. Специальные вопросы не могут являться предметом всенародного голосования — нельзя считать, будто демократизация производства заключается в том, чтобы решать на митингах специальные производственные вопросы. Я могу согласиться, что по некоторым вопросам необходима широкая информация, необходимо также предоставлять служащим возможность высказывать и

* Большим Змеем называют жилой дом, выстроенный акционерным обществом для рабочих.

** UMS — Универсальные эксплуатационные стандарты.

обсуждать различные точки зрения. Но мне трудно представить себе, какую, собственно, пользу может принести обсуждение, к примеру, хотя бы новой фабрики по производству окатышей».

(Из выступления исполняющего обязанности директора ЛКАБ* на общем собрании производственных комитетов в Лулео, 12.5.67.)

Я доволен и своей работой и своей жизнью

Моя мать умерла от испанки в 1920 году, мне было тогда три года. С отцом они жили врозь. Кроме меня была еще сестра. Сперва мы с нею жили в детском доме в Кируне. А когда мне исполнилось семь лет, мы переехали к отцу и бабушке сюда, в Сваппаваару.

В школу мне ходить было далеко, а дороги не было, снег тогда не расчищали. Однажды учитель сказал, чтобы я пошел к надзирателю над лопарями, что у него есть для меня лыжи. Приход, мол, дает лыжи тем школьникам, которые живут далеко от школы. Я обрадовался и пошел к нему. Он сказал: «Тут у меня есть пара лыж, отнеси-ка их Рудольфу. Он, кажется, живет рядом с тобой».

«Но ведь это для меня лыжи»,— сказал я.

«Нет,— ответил он,— для тебя у меня лыж нету». Конечно, он смошенничал, но я это понял лишь много спустя. А тогда я взвалил лыжи на плечо и отнес их Рудольфу, который еще и в школу-то не ходил! Тяжело мне было нести эти лыжи. Да и снег был очень глубокий.

Так у меня и не было лыж, пока я ходил в школу.

С одеждой тоже было туго. Однажды бабушка дала мне свою кофту. Кофта была такая длинная, что доставала до колен. Я очень боялся, что ребята будут надо мной смеяться, поэтому возле моста я снял кофту и спрятал ее под мост. Так и пошел без кофты, а стояла зима.

В те годы женщины носили ботинки с длинными носами. Когда ботинки снашивались до того, что их нельзя было надеть даже в хлев, их отдавали мне. Как-то раз мне даже попались ботинки на высоком каблуке. Пришлось ходить в них, других не было. Вот уж надо мной посмеялись.

В 1939 году летом я поступил работать в ЛКАБ. Но почти сразу же меня уволили, было сокращение. Во время войны я был призван в армию и прослужил почти три года. 39—40-й годы я никогда не забуду. Очень уж было трудно и с едой, и с одеждой.

Я работал лесорубом и вообще кем придется. В 1949 году я работал на аэродроме в Кируне. Однажды ко мне приходят из ЛКАБ и спрашивают, работал ли я когда-нибудь в их компании. Я ответил: конечно, и тогда они сказали, что если я приду к ним не откладывая, то получу у них место.

Мне не хотелось работать под землей, не люблю я эту работу, я думал, думал, а потом все-таки решился и ни разу не пожалел.

Раньше как было — старых рабочих уважали, будто служащих. «Они работают на руднике» — их считали героями. Теперь не так. В 1939 году на ручной погрузке зарабатывали около четырехсот крон в месяц. А в 1949 году, когда я начал работать на руднике, я получал даже меньше, чем в лесу. Лесорубам платили больше тридцати крон в день, а на руднике — только 27—28. Но я понимал, что работать на руднике надежнее. Так оно и вышло. А вот по лесу я тосковал очень сильно! Какой в лесу воздух!.. В лесу работать весело. В любой мороз в лесу хорошо. Чувствуешь себя прекрасно — и в лесу на работе, и в избушке, когда еду готовишь... В лесу хорошо, но только пока человек молод. Теперь меня больше не тянет в лес. Мне уже под пятьдесят.

На руднике сперва я работал машинистом и стрелочником, а в 1952 году начал работать под землей и работал там до прошлой осени.

Пятнадцать лет я работал по укладке рельсов, работа неплохая, но в последние годы мне было трудно. Каждую шпалу нужно врыть, грунт твердый, клинья забивать трудно, звенья рельсов приходится тащить на себе, в штреках узко, рельсы надо сращивать, а потом после отпалки их снова приходится соединять и ставить на место. После отпалки копать тяжело, воздух плохой, газ. Но когда человек молод, ему ничего не страшно. А со временем и сноровка приходит.

Уж очень сильно потеешь, когда работаешь при газе. Теперь, между прочим, тоже под землей не лучше. Много выхлопных газов. Все машины с дизельными двигателями. Горняки жалуются. Говорят, будто врачи — на стороне компании. Но сам я не знаю, я никогда не был у врачей.

Люди упрямы. Они все равно будут работать, даже если тяжело, пусть их тошнит, пусть они кашляют... Под землей больше платят, все боятся, что на другой работе будут меньше получать. Думают только о заработке. На здоровье наплевать.

А вот с выслугой лет — несправедливо. Служащие, ну, например, мастера, ведь они тоже не кончали никаких особенных школ. Компания организовала для них краткосрочные курсы, они поучились, сдали экзамен и стали мастерами. Проходит несколько лет, и мастер

---

* ЛКАБ — акционерное общество «Луосаваара — Кирунаваара».

начинает получать за выслугу лет. А рабочий? Когда рабочий заболевает и не может больше выполнять ту работу, за какую ему прилично платили, вот тут-то его зарплата и снижается. А мастер с каждым годом получает за выслугу лет все больше и больше.

Некоторые очень выносливые. Но ведь не все такие. Я знал одного рабочего. Он вкалывал пять лет. И не думал о здоровье. После отпалки он первым приходил в штрек. А в это время в штреке дым и газ такой, что не продохнешь. Но он уже там со своим «поросенком». («Поросенком» мы зовем специальную погрузочную машину.) Спустится в штрек и давай грузить. Он себя не щадил. Дыма и газа в штреке было столько, что он даже не видел своего «поросенка», а только слышал, как тот гудит. Бывает, отвернешь кусок породы и пойдет газ. Мы тоже иногда травились газом, когда спускались в штреки крепить рельсы. Сперва газ не чувствуется. А потом начинает болеть голова и рвет. Мы его много раз предупреждали и спрашивали: «Как думаешь, надолго тебя хватит, если ты будешь так вкалывать?» Ну он и выдохся. Израсходовал себя полностью, больше у него сил не осталось. А был хороший рабочий. Где он теперь, даже не знаю. У нас работают и сильные и слабые. На руднике всем хватает дела. А как вкалывают бурильщики! Среди них лодыря не увидишь. Они даже слишком усердствуют. И несмотря на это есть бурильщики, которые работают по двадцать лет.

Моя жена родилась в Финляндии. Мы поженились в первую военную зиму. Но до 52 года мы редко жили вместе. Мы занимали комнату у моей бабушки, только я большей частью жил в бараках да в избушках лесорубов, а жена была привязана к ребятишкам. Найти жилье в Кируне было невозможно. Но в 52-м году компания пустила автобус, который возил рабочих, живущих в Сваппавааре и Виттанге. Вот когда я почувствовал себя по-настоящему женатым человеком! Приятно было приезжать домой каждый день, хотя жили мы очень тесно. Автобус начал ходить 12 мая 1952 года, я этот день никогда не забуду. И проезд нам не стоил ни гроша. За все платила компания. А когда я узнал, что хотят открыть рудник Левеэниеми, я решил, что нельзя упускать такой случай, и начал строить свой дом. В первую же зиму, когда мы жили уже в своем доме, мы получили извещение, что нам дают квартиру в Кируне. Я не брал разрешения на строительство в Сваппавааре, и строительная комиссия при муниципалитете обвинила меня в незаконных действиях.

Но пока дело расследовалось, истек срок протеста! Если бы я ждал разрешения на строительство, я бы до сих пор не имел своего дома. Тогда таких разрешений не давали.

Я всегда соглашался на любую работу, какую мне предлагали. Я никогда не жаловался и не просил: «Переведите меня на другую работу. Я хочу на другую работу». Я всюду работал столько времени, сколько мне велело начальство. Вот только когда автобус перестал возить нас бесплатно — а в месяц за проезд туда и обратно набегает изрядная сумма,— я пошел в контору и сказал, что готов пойти на любую работу, но только здесь, в Сваппавааре. В Кируне я зарабатывал 14 крон в час, а теперь — 9,50. Но я рассудил так: на руднике я зарабатывал хорошо, жаловаться не приходится. Дом я построил своими руками. И у меня нет долгов.

Мальчики мои уже большие, и я очень рад, что они могут жить дома. И у них всегда были и лыжи и вообще все, что надо мальчишкам.

В Кируне я работал в две смены — утром и вечером — через неделю, год за годом. Я так привык, что даже тоскую по вечерней смене. Здесь я работаю только в утро.

Профсоюз? Им мало кто интересуется... В правление ячейки никого не выберешь. Никто не хочет брать на себя ответственность. Каждый предпочитает быть в сторонке. Наверно, думают, что всем и так хорошо... В нашей бригаде никто не интересовался ни профсоюзными делами, ни политикой. А когда я работал в Кируне, я вообще не ходил на собрания, ведь их устраивают по воскресеньям... конечно, я оставался дома... Да еще и неизвестно, действительно ли профсоюз защищает интересы рабочих. Когда ввели расчет по чекам, председатель даже не спросил мнения ячейки. Так что толку высказывать свое мнение? Голосуют ведь только на выборах комитета. Вот когда коммунисты и социал-демократы стараются перекричать друг друга. Выборы комитета не шутка. Председатель комитета — это сила. И ЦК профсоюза тоже. А нашего мнения никто не спрашивает.

В нашей ячейке про Вьетнам не говорили. И не помню, чтобы о нем вообще говорилось на руднике. Но, может, я и ошибаюсь, потому что плохо слышу. Конечно, хорошо бы что-нибудь сделать, чтобы заставить янки убраться оттуда.

Я всегда был коммунистом. Правда, сейчас я уже не такой рьяный, как прежде.

В дни моей юности люди были сплоченнее. Теперь мы разобщены. Раньше мы собирались, обсуждали мировые события. В те времена часто делались доклады на политические темы. И были хорошие ораторы. Как они грохотали с трибуны! Утром собирались на свои собрания сектанты, а вечером — ком-

САРА ЛИДМАН
РУДНИК

мунисты. Прямо после молитв рабочие шли на политические митинги. Проповедники ругались и кричали: «Мы знаем, что вы ходите на собрания коммунистов, и знаем, за кого голосуете. Это грех!» А рабочие отвечали: «Не поможет! Мы родились коммунистами и умрем коммунистами!» Они верили и в бога, и в коммунистическую партию.

У нас в Сваппавааре нет настоящих ораторов, здесь все слишком робкие. А вот в Кируне есть. Они ездят и выступают по разным поселкам.

Я никогда не мечтал о какой-нибудь профессии. Я прирожденный рабочий, вернее сказать — чернорабочий. И я доволен и своей работой, и своей жизнью. Мне кажется, что даже если бы у меня была возможность и способности заняться другим делом, я бы все равно отказался. Я люблю работать. Спина у меня не болит, а ведь я всегда был на самой тяжелой работе до того, как перешел на склад в Левеэниеми. И хотя работа на руднике была тяжелая, я никогда не уставал и дома в свободное время тоже работал. Вся черная работа по строительству дома сделана моими руками. И колодец, и отопление. А вот с внутренней отделкой мне уже помогли. Сначала в доме были только кухня, спальня и одна комната наверху. Несколько лет тому назад я пристроил большую комнату. А в прошлом году сделал веранду, она смотрит прямо на лес. Там хорошо, когда хочется побыть наедине с самим собой.

Рудник в Сваппавааре много значит для нашего поселка, это ясно. Но он имеет и свои плохие стороны тоже. Жизнь меняется, и тот, кто привык к спокойной жизни, очень тоскует по ней. Уж слишком людно стало у нас, кругом все незнакомые... понаехали с севера и юга, с запада и востока. Конечно, с работой здесь хорошо... но раньше было спокойнее... не было столько чужих... только мы, жители поселка. Когда становишься стар, трудно сходиться с людьми... Особенно, если плохо слышишь...

Летом я люблю отдыхать на своей веранде.

Когда-то в наших местах было много привидений. Теперь их не стало. А я помню, когда я был мальчишкой... соберутся старики и старухи и греются у печки. Согреются и начинают рассказывать, кто что видел. Страшно, а все равно слушаешь, слово боишься пропустить.

Здесь, на старом руднике, добывать медь начали триста лет тому назад, так что шведов в этих местах знают уже давно. И, конечно, были тут и шведские кладбища. Жил в поселке один лопарь по имени Ниетсака-Олли. Моя бабушка была тогда еще девчонкой. Он помогал женщинам, которые не могли разродиться, и вообще колдовал. Однажды он ночевал в доме, где жила бабушка, и забыл там свою куртку. На другой вечер возле стены, где висела его куртка, послышались разные шведские слова. Тогда хозяева взяли палку, подцепили куртку и повесили ее на угол дома. В избе сразу стало тихо. Когда Олли пришел за своей курткой, ему сказали, что из нее слышались шведские слова. Олли объяснил, что в этом нет ничего удивительного. У него в кармане куртки лежал мешочек с землей со старого шведского кладбища. Конечно, шведские души были недовольны, что им не дают мирно покоиться на кладбище. Но ведь у живых бывают неприятности, которые изгоняются только с помощью кладбищенской земли. Тут уж ничего не поделаешь. В Сваппавааре каждый ребенок знает, что есть говорящая земля, она говорит по-шведски, когда ее потревожат....

Я очень люблю петь. В молодости я пел песни забастовщиков и вообще все красные песни, какие знал. На собраниях и так тоже. Теперь никаких политических событий больше не происходит. Так что в старости мне осталось петь только псалмы. Если на руднике кто-то погибает от несчастного случая или умирает старый горняк, меня всегда зовут петь на похоронах. Конечно, по умершему горняку следовало бы петь особые песни. Это я чувствую. Но таких песен нет. Вот я и пою псалмы.

Мне еще нет тридцати

С тех пор как я начал работать на обогатительной фабрике, меня донимают две вещи. Во-первых, грохот. Мне кажется, что все мое тело состоит из ушей, которые вот-вот лопнут, даже колени и те превращаются в уши... Один вид этих мельниц чего стоит. Они такие большие, что человек рядом с ними чувствует себя семилетним ребенком. И хотя я работаю там уже больше года, они по-прежнему внушают мне чувство собственного ничтожества. На этих мельницах руду перемалывают в тонкий песок. Такая штуковина и не заметит, если в нее попадет человек. Иногда мельницы тяжело вздыхают, будто действительно перемалывают людей, а не руду. Особенно в ночную смену. От трех до четырех. Бывают минуты, что кажется, будто на земле больше уже не осталось людей. Вернее, боишься, что всех людей уже перемололи, а тебя просто забыли, вот сейчас мельницы сойдут с места, подойдут и проглотят тебя. Тогда я бегу на другой этаж, чтобы убедиться, что хоть напарник жив. Ночью — от трех до четырех — самое трудное время. В это время надо всем властвуют мельницы. Ночью хочется не только спать, хочется видеть людей. Хотя бы издали.

Мне кажется унизительным, что в течение всей смены люди из-за грохота не могут даже словом перемолвиться. Общаешься только с помощью жестов. Под-

нимешь вверх ладонь — это означает: «все в порядке». Ну, а если хочется что-то рассказать, поделиться новостями, высказать свое мнение, надо ждать восемь часов — до конца смены.

У нас есть телефон, можно звонить в диспетчерскую и мастеру. И к нам могут звонить. Мощность телефонного звонка — 70 децибел. А мельничного шума — не меньше 110. Я говорил начальству, что бессмысленно ставить телефон, которого все равно не слышно. Провели испытания, и специалисты заявили, что все дело в нас, а не в телефонах,— оказывается, нам лень отвечать.

Простоишь полсмены и чувствуешь себя перемолотым этим адским грохотом. Единственное, что слышишь—когда нажмут на кнопку и остановят все машины. И тогда кажется, будто с твоих плеч сняли тяжеленную ношу.

Мы пробовали затыкать уши стекловатой и сверху надевать шлем, лишь бы не слышать грохота. Но чтобы это помогало, шлем должен сидеть на голове так плотно, что нарушается кровообращение. А чуть только ослабишь шлем, грохот обрушивается на голову, словно удары кувалды. Дома, уже несколько часов спустя после смены, все кажется, что ты еще в шлеме. Я думаю, что от шума страдают не только уши. Слышал, что люди заболевают от шума, даже если уши хорошо защищены.

Нет, это не человека надо кутать да заворачивать, чтобы предохранить его от шума. Надо кутать машины.

Однажды к нам пришла комиссия, которая интересовалась условиями труда. Мельницы не работали, работали только насосы и шум был в 80—90 децибел. Подошли ко мне и спрашивают: «Неужели здесь всегда такой шум?» Я им ответил: «Что вы, сегодня у нас тихо». Они посмотрели на меня с удивлением. Я объяснил: «Приходите к нам, когда работают мельницы, когда мы выдаем продукцию!»

У нас на обогатительной фабрике нет определенного обеденного перерыва, мы отвечаем за работу в течение всей смены. Бывает лишь небольшая передышка для еды, минут на двадцать, когда мы идем в столовую. Какое чувство свободы тебя охватывает, когда входишь в битком набитую столовую. Мне кажется, что никто даже не понимает, насколько этот грохот разобщает людей.

Самое главное на руднике — это машины. Мы должны следить за ними, нам приходится брать деревянную палочку, вставлять один конец в ухо, другой — приставлять к подшипнику и слушать, слушать при шуме в 100 децибел, не кашляют ли подшипники, не кончилась ли смазка... Один ремонтник рассказывал, как мастер, обучавший их, объяснял, что самый лучший способ прослушать, нормально ли работают подшипники (ведь они стоят денег, и от них многое зависит),— это взять деревянную палочку, вставнть один конец в ухо, а другой приставить к корпусу подшипника. После некоторой тренировки можно научиться различать по вибрации, нормально работают подшипники или нет. Самое смешное, сказал тот ремонтник, что сам мастер, когда нужно было прослушать подшипники, приносил со склада стетоскоп. Конечно, он безошибочно слышал, в каком состоянии находятся подшипники. И шум ему не мешал, ведь у него были заткнуты оба уха. А вот рабочие должны тренироваться с деревянной палочкой и научиться не замечать шума...

Специалисты говорят, что шум не опасен для здорового, гармоничного человека. Если человек о нем не думает. А как же можно о нем не думать? Мои приятели, например, говорят, что звукоизоляционными шлемами пользоваться опасно. Не услышишь, если что случится...

Я боюсь будущего. Я не хочу лишиться контакта с людьми. Я хочу летом слышать и сверчков, и все лесные шорохи. Я знаю людей, они немногим старше меня, а сверчков уже не слышат. Я видел много пожилых рабочих, которые очень сильно пострадали от шума. Они сделались такими подозрительными...

А старые рабочие, те, которые работали на руднике с самого его открытия, они работали еще с ручными бурами, через их руки прошли все горные инструменты, они многому могли бы научить молодежь, но как они могут чему-то учить, если они совсем оглохли?..

А то, что человек постоянно находится в напряжении? У многих лица дергаются от нервного тика.

Я вовсе не хочу жертвовать всем, что у меня есть... в наше время самое дорогое уже не правая рука, а голова, мозг... Что будет дальше? Если пострадают слуховые нервы, с ними уже ничего не поделаешь. А ведь мы идем навстречу обществу, в котором людям придется овладевать новыми знаниями... менять профессию несколько раз в жизни... Если мы потеряем слух в начале жизненного пути, что с нами будет? Если мы станем рабами этих машин, на нашем развитии можно поставить крест, ЭТОТ АДСКИЙ ГРОХОТ НЕОБХОДИМО ИЗОЛИРОВАТЬ. Нужно строить звуконепроницаемые стены. И ЭТО НАДО СДЕЛАТЬ БЫСТРО. Так дальше продолжаться не может. Иначе пострадают люди. Как они смогут развиваться гармонично, если они ничего не слышат? Ведь мы не знаем о том, как грохот действует на человека, может быть, он влияет на качество мозга... может быть, мы от него становимся глупее...

Большую часть смены я поливаю пол у себя в отделении. Вода—чудесная вещь! Я знаю, как изумительно она журчит, когда течет из шланга на пол. Но мель-

---

САРА ЛИДМАН
РУДНИК

ницы заглушают все звуки. Я вижу воду, но не слышу, как она журчит. И я чувствую себя угнетенным.

Всякий раз, как я читаю статьи о недопустимом отношении к природе, о загрязнении водоемов и тому подобном, я думаю о недопустимом отношении к рабочей силе, позволяющем, чтобы наши души загрязнялись пылью, ядом, грохотом.

Большинство рабочих не думает о вреде. Они смирились. Будущее их не трогает. Они думают только о том, как бы побольше заработать, а там будь что будет.

Начальство просто из себя выходит, когда видит, что работяги беседуют друг с другом. Чего они боятся, что мы вдруг оккупируем свою родину? Непременно кто-нибудь подойдет и спросит: «У вас что, затруднения? Со всеми своими затруднениями вы можете обращаться к нам».

Они просто ненавидят нас. Был в Кируне один инженер, теперь он больше там не работает. Вот был дьявол в вопросах рационализации, до чего он только, бывало, не додумается. В транспортной диспетчерской, куда шоферы приходят за назначениями или чтобы немного погреться, стояли две грубые скамьи, едва обструганные сверху (на таких скамьях жители нашего поселка обычно слушают проповедников). Сидеть на них не слишком-то удобно. Шоферы не задерживались в диспетчерской больше чем на пять минут. Но тому инженеру и это казалось слишком. В один прекрасный день к диспетчерской подогнали грузовик и скамьи увезли...

Несколько лет в диспетчерской не на чем было сидеть. Но лень делает человека изобретательным. В ожидании наряда шоферы отдыхали, прислонившись к стенам. Однако изобретательность инженера превзошла все на свете. Он велел вколотить в стену, «которую любили подпирать шоферы», два ряда гвоздей как раз на том уровне, где приходились плечи. Шляпки с гвоздей инженер велел откусить. Нетрудно представить, что сказали шоферы, увидев эти гвозди. Шесть или семь недель торчали они в стене.

Мы знаем, что на каждого из нас имеется дело. Начальство может получить о нас любые сведения. Они раскопают то, что работяга и сам о себе не знает. Но если профсоюз попытается получить какие-то сведения о руководстве предприятия, ни черта он не получит. Человек чувствует, что за ним все время следят. У меня на рабочем месте посидеть негде. Работа действительно требует, чтобы мы все время находились в движении. Но минут пять в час можно было бы передохнуть. Мы с моим напарником притащили ящик и отдыхали на нем эти пять минут. Ящик исчез. Мы принесли новый и приколотили его к стене. Пока он еще стоит...

Не успеет рабочий сесть, обязательно войдут инженеры и скажут: «Привет! Привет!» В наши дни рабочему редко говорят: «Ты зачем сюда пришел, работать или отдыхать?» — или еще что-нибудь такое. Нет, ему говорят только: «Привет!» Но ведь он понимает, о чем они думают. Ему не хочется вставать. И это естественно. Со своей работой он справляется. Он не раб. Вот он и сидит, будто ему в задницу налили свинца. Но у них есть особая манера говорить «Привет! Привет!», которая означает, что через семь минут они вернутся. Они ходят неслышно. Смотрят в потолок. С безразличным видом, словно кошка, которая играет с мышью. Рабочий сидит, он проклинает все на свете, он клянется, что не встанет с места, пусть пройдут эти семь минут, пусть ему еще раз скажут: «Привет! Привет!», пусть хоть вся фабрика полетит к черту. Он сидит пять минут, сидит еще полминуты, а потом поднимается, берет шланг и начинает поливать совершенно чистый пол. Инженеры идут обратно. Он делает вид, что не замечает их. Но он и не направит им на ноги струю воды. Он усмирен. Он хочет работать. Он конченый человек...

Наше начальство знает, что одного только параграфа 16 Коллективного договора * достаточно, чтобы мы были послушными, как волы...

Все, что нам обеспечивают и обещают предыдущие параграфы, от параграфа 16 рушится, словно карточный домик...

Что бывает с человеком, если он не учится, а сразу идет работать? До восемнадцати лет он вообще ни о чем не думает. От восемнадцати до тридцати большинство думает, что у них еще есть время поменять работу. Некоторые считают, что можно и выпивать, мол, они еще успеют одуматься. Из них редко кто «одумывается». Время идет, и в один прекрасный день человек понимает, что он попался. Он больше уже не полноценный рабочий **. Он уже не стоит 240 000 крон. Может, даже и 240 крон. Я знаю одного забойщика, который много лет зарабатывал чуть не по 20 крон в час. В сорок лет он оказался инвалидом. Спазмы сосудов, спина, нервы — все пошло насмарку. Теперь он подметает двор и получает по самой низкой расценке. Что ему делать остальные двадцать семь лет до пенсии? Молиться богу?

Что касается слаборазвитых стран, то ими просто пользуются для всяких на-

---

* Соблюдая параграфы договора, во всем остальном работодатель имеет право распределять работу и руководить ею, свободно нанимать или увольнять рабочих, а также использовать рабочих независимо от того, являются ли они членами профсоюза.

** Полноценным считается тот рабочий, чья работоспособность не страдает от возраста, болезни или инвалидности (Из Коллективного договора § 2, п. 1.).

падок на шведских рабочих: вы неблагодарные, вы зажирели, вы давитесь от благополучия... попробуйте, что значит умирать в африканском буше от проказы, тогда вы поймете, что такое благодарность. Но те, кто сравнивает нас с безработными африканцами, никогда не сравнивают себя с прокаженными из буша или даже с нами, работающими на шведских предприятиях... Они делят весь мир на две части: одна часть небольшая — это благородные (они сами), а другая — обычные люди, «рабочая сила», которую они нанимают и увольняют, в зависимостн от своих интересов. А в результате мы, шведы, смотрим на вьетнамцев с завистью. Конечно, это звучит как святотатство. Но при нашей системе нам никогда не будет лучше, чем теперь. А ТЕПЕРЬ НАМ ПЛОХО! В слаборазвитых странах могут сколько угодно расхваливать шведское благоденствие! Я живу в квартире со всеми современными удобствами — ванная, уборная, холодильник. НО ДЕЛО НЕ В ЭТОМ. Мне не нужна пластмассовая лодка, морозильник и бар, чтобы я считал, что мой жизненный уровень достоин человека. При чем тут жизненный уровень и продвижение по службе? Дело в том, что мы, все рабочие Швеции, находимся вне общества. Мы не свободны. Мы невежественны. Мы бессильны. Согласно договору, мы «не должны заниматься на рабочем месте никакой агитацией». Что такое агитация? Это решает начальство. Для того чтобы существовать, нужна пища. Но одной пищи еще недостаточно, чтобы можно было сказать, что человек живет так, как требует его человеческое достоинство. «Борьба за наши права» превращается в борьбу за прибавку в пять эре. И это называется — «Рабочим всегда мало». А вьетнамцы... Они жертвуют всем! Год за годом они лишены всего, для того чтобы выиграть все! Ведь они надеются получить всю страну. Они считаются с человеческим достоинством, а мы потеряли на это всякую надежду. Большинство шведских рабочих слишком робки, чтобы признаться в этом...

Вьетнамцы... Защищая свою страну, они и создают ее... А мы, шведские рабочие, мы только повышаем производительность труда. И мы всем в тягость. Мы — недовольные элементы. На нас не угодишь!..

О Вьетнаме я могу сказать только одно: я им завидую... Я часами лежу и думаю об атаках, которые они предпринимают против американцев. А когда я засыпаю, мне снится то, о чем даже подумать страшно. Я попадаю в плен. Меня должны допросить. Я слышу, как обсуждаются разные способы, которые можно применить, чтобы заставить меня говорить. И кто-то шепчет: децибелы... сто тридцать децибел... Я просыпаюсь в холодном поту и больше не завидую вьетнамцам.

Не знаю, что я буду делать, как буду жить дальше... Мне еще нет тридцати... Но скоро будет. А в загробную жизнь я не верю.

Тот, кто справляется, может быть спокоен

Сперва я работал наверху, потом попал в бригаду по укладке рельсов под землей. Это тяжелая работа, одна из самых тяжелых на руднике, особенно прежде так было, теперь-то многое усовершенствовано. А когда-то она считалась такой же тяжелой, как ручная погрузка. Рельсы и шпалы — тяжелые, порода — твердая, вода — чуть не до колена. А бывает и газ. Обычно мы приходили в штрек сразу после отпалки, конечно, там было еще полно газа. Когда голова болит от газа — это непохоже на обычную головную боль, от нее даже в обморок падаешь. У меня и теперь частенько болит голова, но по сравнению с тем, что бывает от газа, это пустяки.

Под землей много зарабатывают. Но я выдержал там всего пять лет. Потом пришлось уйти: на ногах началась экзема. Несколько лет я укладывал рельсы наверху, потом начал работать на гусеничном тракторе, так до сих пор на нем и работаю. Выбираем грунт, выравниваем и прокладываем дороги. К руде я теперь отношения не имею.

Иногда мы зарабатываем по двенадцати крон в час, но это редко.

Грохот на тракторе очень сильный. Крышу еще можно сделать звуконепроницаемой, а вот с боковыми стенками ничего не поделаешь — окна. Я не могу пользоваться звукоизоляционным шлемом. Когда я его надеваю, мне кажется, будто у меня от него мозги наружу лезут. Говорят, правда, что так бывает лишь вначале. Только я никак не преодолею это начало. Много раз пытался. Как будто тебе в череп что-то заколачивают. Однако со слухом у меня все благополучно. Незначительная потеря за все 14—15 лет работы. Зато спина начинает сдавать. Вибрация. Весь день тебя трясет. Зимой легче, снег смягчает вибрацию. Под вечер спина ныть начинает.

Конечно, можно перейти на другую работу, но боюсь, что работа будет хуже и платить будут меньше. Когда стареешь, трудно менять работу. Мне сорок три. На тяжелую работу уже не пойдешь. А на обогатительной фабрике работают в три смены. Мне приходилось работать

САРА ЛИДМАН
РУДНИК

в три смены, но тогда я совершенно не сплю. Когда работаю в ночь. Сейчас я работаю в две смены — утром и вечером. На обогатительной фабрике и заработки высокие, как раз из-за ночной смены. Врач говорит, что я непременно должен сменить работу, если не хочу окончательно угробить спину. «У тебя вся спина перекошена»,— говорит он.

У всех, кто работает на тракторе, болит спина. Ведь целый день сидишь в одном и том же положении, да еще и тряска. Говорят, будто невозможно сделать такое сиденье, чтобы спина не болела. Кто долго работает на тракторе, раскаивается, что вовремя не сменил работу. Я тоже раскаиваюсь, но теперь уже поздно.

Я не беру справки от врача, хотя он даст мне ее в любую минуту. Боюсь, что тогда меня переведут на обогатительную фабрику, а я туда не хочу. Не думаю, чтобы там считались с тем, что человек плохо спит. Ведь для них это пустяки. Там может работать только тот, кто легко засыпает в любое время, а я так не могу. Я надеюсь перейти в ремонтную бригаду. Там и спине будет легче, и платят почти столько же, сколько здесь. А на меньший заработок я не могу согласиться. Надо выплачивать за дом.

В первый год мы платили за него больше восьмисот крон в месяц. Теперь платим за все 740. Прежде мы жили дешево и условия были вполне подходящие. Ведь эти виллы построены для служащих. Но жить на третьем этаже, как мы жили, с тяжело больным ребенком нельзя. Мы получаем на него небольшое пособие, это помогает нам выплачивать за дом. Жене с ним хватает возни. Если бы он был здоров, она, конечно, пошла бы работать, остальные дети и без нее обойдутся. Но отправлять его в больницу для хроников мы не хотим. Мы видели такие больницы. Там персонал при всем желании не может обеспечить всех надлежащим уходом.

Когда долго работаешь на одном и том же месте, начинает казаться, что с другой работой тебе уже ни за что не справиться. Особенно, если ты немолод. Страшно. А вибрация гробит не только спину, но и все внутренности... Это я вижу по людям, которые долго работали на тракторе. Они выглядят так, что смотреть тошно.

Летом в кабине невыносимая жарища, 50—60°, а когда открываешь обе дверцы, дует так, что голову ломит.

Зато ЮМС и хронометража мы избежали. Никто не хочет даже временно трястись вместе с нами. Однажды мой мастер попросил подвезти его, но он спрыгнул, так и не доехав до места. Сказал, что на этой машине он не станет работать, даже если ему приплатят. А вот нам не прибавляют. У нас, сколько ни работай, все равно больше не заработаешь. А при теперешней дороговизне не прожить, если зарабатываешь меньше 15 крон в час.

Тем, кто под землей, больше платят, но я им не завидую. Им и надо больше. Я бы не поменялся с ними, даже если бы мне предложили 20 крон в час вместо моих 11—12. Какой под землей воздух... При одной только мысли об этом воздухе меня бросает в дрожь. Но ведь люди разные, есть такие, которым все нипочем. Если бы я был молодым и только начинал работать, я бы хотел стать бурильщиком. Но теперь уже поздно.

О какой работе я мечтаю? На это трудно ответить. Чего можно требовать, если нет образования? Я только думаю, что несправедливо, что многие мастера, которые тоже нигде особенно не учились, получают на полторы-две тысячи больше, чем я. Инженеры получают много, но тут ничего не скажешь. Они много учились. Не так-то просто защитить диплом. Они свои деньги заслужили.

Рабочих все время прижимают. И под землей тоже. Если сломалась машина, водителю говорят: «Ты виноват! Твоя халатность!» Раньше такого не было. Чуть что, сейчас же ремонт. А теперь начальство стало мелочным. Рабочие даже боятся сказать, если с машиной неладно. Когда человек двадцать лет работает на машине, он не станет портить ее нарочно. На рабочего легко свалить всю вину. Он ведь никакой ценности собой не представляет. А сколько у нас служащих, которые никуда не годятся, надо прямо сказать... Нет, с рабочим нельзя так обращаться. Каждый рабочий прежде всего — человек.

Замечания? Нет, мне замечаний не делали. Когда столько лет проработаешь, чувствуешь себя уверенно. Уж не знаю, какие должны наступить времена, чтобы человека выгнали.

Я за себя уверен.

Если кто не справляется с работой, его, конечно могут уволить. А тот, кто справляется, тот может быть спокоен.

Одно плохо — спина... Как бы мне из-за нее не пришлось перейти на хуже оплачиваемую работу. Что тогда будет с домом, даже подумать страшно. Компания предоставила нам кредит. Мы должны 96 500 крон. В первый год мы платили только проценты — 8,1 процента. Плата за амортизацию небольшая, мы платим в основном только проценты. Рассрочка дана на 50 лет. После этого дом будет принадлежать нам.

Иногда поговорить необходимо

Сперва я работал на руднике в Туолавааре. На механической погрузке и бурении. Очень одиноким чувствуешь себя

в штреке. В те времена на руднике работало много иностранцев, с рабочей силой было туго. В бараке жили и немцы, и голландцы, и поляки, так что мы и после работы не могли поговорить друг с другом.

Через несколько лет я перебрался в Кируну. Тут было получше, тут в штреке всегда работали вдвоем, а иногда втроем или вчетвером.

Но однажды я почувствовал, что должен сделать передышку, должен остановиться... Я пошел в контору и сказал, что мне нужен отпуск на три месяца. Тогда я еще не был женат, сам себе хозяин, как говорится. А приятелям я о своей затее не говорил. Инженер меня спросил, зачем мне отпуск, не хочу ли я построить за это время дом. А когда узнал, что дома я строить не собираюсь, сказал, что он не может дать мне такой длинный отпуск. Но сказал, что я могу уволиться, а через три месяца снова поступить к ним на работу. Тогда с рабочей силой было туго.

Я накопил денег для своего эксперимента... или как еще это можно назвать... Мне просто хотелось подумать. Я поехал в Стокгольм, ходил там и размышлял. И я чувствовал, что что-то приближается... Я думал, что однажды утром я проснусь и пойму... Я жил очень экономно, чтобы подольше растянуть деньги... Но когда я чувствовал, что ждать осталось всего неделю, даже, может быть, всего одну ночь... деньги кончились. Я был вынужден вернуться домой и снова поступить на работу. Мне хотелось бы повторить такую передышку. Но нельзя, теперь я женат. Да и поступить на работу в ЛКАБ уже не так просто, как раньше. Тогда мне было 27 лет, теперь 37. Для рабочего это солидный возраст. Теперь такой фокус не пройдет.

Сейчас я работаю на алмазном бурении. Мы ведем разведку. Это мы определяем качество горы, перед тем как начинаются разработки. Берем «керны». Заносим в протокол все пробы — какая порода, какие грунтовые воды, пустоты.

Чем тверже порода, тем легче бурить. В черной руде, магнетите, мы достаем керны с глубины в шестьсот метров. Здесь в Левеэниеми много красного железняка. Он содержит мартит, на него большой спрос. Компания может продать его в неограниченном количестве. Но красный железняк такой рыхлый, что глубже чем на шестьдесят метров его бурить невозможно. Он обваливается.. Мы работаем аккордно, наш заработок зависит от породы. Когда мы бурим красный железняк, то зарабатываем максимум 11—12 крон. А когда порода твердая — 14,69 или 14,74.

Наша бурильная машина — круглая, с маленькой кабиной, так что мы находимся в «помещении», хотя здесь, в Левеэниеми все разработки открытые. Правда, в крыше у нас отверстие и в полу тоже, так что дует беспрерывно. Есть в кабине аэротемп, который нагнетает теплый воздух. Его мощность 5 ватт. Мы просили дать нам более мощный, на 25 ватт, но они не хотят.

Мне не нравится, что человеку все время приходится думать о деньгах. Считать да рассчитывать. Мы за трехкомнатную квартиру платим 523 кроны в месяц. Зарабатываю я как раз тот минимум, при котором уже не положена помощь на квартплату. Большой Змей — обычный жилой дом, и жить в нем с каждым годом становится все дороже. Конечно, было бы лучше иметь собственный дом. Но если бы мы купили дом в рассрочку, первый год нам пришлось бы платить по 850 крон в месяц. При моем заработке это невозможно. А купишь старый дом, государство не даст займа на ремонт, и будешь жить без водопровода и канализации.

Еще неприятно, что предприниматели все время выпускают какие-то новинки для детей, одежду или вещи. У нас четверо детей, пятый уже сам зарабатывает. В школе некоторые имеют возможность приобрести дорогой велосипед или модную куртку. А заведется у одного, и все остальные начинают клянчить у родителей такой же велосипед или такую же куртку. И ведь ни за что не отстанут. Конечно, было бы лучше, если б родители на эти деньги приобрели что-нибудь другое. Но ведь дети не понимают, что значит зарабатывать.

Вот еще одно, с чем я решительно не согласен: для семи-восьмилетних детей выпускают пластмассовые шприцы, и они играют как будто колют друг друга наркотиками. Зачем продают такие вещи и внушают детям дурные привычки?

Вечерами здесь решительно некуда деться. Я люблю столярничать. Но куда поставишь верстак в трехкомнатной квартире, где живут семеро? В доме нет помещения, где бы люди могли заниматься своим «хобби». После работы ничего не остается, как читать «Норлэндску»*. А ее открыть не успеешь, уже в сон клонит. Вот из-за этого мне не нравится Сваппаваара. Никакой общественной жизни. У женщин есть кружки вышивки и шитья. А у мужчин ничего. Даже кафе нет, где бы можно было посидеть с друзьями.

Профсоюзные дела меня не интересу-

* «Норлэндска социалдемократен» — ежедневная газета. Одна из крупнейших газет Северной Швеции и самая правая из социал-демократических

САРА ЛИДМАН
РУДНИК

ют. На собрания я хожу редко. Разве что уж какой-нибудь очень важный вопрос обсуждают. Будет в нашем отделении профсоюзная организация или нет, безразлично. Все равно профсоюз бессилен. У нас никто не действует через профсоюз, если хочет на что-нибудь пожаловаться.

Я никогда не состоял ни в производственном комитете, ни в совещательных группах, так что, чем они занимаются, я не знаю. Но ь Кируне профсоюзная ячейка выбрала меня ответственным за охрану труда. Тогда-то я и понял, что это одни пустые слова... Как бы вежливо ты о чем-то ни попросил, все равно ничего не будет сделано. У них всегда все «о'кей», хотя на самом деле далеко не так.

Однажды в Кирунавааре я с горным мастером был на обходе, мы смотрели, что необходимо сделать на руднике по охране труда. Там ведется открытая разработка. Вокруг должны висеть железные цепи. Я указал на это мастеру. Прошла неделя, ничего не изменилось. А как только горный мастер произнес одно только слово, цепи тут же появились! Так для чего нужен я, выбранный коллективом наблюдать за охраной труда, если никто не принимает всерьез мои слова?..

Нет, мастером я бы не хотел быть. Мастера сами ничего не решают. Они как мальчики на побегушках, мечутся между инженерами и рабочими. Хотя жалованье у них высокое. Если у кого хорошо подвешен язык и здоровая глотка, он многого добьется в этом обществе — и хорошей работы и высокого жалованья. Можешь ничего не уметь, только бы язык работал. А если у тебя нет к этому склонности... Еще десять лет тому назад здесь место мастера переходило от одного члена семьи к другому, мастеров назначали только по принципу родства...

Как бы там ни было, мастер — это тот же рабочий. Раньше он здоровался, когда встречал тебя на улице. А как только стал мастером, сразу перестал здороваться. Не все, конечно, но таких много... А их жены! Послушать только, как они говорят!..

А вот инженеры, совсем другое дело. Чем выше пост занимает инженер, тем он вежливее. Старший инженер всегда здоровается...

Туристам никогда не показывают, в каком дыму и газе рабочим приходится работать после отпалки.

Взять, к примеру, моих товарищей из соседних поселков... Раньше они работали в лесу... Работа была свободная, досуг тоже не пропадал зря. А сейчас? В бараках тесно. Рабочие пьют. Даже среди недели. Молодому похмелье не страшно. Если человек выпьет вечером после утренней смены, то к утру он уже ничего не чувствует. Да и сна тоже молодым много не требуется. Я вот не могу теперь пить среди недели. А в субботу, когда смотришь телевизор, можно выпить немного водки. Но в одиночку пить скучно. Я выпиваю четвертинку. И никто из семьи об этом не знает. Все-таки это подбадривает. А представьте себе, если б у нас был пивной бар! Можно было бы посидеть вечером! Выпить бутылочку пива, не для того, чтобы напиться, а просто, чтобы лучше шла беседа. Поговорить о политике, о чем угодно. На работе беседовать некогда. В столовой тоже — я вообще ем у себя в кабине.

А иногда поговорить необходимо.

Нельзя всегда все держать про себя. Конечно, можно беседовать с женой. Но когда вы прожили вместе много лет, то уже давно обо всем переговорили...

Если человеку не пришлось учиться, то он вынужден оставаться в Сваппаваре и исполнять ту работу, какая есть. Конечно, досадно, что в наши годы было не так, как сейчас, не было бесплатных учебников и завтраков... Есть много людей моего возраста, которые могли бы стать кем угодно, если б у них была возможность учиться... Я думаю, что мои сыновья не окажутся в таком положении, в каком оказался я. Мне хочется, чтобы у них была возможность выбрать. Они хорошо учатся в школе, особенно по арифметике. Я хочу, чтобы они учились...

Если бы я имел возможность, я бы учился заочно. Но в тридцать семь лет начинать поздно. Мне бы хотелось быть геологом. Подумать только, знать все, что скрывается под землей!..

Хочешь посмотреть мою коллекцию? Вот молибденовый блеск, это такой минерал, видишь, какие тонкие пластинки, совсем как бумага. Он лежал под обычным камнем. Есть у меня и другие камни. И кусочек дерева, который пролежал в земле несколько тысячелетий.

Но самая ценная вещь в моей коллекции — это сосновая шишка. Специалисты говорят, что она лежала в земле 75 000 лет. Я нашел ее на глубине двадцати метров. Она черная, местами серая, на вид совсем невзрачная. Но я смотрю на нее каждый день. Когда держишь в руке такую шишку, невольно останавливаешься и задумываешься.

У меня свой дом, и я всем доволен

Молодые обычно всю вину сваливают на ЛКАБ. А я им говорю, что если бы они попали на другое предприятие, им

пришлось бы вкалывать еще больше, чтобы заработать те же деньги... Нам еще легко, мы знаем, что нас каждый день ждет работа, за которую нам хорошо платят.

Мне было сорок лет, когда я начал работать в ЛКАБ, меня приняли в виде исключения, обычно таких стариков не берут. До этого я был лесорубом и дорожным рабочим. На руднике я сначала работал на погрузке, потом — бурильщиком. Все было хорошо, да пальцы начали неметь. Они делались совсем белые, как бумага. Это из-за воды, инструмент приходится держать так, что вода все время течет в рукавицы. Иногда по утрам пальцы у меня были совершенно мертвые. Я ими ничего не чувствовал, жена могла бы их отрубить, я бы и не заметил. (Смех.) Теперь стало лучше. Легкие у меня в полном порядке. А вот бронхи подкачали. Врач сказал, что это хроническое, с этим уже ничего не поделать. Ночью или утром, когда просыпаюсь, горло так и дерет от сухости и дышать трудно, надо полоскать. Но легкие здоровы. У нас на руднике строгий контроль. Врачи. И за слухом тоже следят. Правда, слуха-то я лишился. Из-за машин. Как раз когда у меня начали неметь пальцы, я заболел еще и ревматизмом. Пальцы прошли, а вот ревматизм остался. Врач сказал, что эта болезнь не проходит, но полегче мне станет. Только надо следить, чтобы ноги были всегда сухие. А на обогатительной фабрике я не обращал на это внимания и работал по колено в воде. Ревматизм сразу же дал себя знать. А с бронхами — это не опасно, только вот одышка и потеешь все время.

Это я заработал под землей. Там тяжелый воздух. Нечем дышать. Проработаешь в таком воздухе целую смену, а потом долго не можешь откашляться, и мокрота совершенно черная...

Во время работы мы затыкаем уши ватой и надеваем шлемы. Это неприятно. Но через несколько лет привыкаешь. После этого в ушах все время шумит, даже дома. Я и сейчас постоянно слышу шум в ушах. Надо стараться не думать об этом. Тут уж ничего не поделаешь, на руднике поработаешь — здоровье не сохраннишь. А останься я в лесу, появилнсь бы другие болезни.

При мне один рабочий потерял зрение. Он очень хорошо пел. И работал тоже неплохо. Он не продул старое отверстие, перед тем как начал бурить. А продувать надо, там ведь может остаться динамит после отпалки. Он начал бурить, динамит взорвался, ну он и ослеп. Ему было сорок лет.

ЛКАБ дало ему пенсию, потому что работать он больше не мог. Он потом иногда приходил к нам. И пел так, что мы все заслушивалнсь. Голос у него стал еще лучше.

Спешка всегда может привести к несчастному случаю. Большинство работяг думают так: буду бурить, пока можно. Работяга о своем здоровье не заботится.

Рабочих из Сваппаваары и Виттанги возили на рудник в Кируну на автобусе, нас было много, человек семьдесят или восемьдесят. Вдруг мы узнаем, что автобус больше ходить не будет. Компания настроила в Кируне много квартир, и рабочим из наших поселков предложили переехать туда. Только зачем ехать в наемную квартиру, если у тебя есть свой дом. Который к тому же ты сам и построил. Пошел я к управляющему рудника, его звали Линдмарк... хороший человек оказался этот Линдмарк... меня перевели сюда, в Сваппаваару...

Здесь я обслуживаю сепараторы на обогатительной фабрике, они расположены над мельницами. Грохот у нас невыносимый. С помощью магнитного сепаратора получают железный концентрат. Он очень ценится. Его отправляют на фабрику по производству окатышей в Кируну, там из него спекают маленькие шарики, окатыши. Заработок у нас хороший. Я тут работаю уже больше года. Но еще недостаточно хорошо знаю производство... Если что испортилось, я не всегда понимаю, чья это вина. А вот сын моего брата работает тут уже два года. Так он сразу знает, где чья вина. (Смех.)

Я работаю в три смены. Ничего. Работа не трудная. Надо только следить. Иногда целыми неделями не приходится вмешиваться. Пол у нас очень пачкается, так от нечего делать мы его все время поливаем из шлангов.

К ночной смене можно привыкнуть. Конечно, мы спим понемножку. Когда человек не молод, ему вообще много сна не требуется. Я, например, сегодня утром спал всего с семи до одиннадцати...

Если человеку не нравится работа, он всегда может попросить и его переведут на другую. Никогда не отказывают. В ЛКАБ такой порядок: если человек работает хорошо и документы у него в порядке (у них на каждого есть дело, и они знают, кто как работает, они даже знают, как я работал, когда был лесорубом), тот почти наверняка получит любую работу, какую попросит.

Мне два раза предлагали стать мастером, но я отказался. Мастеру приходится одновременно быть и на стороне рабочих, и на стороне инженеров. Он хочет, чтобы рабочие заработали побольше, а инженеры ругаются и кричат: «Ты заплатил им слишком много!» Нет, я хочу быть полностью только на стороне рабочих.

САРА ЛИДМАН
РУДНИК

Меня много раз просили работать в профсоюзе, но я не могу из-за слуха. На собраниях неудобно, когда ничего не слышишь.

В нашей бригаде четырнадцать человек. Нельзя сказать, что у нас все идет гладко. Новички... они слишком безразличные... Да и с сотрудничеством у нас не ладится.. Каждая смена думает только о себе, лишь бы им хватило, а надо думать и о других, тогда работать будет легче.

Вот у нас в Кируне бурильщики всегда оставляли буры в таком состоянии, что сменщик мог прямо подходить и бурить. Вот как должно быть. Тогда работать будет легче и дело быстрее пойдет.

Мне все нравится в ЛКАБ. Я всем доволен. До пенсии мне уже немного. Но я буду работать, пока смогу.

Прежде, когда я был молодым, я становился как чумной, когда открывалась охота на лося. Увидишь лося, ну как его не убить А убьешь, так потом всю зиму чувствуешь себя настоящим мужчиной. Но как-то я лося ранил, а не убил. Подошел, он смотрит на меня, прямо в глаза... И я подумал, что человек жесток, раз он убивает невинное животное. А лоси такие красивые.

И я решил: больше я не охочусь.

У меня на участке живет много птиц и белок.

А от этого страдает работа

Прежде, когда ЛКАБ еще не вело разработок в Сваппавааре, я работал в Кируне на строительстве. Но как только здесь открыли рудник, я перевелся сюда, тут у меня дом. Мы строили навесы для первых алмазных буров. Тогда мы были совершенно самостоятельные. Нам только говорили: «В следующий раз мы будем бурить в этом месте!» Если нужно, мы рубили лес, а иногда заливали и крепили буровые скважины. Случалось нам и бурить, если кто-нибудь из бурильщиков был болен.

Нас, плотников, было восемь или девять человек. И посылали нас на самые разные работы. То мы грузили руду, если отказывал транспортер, а рабочих рук не хватало. То нас посылали на обогатительную фабрику, если там требовалась помощь. Иногда в течение дня нам приходилось выполнять пять-шесть разных работ на территории всего рудника. Случалось, что утром мы работали на обогатительной фабрике, потом нас посылали на рудник строить какой-нибудь навес, потом мы ремонтировали стол у начальника управления или прибивали подставки для цветов. Ни одну бригаду на руднике не перебрасывали столько с места на место, как нашу.

Последние два года нас прижали с заработком.. Ведь что делают... Если нас посылают на другую работу, ну, например, разгребать руду, нам платят не по нашим расценкам, а по расценкам чернорабочих, а у них расценки гораздо ниже, чем у строителей.

А если нам случается работать на обогатительной фабрике — нас посылают туда прочищать застои,— нам платят по нашим обычным расценкам, а не по расценкам рабочих, обслуживающих машины, потому что их расценки выше наших.

Обидно, конечно. Но вообще-то я не жалуюсь.

Сара Лидман: А если бы каждый рабочий, и на руднике и на фабриках, знал бы любую работу? Чтобы все по очереди и черную работу выполняли, и делали бы подставки для цветов. А зарплата бы у всех была одинаковая?

Нет, бурильщики зарабатывают больше всех, они ни за что не захотят меняться работой.

Сара Лидман: Ну, а тот, кто работает на мельницах, в этом ужасном грохоте, то в холоде, то в жаре... разве справедливо, чтобы там год за годом работали одни и те же люди, да и к тому же плохо зарабатывали?

Рабочим не хватает солидарности. Если какой-то группе пообещают лишние 50 эре, она от них уже ни за что не откажется. Если бы мы были солидарны, легче было бы договориться. Работодатели считают так: прибавим немного I производственной группе, а зато IV производственной группе будем платить меньше. Конечно, I группа будет довольна. Так создают верхушку среди рабочих... Чтобы одних можно было использовать против других. Ты побеседуй с рабочими. Вот, например, переговоры, которые ведутся сейчас. Группа, о которой идет речь — человек пятьдесят,— мы тоже к ней относимся. Сделано предложение, благодаря которому мы будем зарабатывать меньше А другие группы, например рудник, будут получать по-прежнему. На руднике хорошо платят. Конечно, что им наша IV группа. Они и помалкивают... Та группа, на которую обрушилось несчастье, всегда остается в одиночестве. А если обиженные скажут: «Мы объявляем забастовку!» — я на сто процентов ручаюсь, что их поддержат далеко не все. Найдутся такие, которые скажут: а нам вовсе не плохо...

У нас на предприятии есть специалисты, которые заняты только тем, что придумывают, как создать между рабочими такие отношения, чтобы между ними не было единства. Ничем другим эти специалисты не занимаются...

Конечно, есть предприятия, где гораздо хуже, чем в ЛКАБ, я вовсе не собира-

юсь его чернить. Но все-таки ЛКАБ — государственное предприятие, здесь могло бы быть и получше...

Или вот еще. Раньше, если рабочего пошлют что-то отремонтировать и он во время ремонта обнаружит какую-то новую неполадку, он ее тут же устранит, хотя об этом его и не просили. А теперь из-за ЮМС и нормировщиков рабочие считают так: сделаю только то, что мне велели, а остальное — плевать, не мое дело. Раз с меня сняли всякую ответственность, я и буду безответственным. Они скупы и подозрительны, и я тоже буду скупым и подозрительным. Бывает, что рабочий даже и не скажет, если обнаружит неполадку; может, он и видит, что потом задержка с ремонтом обойдется не в одну тысячу крон, а думает: так им и надо. ЮМС лишает рабочего чувства человеческого достоинства. А от этого страдает работа.

Не согласен я еще и вот с какой вещью. С возрастом, когда сил у меня будет уже поменьше, меня переведут на более легкую работу, и заработок мой соответственно снизится. А вот сравни. Другой работает в конторе. Он тоже состарился. Но его жалованье растет. У него, может, уж и не знаю какой склероз, но на его заработке это не отражается. У него он увеличивается, а у меня уменьшается.

Активен ли я в профсоюзных делах? Не очень. Если начнешь ими заниматься, надо работать честно, а тогда больше уже ни на что не останется времени...

На рудник...и обратно

Как ЦОПШ * относится к коммунистам, можно судить по такому высказыванию, напечатанному в одной его брошюре, выпущенной в 1966 году: «Центральный профсоюз Индонезии, ГАЗБИНДО, насчитывающий примерно три миллиона членов, вновь вернулся в ряды МКСП ** после того, как с уходом Сукарно в индонезийские профсоюзы прекратилась коммунистическая инфильтрация». Теперь принято говорить «инфильтрация», когда кто-то состоит там, где не положено! Если рабочим с коммунистическими убеждениями не положено состоять в индонезийских профсоюзах, иначе они не годятся для МКСП, можешь себе представить, как у нас любят коммунистов. Мы же слышали, как ЦОПШ вздохнуло с облегчением по поводу прекращения коммунистической инфильтрации в Индонезии! Какое значение имеет тот факт, что эта инфильтрация прекратилась потому, что все коммунисты были убиты. Полмиллиона. ЦОПШ сделало вид, будто ничего не знает об этом.

Мои политические убеждения сложились очень рано. Я вступил в партию в 1930 году, работал по созданию спортивного союза рабочих... К сожалению, мне не пришлось заниматься марксизмом. Когда активно участвуешь в рабочем движении, свободного времени уже не остается. Но история развития человеческих отношений меня всегда интересовала...

Благодаря организационной работе в спорте я поднатаскался и стал разбираться и в расценках, и в условиях труда. В 41-м я начал работать бурильщиком. У нас против коммунистов одинаково настроены и компания, и профсоюз. С профсоюзом приходится бороться не меньше, чем с представителями работодателей. Как известно, коммунисты всегда больше всего доставляли заботы профсоюзу на этом красном рудоносном поле. Если вводилось что-нибудь прогрессивное и работодатели как всегда пытались свести все на нет, руководство профсоюза неизменно шло им навстречу...

Компания принимает меры, чтобы предупредить силикоз: всех, кто проработал десять лет, непременно обследуют. И потом — каждые три года. Мы ведь раньше бурили без воды, пыль стояла столбом, риск действительно был велик. Все обследования показывали, что у меня нет никаких признаков силикоза. Но вот однажды ландстинги * сами по всей стране решили обследовать горняков. Всем были сделаны рентгеновские снимки. Меня послали на обследование в Сандтрэск. Но там сломался аппарат, снимка сделать не могли и потому сделали только просвечивание. Тамошний врач сказал мне: «Похоже, что у вас начинается силикоз». Я ответил, что ничего удивительного в этом нет, я много лет работаю бурильщиком. Через год или два у нас снова было обследование. На моей карте было написано «силикоз первой степени». А когда обследование закончилось, меня объявили совершенно здоровым. Так что обследование, которое проводит ландстинг, и то, которое проводит компания, — разные вещи.

Под землей человеку становится трудно дышать — это неизбежно. А эти плуты нас утешают, что это только временное явление. Как бы там ни было, я перестал работать бурильщиком не из-за того, что у меня нашли силикоз... Сейчас припомню... Да... из-за несчастного случая. Я ушиб ногу и семь месяцев проболел. Это было в 52-м.

Когда я вернулся на работу, меня по-

* ЦОПШ — Центральное объединение профсоюзов Швеции.

** МКСП — Международная конфедерация свободных профсоюзов.

* Ландстинг — орган областного самоуправления.

САРА ЛИДМАН
РУДНИК

ставили вентиляторщиком на камнедробилке в Луосаваараре и на разную ремонтную работу. Это неважная работа. А от профсоюза я был назначен следить за охраной труда. У нас вся работа была поставлена так, чтобы дать как можно больше руды. И вот мастер учредил дополнительную смену, ночную. А есть закон, который запрещает ночные смены, и компания должна ему подчиняться. Ночная смена была устроена так: тот, кто работал в вечернюю смену, оставался работать и в ночь. Работягам это не понравилось, и они сказали, что я должен протестовать. Я заявил мастеру, что это противоречит закону. Но только ничего не изменилось.

Потом, в конце года, профсоюз организовал курсы по охране труда, я тоже их посещал. Когда нам разрешили задавать вопросы, я и сказал по поводу ночной смены в Луосаваараре. Секретарь по охране труда рабочих повернулся к инженеру, который занимался охраной труда в ЛКАБ, и спросил: «Разве у вас есть на это разрешение?» Инженеру пришлось сознаться, что разрешения на ночную смену у них нет.

После этого ночную смену отменили, и рабочие считали, что я все сделал правильно.

Но, видно, кому-то это не понравилось...

Вентиляция занимала у меня всего час. Потом я шел в ремонтную мастерскую. Спросил я однажды в ремонтной у начальника смены, что мне делать, а он сказал: «Ты у нас больше не работаешь!» «Как же так?» — удивился я. «А так,— сказал он,— ты вентиляторщик». «Но ведь там, черт побери, не хватает работы на целую смену. Сам знаешь, что там работы всего на час»,— сказал я. «Значит, остальное время ты будешь вентилировать под землей»,— сказал он.

Сперва я рассердился, а потом вспомнил, что «работодатель имеет право распределять работу и руководить ею», и если я сошлюсь на один параграф, он сошлется на другой.

Под землей рабочий день короче, и мы договорились, что в виде компенсации мне будут больше платить. А через несколько месяцев договор изменился, формулировка была такая, что поскольку на вентиляцию идет «смешанное время», то мне будут платить одинаково, независимо от того, где я работаю, под землей или наверху. Это понизило мой заработок на 20%. Я пошел к управляющему рудника и сказал: «Нет ли на руднике ручной погрузки, бурения или чего угодно. На те деньги, что я сейчас получаю, я не могу прокормить семью. Я сейчас самый низкооплачиваемый человек во всем ЛКАБ». (Это было в 56-м или 57-м году.) Управляющего рудником я знал еще с тех пор, когда он занимался спортом, он хороший человек. Ну, через несколько дней он вызвал меня к себе. И сказал, что я буду работать на отвале. Я сидел и смотрел ему прямо в глаза. Но он не глядел на меня. Потом он сказал, что он считает это несправедливостью, глупостью, что он протестовал, но ничего не помогло, Так что нам — и ему и мне — остается лишь подчиниться.

Отвал — это, так сказать, последнее дело. Сюда прибывают отходы, ненужная пустая порода, отделенная от руды. Я следил за опрокидыванием вагонеток, это делалось вручную, а потом все разравнивал. Здесь платили немного лучше, чем на вентиляции. Но работать было скучно, холодно и одиноко. Кроме стрелочников и машинистов, поговорить было не с кем, да и их я видел редко. Это была настоящая ссылка. Неподалеку стояла небольшая хибарка с плитой, там я разогревал себе обед, все четыре года, что я пробыл на отвале, я обедал в полном одиночестве.

Но в 1961 году мы получили большинство на выборах в руководство нашей местной организации, и я стал заместителем председателя. Тогда я набрался храбрости, пошел к начальству и попросил перевести меня на другую работу. Я знал, что требуются рабочне для алмазного бурения. Как ни странно, меня взяли... Там я проработал всего три года, потом случилась авария, я потерял глаз и... Теперь от меня и четверти не осталось...

Я плохо помню, как это случилось... Помню только, что это было после перерыва... Со мной были два ученика, я еще сказал им: «Смотрите, мальчики, берегитесь этого кернорвателя. Это сущий дьявол!» Вдруг меня что-то ударило прямо в лицо. Больше я ничего не помню. Очнулся в больнице только через месяц. Понемногу стал вспоминать, что и как...

Я до сих пор еще не оправился. То есть я работаю, но всего по четыре часа в день. Чтобы не сидеть без дела. У нас, в так называемой «восстановительной» мастерской. Сижу и свинчиваю разные штуки. Не очень-то интересно... но время идет, глядишь, четыре часа и прошло. Правда, заработка не хватает даже, чтобы покрыть налоги. Еще с прошлого года я остался должен 1200. Получаю по инвалидности. На это, собственно, мы и живем. Семь тысяч в год из страховой кассы.

За работу я получаю 9—10 крон в час, значит, 36—40 в день. Но я работаю не каждый день. Жена тоже больна. Она страдает суставным ревматизмом. По ночам ей особенно плохо. Иногда мы с ней не спим целую ночь. Тогда на следующий день я уже не могу пойти на работу.

В последний месяц я заработал 650. Когда вычли налоги, мне осталось получить всего 225.

Мне шестьдесят лет. Скоро уже четыре года, как со мной случилось это несчастье.

Дышать мне тяжело, уж не знаю, от силикоза это или еще от чего. Хромаю на одну ногу. Одно ухо совсем не слышит. Одного глаза нет. Вот так горняк и теряет одно за другим, пока доберется до кладбища.

Но кое-что он все-таки и приобретает. Приятнее всего вспоминать, как работяги стояли друг за друга, как весь коллектив дружно выступал на защиту одного несправедливо обиженного и добивался того, чего требовал...

В свое время мы боролись за снижение пенсионного возраста для горняков. Большинство к пятидесяти пяти выдыхаются окончательно. Мы считали, что снижение с шестидесяти пяти до шестидесяти трех — это уж самое маленькое, чего мы можем потребовать. А вот на последнем конгрессе профсоюза, я на нем уже не был, утвердили повышение пенсионного возраста до шестидесяти семи...

Грустно говорить, но рабочее движение утратило всякие перспективы. Ведутся лишь бесконечные переговоры о прибавке в десятые доли эре, и рабочие должны быть благодарны за это. Благодарны, как свиньи в загоне. Конечно, мы сыты. То есть я знаю и многодетные семьи, и пенсионеров, которые питаются очень плохо, порой чуть не голодают. Но в целом рабочих все-таки закормили. Вырвемся ли мы из этого загона? Никогда! Что я могу сказать о Вьетнаме? А вот что: для того чтобы мы могли принимать участие в каких-либо переговорах, необходимо, чтобы рабочие Швеции владели средствами производства, чтобы мы сами решали, какая прибыль от нашего труда должна вкладываться...

Но об этом теперь осмеливаются говорить лишь студенты. Вот их и бьют за это...

Выводы? Великое товарищество, вот чего не хватает сегодня рабочим Швеции. Но почти никто этого и не требует. Когда в наши дни старый рабочий поет «Интернационал», ему кажется, что он поет псалом. С таким же успехом он мог бы петь: «О боже, благодарю тебя за все».

ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

О Вьетнаме

1. Я не люблю демонстраций. Эти сопляки в Стокгольме ничего не понимают. Просто им захотелось позабавиться. Проучить их надо как следует, тогда из них, может, и выйдут настоящие люди. Что, война во Вьетнаме? Так я ведь уже сказал, что не люблю ни демонстраций, ни насилия.

2. Мне кажется, что стороны должны договориться друг с другом.

3. Могу тебе сказать, что каждый честный рабочий в наших краях проклинает США. Воры и разбойники — эти янки. Но ведь и мы тоже виноваты, мы ничем не помогаем вьетнамцам. Мы на их стороне, это ясно. Но об этом все молчат. И правительство, и ЦОПШ. Их заявления ничего не стоят. От рабочего правительства можно было ожидать большего.

4. Я активно поддерживаю НФО. Расклеиваю афиши, распространяю на руднике листовки. Только афиши дольше чем полдня никогда не висят. Их сдирают всякие болваны.

О товариществе

1. Если бы мы имели возможность беседовать... но в течение смены рабочие не смеют даже подойти друг к другу... из нас никто не гордится своей работой... единственное, что для нас имеет значение,— это автомобили...

2. У нас хорошая смена. Мы всегда помогаем друг другу. Следим, чтобы все по очереди работали на самом трудном участке. А вот в другой смене — люди не такие. Мы их зовем деревенщиной.

3. Пенсионный возраст повысили до 67 лет... конечно, это несправедливо. Но до того, как мне идти на пенсию, я думаю, этот вопрос еще утрясется. Мне всего сорок. Еще рано беспокоиться.

4. Раньше я был бурильщиком. А теперь — подрывник. Работаю посменно. Когда я свободен и ветер дует в нашу сторону, я слышу, как бурят в Левэниеми. Я всегда слушаю. Приятно слушать, если бур работает без помех. Я даже различаю, какую породу бурят, слышу, когда бур начинает прыгать, когда камень попадет в коронку. Иногда мне кажется, что я даже слышу, как ругается бурильщик. Так и хочется подсчитать, сколько он потеряет на этой неполадке.

5. Как ты думаешь, может быть товарищество между двумя рабочими, которые оба называются горняками, но один зарабатывает 21 крону в час, а другой — 8,40? Тот, кто зарабатывает 21, думает о том, какой марки автомобиль приобрести вместо старого. А другой думает только о том, у кого бы перехватить десятку. Как они могут понять друг друга?

О профсоюзе

1. Я был председателем профсоюзной ячейки водителей самосвалов. Работы — уйма. А что можно сделать, когда на собрания приходит всего пять-шесть человек?

САРА ЛИДМАН
РУДНИК

2. Когда-то я занимался профсоюзной работой. Я знаю линию ЦОПШ. Работа интересная, но требует много времени. Приходилось жертвовать семьей. Жена часто оставалась одна...

3. Нашим профсоюзникам всегда ставят палки в колеса. Но и они тоже любят подразнить начальство: мы, мол, с тобой и говорить не будем! Зачем так резко? Надо быть дипломатом. Профсоюзник, который не поддерживает линию предприятия, может быть переведен на другую работу. Например, на фабрику по производству окатышей, у нас это место не популярно. Или захочет профсоюзник поступить на курсы, а ему не дают отпуск. Говорят: «Сейчас мы не можем обойтись без тебя».

4. Из трех тысяч, работающих на руднике, дай бог, чтобы тысяча проголосовала, когда выбирают комитет профсоюза. А голосуют у нас обычно в столовой.

5. ...У нас на собрания приходит жалкое меньшинство. Мешает трехсменная работа. Всегда на месте можно застать только одну смену. По традиции профсоюзные собрания устраивают в выходной день или на праздниках, но на них почти никто не ходит. Рабочему охота и по дому все дела переделать, и на рыбалку съездить, и с семьей побыть. А на собрании пережевывают работу — как раз то, что человеку в выходной день хочется забыть.

На профсоюзном собрании как бывает: кто умеет говорить, тот выступает, а остальные молчат.

Я надеюсь на будущее, на то, что наступит день, когда нам отведут на собрания два часа с сохранением заработка и разрешат проводить собрания на своем рабочем месте. Вот что нам необходимо. А до этого нельзя всю вину валить исключительно на работяг, нельзя требовать, чтобы они только работали, ели, спали да ходили на собрания. Работяги тоже люди.

О культуре

1. Сейчас принято много говорить о слаборазвитых странах... наверно, для того, чтобы скрыть, какой отсталой является наша собственная страна. Скрыть, что наш рабочий класс совершенно не развит. Из-за того, что мы ничего не читаем и никуда не ездим. Большинство дальше Будена никогда не бывало, да и туда они попали только потому, что там обычно проходят военную службу. По своей воле они бы не поехали. Они ничего не знают о том, что происходит в мире. Вот в этом доме живет двадцать четыре семьи, и только две из них выписывают газету. Я знал одного парня, ему было двадцать пять лет, я как-то спросил у него, ездил ли он куда-нибудь хоть раз в жизни. Ну, например, в Нарвик? Нет. В Буден? Нет. Я был освобожден от военной службы. Ну хоть куда-нибудь? В Круквик, ответил он. А Круквик находится всего в одной миле от Кируны. Ты ездил туда как турист? Нет, я там морошку собирал, сказал он. Ну что можно ждать от человека, который нигде не бывал и ничего не читает?

2. Я никогда не видел, чтобы о рабочих писали правду. А если и напишут, вряд ли мне захочется это прочесть. Так что безразлично. Газеты я, конечно, читаю, но это бессмысленно. В них столько иностранных слов. Как натыкаешься на иностранное слово, так понимаешь, что все это написано для кого-то другого, для того, кто учился. Я думал купить себе словарь иностранных слов, чтобы не чертыхаться всякий раз, как открываю газету. Но что-то остановило меня возле самого книжного магазина. Плевал я на них. Когда у меня есть время, я ловлю рыбу. Это самое лучшее из всего, что я знаю. Трудно описать, что человек видит и чувствует во время рыбной ловли. С этим не сравнишь никакую церковь и никакие книги. На озере становишься новым человеком. И тогда хочется жить.

Перевод со шведского Л. ГОРЛИНОЙ

КАРЛОС БЕЙКЕР

ЖИЗНЬ ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ

Главы из книги*

В апреле этого года в США вышла в свет книга Карлоса Бейкера «Жизнь Эрнеста Хемингуэя».

Автор — профессор Принстонского университета Карлос Бейкер — вскоре после смерти Хемингуэя с согласия вдовы писателя был избран «официальным» биографом Хемингуэя. В его распоряжение поступил обширный архив. Он также находился в постоянном контакте с людьми, принадлежавшими к близкому окружению Хемингуэя, опросил его друзей и знакомых и множество других лиц, встречавшихся в то или иное время с писателем. Результатом явился труд объемом примерно в 35 авторских листов, над которым автор проработал семь лет (с 1961 по 1968 год).

В последнюю неделю июля 1936 года Эрнест был занят подготовкой к очередному визиту на ранчо Нордкуист в Вайоминге. Эта же неделя ознаменовалась началом гражданской войны в Испании. Республиканцы только что атаковали казармы Монтанья в Мадриде, когда Эрнест написал своему молодому другу Пруденсио де Переда, что «нам следовало всю эту неделю быть в Испании». Но, казалось, он не очень торопился ехать. И он не проявил каких-либо признаков разочарования, когда готовил свой «форд» к путешествию, которое уводило его в направлении, прямо противоположном Испании.

Что бы Хемингуэй ни говорил де Переда, он был настроен двойственно относительно поездки в Испанию. Он мечтал об очередной вылазке на Бимини и даже о втором африканском сафари. И все же война тревожила его совесть.

В конце сентября он сказал Максу Перкинсу**, как ему жаль, что он пропустил «эту испанскую историю». Он все еще надеялся поехать, если бои не кончатся к тому времени, как он завершит свой роман***.

В конце ноября Испания придвинулась ближе. В колонке светских новостей Уолтера Винчела появилось сообщение, что Хемингуэй отправляется посмотреть на войну. Вскоре Эрнест получил письмо от Джона Уилера, генерального директора Североамериканского газетного агентства (НАНА). Уилер писал, что он видел сообщение Винчела, что его организация обслуживает 60 ведущих газет и что Эрнесту следует подумать относительно освещения войны для агентства. Эрнест ответил согласием. Это был тот толчок, которого он ждал. Сидней Франклин, находившийся на Кубе, согласился поехать с ним. Как Полина, так и Макс Перкинс резко возражали против этой идеи, хотя Полину немного утешало сознание, что рядом с Эрнестом будет Франклин. Для начала Эрнест помог делу республиканцев, уплатив за проезд двух добровольцев, ехавших в республиканскую армию. Он также взял в долг 1500 долларов для взноса в Медицинское бюро Американских друзей испанской демократии и обещал внести такую же сумму в дальнейшем. Деньги предназначались для покупки санитарных машин. Эрнест очень интересовался деталями отправки. Машины должны были отгрузить в Гавр без кузовов и окончательно собрать уже в Испании. Он же настаивал, что машины должны идти через Францию своим ходом, с тем чтобы двигатели прошли обкатку и были готовы к работе сразу по прибытии...

* Печатаются в сокращении.

** Максуэлл (Макс) Перкинс — редактор издательства «Скрибнерс», в котором начиная с 1925 г. печатались книги Хемингуэя. Он оставался советчиком и другом Хемингуэя до самой своей смерти в 1947 г

*** Речь идет о романе «Иметь и не иметь».

Почти все, чем занимался Эрнест в Нью-Йорке в январе 1937 года, придвигало его на шаг ближе к осажденному Мадриду. Частично он решил покрыть расходы на поездку возвращением к профессиональной журналистике (впервые после 1923 года). Контракт, который он подписал с Джоном Уилером, предусматривал 500 долларов за каждую корреспонденцию, отправленную телеграфом, и 1000 долларов за каждую, объемом до 1200 слов, отправленную почтой. Он расспрашивал о положении в Мадриде Джея Аллена, который только что вернулся оттуда, отказавшись от поста корреспондента «Чикаго трибюн» в Испании. Но большую часть времени Эрнест уделял совместной работе с молодым писателем Пруденсио де Переда над документальным фильмом «Испания в огне». Фильм этот, откровенно пропагандистский, рассказывал последовательно об осаде Алькасара в Толедо, победе республиканцев в горах Гвадеррамы, об уничтожении беззащитных городов фашистскими бомбардировщиками и об эвакуации детей из Мадрида для спасения их от непрекращающегося артиллерийского обстрела центра города. Фильм сопровождался уже готовым, но слабым текстом. Эрнест забраковал его и написал заново. Он вернулся в Ки-Уэст, не дождавшись премьеры, которая состоялась в нью-йоркском кинотеатре «Камея» 28 января, но прислал по телеграфу похвальный отзыв для анонса.

Его подход к войне был все еще в основном гуманистическим. Даже если «красные» так плохи, как о них говорят, писал он матери Полины, они все же представляют население страны в борьбе против помещиков-абсентеистов, марокканцев, итальянцев и немцев. Он отлично знает, что «белые» большей частью «мерзавцы». Одна из целей его поездки в Испанию — посмотреть, как проходит граница социальной демаркации «на основе гуманизма». Борьба в Испании касается всех, поскольку совершенно очевидно, что это — «генеральная репетиция неизбежной европейской войны». Согласившись работать для НАНА, он решил быть «антивоенным корреспондентом» и пытаться удержать США от участия в последующем конфликте.

Вернувшись в Нью-Йорк в феврале, он узнал, что Дос Пассос занят сбором средств для второго документального фильма, предназначенного, как и первый, познакомить сочувствующих американцев с тяготами испанского народа. Ставить фильм должен был одаренный голландский коммунист по имени Йорис Ивенс с Джоном Ферно в качестве оператора. Арчи Мак-Лиш, Лилиан Хеллман, Дос и Эрнест создали корпорацию под названием «Современные историки» для финансирования, а затем и распространения законченного фильма. Как тогда, так и позже Эрнест расходился с Дос Пассосом в подходе к теме. Дос хотел сделать упор на участь простых людей, застигнутых гражданской войной. Эрнеста гораздо больше интересовали военные аспекты.

Когда он наконец взошел на палубу лайнера «Париж», его спутниками были Сидней Франклин и поэт Ивен Шипмен. Каждый из них вел себя в порту по-своему. Шипмен, неузнанный, юркнул в пароходный бар. Франклин дал аудиенцию репортерам в шумной каюте, где его четыре красивые сестры устроили прощальный банкет. Эрнест согласился на интервью, в котором сказал, что его цель — дать американцам представление о новом типе войны, начатой Франко и его иноземными союзниками. Это тотальная война, сказал он, в которой нет такого понятия, как невоюющее население. Молодой репортер Айра Уолферт старательно записал эти слова в свой блокнот, хотя его больше интересовали личность и внешность Хемингуэя. «Его грудь,— писал Уолферт,— выпирала из пальто, как каменная глыба». Даже в 37 лет он выглядел очень молодо. Его круглое румяное лицо с черными усами светилось здоровьем. Он вглядывался в своих собеседников через очки в стальной оправе и говорил как бы нехотя, отвечая на вопросы «да» и «нет», держа свои большие руки на уровне талии, словно готовый либо похлопать по спине приятеля, либо нанести удар по челюсти любому, кто ему не понравится. Место его назначения — Мадрид, объяснял он, хотя он намерен побывать и во всех близлежащих городах, чтобы выяснить, что принесла война «маленькому человеку» — официантам, шоферам, сапожникам, чистильщикам сапог. После этого он думает объехать линии фронта, чтобы «увидеть, как ребята обращаются с новыми игрушками, которые они получили со времени последней войны».

Всю серьезность положения в Мадриде Эрнест понял, когда в Париже в начале марта он встретил Луиса Кинтанилью. После освобождения из тюрьмы Луис превратился из человека искусства в человека действия. Начав у казарм Монтанья в июле, он дрался в Сьерра-де-Гвадаррама, в Толедо и на окраинах Мадрида. Его мастерская была уничтожена бомбой.

— А большие фрески,— спросил Эрнест,— Университетский городок и Каса-дель-Пуэбло?

— Ничего нет,— сказал Луис.— Все уничтожено.

— А фрески для памятника Пабло Иглесиасу?

— Погибли,— сказал Луис.— Нет, Эрнесто, не будем об этом говорить. Когда человек теряет все, что создал за свою жизнь, гораздо лучше не говорить об этом.

Братские чувства Эрнеста были глубоко затронуты. Он все еще не забыл о дав-

нишней пропаже своих рукописей на Лионском вокзале в Париже. Судьба творений Кинтанильи входила теперь в разряд «los desastros de la guerra» *.

Госдепартамент упорно не давал Франклину визы для въезда в Испанию. В конце концов Эрнест привлек на помощь начальство Кинтанильи, Луиса Аракистана, посла республиканской Испании в Париже, а сам поехал в Тулузу, откуда ходили самолеты на юг. Прибыв туда 14 марта, он нанял автомашину и поехал посмотреть, как французская служба охраняла границу. Машину дважды останавливали пограничники с примкнутыми штыками. Полицейский комиссар на границе сказал, что для въезда в Испанию необходима специальная виза французского правительства. Какая ирония, думал Эрнест, 12 000 итальянских солдат недавно высадились на южном берегу в качестве «дара» Франко со стороны Муссолини, а французы продолжают придираться к паспортам нейтральных наблюдателей. Шестнадцатого он сел в самолет «Эр Франс», который летел на юг с короткой посадкой в Барселоне.

Пейзаж, открывавшийся из низко летевшего самолета, ничем не напоминал о войне. Небольшие волны мирно набегали на белые пляжи; поезда шли по неповрежденным путям; в полях пахали крестьяне, из фабричных труб поднимались столбы дыма. Видимых следов войны не было вплоть до самой Таррагоны, где республиканское грузовое судно лежало на боку у края воды, похожее, как подумалось Эрнесту, на оснащенного трубами кита, приплывшего умирать к берегу.

За желтым массивом Валенсии самолет ненадолго набрал высоту, чтобы пролететь над горным хребтом, и приземлился на побережье Аликанте, похожем на Африку. Здесь народ праздновал победу республиканцев над итальянцами у Гвадалахары. Мужчины и женщины пели и кричали, улицы полнились звуками гитар и аккордеонов, а по заливу ходили прогулочные лодки с названиями вроде «Rosa de Primavera» **, и на них, держась за руки, сидели влюбленные пары. У вербовочных пунктов стояли очереди. Атмосфера фиесты царила на всем пути по побережью до Валенсии. Подремывая на переднем сиденье автомобиля, Хемингуэй подумал, что даже апельсиновые плантации празднуют победу, заливая пыльную дорогу волнами аромата. Он дремал, и ему грезились свадьбы.

В пресс-бюро в Валенсии ему официально выделила машину Констансия де ла Мора, аристократического вида женщина лет тридцати, высокого роста, с темными глазами, длинной шеей и овальным лицом, как на полотнах Модильяни. Шофера, которого к нему прикомандировали, звали Томас. Он выглядел как гном Веласкеса, модернизированный посредством синего комбинезона. Двадцатого числа они тронулись в долгий путь из зеленой долины Валенсии вверх в голые, серые горы, часто останавливаясь в пути, чтобы погреться и выпить. И вот Эрнест снова увидел желтое плато Кастилии, снежные вершины сьерры на севере и город, поднимающийся, как крепость, над окружающей равниной. «Да здравствует Мадрид,— вскричал Томас,— столица моей души!» Он быстро съехал вниз по Гран-Виа к площади Кальяо и доставил своего пассажира к потемневшему порталу отеля «Флорида».

Эрнест очень торопился побывать в местах победоносных боев под Гвадалахарой и Бриуэгой, о которых с такой гордостью говорили по всей республиканской Испании в день его прилета. Он и сам уже говорил об этом, как о «серьезнейшем поражении итальянцев после Капоретто». Теперь он хотел осмотреть местность до того, как похоронные команды выполнят свою работу.

В Мадриде он только зарегистрировался у цензора в высоком белом здании Международной телефонной и телеграфной компании, которую испанцы называли «Телефоника». Здесь он встретил Ганса Кале, немецкого коммуниста с прусской военной выправкой, который сражался в войсках кайзера на Западном фронте, бежал из нацистской Германии и прибыл в Испанию как раз вовремя, чтобы занять командную должность под началом Миахи во время зимней обороны Мадрида.

Рано утром 22 марта с генералом Гансом и с Томасом за рулем Эрнест ехал к северу, пробиваясь сквозь плотную завесу дождя и снежных хлопьев. Погода подготавливала его к картине разгрома, которую они увидели, когда прибыли на поле боя милях в пятидесяти от Мадрида. Здесь остались бессловесные свидетели сражения и бегства: брошенные пулеметы, легкие мортиры, горы ящиков с боеприпасами и немыслимое месиво из тягачей, грузовиков, легких танков, застрявших на поворотах дорог, свалившихся в канавы, увязших в грязи на полях. У Томаса война не вызвала энтузиазма. На грязной дороге, круто поднимавшейся к Бриуэге, они увидели застрявший республиканский танк и еще шесть танков, шедших за ним следом. Эта мишень привлекла внимание трех бомбардировщиков мятежников, и они исколошматили мокрый склон холма «внезапными, массированными, гулкими ударами». После этого Томас стал просто никудышным шофером.

На высотах близ Бриуэги они натолкнулись на трупы итальянцев, искавших укрытия за валунами,— маленькие и жалкие под унылым дождем, как позабытые куклы, с серыми восковыми лицами. Эрнест обратил внимание на обилие писем и бумаг, разбросанных вокруг них, и на шанцевый инструмент, с помощью которого итальянцы

* Бедствий войны *(исп.)*.
** «Весенняя роза» *(исп.)*.

пытались отрывать окопчики в каменистой почве. Кале сказал, что поражение итальянцев расстроило план окружения Мадрида, который лелеял Франко. Климат в городе ужасный, добавил он. Но его замечательная естественная оборонительная позиция с лихвой компенсирует отрицательные стороны. На обратном пути он отметил, что укрепления доведены до состояния, при котором прямым штурмом город взять нельзя. Чтобы победить, Франко должен продвинуться через Тэруэль к морю, перерезать коммуникации между Барселоной и Валенсией. Между тем силы республиканцев в Кастилии с каждым днем нарастают. Через несколько месяцев, как писал Эрнест в корреспонденции, основанной главным образом на мнении Кале, республиканцы смогут начать наступление.

Эрнест обедал в подвальном ресторане отеля «Гран-Виа» напротив «Телефоники», когда там появились Марта Гелхорн и Сидней Франклин. Они добрались до Валенсии разными путями, а в Мадрид приехали вместе.

На следующий день Эрнест отвел Марту в «Телефонику» и представил Артуро Бареа и Ильзе Кульцар, которые совместно ведали работой цензуры и обеспечивали вновь прибывающих комнатами в отелях, талонами на бензин и пропусками. Эта фантастически перегруженная работой пара изумленно взирала на изящную женщину с ореолом из светлых волос, которая шествовала через темный, душный кабинет неспешной, раскачивающейся походкой голливудской кинозвезды.

Двадцать седьмого в первый по-весеннему теплый день она отправилась с Эрнестом на север посмотреть с красных холмов Гвадалахары на мятежников, которые сновали, как муравьи, по крутому склону на другой стороне узкой долины, укрепляя свои позиции против ожидаемого наступления республиканцев. Солдаты вокруг Эрнеста и Марты курили и смеялись, «загорали и давили вшей» на теплом воздухе. Сейчас трудно было представить себе те семь жутких дней, большей частью ненастных, которые завершились разгромом трех итальянских дивизий.

Теперь, наконец, положение на фронте стало лучше, чем в городе. Артиллерия Франко ежедневно обстреливала Мадрид с холма Гарабитас. Гранитная пыль и едкие пары взрывчатки мешали дышать. Наутро после возвращения с севера Эрнест проснулся от визга и взрыва снаряда на площади. В халате и шлепанцах он поспешил вниз и увидел, как в холл вводили пожилую женщину, истекающую кровью от ранения в живот. Не дальше двадцати ярдов от входа в отель в тротуаре зияла огромная воронка и в груде щебня лежал труп мужчины, весь покрытый пылью. Шум со стороны Университетского городка в семнадцати небольших кварталах от гостиницы не затихал иногда целыми ночами.

Он стал часто наведываться в отель «Гэйлорд», место жительства и средоточие русского контингента. Его хорошо узнали там, и он с особым удовольствием отмечал, что может, по-приятельски помахав рукой часовым, стоящим у входа с примкнутыми штыками, пройти через мраморный холл и беспрепятственно войти в медленно движущийся лифт. Вначале ему здесь не понравилось. Еды и питья было слишком много, обстановка слишком роскошная для осажденного города. И разговоры показались ему слишком вольными. Но он приходил сюда снова и снова, считая, что если он будет слушать внимательно, то сможет узнать, как ведется эта война. Первым его открытием было, что многие из испанских командиров прошли основательную советскую школу. Энрике Листер из Галисии, командовавший дивизией, бегло говорил по-русски. Хуан Модесто из Андалусии, стоявший во главе армейского корпуса, «выучил русский, конечно, не в Пуэрто-де-Санта-Мария». Эль Кампесино, бывший сержант испанского Иностранного легиона, «с черной бородой, толстыми, как у негра, губами и лихорадочно сверкающим взглядом», был прекрасный бригадный командир, который говорил гораздо больше, чем следовало бы в его должности. А Эрнест был весь внимание.

Его главным просветителем в «Гэйлорде» был Михаил Кольцов, корреспондент «Правды», молодой по виду интеллигент в роговых очках, с выразительным подвижным лицом и копной вьющихся волос. Кольцов, по словам Эрнеста, знал, что его американский друг не питает пристрастия к коммунизму. Но поскольку он верил в Эрнеста как в писателя, он старался разъяснить ему истинное положение вещей, с тем чтобы тот мог правдиво об этом написать. Однажды вечером, когда Эрнест сидел у Кольцова в номере, туда зашел Илья Эренбург. После короткого обмена любезными фразами Эренбург спросил по-французски, передает ли Хемингуэй по телеграфу домой только очерки или также информацию. К его изумлению, Хемингуэй в бешенстве вскочил и замахнулся на него бутылкой из-под виски. Он принял слово «nouvelles» за «novels» *. Кто-то вмешался, и инцидент закончился смехом. Несмотря на эту выходку

* Nouvelles по-французски — информация, новости, созвучно английскому novels — романы. Как отмечает И. Эренбург, Хемингуэй был недоволен его похвалами, а услышав эту фразу, принял все сказанное за насмешку, так как критики часто ругали его за «телеграфный стиль». «Я сразу понял, что ты надо мной смеешься!» — вскричал он. (См. Эренбург. Люди, годы, жизнь, т. 2, стр. 596—597.)

Хемингуэя, у Эренбурга осталось впечатление, что в основном он веселый человек, жизнерадостный, любящий поговорить. Он серьезно рассказывал о фильме, который собирался снимать, и о том, какой цели этот фильм должен послужить. По мнению Эренбурга, он считал себя участником этой войны, «его привлекали опасность, смерть, подвиги». Ежедневно он видел людей, которые не сдались, «он ожил, помолодел».

Эти слова как нельзя более точно отражают состояние Эрнеста той весной. Он вернулся в обстановку, напоминавшую то, что он видел в Италии много лет назад. Еще недавно в «Зеленых холмах Африки» он писал о «приятном, ударяющем в нос запахе товарищества», о согревающей взаимозависимости соратников. В период, прошедший между войнами, он как-то отошел от этого, весь отдавшись своей одинокой профессии. Теперь он снова стал под ружье. Трудности и опасности были его стихией. Полностью преданный делу испанского народа, он почти забыл о собственных делах, хотя при этом сознавал, что опыт, который он получал, даст ему возможность вырасти, обогатит его как писателя.

Среди иностранных журналистов в Мадриде было двое, помимо Марты Гелхорн, с кем Эрнест общался больше всего,— Герберт Мэтьюз и Сефтон Делмер (которого называли Томом). Оба прибыли туда гораздо раньше него: Делмер в июле, когда началась война, а Мэтьюз в ноябре. Делмер не разделял убеждений Мэтьюза, что эти месяцы в осаждённом Мадриде были «счастливейшими днями» их журналистской работы,— не то что сидеть за столом в Париже и переписывать официальные бюллетени посольств. Восторг Эрнеста превосходил даже энтузиазм Мэтьюза. Уже после двух недель жизни в отеле «Флорида» у него появилось ощущение полной свободы, как будто у него не было ни жены и детей, ни дома, ни лодки, ни вообще собственности или каких-либо семейных обязательств.

В апреле он всецело отдался работе над документальным фильмом, который должен был называться «Испанская земля». Он проводил много времени в обществе режиссера Йориса Ивенса и немногословного, деловитого оператора Джона Ферно. Ивенс был мужчина крепкого телосложения, среднего роста, с густыми каштановыми волосами, выглядевший как интеллигент с Левого берега Сены, художник и коммунист до мозга костей. Он сделался «политическим комиссаром» Эрнеста, убежденный в том, что его друг готов наконец принять участие в подлинном коллективном движении.

Создание фильма было не легким делом. Когда они вслед за танками и пехотой республиканцев шли по изрезанным серым холмам в секторе Мората-да-Тахуна, ветер с гор обдавал их пылью, засоряя глаза и ноздри, затуманивая объективы кинокамер. Девятого апреля после шумной попойки, продолжавшейся за полночь, Эрнест несколько часов лежал без сна, слушая, как артиллерия мятежников бьет по республиканским позициям у Карабанчеля. В начале седьмого Ивенс постучал в его дверь, торопясь приступить к работе. Республиканцы предприняли атаку на позиции мятежников за Каса-дель-Кампо, широкой открытой долиной к северу и западу от города. С Хэнком Горрелом из Юнайтед Пресс и Ферно, оператором, они, даже не позавтракав, поехали в штаб бригады. Артиллерия мятежников разносила в щепы вековые липы в лесу, окружавшем старый королевский охотничий замок. Вскоре они обнаружили, что спустились слишком низко для хорошего обзора поля боя, и полезли обратно, пыхтя и обливаясь потом, на обрыв, возвышавшийся над восточным краем леса.

С этой точки все сражение было у них как на ладони. Редкая цепь пехотинцев двигалась на окопы, исчертившие склоны гор. Три республиканских бомбардировщика сбросили свой груз на земляные укрытия противника, и видимость заволокло столбами взметнувшейся земли. Но скоро Эрнест и его друзья привлекли внимание вражеских снайперов. Ферно отполз в сторону в поисках места, где бы можно было безопасно установить большую камеру с телеобъективом. Место, которое он выбрал, представляло собой как бы кресло на галерее из жилых домов, вытянувшихся на Пасео-Росалес, откуда открывался вид далеко в долину. Дома были разрушены в ходе пятимесячного обстрела, но одна квартира на верхнем этаже сохранилась достаточно, чтобы служить удобным наблюдательным пунктом. Эрнест назвал ее «Старый очаг» — так назывался дом его деда Ансона на Северной авеню в Оук-Парке. Они замаскировали камеру тряпьем и провели остаток дня, наблюдая и снимая бой. Расстояние было слишком большое для хороших съемок. За тысячу ярдов, как впоследствии писал Эрнест, «танки казались бурыми козявками, шнырявшими среди деревьев и извергавшими крошечные облачка, а люди за ними были игрушечными солдатиками, которые то лежали плашмя, то, пригибаясь, перебегали вслед за танками, а то так и оставались лежать на склоне холма, а танки шли дальше».

В сумерках они снесли большую камеру вниз, сняли ее с треноги, разделили груз на троих и по одному перебежали опасный участок Пасео-Росалес к каменной стене, где можно было укрыться. На пустой, вымощенной булыжником Пласа д'Эспанья они втянули головы в плечи и бросились наземь, так как большой немецкий моноплан, бомбивший республиканские батареи, развернулся в их направлении. Но фашисты уже отбомбились, и самолет с ревом прошел над городом и скрылся.

На следующий день в «Старый очаг» явилась целая компания — Дос Пассос, Мэтьюз, Сид Франклин, Том Делмер, Марта Гелхорн и Вирджиния Коулс. Делмер

раздражал Хемингуэя язвительными замечаниями о медленном продвижении республиканских танков. Эрнест был очень обеспокоен тем, «чтобы отблески от его или наших биноклей не выдали нашего укрытия и не навлекли на нас парочку снарядов». Он ворчал, что республиканцы плохо спланировали наступление — самые серьезные атаки пришлись на вторую половину дня. Солнце, склонявшееся на запад, отражалось в линзах камер и делало их легко заметными для стрелков-марокканцев. «Если вам охота была подставить лоб под пулю,— писал Эрнест,— надо было только поднести к глазам бинокль, не затенив его. И стрелять они умели — из-за них у меня весь день сосало под ложечкой...»

Эрнест проводил мало времени в отеле «Флорида». С разными шоферами он поочередно посещал участки фронта вокруг города. После Томаса был один, который исчез с казенной машиной и сорока литрами бензина. Третьим был анархист Давид, юноша из деревни близ Толедо. Он так сквернословил, что Эрнест существенно пополнил свое образование по этой части. Давид был горячо предан идее войны до того дня, когда он увидел, как в очередь женщин у булочной возле Плаза-Майор попал снаряд мятежников. Вскоре он отбыл в деревню Фуэнтедуэнья-де-Тахо, где Ивенс и Ферно снимали бытовые сцены для «Испанской земли», и не вернулся. Его преемником был Ипполито, жесткий, немногословный, совершенно не романтичный и такой мастер своего дела, что Эрнест мог без труда представить себе его этаким сержантом конкистадоров времен расцвета Испанской колониальной империи.

Знакомства Эрнеста среди военных быстро ширились. Одним из знакомых еще по Парижу был подполковник Густаво Дуран, в прошлом музыковед и композитор. Когда началась война, он был лейтенантом запаса, но, быстро поднявшись по ступенькам республиканской иерархии, стал командиром 69-й дивизии, действовавшей к востоку от Мадрида. Прохладная дружба парижских времен стала теперь теснее. Как и Луис Кинтанилья, Дуран из художника превратился в солдата. Эрнест скоро стал говорить о нем как об одном из своих героев.

Он был частым гостем в Одиннадцатой интернациональной бригаде, в основном состоявшей из немцев; командовал ею Ганс Кале, с которым он в марте совершил поездку в Бриуэгу. Многие из людей Кале были ветеранами мировой войны, и все прошли военную подготовку. Какое-то время Эрнест думал писать книгу о Кале, но потом пришел к мысли: «Нас с ним слишком многое связывает, чтобы попытаться написать об этом, не рискуя что-то потерять».

Однако больше всего он полюбил Двенадцатую бригаду — прежде всего за ее людей и их сплоченность, но также и потому, что здесь, при всем уважении к нему как к писателю, ему давали ощутить себя скорее солдатом, чем невоюющим штатским. Командовал бригадой сорокалетний венгр, который носил nom de guerre * генерал Лукач, автор нескольких рассказов и романа. «Невысокий, коренастый, жизнерадостного вида, с голубыми глазами, редеющими светлыми волосами и улыбающимся ртом под щетинистыми соломенного цвета усами», Лукач очаровал Эрнеста своим легким, спокойным добродушием. Нравился ему и Вернер Хейльбрун, главный врач бригады, мягкий, но дельный человек, образец стоической выдержки и гуманности: «В сбившейся набок пилотке на густых черных волосах» Хейльбрун обходил раненых, «как усталый нищенствующий монах», работая день и ночь, и «его глубоко посаженные глаза светились сознанием того, что он делает». Третьим любимцем Эрнеста в Двенадцатой бригаде был политический комиссар Лукача Густав Реглер. Немецкий коммунист, смуглый, с глубокими морщинами на лбу и челюстью боксера, он стал солдатом еще в юности, в 1918 году. Он был последовательным антифашистом и незадолго до того бежал из нацистской Германии.

А ненавидел Эрнест больше всего Андре Марти, командующего интернациональными бригадами, штаб-квартира которого, всегда переполненная людьми, находилась в городе Альбасете. Эрнест описал его так: «Пожилой и грузный, в непомерно большом берете цвета хаки», «мохнатые брови... водянистые глаза и двойной подбородок». По мнению Эрнеста, «в его сером лице было что-то мертвое, как будто оно было слеплено из той омертвелой ткани, какая бывает под когтями у очень старого льва». Эрнест был не одинок в таком предубеждении. Эренбург считал Марти человеком «властным, подозревавшим всех в измене, очень вспыльчивым». Реглер прямо говорил, что Марти прикрывал свою некомпетентность в военных делах «непростительной, страстной шпиономанией». Он открыто ссорился со многими из своих подчиненных, не соглашавшихся с его сумасбродными, а то и патологическими решениями, в том числе с героически работавшим американцем Луисом Фишером, который одно время служил у него начальником снабжения.

Эрнест мало общался с Марти. Зато он наладил неплохие деловые отношения с польским офицером, чье настоящее имя было Кароль Сверчевский. Как и многие

---

* Nom de guerre *(франц.)* — военная кличка. Имя генерала Лукача носил писатель-коммунист Матэ Залка.

другие офицеры в интернациональных бригадах, он сражался под псевдонимом, его там звали генерал Вальтер. Он родился в Варшаве, воспитание получил по преимуществу в России, служил в Красной Армии во время революции, а когда в Испании началась гражданская война, преподавал тактику и другие военные науки в Военной академии имени Фрунзе. Потом он командовал Четырнадцатой бригадой в боях за дорогу на Корунью в декабре и январе, оборонял Мадрид. Он произвел громадное впечатление на Эрнеста как своими военными знаниями, так и необыкновенной внешностью — «странное белое лицо, которое не брал загар, ястребиные глаза, большой нос и тонкие губы, бритая голова, изборожденная морщинами и шрамами».

Бомбардировка Мадрида продолжалась весь апрель. Гран-Виа так часто покрывалась осколками стекла, что Эрнест стал относиться к этому, как к ежедневной метели с градом. Туфли Ильзы Кульцар сгорели дотла в ее комнате в отеле от залетевшего туда докрасна раскаленного осколка снаряда. Одному из швейцаров «Флориды» шальная пуля от пулемета прострелила бедро. Другая пуля проделала аккуратную дырочку в зеркале в комнате Марты, когда та отсутствовала. Продовольствия в столице становилось все меньше, при этом большое количество продуктов, привозимых из Валенсии, портилось в плохо оборудованных складах. Стосковавшись по дичи, Эрнест достал у кого-то ружье и утром 21 апреля поехал в район фронта Пардо, откуда вернулся с дикой уткой, куропаткой, четырьмя кроликами и совой — по ошибке он принял ее за вальдшнепа.

На следующий день Эрнест выехал с Мартой и с шофером Ипполито в «тяжелую десятидневную поездку по четырем центральным фронтам». В программу входила Сьерра-де-Гвадаррама, высотой до 4800 футов, где они часами ехали верхом, осматривая позиции республиканцев. На него произвели впечатление подтянутый вид и дисциплина закаленных горных частей. Однажды они ехали в броневике по дороге, которая простреливалась пулеметным огнем мятежников. Скорчившись в темной кабине, они четыре раза слышали резкую дробь пулеметных очередей по броне. Но даже такие случаи казались Эрнесту менее опасными, чем повседневная жизнь в Мадриде. По возвращении они обнаружили, что воздух здесь пропитан гранитной пылью, увидели новые воронки в тротуарах на Гран-Виа и подумали, что по сравнению с бессмысленным обстрелом гражданского населения фронт в горах выглядел просто идиллически.

В конце апреля пришло письмо от Ивенса из Валенсии. 28-го и 29-го числа Сидней Франклин и Джон Ферно должны были закончить последние эпизоды фильма «Испанская земля» в деревне Фуэнтедуэнья, и Ивенс предлагал Эрнесту приехать туда. Он сам собирался в Нью-Йорк, а Эрнесту было обещано, что его отправят из Испании самолетом ориентировочно шестого мая. Как только последние метры фильма «Испанская земля» были досняты и упакованы, Хемингуэй собрался домой. Он сдал последнюю корреспонденцию в здание Министерства иностранных дел на Плаза-де-ла-Крус. «Телефоника», сверкающая белизной в лучах утреннего солнца, стала такой удобной мишенью для артиллерии Франко, что Ильза Кульцар добилась разрешения перевести отдел цензуры в другое место. Артуро Барея уже изнемогал от усталости и ежедневных бомбардировок. Но Эрнест не знал об этом в тот день, когда весело и сердечно прощался с ним во дворе министерства. Они смеялись и шутили по-испански.

Так же весел он был и на прощальном вечере, устроенном в его честь Двенадцатой бригадой первого мая в старинном замке Моралеха, служившем госпиталем. Там были и командир Лукач, и доктор Хейльбрун, и Густав Реглер. Эрнест потом вспоминал, как Лукач «наигрывал песенку, которую он играл только поздно ночью, на карандаше, приставленном к зубам: звук, чистый и нежный, походил на звук флейты». Это была его последняя встреча с Хейльбруном и Лукачем. И только по счастливой случайности — не последняя с Густавом Реглером.

(Продолжение следует)

Перевод с английского С. МИКОЯНА

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

ПРЕДЕЛЫ ТЕРПИМОСТИ — НЕ ВСЕГДА МОЖНО ГОВОРИТЬ «ДА», И НЕ ВСЕ КОМПРОМИССЫ ХОРОШИ

Гюнтер Грасс — один из самых политически активных писателей в Западной Германии. Пресса публикует его статьи и выступления буквально по всем животрепещущим проблемам современности. У него своя аудитория, и, по-видимому, весьма обширная. Не последнюю роль в популярности Грасса-публициста сыграл его талант художника, его книги, которые завоевали ему известность во всем мире. Оговоримся с самого начала: Грасс-политик отнюдь не достигает уровня Грасса-писателя. Слишком часто он следует за конъюнктурой, за модой и, к сожалению, иногда за боннской пропагандой. Особенно это относится к последнему периоду деятельности Грасса, когда он стал признанным рыцарем социал-демократической партии ФРГ, изо всех сил защищающим ее оппортунистическую соглашательскую политику, даже ее антикоммунизм.

Краткое вступление это не продиктовано желанием «представить Грасса» (он и без того достаточно известен!). Тем не менее оно отнюдь не случайно, и в конце этих заметок мы позволим себе сказать еще несколько слов на тему: Грасс-художник и Грасс — общественный деятель.

Три последних публицистических выступления Грасса, о которых, собственно, и пойдет речь, можно в какой-то степени назвать программными, ибо в них писатель высказывает свою точку зрения на самые кардинальные проблемы западногерманского бытия, с одной стороны, и выставляет целый ряд тезисов, кажущихся ему позитивными, с другой. Выступления эти нижеследующие:

речь Грасса при вручении ему премии Осецкого. Она опубликована в газете «Цейт» в последних числах декабря минувшего года и названа «О принципе «да» и о принципе «нет»;

статья Грасса в той же газете «Цейт» в феврале 1969 года в связи с тем, что он получил другую премию, а именно премию Теодора Хейса. (К этому факту мы также оставляем за собой право вернуться!) Статья называется: «Терпимость — наша сила. Надо уважать компромиссы»;

и наконец, статья в мартовском номере журнала «Монат» под заголовком «Революция начетчиков».

Несмотря на то что Грасс, увы, в силу своих политических пристрастий далеко не всегда правильно оценивает обстановку в ФРГ, он выступает против фашизации и милитаризации страны. И для него, в отличие от многих его соотечественников, нет «срока давности» для фашистских преступлений и фашистских преступников. Каждое напоминание об этом важно, ибо Западная Германия — это страна, где потеря памяти стала чуть ли не государственной доктриной и где прошлое и настоящее сплелись самым причудливым и самым роковым образом.

«На нашей совести,— сказал Грасс при вручении ему премии Осецкого,— в том числе и на совести послевоенного поколения, все еще лежат и долго будут лежать Освенцим и Треблинка; это обязывает нас к тому, чтобы мы разговаривали тихо. Немецкие рецепты спасения человечества... не пользуются спросом; народы по праву с опаской относятся к нашим призывам... Ужасное представление о том, что скрытая агрессивность может с немецких автострад и шоссе

ринуться в сферу политики, заставляет меня сегодня говорить о наших собственных делах».

Эту же мысль высказывает Грасс и в статье, опубликованной журналом «Монат», к которой мы еще вернемся, поскольку в ней выражается отношение Грасса к студенческому движению в ФРГ.

«Никто из тех, кто хочет участвовать в разговоре, в том числе и студенты,— пишет он,— не имеют права начинать с нуля. Эта страна развязала войну и проиграла ее. Мы породили преступления, которые невозможно забыть».

Именно исходя из своего отношения к преступлениям нацизма, Грасс призывает нынешних бонских властителей к более трезвой политике по некоторым вопросам. Так, он выступает за проведение реальной политики в отношении ГДР и Советского Союза, за признание границы по Одеру — Нейсе, за разрешение компартии в ФРГ и т. д. и т. п.

«...Федеративной Республике,— пишет Грасс в журнале «Монат»,— хоть и с огромным опозданием, следует признать реальность существования второго немецкого государства...»

Далее в перечисленных статьях Грасс выступает по внутриполитическим проблемам, занимающим ныне общественное мнение в ФРГ, в частности, по такой важной для Запада проблеме, как студенческое движение. Грасс указывает на незрелость этого движения в ФРГ, на его сумбурные теории, перехлесты, левацкие лозунги и на беспомощность в целом ряде практических вопросов.

«Двадцатичетырехлетний электросварщик,— пишет Грасс в «Монате»,— далеко превосходит в жизненном опыте и политических взглядах студента социологии того же возраста... Многие горе-революционеры,— говорит он там же,— «устав от левых увлечений молодости, с удовольствием откинутся на консервативную плюшевую кушетку». По мнению Грасса, многие из тех, кто в молодые годы считает себя революционерами, став постарше и убедившись, что революция не делается в два счета, «пожертвуют кое-чем, а потом еще кое-чем ради своей карьеры и начнут твердо и неуклонно голосовать за ХДС. Однако в дружеском кругу... за рюмкой мозельского они будут охотно вспоминать свое революционное прошлое».

Эти суровые слова весьма справедливы в отношении известной части западногерманских бунтарей-студентов, но не характеризуют студенческое движение ФРГ в целом. Однако не студенческое движение и не ошибки молодых западногерманских революционеров находятся в центре внимания Грасса в перечисленных статьях. Они посвящены гораздо более общим проблемам: проблемам допустимости компромисса и границ лояльности, конформизму и нонконформизму. И здесь нельзя не удивиться той позиции, которую занял Грасс, а именно — позиции человека, выступающего за компромисс любой ценой, за терпимость при всех обстоятельствах, а по существу за принципиальный отказ от всякой борьбы, согласно нехитрой поговорке: «худой мир лучше доброй ссоры».

Безусловная поддержка Грассом социал-демократической партии и ее лидера Вилли Брандта уже давно настроила Грасса на весьма оппортунистический лад: очень на многое из происходящего в ФРГ он начал закрывать глаза, очень многое из того, что раньше отрицал,— принимать. В перечисленных статьях Грасс подвел под это теоретическую базу.

В поддержку своего тезиса о терпимости и компромиссах Грасс опять-таки обращается к прошлому Германии. Вот, примерно, ход его рассуждений: в свое время враги Веймарской республики, выступавшие против нее с левых позиций, расшатали аппарат государственной власти и расчистили дорогу фашистам.

При вручении ему премии Осецкого Грасс, в частности, развивал такую мысль: бедой Веймарской республики была якобы поляризация, то есть наличие в обществе не только крайне правых, но и левых сил.

«Осецкий,— заявил Грасс,— пал жертвой поляризации». По его словам, левым надо было, мол, поддерживать Веймарское государство, критиковать его умеренно. «Я выступаю,— сказал Грасс,— за критическое «да» и против абсолютного «нет». И далее: «Почему мне не нравится быть в лагере тех, кто говорит «нет»? Потому что говорить «нет» очень легко. Потому что абсолютное «нет» и абсолютное «да» наделали в Германии слишком много зла».

В другом своем выступлении Грасс пишет: «Конфликты могут расколоть общество» — и делает из этого вывод: не надо конфликтов, не надо внепарламентской борьбы, следует быть терпимым во что бы то ни стало. (В ФРГ «терпимость и так ежедневно подвергается испытаниям на разрыв».)

На сей раз, совершив исторический экскурс, Гюнтер Грасс сознательно или несознательно совершает и некий исторический подлог или, если говорить более «парламентским» языком, непростительно вольно трактует историю. И здесь он отнюдь не одинок: попытка исказить события прошлого, приписать вину за приход фашистов к власти в

Германии самым решительным их противникам стала своего рода поветрием в ФРГ. Многие буржуазные историки рассуждают так: если, дескать, левые не «дразнили» бы фашистов и не обличали бы буржуазные порядки в Германии тридцатых годов, то там царила бы тишь да гладь. «Концепция» эта явно противоречит фактам, здравому смыслу. Не левые, «дразнившие» фашистов, а крайне правые реакционные деятели привели Гитлера к власти. Разве Гинденбург и Папен были коммунистами? Разве генералы Шлейхер и Рейхенау участвовали в студенческом движении? Разве финансовые «гении» Шахт и Тиссен были ультралевыми? А ведь это они сделали Гитлера канцлером Германии. Прогрессивного публициста Осецкого, обличавшего пороки Веймарской республики, убила не «поляризация», а фашисты и их пособники, люди, которые в силу своих социальных интересов и симпатий не могли сказать абсолютное «нет» фашизму, как того требовала компартия Германии. Вот краткая историческая справка: по существу с 1923 года (года мюнхенского путча), несмотря на множество формальных запретов, партия Гитлера все время функционировала. Под разными названиями выходили фашистские газеты, устраивались сборища фашистов. Более того, СА — отряды головорезов—под всевозможными вывесками тоже существовали все те годы, когда нацисты готовились к захвату власти. Зато все левые организации в Германии тридцатых годов подвергались тяжелым репрессиям... Вот какова была фактическая «поляризация» в стране.

От прошлого Гюнтер Грасс переходит к настоящему. И здесь ошибочность его позиции оказывается не менее явной. Так Грасс, решительным образом осуждающий избрание бывшего нациста Кизингера на пост канцлера, в то же время... Но предоставим слово самому Грассу. В выступлении по случаю присуждения ему премии Осецкого он сказал:

«Расколотая страна, не имеющая мирного договора, окруженная недоверием соседей на Востоке и Западе, не может позволить себе роскошь иметь на посту канцлера человека, служившего преступному режиму нацизма. Никто не замечал и не хотел замечать, что каждый день жизни под началом Кизингера был пощечиной жертвам фашизма».

В статье в связи с присуждением ему премии Хейса Грасс заявил:

«Я твердо стою на том, что национал-социалист с 1933 по 1945 год не должен иметь права быть федеральным канцлером».

И в то же время Грасс сказал:

«Я решительно против пощечин (речь идет о пощечине, которую дала Кизингеру Беата Кларсфельд.— *Л. Ч.*) и прочих «геройств».

Конечно, пощечинами не изменить порядков в Федеративной Республике Германии! Для этого нужны более зрелые и организованные формы борьбы. Но одно дело — призывать к этим формам борьбы, а другое дело — осуждать решительный поступок женщины, вызвавший огромный отклик во всей стране, осуждать во имя... компромиссов и терпимости.

После заявления Грасса в западногерманской печати произошла своеобразная дуэль между двумя крупнейшими писателями ФРГ — Гюнтером Грассом и Генрихом Бёлем. Ибо оказалось, что Бёль одобряет «геройства», коль скоро они направлены против высокопоставленных нацистов и служат борьбе с реакцией. Повод для столкновения дал Грасс: он прошелся по адресу тех, кто послал Беате Кларсфельд цветы, не называя, правда, фамилий. («Не следует по этому поводу посылать Беате Кларсфельд розы».) Генрих Бёль принял «вызов» — это он послал розы — и ответил Грассу в той же «Цейт».

«Эти розы Беате Кларсфельд я лично просто обязан был послать,— объяснил Бёль,— это было логическим продолжением всей моей писательской деятельности, независимо от ее значительности или незначительности...

Я это мог сделать потому, что критика всех «критических» писателей в адрес доктора Кизингера все еще имеет положительные результаты для Федеративной Республики: мы играем комическую роль «совести нации», нас можно демонстрировать за границей... В какой бы форме и с каким бы успехом мы ни нападали на Кизингера, нам ничего не будет, потому что мы — видные западногерманские «шуты напоказ»...»

Итак, Гюнтер Грасс выступил против «геройства», иными словами — против активного протеста Беаты Кларсфельд, за что и заслужил резкую отповедь Бёля.

Чему же говорит Грасс «да»? За что он ратует? Какова его позитивная программа?

Как ни дико это звучит, Гюнтер Грасс «приемлет» в конечном итоге все «сущее» в боннском государстве, все без исключений (хотя и с большим количеством оговорок), все, вплоть до:

реакционных чрезвычайных законов, принятых не так давно в ФРГ,

и даже...

партии неонацистов, которую, по его словам, не надо запрещать...

Эти тезисы Грасса не нуждаются в комментариях. Они наглядно показывают, к каким неверным выводам приводит теория компромиссов любой ценой!

Гюнтер Грасс, который, как он неоднократно уверял, ринулся в политику только потому, что его глубоко возмущало непростительное забвение прошлого и позорное засилие фашистов в ФРГ, вдруг сделал совершенно разительный поворот и договорился до... терпимости в отношении НДП! Немудрено, что в последних речах и статьях Грасса, несмотря на их публицистический блеск, очень часто не сходятся концы с концами. Не забывайте прошлого, продолжает говорить Грасс. Но во имя чего? Неужели во имя того, чтобы капитулировать перед наследниками Гитлера?

Совершенно ясно: у терпимости должны быть свои границы. И притом резко очерченные. Фашизму, в каких бы формах он ни выступал, в форме ли принятых бундестагом чрезвычайных законов или в своем старом обличье — в форме экстремистской партии, балансирующей где-то на грани легальности и уголовщины,— надо говорить «нет». Решительно и бесповоротно. «Абсолютно».

В этом споре с Грассом уместно вспомнить... Грасса-писателя и его книги, в которых он заклеймил фашизм, заклеймил с сарказмом и горечью, не только как писатель, но и как гражданин. Книги, где он сказал фашизму самое абсолютное «нет», где он продемонстрировал его отвратительное, бесчеловечное нутро...

Неужели, став «реальным политиком», Гюнтер Грасс забыл лучшие свои произведения: «Жестяный барабан» и маленькую повесть «Кошка и мышь»? Неужели сейчас произойдет обратный процесс, и Грасс — ангажированный «политик» начнет влиять на Грасса-художника? И неужели новая пьеса Грасса «Перед тем» с ее брюзжанием по адресу молодежи и призывами к благонамеренности станет первым признаком этой печальной метаморфозы? Неужели, наконец, сомнительная премия имени Теодора Хейса, то есть премия имени первого президента ФРГ, которая была присуждена Грассу, согласно официальной формуле, за «принципиальные высказывания по важнейшим политическим проблемам нашего времени», за «мужественную и конструктивную критику» и за «пример образцовой демократической позиции», на самом деле полностью лишила его гражданского мужества, принципиальности и непримиримости, сделала его поборником «малых дел», «образцовым» обывателем в стране Хейса — Аденауэра, а ныне Кизингера и Штрауса?

Л. ЧЕРНАЯ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО За рубежом

ТЕМА ТРУДА В ЗАРУБЕЖНОМ ИСКУССТВЕ

Из репродукций работ известных художников

Р. Кент. Гренландцы *(США)*.

В. Вомацка. Полеводческая бригада *(ГДР)*.

Х. Кориолан. Уборка кукурузы *(Румыния)*.

Р. Гуттузо. Раненый шахтер
серных копей *(Италия)*.

П. О'Хиггинс. Жизнь и Борьба Народа.
Фрагмент фрески *(Мексика)*.

Р. Гуттузо. Серные копи.
Деталь *(Италия)*

Д. А. Сикейрос. Смерть рабочего.
Фрагмент росписи
в Госпитале де ла Раса в Мехико
(Мексика).

Д. Ривера. Сбор сахарного тростника.
Фрагмент росписи дворца Кортеса в Куэрнаваке *(Мексика)*.

У. **Робертс.** Распилка дров *(США)*

А. **Петров.** Прополка лаванды *(Болгария)*

Т. Бентон. Сон машиниста *(США)*.

К. Ботело. На рынок *(Португалия)*.

С. Мирабелла. Батрак *(Италия)*.

Э. Паккард. Рыбаки, чинящие сети *(США)*.

М. Вирмус. Жатва *(Югославия)*.

М. Громер. Косарь *(Франция)*.

Публикацию подготовила
И. СТЕПАНОВА

Р. Гуттузо. Каменотес *(Италия)*.

В. Шварц. Угольные копи *(США)*.

НАШИ ГОСТИ

РАЗГОВОР С ПОЭТОМ НЕ ТОЛЬКО О ПОЭЗИИ

В редакции «Иностранной литературы» — Иштван Шимон. Он — редактор крупнейшего в Венгрии литературного и критико-публицистического журнала «Кортарш»; талантливый поэт, хорошо у нас известный. Еще в 1961 году вышел в русских переводах сборник его стихов. Шимона-поэта знают и читатели «Иностранной литературы»: глубоко человечные, согретые просветляющим раздумьем лирические его стихи не раз появлялись на ее страницах. В ее авторской гвардии Иштван Шимон — уже поседелый ветеран.

Впрочем, это лишь стилистическая вольность: Шимон ничуть не похож на ветерана, да еще «поседелого». Прежний по-юношески непосредственный интерес ко всему. Прежняя живость, подвижность и та дружелюбная простота, которая так располагает к нему, сразу создавая атмосферу доброго, товарищеского доверия между собеседниками. Пожаловавшись шутливо, как тяжела порой бывает (говоря по-русски) его редакторская «шапка Мономаха», он рад на время отложить ее в сторону и на свободе, из московского «далека» рассказать о своем журнале.

Что интересного в «Кортарше»?.. Интересна всегда борьба мнений, вкусов; но чтобы от нее был реальный толк, нужны разумный выбор и решение... Продолжает обсуждаться, например, в журнале, говорит Шимон, влияние на культуру проводимой в стране экономической реформы. Ей, в частности, сопутствует «коммерческий» подход к культуре (издание «доходной» — обыкновенно детективной — беллетристики; попытки повысить «рентабельность» музеев очень простым способом: поднять цены на билеты и т. д.). Здесь, конечно, «выбор» ясен и не вызывает сомнений, подчеркивает Шимон: мы против превращения культуры в товар.

Разумеется, проблемы связи экономической реформы и культуры шире, разветвленнее. Круг их помогут очертить беседы с деятелями культуры, литературы (например, с Д. Лукачем, Д. Ийешем) и специалистами-экономистами. Запись бесед появится в ближайших номерах «Кортарша».

Сложнее с вопросами социологии и современной марксистской философии. Они подымаются, например, в статьях А. Хегедюша, Д. Маркуша. Речь в них идет об отличиях в государственно-общественной структуре социалистических стран; о явлениях бюрократизма и демократическом контроле; о расхождениях между философами этих стран во взгляде на сущность и задачи философии. Сложность не только в теоретичности, но и в международной политической остроте этих вопросов. Очень важно тут точное и правильное «размежевание» с ревизионистами и «левомарксистскими» течениями. Однако уходить от подобных злободневных тем журнал не думает — тем более что они чрезвычайно волнуют молодую венгерскую интеллигенцию: «Кортарш» — это ведь по-русски «Современник».

Ближе к литературе — споры и страсти вокруг романа Тибора Дери «Приговор не вынесен», который печатается в журнале с прошлого года. Это роман автобиографический — писательская «критика и самокритика»; правда, если говорить о критике, с известной долей субъективности по отношению, скажем, к отдельным, ныне умершим, видным писателям. Эта «доля» и вызвала возражения. Кроме того, некоторые читатели в своих письмах вообще выносят вотум недоверия Дери за его прошлые

ошибочные выступления и не одобряют публикации романа. К ним обращен ответ редактора в первом номере: «В последние годы Дери не раз и очень недвусмысленно давал понять, к какому он принадлежит лагерю. Причем в самом разном окружении, в том числе за границей, всегда решительно отклонял любые поползновения получить от него какие-нибудь изъявления несогласия с нашим строем... Публикуя роман, мы кроме его самокритичности имели в виду также эту позицию Тибора Дери».

Еще что-нибудь «новенькое» в прозе?.. Прежде всего юбилей — пятьдесят лет со дня провозглашения советской Венгрии в 1919 году — обещает принести, да уже и приносит, свой урожай. События исключительные, чуть не самые драматичные в венгерской истории; до сих пор они будят чувства самые глубокие. Ими, например, проникнута принятая журналом небольшая повесть о 1919 годе очень читаемой сейчас писательницы Эржебет Галгоци. Точнее, это повесть о маленьком, рядовом человеке, который, совсем не собираясь быть героем, становится им перед контрреволюционным судом: принимает на себя ответственность за вменяемое ему в вину и даже за большее — за то, чего он, собственно, не совершал. Потому что только теперь он понимает все значение случившегося — падения Советской власти в Венгрии и величие дела, которое предприняли коммунисты. История эта, таким образом, исполнена большого человеческого смысла, хотя и грустная, трагичная. Сложным моральным коллизиям, связанным с гибелью Венгерской советской республики, посвящена также пьеса Гезы Молнара.

Кстати, юбилею советской Венгрии, говорит Шимон, мы обязаны таким интересным событием культурной жизни, как выставка Белы Уица (как художник — автор революционных плакатов — он выступил впервые именно в 1919 году). В марте — апреле она пополнится еще несколькими сотнями работ 20—40-х годов — в частности, портретами Ленина и Маркса,— которые приобретены венгерским государством. Удивительно не только даже количество этих работ, созданных в парижской, московской эмиграции, потом в Средней Азии; удивляет сама их огромная выразительная сила. В сущности, это новое открытие Белы Уица в Венгрии.

А поэзия?.. О ней гость наш отзывается сдержанней. Да, появилось несколько новых сборников — Д. Ийеша, Ш. Вёреша, Ф. Янковича. Но это написано на уже известном, так сказать, достигнутом уровне. Поэтическая же молодежь еще не «перебродила», не созрела. Настоящих событий, новых открытий, которыми богато было в венгерской поэзии начало 60-х годов, пока нет.

Ловим нашего гостя на слове и спрашиваем о его собственных новых стихах. Шимон ведь тоже недавно выпустил сборник («Солнечный свет») на уже «достигнутом» (а говоря прямо, художественно высоком) уровне. Поэт «традиционной», реалистической манеры, Иштван Шимон добивается в последних сборниках такого отточенного образно-ассоциативного мастерства, что излюбленные им простые, житейские, каждый день окружающие нас факты блещут под его пером поистине неожиданной новизной, приобретая особую свежесть и мудрую глубину. Традиция у него живет напряженной новой жизнью.

Но оказывается, что сейчас на рабочем столе поэта главное место заняли путевые дневники и блокноты. Готовится к печати очерково-публицистическая книжка о Египте, Кубе, Вьетнаме; о сложных и острых проблемах этих стран, увиденных собственными глазами.

Разговор касается еще многих интересных вещей: статьи Дарваша о нуждах деревни (результатом этого выступления была встреча за «круглым столом» писателей, партийных работников и социологов); новых повестей Эндре Фейеша и Дюлы Фекете; последних статей Ласло Немета, этого видного писателя и переводчика Л. Толстого и произведений советской литературы на венгерский язык; конкурса на лучший роман, который к 25-летию Освобождения Венгрии проводит издательство «Сепиродальми кёньвкиадо». Все это, правда, опять не о поэзии.

С известным поэтом беседовали о «прозе» — делах даже не столько литературных, сколько журнальных и общественных. Однако все время чувствовалось, что эта проза — тоже неотъемлемое духовное достояние Шимона, частица той большой, беспокойной жизни, которая питает и его поэзию.

И еще вознаграждало другое: рассказ его, «личное» увлечение передаваемым — все доносило неподдельно «шимоновский» дух его творчества: дружественное и братски ответственное отношение к людям и жизни. Отношение, вырастающее из глубокой внутренней веры в ее неодолимость; в высокую человеческую правоту и стойкость народов, борющихся за социализм. «Путь для других торить не просто, но первым должен кто-то быть»,— как говорится в одном его стихотворении.

О. РОССИЯНОВ

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Ричард Олдингтон. Семеро против Ривза. Комедия-фарс. Перевод с английского Т. Кудрявцевой и Т. Озерской. Вступительная статья М. Урнова. Москва, «Художественная литература», 1968. 294 стр.

Ричард Олдингтон говорил о себе, что все, что имел сказать, он сказал в тридцатые годы. Правда, «Лоуренс Аравийский» был написан много позже, в 1955 году, но если Олдингтон подразумевал художественные произведения, с ним не приходится спорить. Он действительно писатель тридцатых годов, и его наиболее существенные книги точно укладываются в хронологические рамки этого периода. Первый роман, «Смерть героя», Олдингтон опубликовал в 1928 году — почти одновременно с «Прощай, оружие» Хемингуэя и «На западном фронте без перемен» Ремарка (да, этот год литературоведы по праву причисляют уже к тридцатым годам — границы литературных периодов не всегда обозначаются круглыми цифрами, и тридцатые годы на Западе поспешили начаться, как, впрочем, поспешили и кончиться), а последний из романов этого времени — почти десять лет спустя, в 1938 году, когда тридцатые годы были уже на исходе.

Этот роман, «Семеро против Ривза», опубликован сейчас издательством «Художественная литература» в серии «Зарубежный роман XX века». Это тем приятнее, что до последнего времени о «Семеро против Ривза» нельзя было получить представление даже по критическим описаниям. Ни в академической «Истории английской литературы», ни в позднейших подробных очерках английской литературы XX века он попросту не упоминается.

Конечно, «Семеро против Ривза» не из тех романов, которые производят переворот в наших суждениях о художнике. Не по этому роману, а прежде всего по «Смерти героя» и «Все люди враги» будем мы по-прежнему судить об Олдингтоне, определяя его место в литературе тридцатых годов. Но если мы хотим получить более полное представление об Олдингтоне, о его развитии как художника, нам следует вспомнить и о «Дочери полковника», и о «Сущем рае», и о «Семеро против Ривза». Первые два романа переводились. Третий вышел только сейчас.

Интересно, когда могла зародиться у Олдингтона идея этого романа? Следует думать — очень рано, лет за десять до того, как он вышел в свет.

В 1928 году, когда молодой Олдингтон сидел в Париже и с нетерпением ждал, как встретят только что вышедшую «Смерть героя», он получил письмо от Уэллса — очень хорошее, очень доброжелательное. Это был первый знак признания, и к тому уважению, которое питал Олдингтон к Уэллсу, прибавилось чувство личной благодарности. Не тогда ли Олдингтону захотелось написать нового «Киппса»?

Потому что «Семеро против Ривза» это, в известном смысле, попытка повторить тридцать три года спустя знаменитый роман Уэллса. Попытка, приобретающая особый интерес именно потому, что она предпринята три с лишним десятилетия спустя. И тот роман и другой — своеобразная комедия нравов, а нравы за тридцать лет, надо думать, меняются...

Да и герои на первый взгляд непохожи. Артур Киппс был молодым приказчиком. Мистер Ривз — человек в летах, ему стукнуло уже пятьдесят. Но, как это ни удивительно, мистер Ривз, подобно Киппсу, только-только вступает в жизнь. Точнее — в светскую жизнь.

Для Киппса новая жизнь началась с момента, когда он, неожиданно для себя, получил большое наследство. Оно освободило его от всяких обязанностей и предоставило самому себе. Киппс теперь был волен делать, что хочет. Он мог постараться стать **таким, каким сам себе рисовался в идеале,**

а ему ведь так хотелось быть джентльменом — читать книги и, не хуже других, рассуждать о них, знать, где что сказать, как войти, как сесть,— словом, не позориться на каждом шагу... Постичь все эти премудрости, конечно, непросто, но мир не без добрых людей. Стоило только появиться деньгам, и добрые люди уже тут как тут, они все время рядом с Киппсом, наставляют его, вводят в хорошее общество. К сожалению, Киппсу так и не удается стать джентльменом, а добрые люди, отчаявшись, оставляют его — предварительно, разумеется, ободрав...

Мистер Ривз, при всем своем житейском опыте, оказывается в таком же примерно положении. Проведя тридцать три года в Сити, он удаляется на покой для того, чтобы наконец «начать жить». И пусть капитал его не свалился с неба, а заработан долгим трудом, накапливался годами, мистер Ривз только теперь словно бы приобретает его — он ведь только теперь получает возможность им пользоваться. С толком, конечно,— накупит книг, займется садоводством, станет культурным человеком, что-нибудь еще такое придумает...

Впрочем, к культуре никак не приобщиться без помощи добрых людей. Рядом с Киппсом в должный момент появился мистер Филин. Рядом с Ривзом появляется мистер Хоукснитч. Но положение Ривза еще хуже, чем у Киппса. Тот как-никак сам был себе хозяин, а мистер Ривз женат, и жена его заражена традиционным английским снобизмом, и если сам мистер Ривз довольно быстро и без всяких душевных терзаний отказывается от намерения стать культурным человеком, миссис Ривз отнюдь не собирается сразу сдаваться — ведь Ривзу, по ее мнению, несложно приобщиться к культуре и светскому обществу: для этого достаточно покупать произведения искусства, притом наиновейшего. И мистер Ривз не без сопротивления, но все же ездит на выставки и на светские приемы, покупает картины и вносит изрядный куш на создание «истинно английской» симфонии.

Сатира на светских подлипал и модных бездарностей обычна для английской литературы. Еще Теккерей потратил на это немало красок в «Ньюкомах». Но для Олдингтона в «Семеро против Ривза» это становится главной, подчиняющей себе все остальные, задачей. Нет, не семеро ополчилось против бедного Ривза — их бессчетные полчища, этих жуликов, пытающихся всучить свой товар, забивающих голову мистера и миссис Ривз глубокомысленной чушью, спекулирующих святым именем Искусства. Они слетаются со всех сторон: художники, музыканты, писатели,— они прослышали, что есть такой мистер Ривз, которого можно облапошить и из которого легко вытянуть деньги, а что им еще нужно, кроме денег и саморекламы?!

Впрочем, как ни обширна эта галерея, она отличается известным однообразием красок. Всем цветам Олдингтон предпочитает черный, и нельзя не согласиться с М. Урновым, который в предисловии справедливо замечает, что автор книги «оказывается временами жертвой желчного и поверхностного всепоношения».

От этого обилия корыстолюбцев мистер Ривз страдает вдвойне. Он не только ежеминутно вынужден раскошеливаться, но и теряет убедительность как художественный образ. Простодушного, неопытного Киппса удалось провести только однажды. Понаторевшего в делах мистера Ривза, который тридцать три года трудился в Сити, удается обманывать на каждом шагу. Он может поворчать, поохать, но в конце концов почти всегда уступает: иначе ведь какая-нибудь разновидность литературного мошенника рискует не найти применения своим способностям в пределах этого не слишком затейливого сюжета.

«Все люди враги» был попыткой синтеза нескольких тем, наметившихся в творчестве Олдингтона. После этого романа он предпочитал разрабатывать в отдельных произведениях те или иные частные темы, выделенные из начавшего складываться целого. Так и в «Семеро против Ривза». Богема, представленная в «Смерти героя» в эпизодах второго плана, теперь выходит на первый.

Если мысль написать нового «Киппса» действительно зародилась у Олдингтона в 1928 году, он недаром ждал десять лет. Раньше у него просто не было возможности так старательно заниматься бытом и тревожиться заботами ушедших на покой бизнесменов. Темы гораздо большего общественного звучания подчиняли его себе. В 1938 году время приспело.

Но он теперь уже опытный романист. Верно, недостатки замысла нередко мешают и исполнению. Однако способность Олдингтона создать острую, гротесковую, фарсовую ситуацию (роман и носит подзаголовок «комедия-фарс») порой достигает

предела. Чего стоит, например, сцена, где два светских господина, вообразивших себя художниками-декораторами, ссорятся между собой, совершенно искренне уверенные с какого-то момента, что борются за высшие интересы искусства, а то, что каждый из них в конце ссоры утверждает нечто противоположное тому, что утверждал в начале, так ли это в конце концов важно?! Или блестящие, отточенные страницы (здесь следует с похвалой вспомнить и о переводчиках), на которых перед нами предстает Кани в восприятии мистера Ривза. Или история замужества дочери мистера Ривза. Все это написано с той легкостью и ясностью линий, которая дается только художнику, успевшему уже хорошо отточить свое перо. Задача, поставленная перед собой Олдингтоном в «Семеро против Ривза», достаточно проста. Он рисует комедию нравов «среднего класса» — с его старозаветностью и застенчивой, всегда готовой обернуться обидой, тягой к «новому», ускользнувшему за годы, потраченные на приобретение капитала, с его сословной гордостью и, вместе с тем, с тягой к «верхам» — словом, со всеми его странностями, чудачествами и противоречиями. И чем больше Олдингтон сосредоточивается на своих героях, тем с большим интересом читаешь этот роман. Действие, вяловатое в начале, к концу приобретает разбег, бесчисленные эпизодические персонажи перестают за ним поспевать и исчезают с глаз, и мы расстаемся с мистером Ривзом, весьма довольные тем, что он наконец-то узнал цену каждому из людей, его окружавших, навел порядок в собственном доме и решил вернуться на старое место, в Сити, в свой привычный мир.

Впрочем, в романе Олдингтона можно вычитать намек и на нечто большее. Среди множества людей, встретившихся мистеру Ривзу, один вызывает глубокое уважение автора. Этот молодой человек не мечтает о великих деяниях. Он просто хочет открыть со временем школу и воспитывать просвещенных и добрых людей. Вот на этих-то людей и надеется Олдингтон. Ему надо сохранить веру в человека, в его будущее. А это очень важно. Пусть общественные идеалы отошли на второй план. Настанет момент, когда человек снова начнет их искать.

Ю. КАГАРЛИЦКИЙ

ВОСТОЧНАЯ САГА ОБ АНТАРЕ

Жизнь и подвиги Антары. Сокращенный перевод с арабского И. Фильштинского и Б. Шидфар. Вступительная статья И. Фильштинского. Примечания Б. Шидфар. Москва, «Наука», 1968. 455 стр.

Далекий VI век в истории арабов был веком лихих бедуинских набегов и войн за независимость с Византией, Ираном и Эфиопией, в ходе которых формировалось национальное сознание у разрозненных арабских племен. Выразителями этого чувства принадлежности к одному народу были бесстрашные поэты-витязи, неизменно принимавшие участие в походах и слагавшие стихи, в которых прославлялись доблесть и мужество арабов. (Между прочим, эти стихи слагались на поэтическом «койне», вобравшем в себя богатство древних диалектов Аравии и составившем впоследствии основу единого арабского литературного языка).

Предания и легенды о событиях той героической эпохи навсегда запечатлелись в памяти арабов. Спустя столетия из них вырос арабский народный эпос — своеобразные восточные саги, которые именуют «народными романами». В этих огромных эпопеях, окончательно сложившихся, по-видимому, к XII—XIII векам, причудливо смешались картины жизни арабов в доисламский период с событиями времен Арабского халифата и крестовых походов, действительное — со сказочным и невероятным.

Народных романов (по-арабски они называются «сира», то есть «жизнеописание») в арабских странах бытует множество. Наибольшей известностью из них пользуются «Жизнеописание Антары Ибн-Шаддада», «Жизнеописание Абу-Зейда», или «Подвиги племени Бену-Хиляль», «Жизнеописание султана аз-Захира Бейбарса», «Сейф Иби Зи-Язан», «Зу-ль-Химма». Возникшие первоначально в народной среде под влиянием древних поэтических антологий и устных преданий эти романы-эпопеи были впоследствии подвергнуты литературной обработке и собраны в своды поистине гигантских размеров. (Эпопея «Подвиги племени Бену-Хиляль» в наиболее распространенном каирском издании составила 38 томов, а «Жизнеописание Антары» — 32 тома. В старом же бейрутском издании романа об Антаре — 154 тома.)

В отличие от некоторых других народных романов, герой «Жизнеописания Антары» имеет реальный исторический прототип. Прославленный поэт и воин Антара, незаконнорожденный сын эмира Шаддада из племени Абс и эфиопской невольницы Забибы, жил в Аравии во второй половине VI века. Он принимал участие в многолетней войне между племенами абс и зубьян, известной у арабов под названием «войны из-за жеребца Дыхаса», и в бесчисленных набегах, поражая современников силой и бесстрашием.

До нас дошли некоторые стихотворения Антары. Поэтическая касыда, посвященная его возлюбленной, двоюродной сестре Абле, вошла в число семи самых лучших стихотворений доисламской эпохи, известных под именем «муаллак», то есть «нанизанных на нить жемчужин». Около 610 года, как гласят арабские письменные источники, Антара был убит в бою воином Визром Ибн-Джабиром. Существует предание, что Мухаммед, объединивший под знаменем ислама племена Аравийского полуострова вскоре после гибели Антары, выражал сожале-

ние, что ему не пришлось познакомиться со знаменитым поэтом-витязем.

Рассказы о подвигах Антары, исполнявшиеся нараспев под аккомпанемент ребаба профессиональными сказителями в кофейнях Каира, Дамаска, Багдада и других ближневосточных городов, лет двести тому назад привлекли внимание европейских путешественников и ученых. Начиная с XIX века появляются переводы отрывков и отдельных частей романа на европейские языки, а также исследования о нем. (Полного перевода эпопеи об Антаре нет ни на одном языке. Вышедший в 1819—1820 годах в Лондоне четырехтомный английский перевод Террика Гамильтона охватывает лишь первую треть романа. Сильно сокращен по сравнению с оригиналом и французский перевод «Антары», выполненный в 60-х годах прошлого века Л. Девиком.) Роман об Антаре вызывал восхищение поэтов-романтиков, в частности Ламартина, называвшего его героя «Давидом пустыни». Другие называли роман — арабской «Илиадой», а самого Антару сравнивали с Ахиллом.

Роман об Антаре оставил след и в русской культуре: писатель и востоковед О. Сенковский (Барон Брамбеус) написал по его мотивам красивую сказку в восточном духе «Антар», которую Римский-Корсаков положил в основу своей одноименной симфонической сюиты.

Книга «Жизнь и подвиги Антары», вышедшая в издательстве «Наука»,— первый перевод романа об Антаре на русский язык. По сравнению с оригиналом роман сокращен примерно в восемь раз. Однако в переводе основная сюжетная линия эпопеи сохранена, а пропущенные места кратко пересказываются (этот пересказ набран мелким шрифтом). Таким образом, нить повествования, в общем, не ускользает от читателя, хотя местами, на наш взгляд, пересказ слишком уж лаконичен. В начале романа Антара— простой «верблюжий пастух», раб, которому из-за его «низкого» происхождения не дозволяют участвовать в походах и набегах племени. Однако больше всего страдает черный юноша от неразделенной любви к прекрасной Абле. Но и после того, как Антара завоевал взаимность девушки, защитив ее от врагов и воспев в стихах ее красоту, он как сын рабыни, по понятиям племени, не мог жениться на дочери свободного, тем более знатного араба. Отец же его эмир Шаддад несмотря на небывалые подвиги Антары, когда он один спасал женщин и детей племени от вражеского плена, долго и упорно отказывался включить сына в свою родословную, боясь «стать посмешищем в глазах арабов». Добившись признания отца, победив козни врагов, Антара женится на «лунноликой» Абле и приглашает на свадебный пир все окрестные племена.

В романе подлинные факты биографии поэта тонут в океане вымышленных и фантастических событий. С Антарой происходят самые невероятные приключения как в Аравии, так и далеко за ее пределами — в Персии, Византии, Эфиопии и в Стране франков. С небольшим отрядом храбрецов он разбивает многотысячную армию персидского царя, рассеивает «тьму-тьмущую» войск царя Хинда и Синда, а затем по поручению византийского императора, плененного силой и красноречием прославленного воина, возглавляет победоносный морской поход против франкского короля Лайлумана. Антаре приходится сражаться не только с вражескими армиями, но и с джиннами и огнедышащими драконами. Отличаясь необузданным нравом, а иногда и жестокостью, он тем не менее всегда выступает в защиту слабых, проявляет великодушие к побежденным.

В конце жизни, однако, славного «защитника арабов» поражает одно несчастье за другим. Гибнут в боях его храбрые сыновья и его неизменный спутник ловкий и быстрый, как «самец страуса», брат Шейбуб. Царь племени абс по наущению врагов поэта требует от Антары, чтобы он покинул его становище, и оскорбленный витязь переселяется на берега Евфрата. Там его настигает отравленная стрела, пущенная предателем Визром. Через пять месяцев и пять дней после смертельного ранения Антара навеки засыпает, сидя на спине верного коня Абджар. Прекрасная Абла ненадолго пережила супруга: по завещанию Антары она была выдана замуж за одного из его друзей, но, так и не добившись ее любви, новый муж приказал рабам задушить ее во время сна.

На этом кончается эпопея Антары, в яркой и причудливой форме отразившая насыщенный богатыми событиями период арабской истории.

Нет сомнения, что переводчики романа известный советский востоковед И. Фильштинский и молодая исследовательница Б. Шидфар встретили в работе немалые трудности: «Жизнь и подвиги Антары» написаны в оригинале довольно сложной, по-восточному затейливой прозой, чередую-

щейся со стихами (всего в романе 10 000 стихов). Переводчикам во многом удалось передать поэтическую прелесть оригинала (встречающиеся в тексте стихи неплохо переведены Г. Плисецким). Вступительная статья И. Фильштинского фактически представляет собой первое на русском языке исследование эпопеи об Антаре. Книгу украшают иллюстрации, воспроизведенные из современного восьмитомного каирского издания романа, с которого сделан перевод.

После сказок «Тысячи и одной ночи», перевод которых был предпринят впервые непосредственно с оригинала в 30-х годах по инициативе Горького, «Жизнь и подвиги Антары» — второе, не менее значительное произведение арабской народной литературы, с которым получил возможность познакомиться советский читатель. Хотелось бы, чтоб и другие произведения арабского эпоса нашли пытливых исследователей и искусных переводчиков.

Л. СТЕПАНОВ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ТРЕТИЙ КРИК ВОЗВЕЩАЕТ РОЖДЕНИЕ

Fănus Neagu. Ingerul a strigat. Bucureşti, Editura pentru literatură, 1968.

Новый роман Фэиуша Нягу «Ангел возвестил» — мозаика новелл, скрепленных единством внутренней темы. Каждая новелла могла бы стать самостоятельным рассказом. Например, история Евы: полуживая от голода, она приехала в конце войны к родителям Эуджена Фулги и сказала, что она — его жена. Три года ждала Эуджена, пропавшего без вести, поддерживая веру его родителей в возвращение сына. Он, наконец, вернулся и... не узнал Еву. Оказывается, он был едва с нею знаком — она солгала, прибилась к его дому, спасаясь от голодной смерти. Но, придумав себе мужа, ждала его с настоящей верностью, самоотверженно служила приютившему ее дому. Потом действительно она становится женой Фулги...

Однако дело не в самоценности новелл. Они, нанизанные на определенный сюжет (судьба Иона Мохряну), приходят в сцепление и с разных сторон сводятся к одному: распад старого социального уклада сопровождается нарастающим драматизмом жизни. И чем драматичней она, тем неизбежней рождение справедливости. Недаром каждая из трех частей романа «Ангел возвестил» завершается выделенной из текста фразой. «И был первый крик», «И был второй...», третий символический крик (после убийства Иона) «возвещает рождение».

Ион Мохряну не понимает причин своих злоключений. Не будучи в силах разобраться в тех социальных силах, которые властвуют над его судьбой, он приходит к выводу, что всему виной его лицо: «У меня белое лицо. Как у отца. Дядя Петря говорит, что такое лицо бывает только у утопленников. Отсюда и пошли все несчастья отца...»

Сумятица последних лет монархии толкает крестьянскую душу к суеверно-фантастическому толкованию событий.

...Князь Шуцу-младший собрался жениться, заказал для свадьбы два самолета в Англии, а управляющему поместьем велел строить аэродром. Вот тогда-то управляющий и уговорил через посредника-нотариуса тринадцать бедствующих крестьянских семей переселиться в Добруджу, чтобы освободить землю для аэродрома.

Под причитания женщин, лай собак, крики детей тронулся в путь обоз с крестьянским скарбом. Какова там жизнь в Добрудже? Много надежд у крестьян. Есть и трезвые головы. Говорят, что земля там проклятая богом — везде извесь да соль. В дороге жандармы арестовали Мохряну, отца Иона, по подозрению в краже. А потом застрелили его, когда он пытался бежать.

Ион отстает от обоза и уходит «в люди».

Проходят годы. Ион служит в разных местах — и в цирке, и батраком у односельчан, и матросом. И все время его гложет одна мысль — отомстить за отца. Он узнает, что, в сущности, виновником гибели отца был конокрад Фэлкосу, это он тогда совершил кражу. Ион подчиняет свою жизнь преследованию и мести. И к Берекету он нанимается батраком только для того, чтобы узнать, где Нейку Жингу, что был связан с Фэлкосу, и в Брэилу едет, и, наконец, в Бухарест, когда узнает, что бывший вор стал жокеем. Вот-вот он настигнет жертву, но Фэлкосу умирает от сердечного приступа на ипподроме.

А в мире события идут своим чередом: Румыния вовлечена фашистами в войну против Советского Союза.

Автор скупо, но точно обрисовал звериную психологию фашизма. Достаточно отметить одну гротесково-страшную деталь. С виду вполне симпатичный, молодцеватый немец Курт своеобразно хвастается перед слушателями: он, дескать, мечтает построить себе дом на виселицах, как на сваях. Подует ветер, и виселицы будут приятно раскачиваться... Женщины испуганно вскрикивали, а Курт говорил: «Ночь с мертвецами закаляет. Это немецкий урок, и вам всем придется усвоить его». Мечты мечтами, а когда Курт растлил тринадцатилетнюю Тицу, крестьянин Нейку убил его садовыми ножницами.

Преступная война, говорит Фэнуш Нягу, страшна своей нелепостью, абсурдностью. Трагичны и нелепы свадьбы в селах — свадьбы без женихов («Дорогие папа и

мама, жените меня, у нас все женатые...» — пишет парень с фронта родителям, и те «заочно» играют свадьбу и берут девушку в дом). Такова и солдатская вдова, покупающая гроб на базаре, чтобы схоронить по-христиански хоть вещи мужа. Такова и судьба солдата Александру Кэпэлэу, выпившего кипящей соды, чтобы не воевать (он еще некоторое время жил, односельчане приходили поглазеть на стеклянную трубку в животе, через которую ему вливали пищу). Таково и мародерство на поле боя: своих убитых солдат грабят свои же...

Кончается война, Ион снова батрачит, нанимается конюхом на королевские конюшни, работает на государственном винограднике, служит на судне и под конец — по навету — попадает в тюрьму, где гибнет от руки заключенных, заподозривших его в доносе...

Так завершается круг жизни главного героя. В этом круге была и любовь. Дважды. И оба раза несчастливая для Иона.

Ф. Нягу избирает для своего романа трудный период — от предвоенных лет до ликвидации монархии в 1947 году. Война. Засуха. Голод. Борьба за жизнь.

Социальный роман в румынской литературе обычно рассматривает период до 23 августа 1944 года и после 1949 года. Заслуга Ф. Нягу состоит в том, что его роман захватывает и малоизвестный переходный период румынской жизни.

Мы не найдем в романе разностороннего анализа жизни общества: Ф. Нягу преимущественно описывает жизнь периферии страны — периферии, удаленной от центра событий. Но всюду — люди. Мир людей. Этот пестрый люд думал, верил, торговал скотом, пил в корчмах, вопреки всему и назло всему — невзгодам, войне, засухе и самой смерти. А жить было трудно: во времена резких кренов страсти накалены, чувства обнажены. Процветают воровство, поножовщина, конокрадство, бурная ночная жизнь.

Но все отчетливее звучит голос тех, кто кричит: «Долой короля! Да здравствует народная власть!» Все явственнее первые, еще робкие ростки социализма. Это и сельская партийная ячейка Тити Шорича, и государственный виноградник...

Один из компонентов стиля Ф. Нягу — языческая первозданность природных стихий, экзотический пейзаж, сказочные элементы в их обрисовке и одновременно полная «осязаемость» запахов, звуков.

Особенность прозы Ф. Нягу — и в ее фольклорности. В канву реального повествования органически вплетаются народные обряды, обычаи, легенды, поверья, наговоры, знахарство.

Говорят, утопленники в ночь св. Марии плавают на затонувших кораблях по морю, манят рыбаков невиданными драгоценностями; говорят, конокраду Фэлкосу под силу любые замки и запоры — есть у него разрыв-трава да два заколдованных пальца-мертвяка, вот он ими двери и отпирает; луна — сосуд из мрамора и стекла, а внутри — слезы Марии Магдалины; ночью они кроваво-красные — это слезы покаяния, днем — прозрачные, росяные — радость прощения.

Как и Штефана Бэнулеску, Фэнуша Нягу привлекает своеобычный уклад жизни людей дельты и придунайских степей, сложившиеся веками ритуалы и обряды (ритуал забиения полудиких кабанов, когда старому вожаку дают сдобренную курицей и сахаром пшеницу: «Ешь и не печалься, когда пробьет для тебя час ножа...»)

Излюбленный прием повествования Ф. Нягу — «устные» рассказы и истории многочисленных персонажей романа, подчас анекдотические (как Бижуликэ, владелец кафе, ослицу золотыми подковами подковал — обет такой дал, когда голью был перекатной, возил на ослице казан супа с потрохами для продажи, да так и разбогател; или как Ке Андрей, Ион и двое их товарищей выловили труп старого князя Шуцу и его жены в озере, а потом прятали утопленников в тине от солдат, и чуть друг друга не прирезали — и все из-за обещанной мзды в сто тысяч лей).

Нягу наделяет крестьян богатым духовным началом. Возьмем, к примеру, хотя бы один из многих, рассыпанных по всей книге монологов Ке Андрея: «Вот вы все, как простофили, удивляетесь, как он (Берекет) помер. А у меня вопрос потяжельче будет. Вот ты мне, Тити Шорич, растолкуй, каков он есть человек внутри... Я и сам знаю, что внутри кишки. Они жратвы требуют... А мне, поди подай, что там во тьме, в тайнике, что человека от быка отличает. Я так думаю, что у мужчины, да и у женщины коробка есть. Секретная она. В ней — душа и смерть...»

Крестьяне Фэнуша Нягу — суровые, мужественные, порою жестокие. Но он знает, что они бывают и нежными.

Роман Фэнуша Нягу нов для современной румынской литературы в том смысле, что он сосредоточился вокруг сложных узлов в жизни страны: уродующая людей атмосфера господствующего фашизма в начале сороковых годов и период разброда и сумятицы в последние годы монархии (1944—1947). Но и эпилог недаром отнесен к тому времени, когда в угоду гигантомании затевалось бесцельное строительство канала Дунай — Черное море. На стройке вольнонаемные, киносъемочная группа, отбывшие срок, высланные, заключенные... Этот эпилог как бы исчерпывает тему романа, словно снимая преграды перед новой, светлой жизнью, которая родилась в муках, но родилась навсегда. Ярко и крепко написанный, талантливый роман Ф. Нягу «Ангел возвестил» признан румынской критикой и читателями одним из самых примечательных произведений последних лет и отмечен премией Союза писателей Румынии за 1968 год.

КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ

КОРНИ ЖИЗНИ

Martin Wickramasinghe. Lay Bare the Roots. Colombo, M. D. Gunasena Ltd, 1968.

«Когда человеку перевалило за сорок,— пишет автор этой повести Мартин Викрамасинге,— воспоминания детства все чаще посещают его. Он вспоминает, как весело и беззаботно насвистывал, подражая птицам, как мать, накормив его вкусным завтраком, провожала в школу, как он играл после уроков... Обрывки воспоминаний вызывают одновременно радость и сознание невосполнимой утраты».

«Обнажи корни» (название в сингальском оригинале «Наша деревня») — неторопливый задумчивый рассказ о деревенском мальчике и его окружении, о мире природы, открывающемся его любопытному взору. Действие повести происходит в начале нынешнего века в родной деревне писателя, расположенной на узкой полоске земли, которую с юга омывают бурные воды Индийского океана, а с севера — спокойная и широкая, как озеро, река. На реке — множество крохотных островов, заросших вечнозеленой тропической растительностью. Вдоль морского берега тянутся лесистые дюны, где находили убежище и белки, и землеройки, и мангусты, и змеи, и птицы.

Немало побродил будущий писатель по этим живописным местам, немало узнал о трудовой и полной лишений жизни односельчан. Знания и опыт, накопленные им за годы жизни в родной деревне, послужили основой для его творчества.

Но книга эта — не просто воспоминания детства, не просто описание сказочной цейлонской природы, быта и нравов крестьян, это — и раздумья умудренного опытом человека (книга была написана им в сорокадевятилетнем возрасте) о человеческом бытии, о судьбе современного общества. Автор с печальной улыбкой оглядывается на

детство, однако он не сожалеет о прошлом. Он слишком хорошо знает, что значат безземелье крестьянина, произвол ростовщика, невежество и религиозные предрассудки, чтобы идеализировать патриархальную деревню. Вместе с тем он не скрывает и озабоченности по поводу того, что и ныне, «несмотря на относительное изобилие денег, бедность в стране возрастает».

Поворот писателя к социальной теме, наметившийся в повести «Наша деревня» (впервые она была опубликована на сингальском языке в 1940 г., переиздавалась двадцать один раз и сейчас вышла в английском переводе) и в других ранних его произведениях, особенно четко определился в романе-трилогии «Последний век»*, появление которого цейлонская критика восприняла как выдающееся событие в сингальской реалистической литературе. Этот роман — важный шаг писателя на пути к пониманию нового человека и его роли в современном цейлонском обществе, освободившемся от колониальной зависимости и переживающем процесс классовой поляризации и нарастания революционного движения.

Мартин Викрамасинге не ограничивает свой опыт узкими национальными рамками. Оставаясь самобытным художником, выступая против всего вредного, что вносит в культуру и быт его народа западная цивилизация, он отнюдь не отгораживается от достижений мировой культуры. Безусловно, большое влияние на него оказала русская и советская литература (Тургенев, Достоевский, Чехов, Горький, Шолохов), изучению которой он посвятил много лет своей жизни.

В 1959 году Викрамасинге посетил Советский Союз в качестве гостя Третьего съезда писателей СССР. Выступая на этом съезде, он сказал: «Меня привело сюда желание увидеть вашу великую социалистическую страну. Но я уже отчасти знаком с ней, знаком с ее народом, ее широким гуманизмом. Я познакомился с ней еще в раннем детстве по книгам Гоголя и других русских классиков, вплоть до Горького, а потом — по книгам Шолохова и других советских писателей». В его памяти особенно запечатлелись слова Горького о том, что русское искусство — это прежде всего искусство сердца: в нем неугасимо горит романтическая любовь к человеку. «Даже за железным характером Алексея Мересьева,— продолжал Викрамасинге,— мы угадываем сочувствие к страждущим. Не один только патриотизм вдохновлял Мересьева, когда он терпел невероятные физические муки, чтобы выжить. За его героизмом и выдержкой — та же романтическая любовь к человеку. Именно патриотизм, романтическая любовь к человеку и умение переносить страдания породили героизм и выдержку

* Перевод романа издан в Москве в издательстве «Прогресс» в 1965 г. Рецензия на роман опубликована в «Иностранной литературе» № 9, 1966 г.

русского народа, позволившие ему устоять перед полчищами Гитлера, а потом и разбить их. И ту же любовь к человеку я вижу в активно сочувственном отношении Советского Союза к Цейлону, Индии и другим странам Азии и Африки... Советский Союз, разбив Гитлера и нанеся смертельный удар империализму, оказал неоценимую услугу всем народам Азии и Африки: его победа положила начало нынешней эре национально-освободительного движения в этих странах».

Первая поездка Викрамасинге в СССР заложила основы его личных контактов с советскими литераторами. Вместе с ними он активно включился в деятельность Ассоциации афро-азиатских писателей, созданной по решению Ташкентской конференции 1958 года, и в осуществление различных международных акций, имеющих целью развитие творческого содружества писателей и их объединение для борьбы против империализма.

В 1963 году автор этих строк встречался с Викрамасинге у него на родине, в деревне Коггала. Очень хотелось посмотреть тот самый уголок Цейлона, который писатель воспел в своих книгах.

В годы второй мировой войны территория Коггалы была превращена в базу английской военной авиации. Там был построен аэродром, а на месте крестьянских хижин появились солдатские казармы и склады боеприпасов. Жители деревни разъехались кто куда, лишь немногие их дома уцелели. После войны английская база была ликвидирована, и жители стали постепенно возвращаться. В 1961 году цейлонское правительство, оценив заслуги Викрамасинге перед национальной литературой, привело отчий дом писателя в порядок и передало в его распоряжение. В этом доме мы его и застали.

Все было так, как он описывал. Река Коггала действительно напоминает большое озеро. В ней много рыбы, крабов, креветок. Был вечер, мирно всплескивала вода у берегов, на зеленых островах стояла тишина, только с одного из них доносился до нас птичий грай. Все птицы почему-то собирались именно там, «укладываясь» на ночлег... А вот перед нами бывший аэродром. Взлетная площадка пустынна, сквозь трещины в асфальте проросла трава. Вокруг поля — остатки каменных строений, какие-то сваи, основания домов. Отшумели моторы военных самолетов, ушли англичане, а руины остались, как напоминание о всемирной трагедии.

Потом мы вернулись в дом, окруженный кокосовой рощей. Солнце только что зашло, с севера подул теплый, но освежающий ветерок. Пока гостеприимная супруга Викрамасинге накрывала чайный столик, мы тихо беседовали в кабинете писателя. Здесь когда-то работал покойный отец Викрамасинге, сельский чиновник, в комнате сохранилась его старинная мебель. Хозяин рассказал нам о книге «Расцвет Страны Советов», которую он написал по следам своих впечатлений от поездки в нашу страну*, поделился творческими планами... И тут мы почувствовали, что тесновато ему стало в старой, пришедшей в упадок деревне, что давно пора ему выбираться на простор жизни, где он, еще полный творческой энергии, мог бы черпать материал для новых произведений. Позже мы узнали, что так именно он и поступил. Теперь он живет в Коломбо, лишь изредка навещая Коггалу.

В этом году Викрамасинге исполняется семьдесят восемь лет, но он продолжает работать как писатель и общественный деятель, являясь председателем Союза писателей Цейлона. Его фигура по-прежнему выделяется на довольно пестром литературном фоне страны. Как выразился известный цейлонский критик А. Дж. Гунавардене, Мартин Викрамасинге все еще остается «главным архитектором» строящегося ныне в стране литературного здания.

К. ЧУГУНОВ

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ РЕАНИМАЦИЯ

Robert Markham. Colonel Sun: A James Bond Adventure. London, Jonathan Cape. 1968.

Как только не рекламировали эту книгу перед выпуском в свет, как не прельщали покупателя. Хотя в особой рекламе она, пожалуй, не нуждалась: и без того было ясно, что тираж начнут расхватывать, как горячие пирожки. То, что таинственный незнакомец Роберт Маркхэм, чье имя стояло на обложке книги, вовсе не Роберт, а Кингсли, и не Маркхэм, а Эмис, перестало быть «военной тайной» задолго до появления опуса. Эмис же всегда пользовался репутацией писателя отнюдь не второразрядного. Пусть за последние годы его взгляды зримо поправели, а количество внелитературных выступлений (и каких!) зримо возросло, читатель продолжал любить Эмиса-художника.

Героем же в романе Эмиса-Маркхэма «Полковник Сан» выступает не кто-нибудь, а сам Джеймс Бонд, единственный, непревзойденный и неподражаемый (спешите, спешите!) «агент 007».

С одной стороны, конечно, не совсем ясно, откуда бы взяться Бонду, если его «отец» и создатель, английский автор Ян Флеминг **, уже несколько лет почиет в бозе. Факт, между прочим, вполне проверенный и подтвержденный законным поряд-

* Рецензия на книгу «Расцвет Страны Советов» была опубликована в «Иностранной литературе» № 8, 1963 г.

** Об антикоммунистическом «шпионском романе» Яна Флеминга см. статью «Радужная отрава беллетристики» («Иностранная литература» № 4, 1967.)

ком: наследники Флеминга уже некий срок распоряжаются кругленьким капитальцем, который их предок сколотил праведными трудами на ниве «желтой» беллетристики. Однако, с другой стороны, ничего мистического здесь нет, и о чуде воскрешения говорить не приходится. Есть другое: попытка реанимации литературного трупа почти четырехлетней давности.

При всем пиетете к посвящению, фигурирующему на первой странице («Памяти Яна Флеминга»), иные слова для обозначения беллетристических упражнений Эмиса-Маркхэма подобрать трудно. Забегая вперед, скажем, что эти упражнения, как и следовало полагать, завершились совсем не тем, на что претендовал автор. «Далеко не лучший Флеминг, далеко не лучший Эмис»,— ехидно отозвался о них рецензент манчестерской «Гардиан» Малколм Брэдбери, известный британский сатирик.

Но обратимся собственно к роману. Неискушенному любителю фантазий Флеминга поначалу может показаться, что это и впрямь книга самого «мэтра». Действительно: чего-чего, а фантазии автору «Полковника Сана» занимать не приходится. Взять хотя бы завязку. За такую завязку покойный Флеминг мог бы отдать парочку своих собственных сюжетов и то полагать себя не в накладе. Тайные агенты одной могущественной державы выкрадывают и живым переправляют за кордон адмирала М. Да, да, именно того самого М., которого флемингговский Бонд боготворил, как свое прямое начальство и главу всей британской контрразведки!

Эмиса следовало бы упрекнуть в недостатке патриотизма. Что это за контрразведка, которая позволяет супостату умыкать свое высокое начальство? И что это за начальство, которое позволяет себя похищать? Правда, Эмис вводит смягчающие обстоятельства: адмирал был серьезно болен, пребывал в загородной резиденции, и вообще кто бы подумал, чтобы в доброй старой Англии в мирное время да еще среди бела дня... Тем не менее для самой эффективной и проницательной секретной службы в мире (каковой под пером Эмиса и его наставника Флеминга выступает британская разведка) это совершенно непростительно. Обязаны были предусмотреть. Мало того, что злодеи похитили М.; заодно с ним они едва не прихватили и самого Бонда. Черт знает что такое.

Дальнейшие события развертываются в соответствии с завязкой и по флемингговским канонам более чем свободного полета воображения. «Советы» (то есть Советский Союз) решают, например, организовать встречу афро-азиатских лидеров на высоком уровне. Местом встречи избран почему-то греческий остров Вракониэи в Эгейском море. В свою очередь, маоисты желают уничтожить парочку-другую участников встречи, причем инсценировать это так, чтобы все подумали на Англию. Для этой цели им и понадобился М., которого в нужный момент запланировано подбросить — разумеется, в виде трупа — на «место действия».

Русские, как это часто бывает в английском «шпионском романе», оказываются не на высоте: поручают охрану совещания генералу Аренскому, разумеется, человеку весьма сомнительной моральной репутации. Так что волей-неволей расхлебывать кашу и спасать британский (а заодно и советский) престиж приходится все тому же Бонду. Он, конечно, успешно справляется с поставленной задачей, привлекая к сотрудничеству советскую агентессу, обворожительную гречанку Ариадну, и некоего Листаса, бывшего борца против фашизма, а ныне владельца небольшой флотилии.

Оставляя в стороне «восточную интригу», нельзя не умилиться над страницами, живописующими идеологическое и сексуальное единение антикоммуниста Бонда с советским коммунизмом в лице Ариадны. А рассказ о том, как прибывшее на смену безобразнику Аренскому высокое лицо из московской контрразведки предлагает — по поручению Советского правительства — «агенту 007» орден Боевого Красного Знамени, вызывает на глазах у русского читателя слезы благодарности.

Внешнее «флемингоподобие» Эмису, таким образом, удалось сохранить, по крайней мере в фабуле. Но что касается стиля, идейного «заряда», облика «героя» и «злодеев» и прочих неотъемлемых примет «шпионского романа» неподражаемого Флеминга, то тут Кингсли Эмис явно «не дотянул».

Начать с того, что «Полковник Сан» начисто лишен подкупающего штампа, свойственного письму Флеминга. Даже крепких словечек — и тех, почитай, что нет.

Или «герой». Узы, Бонд у Эмиса — Бонд, да не тот. Он ли это, знаменитый «агент 007», бездумный автомат для исполнения особо опасных поручений, чье призвание — убивать «красных» и прочих «злодеев» налево и направо, а по ходу дела вкусно поесть, поиграть в азартную игру, холить личное оружие и удовлетворять любвеобильных прекрасных незнакомок? Вместо него у Эмиса рефлектирующий англичанин средних лет, не чуждающийся прекрасного, а если и убивающий людей по долгу службы, то с отвращением и душевными терзаниями. Впрочем, откуда было взяться в романе настоящему «агенту 007», когда нет в нем достойных Бонда «злодеев» Полковник Сан Лин-танг — бледная копия, вернее, неудачная подделка под грандиозные фигуры «бондврагов» из книг Флеминга. Как теоретик злодейства полковник еще куда ни шло, но как палач он жалкий дилетант без размаха и воображения. Даже пытка, которой он подверг Бонда,— ну что это за пытка! Поцарапал спицей барабанную перепонку или в ноздрю железным крючком слазил — только и всего. Разве сравнить это с Флемингом! У того — другое дело. Вот когда палкой для выбивания ковров начинают выбивать кое-что другое внизу живота, это, сами понимаете...

О генерале Аренском и говорить не стоит. Не злодей он, а жалкий интеллигентский хлюпик. Воплощение «советского злодейства» в романе Флеминга «Из России, с любовью» Роза Клебб просто не потерпела бы такой размазни во вверенном ей отделе.

Итак, ни «героя», ни «злодеев», ни пикантного, щекочущего нервы насилия... В свое время Эмис опубликовал апологетическое исследование романов Флеминга «Досье Джеймса Бонда». Там он привел старательную выкладку: «По моим подсчетам, Бонд убивает из огнестрельного оружия, душит, закалывает... или каким-то иным путем отправляет на тот свет тридцать восемь с половиной злодеев». С выходом «Полковника Сана» эта цифра возросла до сорока шести. Это единственное, в чем Эмис «развил» Флеминга.

Неизвестно, что тому виной: может быть, талант писателя органически противится насилию над ним?.. Только не получилось из Эмиса второго Флеминга, а получилось нечто ниже среднего под названием Роберт Маркхэм. Реанимация Яна Флеминга не состоялась, а роман «Полковник Сан» оказался для Эмиса крупным литературным конфузом. Как таковой, он и был с редким единодушием оценен британской прессой.

«Очевидно, мистер Эмис не столько отдает творческую дань вымыслу другого человека, сколько пытается, к тому же довольно неуклюже, на этом вымысле поживиться»,— суммировал свои наблюдения рецензент литературного приложения к лондонской «Таймс». Кажется, так оно и есть. А все-таки не хотелось бы так уж сразу подозревать писателя в столь меркантильном расчете. Вдруг Киплсли Эмисом двигали благие намерения подсказать великим державам единственно правильный курс действий или действительно почтить литературным вставанием память обожаемого беллетриста?

P. S. Когда эта рецензия была уже написана, почта доставила из Лондона новый роман Эмиса, опубликованный в конце 1968 года,— «Хочу сейчас!», довольно злую сатиру на общественные нравы и «денежных людей». Сопоставление пресловутого «Полковника» с этой книгой, а также с предыдущим произведением Эмиса, антивоенной сатирой «Лига борцов со смертью» (не говоря уже об известном советскому читателю романе «Счастливчик Джим») еще раз наталкивает на открытие некоторых давно известных истин. А именно: расхожая «желтая» беллетристика (тем более антикоммунистический боевик) и талант — вещи, органически не приспособленные к мирному сосуществованию. «Полковник Сан» — недвусмысленный этому пример.

В. СКОРОДЕНКО

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АНГЛИЯ

О СОПРИЧАСТНОСТИ ПРЕКРАСНОМУ

Корреспондент еженедельника «Обзёрвер» взял интервью у известного актера и режиссера Лоуренса Оливье, попросив его поделиться своими мыслями о театре, о его роли сегодня, о его будущем.

— Вас часто называют реалистом. Что такое реализм в театре?

— Реализм — не превращение искусства в жизнь, это превращение жизни в искусство, не простое копирование, а возвышение жизни до искусства. Знание людей, постоянные наблюдения, обогащающие игру новыми, подсмотренными в жизни жестами, интонациями, раскрывающими всего человека,— это все придает игре ту жизненную реальность, которая на сцене выливается в единственно правильную трактовку образа. Вы чувствуете роль и играете верно, и наоборот, правильно сыграв, вы начинаете чувствовать роль. Не знаю, как для других, но для меня сценическое перевоплощение абсолютно естественно... Страдание, страсть, горечь — их надо чувствовать. Умерла ваша Джульетта, оставив вас наедине с вечностью; это вы только что задушили свою Дездемону. Каждый спектакль уносит часть вашей жизни и одновременно дает вам что-то взамен, как и всякое эмоциональное переживание.

— Что помогает вам в творческой работе?

— Мне помогает чувство ритма — ритма речи, движений, чувств, смена выражений лица. Публику надо держать в неослабевающем напряжении. Шаляпин говорил, что никогда не следует делать того, чего ждет от вас публика... Иногда, может быть всего раз или два на протяжении жизни одного поколения, появляется актер, играющий в единственно верном для своего времени ключе, делающий классические образы близкими своим современникам. Публика лишь смутно догадывается о том, как он этого достигает, часто и сам он не отдает себе в этом отчета, ведь профессиональные приемы широко варьируются от одного великого актера к другому. Но в разные исторические эпохи о разных актерских трактовках зритель говорит—вот он, шекспировский Гамлет.

— Кому из наших современников это удается?

— Алеку Гиннесу, Джону Гилгуду, Ральфу Ричардсону, Полю Скофилду... Сам я всегда неуверенно чувствую себя в лирических ролях. Я не верю Китсу, когда он говорит: «Прекрасное — вот Правда». Правда — вот для меня Прекрасное. С годами актер уходит от возвышенных лирических ролей, сначала от Ромео к Гамлету и Отелло, а потом и к Лиру... Моя любимая роль — дядя Ваня, может быть потому, что я считаю его шедевром Чехова; когда играешь подобные роли, испытываешь какое-то особое чувство...

Режиссура дает мне более ощутимое удовлетворение. Вы одновременно помогаете нескольким людям играть разные роли, весь спектакль зависит от вас. Это чувство сходно с отцовским — молодежь нуждается в вас, ей нужен ваш опыт. Но в то же время эта работа спокойнее. Великие роли — опасная игра, они требуют все большей и большей отдачи. Вы отдали все, что могли, но надо еще больше, роль пожирает вас — сердце, ум, все силы. Великие роли — каннибалы... Роль Отелло—вершина профессиональных требований, предъявляемых драматургом актеру, и, конечно, роль Макбета.

— Каково влияние телевидения на театр? Возникали у вас когда-либо опасения за будущее театра?

— Нет, никогда. Театр слишком необходим людям, слишком близок им. Популярность телевидения с очевидностью доказывает, что драма вошла в жизнь людей. По телевидению хорошо смотрятся вещи, специально для него переработанные. Но атмосферу театра не может заменить ничто, здесь все значимо — и слово, и молчание, и перспектива, движение и неподвижность, а главное — непосредствен-

Редакция журнала «Берлингтон мэгэзин» совместно с Институтом искусств Кортолда организовала в Лондоне выставку «Художественные исследования живописи под рентгеном». На выставке представлены для сравнения оригиналы известных полотен рядом с рентгеновскими снимками с них и их фотографиями в инфракрасных лучах. Выставка, охватывающая период с XV века до наших дней, продемонстрировала, по сообщениям печати, ценные открытия: обнаружены неизвестные ранее творения Ватто, Сезанна, Рембрандта, Пикассо.
На воспроизводимом снимке из еженедельника «Обзёрвер» для сравнения представлены оригинал и рентгеновский снимок картины XV века «Святой Себастьян», приписываемой Франческо Франче. Исследование показало, что художник успел выполнить лишь набросок фигуры и выписать голову. Другой, неизвестный мастер, завершил работу по своему усмотрению.

ная связь со зрителем, чувство сопричастности. Актер играет для вас, а вы также принимаете участие в этом событии — спектакле. Ни одно искусство не вызывает такого глубокого чувства сопричастности прекрасному, как театр.

■

Как сообщает печать, недавно Лоуренсу Оливье была вручена золотая медаль Шведской Академии—в знак признания его заслуг в деле популяризации шведского искусства за рубежом. В решении Академии особо отмечаются свежесть и глубина интерпретации шведской драмы, отличающие работы Лоуренса Оливье.

БОЛГАРИЯ

«БОЛГАРИЯ В ОБРАЗАХ»

Издательство «Народна младеж» предприняло выпуск серии книг «Болгария в образах», посвященных национально-освободительной и революционной борьбе болгарского народа и его национальным героям.

В числе первых вышла книга Георгия Константинова о жизни Петко Р. Славейкова, одного из крупнейших болгарских писателей прошлого века, переводчика, журналиста и общественного деятеля.

Наиболее яркие страницы книги, по отзывам рецензентов,— это описание участия Петко Славейкова в освободительном походе русских войск, во время которого он служил в штабе генерала Скобелева и был проводником русских войск в покрытых снегом горах — вплоть до победы на Шипке.

Интересную книгу для этой серии создал Ефрем Каранфилов. У него не один герой, а четырнадцать, среди которых — такие известные исторические личности, как автор «Славяно-болгарской истории» Паисий Хилендарский, деятели национально-освободительного движения Раковский, Левский, Бенковский, писатели Иван Вазов, Антон Страшимиров и Георгий Кирков, архитектор Колю Фичето, а также Захарий Стоянов, Гоче Делчев и Яне Сандански, майоры Узунов и Паница, полковник Дрангов.

Яне Сандански, одному из крупнейших деятелей македонского национально-освободительного движения, посвящена книга, написанная Миладином Апостоловым.

В самое последнее время вышли еще две книги серии «Болгария в образах», посвященные хайдуцкому движению. Выдающийся болгарский революционер-коммунист Д. Благоев писал: «Хайдуцтво являлось поначалу несознательным, стихийным протестом. Постепенно к концу первой половины XIX в. оно превратилось в политическое движение, которое стремилось поднять вооруженное восстание против турецкого ига».

Первая книга, которая так и называется «Хайдуки», написана одним из крупнейших мастеров современной болгарской художественной прозы Николаем Хайтовым. В ней автор рассказывает о жизни и боевой деятельности легендарного Чавдара, о хайдуцких воеводах Чакыре, Карадже, Ангеле, капитане Петко Кирякове, монахе Матее Преображенском, известном под именем воеводы Миткало, и об участнице этого движения отважной женщине-воеводе Румяне.

Вторая книга принадлежит перу известного поэта, драматурга и прозаика Слава Хр. Караславова и посвящена знаменитому хайдуку Хаджи Димитру Асеньову. Это—романизированная биография, в которой автор рассказывает о первых воинских делах будущего воеводы, о невзгодах и радостях хайдуцкой жизни, о подготовке и неудаче первого восстания в Сливене, об

эмиграции в Валахию, о подвигах последних лет и о героической смерти Асеньева.

ГДР

«ПО СЛЕДАМ ЛЕНИНА»

Издательство «Киндербухферлаг» выпустило в свет книгу известного публициста и фоторепортера Эрвина Бекира, озаглавленную «По следам Ленина». Это—сборник репортажей, созданных автором за время его почти полугодичного путешествия по Советскому Союзу. Он побывал в Сибири, на Волге, на полуострове Таймыр, в Средней Азии, на Дальнем Востоке. Во время этой поездки, встречаясь с рабочими и колхозниками, учеными и инженерами, домохозяйками, Эрвин Бекир спрашивал, нет ли среди них людей, лично знавших В. И. Ленина.

Автор не задавался целью обнаружить какие-либо новые материалы из жизни вождя мирового пролетариата. Замысел его книги заключался в другом: показать, как в наше время осуществляются заветы Ленина, как они воплотились в реальные дела советских людей. Книга иллюстрирована цветными фотографиями и содержит много фактического материала.

«Лучший памятник Ленину,— пишет в заключение Бекир,— сама жизнь, Страна Советов в ее неудержимом стремлении к миру и прогрессу всего человечества».

КОНКУРС: «САМЫЕ КРАСИВЫЕ КНИГИ»

Объединенное жюри Министерства культуры ГДР и Союза немецких книготорговцев на конкурсе «Самые красивые книги ГДР в 1968 году» отобрало сорок девять книг для международной выставки-конкурса на Лейпцигской ярмарке 1969 г. «Среди отобранных экспонатов,— писал обозреватель еженедельника «Зонntаг»,— прекрасным художественным оформлением и высоким качеством полиграфического исполнения выделяются сборник писем и статей Карла Маркса, озаглавленный «Английские будни» (издательство «Диц-ферлаг»), сборник «Вьетнам в этот час» (издательство «Миттельдейчер ферлаг»), документальный сценарий Хейновского и Шоймана «Пилоты в пижамах» (издательство «Ферлаг дер национ»), хрестоматия «Мы читаем» для школ глухонемых (издательство «Фольк унд виссен») и книжная серия «Спектрум» (издательство «Фольк унд вельт»).

Берлинское телевидение показало недавно сделанный по его заказу многосерийный фильм «Краузе и Крупп», воскрешающий страницы классовой борьбы немецкого пролетариата против капиталистических монополий. На снимке: кадр из фильма.

(Газета «Нейес Дейчланд»)

ФРГ

КОНЧИНА ГЮНТЕРА ВАЙЗЕНБОРНА

Умер известный западногерманский писатель Гюнтер Вайзенборн, участник антифашистского Сопротивления, освобожденный советскими войсками в 1945 г. из тюрьмы Луккау, где он ждал исполнения смертного приговора. Его произведения переведены на 17 языков. Вайзенборн активно участвовал в общественной жизни; он был членом-корреспондентом Немецкой академии искусств, поддерживал «Культурбунд» со дня его основания. Всегда симпатизировавший Германской Демократической Республике, он до самой смерти активно боролся против возрождения фашизма в Западной Германии.

«РЕПОРТАЖ ИЗ КЛАССОВОГО ОБЩЕСТВА»

Под таким названием режиссер Немецкого театра в Гёттингене Гюнтер Флекенштейн поставил спектакль по материалам документальной книги молодой западногерманской писательницы и кинорежиссера Эрики Рунге «Ботропские протоколы», напечатанной в издательстве «Зуркамп». Поводом для создания этой книги, пишет рецензент газеты «Дейче фольксцейтунг», явилось закрытие шахты в г. Ботропе в начале 1967 г. Эрика Рунге, приехав в Ботроп, записала на пленку беседы с уволенными шахтерами, с их женами, с различными жителями городка — от католического священника вплоть до самих хозяев шахты; она даже запротоколировала чрезвычайное заседание производственного совета.

В результате, по словам рецензента, получился яркий репортаж о трагедии шахтерского отряда рабочего класса Западной Германии, обманутого лживым лозунгом «социального партнерства». Теперь эта книга обрела новую жизнь — на театральной сцене.

ГОЛЛАНДИЯ

В Роттердаме состоялось торжественное открытие новой работы известного итальянского скульптора Джакомо Манцу — врат «Мир и война» в церкви Св. Лаврентия (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 12, 1968). Одновременно в одном из роттердамских музеев открылась выставка, на которой демонстрируются рисунки, эскизы, варианты скульптур, созданные Манцу в процессе этой работы.
На снимке: врата «Мир и война».

(Газета «Унита»)

ИНДИЯ

ЮБИЛЕЙ МИРЗЫ ГАЛИБА

По решению ЮНЕСКО недавно отмечалось столетие со дня смерти классика индийской литературы, поэта, творившего на языке урду, Мирзы Галиба.

В среде поэтов и музыкантов, приближенных к императорам династии Великих Моголов и создававших хвалебные гимны в честь этих восточных владык, Мирза Галиб выступал как певец родного народа; он отдал свой талант тому, чтобы приблизить поэзию к простым людям. Мирза Галиб черпал темы для своих произведений в окружающей действительности, что в то время среди придворных стихотворцев, к кругу которых принадлежал поэт, было смелым новаторством. Он ломал старые, на протяжении многих веков складывавшиеся, застывшие поэтические формы. Мирза Галиб, как писали в связи с юбилеем индийские критики, по праву считается основоположником современной поэзии и прозы на языке урду; его верными последователями на этом поприще были Хусейн Азад и Хусейн Хали.

Юбилей поэта был торжественно отмечен в Индии. Во многих городах прошли поэтические состязания — «мушаиры»; переизданы «Диван», «Урду-и-муалла» и другие произведения поэта. В Дели открыт памятник Мирзе Галибу, начал работать его мемориальный музей.

ИРАК

ПУТЕШЕСТВИЕ В «АЛЬ-МОСКОФ»

Как сообщает корреспондент багдадского журнала «Аль-Мактаба», иракский ученый Наджат Фатхи Сафват в настоящее время готовит к печати комментированное издание интереснейшего памятника арабской географической литературы «Путешествие патриарха Макария».

В 1652—1659 гг. Антиохийский патриарх Макарий возглавлял посольство сирийских православных христиан ко двору русского царя Алексея Михайловича. Целью миссии Макария было получение помощи от «Аль-Москофа», то есть Московского государства, в которой сирийские христиане в то время очень нуждались (Сирия и другие арабские страны с XVI по XIX в. входили в состав Османской империи, власти которой жестоко угнетали арабов). Отправившись из г. Алеппо в 1652 г., патриарх и его спутники достигли Москвы только в 1655 году, проехав через Турцию, Молдавию и Украину. Вместе с Макарием был его сын Булос (Павел), который вел путевой дневник. В живой и непринужденной форме он описал в нем все путешествие, показав яркую картину общественной и культурной жизни Московии, Украины и Молдавии того времени. В «Путешествии» рассказывается о посещении гостями из Сирии достопримечательных мест Москвы, о старинной русской музыке и живописи, даются яркие характеристики Богдану Хмельницкому, царю Алексею Михайловичу, патриарху Никону и другим выдающимся деятелям описываемой эпохи.

«Путешествие патриарха Макария» издавна привлекало внимание ученых. Рукописи «Путешествия» переводились на английский, русский и румынский языки. Однако полного комментированного издания этого памятника до сих пор еще не было.

ИТАЛИЯ

ПРЕМЬЕРА «БОГА КУРТА»

В драматическом театре в городе Акукла (неподалеку от Рима) состоялась премьера пьесы Альберто Моравиа «Бог Курт». Создавая эту пьесу, Моравиа стремился (пользуясь его собственным выражением) «возвратить слову его первоначальную весомость». В сценической постановке пьеса «Бог Курт», по мнению рецензентов, очень выиграла по сравнению с опубликованным ранее литературным текстом. Пьеса, о которой «Иностранная литература» уже сообщала ранее (см. № 4, 1967), представляет собой «театр в театре», наподобие пьесы Вейса «Марат—Сад». Содержание ее вкратце таково: в 1944 году в одном из бараков нацистского концлагеря в Польше заключенные ставят трагедию Софокла «Царь Эдип». Комендант лагеря эсэсовский майор Курт, по приказу которого разыгрывается спектакль, придумывает для себя роль Рока. Действительно, от него зависит и судьба актеров в пьесе, и сама жизнь заключенных.

Автор рецензии на спектакль в газете «Паэзе сера» Элио Пальяраии сравнивает пьесу Моравиа, ставящую в весьма усложненной форме нравственные проблемы виновности и ответственности и вместе с тем носящую решительно антифашистский характер, не только с пьесой Вейса, которую она напоминает скорее лишь по форме, но и с пьесами Жана-Поля Сартра и, в первую очередь, с его «Альтонскими узниками». Главную роль (майора Курта) с успехом исполнил актер Луиджи Пройетти. Поставил спектакль режиссер Антонио Календа.

АВТОРЫ И ГЕРОИ ФИЛЬМА — РАБОЧИЕ

Вот уже несколько недель подряд каждое утро режиссер Уго Грегоретти отправляется на съемки своего нового фильма не в павильоны студии, а в римскую типографию «Аполлон», почти год занятую рабочими, борющимися за свои права. Фильм снимается на средства прогрессивного объединения итальянских кинодокументалистов — Центра свободных киножурналов.

«Этот фильм будет идти на экране около часа,— рассказал Уго Грегоретти корреспонденту газеты «Унита».— Фильм наполовину игровой. Я хочу рассказать о самоотверженной борьбе 320 рабочих этого предприятия против произвола хозяев.

Известная актриса Лючия Бозе, недавно возвратившаяся в кино после долгого перерыва, снимается во франко-итальянском фильме «Шезлонг», который ставит режиссер Франсуа Латеррье по сценарию Маргерит Дюра. В центре этой психологической драмы — сложные взаимоотношения между прикованной к постели больной (ее играет Бозе), лечащим врачом и его женой.
На снимке: Лючия Бозе.
(Газета «Паэзе сера»)

Мне кажется, что кинематографу давно следует рассказывать не о жизни элиты, а о простых людях. Поэтому я и пошел на предприятие, занятое рабочими. Мне хочется сделать политический фильм. Свое искусство я считаю особым средством политической борьбы».

В работе над фильмом принимают участие все рабочие без исключения. Они рассказали режиссеру о традициях их коллектива, о борьбе, которую они ведут сейчас и которая вызывает восхищение всей трудовой Италии. Рабочие заняли типографию и не покидают ее ни днем, ни ночью. Недавно на «Аполлоне» сыграли свадьбу молодой рабочей пары. Обо всем этом и расскажет фильм. Рабочие активно участвуют в съемках, играя самих себя. Нередко они просят остановить съемку и дают советы режиссеру. «Первые трудности позади,— сказал в заключение Уго Грегоретти,— работа над фильмом продвигается наилучшим образом».

Инициатива Грегоретти вызвала широкий отклик среди итальянских кинематографистов. Режиссер Марио Феррери также решил снять фильм о жизни рабочих одного из заводов Пизы.

КАМЕРУН

ПРЕМИЯ ЭЛЬ ХАДЖ АКИАДУ АХИДЖО

В Камеруне учреждена новая премия, присуждаемая за выдающиеся успехи в области литературы и искусства, а также науки,— премия Эль Хадж Акиаду Ахиджо. В положении о премии, опубликованном в журнале «Жён Африк», говорится, что ею будут награждаться «авторы, сумевшие сделать ценный вклад в культуру и науку Камеруна, достойно изобразить человека, а также раскрыть идеалы национальной реконструкции. Премия может присуждаться за книги, показывающие глубокое знание проблем Камеруна, или за произведения, активно содействующие международному сотрудничеству».

КИТАЙ

КРИТИКА РОМАНА СЮЭ КЭ «БОЕВАЯ МОЛОДОСТЬ»

Роман Сюэ Кэ «Боевая молодость» был издан в Китае в 1958 году. Он описывает события времен партизанской войны против японских оккупантов на севере Китая. Роман был инсценирован, по нему был написан киносценарий. До 1968 года книга вышла тремя изданиями. Однако в самое последнее время официальное отношение к книге резко изменилось. Ныне в Китае литературной критикой занимаются военнослужащие из «Н-ских частей». Они называют роман «Боевая молодость» «контрреволюционным», «реакционным» и «ревизионистским».

Рассуждают эти критики просто: если в романе изображен предатель — значит, и сам романист предатель и «воспевает» предательство; если изображен положительный герой — это еще не значит, что он «настоящий» герой, вероятно, он трус, и т. д.

По сюжету роман Сюэ Кэ сходен с «Разгромом» Фадеева. Нет сомнений, что автор сознательно подражал широко известному в Китае советскому роману. В романе Сюэ Кэ рассказывается о поражении, которое терпит партизанский отряд в результате предательства. «Разве историческая правда антияпонской войны состоит в том, что революция «потерпела поражение», а контрреволюция «победила»?» — демагогически вопрошает по этому поводу рецензент газеты «Женьминь жибао». Хотя, как и в «Разгроме» Фадеева, речь идет о судьбе отдельного отряда.

Но все это еще пустяки... Перлы демагогии маоисты приберегли для героического образа в романе, командира партизанского отряда отважной Сюй Фэн. Анекдотично, но для очернения героев романа используются даже их сны. Сюй Фэн видит сон, будто ее преследуют и настигают японские кавалеристы с саблями наголо. Она вскрикивает и просыпается. Этот эпизод маоистский критик не стыдится здравому смыслу вопреки приводить в доказательство «жалкой трусости» Сюй Фэн.

Оказавшись в плену, в тюрьме, ожидая расстрела, Сюй Фэн смотрит на «чирикающих и свободно порхающих птичек», думает о том, как хороша жизнь, с которой приходится прощаться. Маоист Ян Цюань-фу заявляет по этому поводу: «Трусы, подобные Сюй Фэн,— те же предатели, они — дерьмо собачье, недостойные зваться людьми».

Другой критик из «Н-ской части» под псевдонимом Красный Гром в статье «Куда воробью до сокола» сравнивает Сюй Фэн с воробьем, а соколом называет Ли Юй-

хэ, героя «образцовой революционной пьесы» «Красный фонарь», в создании которой принимала участие сама Цзян Цин, супруга Мао Цзэ-дуна. Различие между двумя героями Красный Гром сумел усмотреть только в одном: образцовый герой Ли Юй-хэ, узнав о предстоящей казни, запевает песню. Он бодр и весел, провал и арест его не огорчают, о жизни он не задумывается... Но ведь Сюй Фэн тоже не струсила, никого не предала. Она любила жизнь.

Огульная брань маоистов преследует одиу-едиственную цель — очернить роман, его героев и автора.

КУБА

ЛАУРЕАТЫ «КАСА ДЕ ЛАС АМЕРИКАС»

В Гаване, как сообщает кубинская печать, объявлены результаты ежегодного латиноамериканского литературного конкурса «Каса де лас Американ».

Лауреатами «Каса де лас Американ — 1969» стали перуанский литератор-партизан Эктор Бэхар Ривера, автор эссе «Перу 1965 года: партизанский опыт»; сальвадорский поэт Роке Дальтон, выпустивший сборник «Таверна и другие стихи»; боливийский писатель Ренато Прада Оропеса, автор романа «Песнь куколки»; чилийский писатель Антонио Скармета, написавший книгу рассказов «Голый на черепичной крыше»; перуанский драматург Алонсо Алегриа, удостоенный премии за пьесу «Переход над Ниагарой».

Эктор Бэхар Ривера, по сообщению обозревателя газеты «Гранма», написал свой труд в камере тюрьмы «Сан-Квинтин» в Лиме, где он находится в заключении после ареста в 1966 году по обвинению в участии в партизанском движении.

Сальвадорский поэт Роке Дальтон, которому премия присуждена «за необыкновенный лиризм и выразительность, а также за прогрессивные идеи, выраженные в его стихотворениях», в настоящее время живет в эмиграции на Кубе.

Роман «Песнь куколки» Ренато Прады Оропесы воспроизводит, по словам обозревателя газеты, эпизоды партизанской борьбы в Боливии в 1967 году.

КУБИНСКОМУ КИНО — ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Кубинская кинематография отметила свой десятилетний юбилей. Весной 1959 года специальным правительственным указом был создан Кубинский институт кино. Тогда же были начаты съемки первого художественного фильма «Эпизоды революции». В последующие годы вышли фильмы «Куба танцует», «Двенадцать стульев», «Я — Куба», «Смерть бюрократа», «Приключения Хуана Кинкина» и другие. Всего за десять лет кубинская кинематография выпустила 46 художественных фильмов, в том числе более 30 — полиометражных.

Недавно на экраны Кубы вышел новый фильм — «Люсия», созданный режиссером Умберто Соласом. Фильм рассказывает о судьбе трех кубинских женщин в разные периоды истории острова, носивших имя Люсия.

Действие первой новеллы развертывается в 1895 году — во время испанского колониального господства на Кубе. Люсия — мечтательная, доверчивая молодая женщина — полюбила человека, который оказался испанским агентом. Когда в жестокой схватке, завязавшейся между колонизаторами и повстанцами, Люсия убедилась, что любимый ею человек — изменник родины, она сама убила его.

Героиня второй новеллы фильма (действие ее происходит в 1933 году, во времена диктатуры Мачадо)—девушка из аристократической среды. Умная, чуткая — она тянется к людям, олицетворяющим новую жизнь, революционерам, проникается верой в лучшее будущее и находит в себе силы порвать со своим классом.

Третья новелла рассказывает о Кубе наших дней, о роли кубинской женщины в новой жизни. Муж Люсии противится тому, чтобы она активно включилась в общественную жизнь. Видимо, режиссер, как отмечают кубинские критики, не стремился к тому, чтобы дать готовое решение этой проблемы: она лишь поставлена.

Фильм «Люсия» пользуется успехом у зрителей. Критики спорят о нем: одни восторгаются, другие указывают на его недостатки. Однако постепенно берет верх более трезвая и спокойная оценка: фильм называют «смелым, интересным, глубоким произведением, ставящим серьезные социальные проблемы и одновременно не лишенным высокой поэзии».

МОНГОЛИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ СОЮЗА МОЛОДЕЖИ

Центральным Комитетом Монгольского революционного союза молодежи (МРСМ) учреждены литературные премии художникам слова за лучшие произведения на молодежную тему, которые будут присуждаться ежегодно в день годовщины МРСМ.

Недавно комиссия по литературным премиям при ЦК МРСМ объявила имена лауреатов. Первым среди лауреатов назван Д. Нацагдорж (1906—1937), основоположник современной монгольской литературы. Премия присуждена ему за «Гимн монгольских пионеров» и за стихотворение «Звезда». Обозреватели газеты «Залуучуудын унэн» («Молодежная правда») в связи с присуждением премии Д. Нацагдоржу пишут, что он с исключительным вниманием относился к детской и юношеской литературе и немало сделал сам для ее успешного развития. В настоящее время в Монголии, пожалуй, трудно найти человека, который не был бы знаком, не знал и не любил произведений этого талантливого поэта.

Литературной премии удостоен также один из старейших писателей, профессор биологии Дондогийн Цэвэг-

мид за повести «Чабан Найдан», «Ученик Ганбат» и «Болд и Самбу», которые широко известны молодежи Монголии. В этих глубоко реалистических произведениях, по отзывам критики, нашли достойное отражение трудные годы борьбы старшего поколения страны за новую, светлую жизнь.

Писателю Д. Содномдоржу присуждена премия за либретто детской оперы «Искатели счастья» и поэму «Навсайдамба и его друзья»; Л. Тудэву — за роман «Перекочевка». Произведения этих двух писателей, как сказано в решении комиссии, посвящены актуальным проблемам воспитания молодежи в духе новой морали.

«ГОРЬКИЙ И МОНГОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Так называется новая книга монгольского писателя Л. Тудэва, выпущенная недавно издательством Союза писателей МНР. Тудэв — автор романов «Горный поток» и «Перекочевка»; советскому читателю известна и его повесть о Сухэ-Баторе, вышедшая в издательстве «Прогресс» под названием «За Полярной звездой» (1968 г.). Перу Тудэва принадлежат также многие статьи по актуальным проблемам современного литературного процесса. В новом его исследовании нашли отражение многочисленные связи М. Горького с монгольскими писателями, влияние его творчества на молодую монгольскую литературу.

Книгу «Горький и монгольская литература» отличает богатство наблюдений, привлечение большого и ценного фактического материала. Горький был первым советским писателем, переведенным на монгольский язык. Начиная с 1932 года по настоящее время монгольские писатели перевели и издали более пятидесяти произведений Горького. Алексей Максимович переписывался с монгольскими литераторами с 1925 года. Горький, как отмечает в книге Тудэв, «хорошо знал жизнь и быт монголов и потому смог дать ценные советы монгольским писателям, ставшие по существу программой их творческой деятельности на многие годы».

Тудэв проанализировал богатый документальный материал, тщательно проследил творческие связи советских и монгольских писателей. Книга снабжена библиографией критических работ о Горьком, написанных монгольскими писателями и критиками, а также библиографией произведений Горького, изданных на монгольском языке.

ОАР

О ТВОРЧЕСТВЕ МОЛОДЫХ НОВЕЛЛИСТОВ

Журнал «Аль-Адаб» (Ливан) опубликовал статью своего каирского корреспондента Сами Хашабы под названием «Замечания читателя о коротком рассказе».

Хашаба полемизирует с некоторыми египетскими критиками, утверждающими, что современная новеллистика ОАР якобы переживает кризис. Они обосновывают свое утверждение тем, что некоторые известные писатели, Юсуф Идрис например, в последнее время почти не пишут рассказов. Хашаба, однако, считает, что отход Идриса от новеллистики еще не дает основания говорить о кризисе этого жанра, ибо «после него появились поколения писателей, которые очень высоко ценят этот вид литературного творчества».

Из числа известных новеллистов, по мнению Хашабы, успешно выступают Абуаль-Муаты Абу ан-Нага и Фарук Муниб. Абу ан-Нага выпустил высоко оцененный критикой сборник рассказов «Люди и любовь», а Муниб—не менее примечательную книжку новелл «Печали весны». Эти сборники свидетельствуют, по отзыву критика, о росте мастерства и усилении гражданских мотивов в творчестве обоих молодых писателей. В последнее время оба они небезуспешно пробуют свои силы в других жанрах литературного творчества: Абу ан-Нага завершил свой первый роман, посвященный деятелю национально-освободительного движения конца прошлого века писателю-трибуну Абдаллаху ан-Недиму, а Фарук Муниб написал пьесу «Изгнанник».

Хашаба пишет также о новых именах в новеллистике. Крупнейшее египетское издательство «Дар аль-кятиб аль-араби» приступило к изданию серии «Новые произведения», куда входят преимущественно книги молодых авторов, только вступающих на литературное поприще. Каирский «Клуб новеллы», объединяющий как опытных, так и начинающих авторов, приступил к изданию специального журнала, посвященного короткому рассказу. Регулярно печатают новеллы журналы «Аль-Маджалля», выпустивший за последние два года два специальных номера, посвященных короткому рассказу, и «Аль-Кятиб», а также другие журналы и газеты ОАР. В них с успехом выступают самые молодые новеллисты: Яхья ат-Тахер Абдаллах, Абд аль-Хаким Касем, Баха Тахер, Ахмад Хашем аш-Шериф, Зухейр аш-Шами, Ибрагим Аслан, Галаль Сирхан, Махмуд Абд ар-Разик, Мухаммед аль-Бисати. Аль-Бисати, например, недавно выпустил сборник рассказов «Большие и маленькие». Этот молодой новеллист был дважды удостоен премии «Клуба новеллы». Среди лауреатов премий этого клуба — молодые писатели Абдельаль аль-Хамамиси, автор сборника новелл «У цыплят крылья», и Абдуррахман Али.

ПРЕМИЯ ЗА НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РОМАНЫ

Как сообщает корреспондент журнала «Аль-Адиб», египетский писатель доктор Мустафа Махмуд удостоен государственной поощрительной премии за опубликованные им недавно два научно-фантастических романа — «Паук» и «Человек с температурой ниже нуля». Перу Мустафы Махмуда, которого критики считают основоположником жанра научной фантастики в совре-

менной арабской литературе, принадлежит 25 книг — сборники рассказов, повести и романы. Два года назад он был награжден специальным орденом «За заслуги в области наук и искусств».

ПОЛЬША

НОВЫЕ КНИГИ ЮЛИАНА КАВАЛЬЦА

«Если литература способна отражать важнейшие проблемы существования целых наций, а литературный образ может служить прототипом отдельной личности, находящейся в самом центре противоречивых общественных процессов, то со всей ответственностью можно утверждать, что творчество Юлиана Кавальца посредством литературных образов изображает один из самых существенных процессов послевоенной польской действительности, — писал критик Адам Будзынский в еженедельнике «Культура» в связи с выходом в свет двух новых книг известного польского писателя.— Этот процесс охватывает общественный, экономический и политический, а также культурный прогресс нескольких поколений сельских тружеников в народной Польше».

Советский читатель имел возможность познакомиться с основными произведениями Юлиана Кавальца — «К земле приписанный» и «Танцующий ястреб», опубликованными в журнале «Иностранная литература» (№ 6, 1964 и №№ 1—2, 1969). Недавно в Варшаве вышли две новые книги писателя: рассказ «Ищу дом» — в издательстве ПИВ и повесть «Вызов» — в издательстве «Людова спулдельня выдавнича».

По мнению критика, новые книги Кавальца тематически и стилистически представляют собой как бы продолжение более ранних его произведений. Бывшие пахари, отправившиеся искать свою судьбу в городе, не могут свыкнуться с новой для них жизнью. Герой рассказа «Ищу дом» говорит: «Я ищу тихий дом, потому

Юлиан Кавалец.
(Еженедельник «Культура»)

что устал и с меня уже хватит этого большого города. Лучше, если бы этот дом был в деревне и стоял посреди сада. Я вовсе не хочу, чтобы дом был большой: пусть он будет маленький, но крепкий...»

А герой повести «Вызов» не только мечтает, но и на самом деле становится вновь жителем деревни, владельцем дома, стоящего посреди сада. Но это, так сказать, иллюзорный возврат к прошлому: после смерти героя его дети поспешно продают этот дом и вновь возвращаются в город...

«Проза Кавальца,— писал в заключение Адам Будзынский,— неразрывно связанная с самыми важными, сложными процессами действительности нашего общества, открывающая дотоле неведомые нам сферы, выражающая то, что глубоко скрыто в душе крестьянина и почти невозможно выразить словами,— эта проза, благодаря заложенной в ней информации и литературному мастерству, составляет одно из наиболее интересных явлений нашей современной литературы».

150-ЛЕТИЕ МОНЮШКО

В мае 1969 года исполняется 150 лет со дня рождения знаменитого польского композитора Станислава Монюшко. Культурная общественность Польши широко отмечает эту дату. Со сцен театров и концертных залов прозвучат оперы, симфонические поэмы и песни Станислава Монюшко в исполнении известных профессиональных и самодеятельных коллективов.

Основоположник польской оперы, Монюшко неустанно черпал вдохновение в народном песенном творчестве, в традициях национального музыкального фольклора. Это особенно ценили в его творчестве Ференц Лист и Михаил Глинка.

Начало польскому национальному оперному искусству было положено оперой Монюшко «Галька», которая до сих пор не сходит со сцен многих театров мира. «Галька» была впервые поставлена на сцене Варшавского оперного театра в 1858 году, а четыре года спустя — в Киеве, затем в Праге. Варшавская премьера «Гальки» была не только крупнейшим культурным событием, она явилась мужественной демонстрацией польского патриотизма в условиях расчлененной в то время страны.

Рецензент петербургской газеты «Вести» писал в 1869 году в связи с премьерой «Гальки» в столице России, что «опера не могла не вызвать фурора своей столь замечательной музыкой».

«Страшный двор»—вторая наиболее популярная опера Монюшко, которая была поставлена во многих странах Европы и Америки. Возрожденный из пепла войны варшавский Большой театр свой первый сезон в 1965 году— спустя сто лет после премьеры «Страшного двора» — начал постановкой именно этой оперы.

Широко известно и песенное творчество Монюшко. Песни и романсы композитора весьма разнообразны по форме и содержанию. Это песни шуточные, хороводные, песни-баллады, насыщенные народным юмором и неизменно проникнутые любовью к родине.

1969 год отмечается в Польше как «год Монюшко».

ПОПУЛЯРНЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ежегодно немало книг польских авторов выходит в зарубежных издательствах.

«Как я начал и закончил вторую мировую войну» — таково название двухсерийного фильма режиссера Тадеуша Хмелевского, поставленного по одноименной повести Казимежа Славинского. Его герой — поляк, «бравый солдат» Доляс. Действие фильма происходит в Польше и за ее границами: в Сирии, Югославии, Италии. Некоторые сцены были сняты в Советском Союзе: «югославские» и «итальянские» сцены — в Ялте, Сочи, Сухуми, Гурзуфе, «африканские» — в Баку.
На снимке: один из эпизодов фильма, снятый в Сухуми.

(Еженедельник «Экран»)

В 1968 году наибольшее количество изданий за рубежом имела повесть Корнеля Филиповича «Сад господина Ничке» (опубликована в «Иностранной литературе» № 11, 1966). Помимо русского, повесть была переведена на болгарский, чешский, немецкий, сербохорватский, серболужицкий и венгерский языки.

Вот уже много лет подряд не ослабевает читательский интерес к творчеству популярного автора научно-фантастических произведений Станислава Лема. Его книги были изданы в минувшем году в Болгарии, Японии, ГДР, Англии, Югославии, Франции, Чехословакии. Рассказы Лема вошли в международную антологию научно-фантастической литературы, изданную в ГДР и США. Произведения Лема «Солярис» и «Непобедимый» включены в 36-томную антологию научно-фантастической литературы, которая готовится к изданию в Японии.

Тадеуш Ружевич — один из наиболее часто издающихся за рубежом польских поэтов. В 1968 году сборники его стихотворений вышли в Англии, ФРГ, Финляндии, а его проза — в ГДР и ФРГ.

СИРИЯ

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ ДАМАССКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Недавно Академия арабского языка в Дамаске — крупнейший научный и культурный центр Арабского Востока — отметила пятидесятилетие со дня своего основания. По этому поводу, как сообщает арабская пресса, был выпущен специальный номер «Журнала Академии арабского языка», в котором прослеживается путь развития науки в арабских странах за минувшие полвека.

США

«МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ» УАЙЕСА

В Нью-Йорке вышла богато иллюстрированная книга Ричарда Меримэна об одном из самых популярных современных художников Соединенных Штатов — Эндрю Уайесе.

Когда в 1967 году выставка Уайеса совершала «турне» по США (около 200 полотен художника экспонировались поочередно в крупнейших городах — Филадельфии, Чикаго, Нью-Йорке), газета «Балтимор сан» называла творчество этого живописца «магическим реализмом», «противоядием против модернизма». Позднее американская печать писала о «неподкупной простоте и человечности» его картин, об «очевидной реалистичности и проникновенности уайесовского метода».

Неподдельный реализм, строгая простота — вот чем, по мнению искусствоведов, объясняется популярность

Эндрю Уайес. «В день ярмарки».

(Газета «Балтимор сан»)

произведений Эндрю Уайеса; его главные темы — природа, образы простых людей, труд, настроения и интересы простых американцев-тружеников.

В только что вышедшей книге об Эндрю Уайесе, пишет рецензеит еженедельника «Ньюсуик», широко представлены основные работы художника-реалиста.

О ЖИЗНИ И БОРЬБЕ АМЕРИКАНСКИХ НЕГРОВ

Недавно в США почти одновременно вышли в свет три книги, авторы которых рассказывают о жизни и борьбе американских негров в Миссисипи, Алабаме и других юго-восточных штатах в наши дни. Это — «Совершениолетие в Миссисипи» Анны Муди (издательство «Дайал пресс»), «Американские рабы» Поля Гуда (издательство «Дж. П. Путнам») и «Поиски свободы» Кэролайн Баллии (издательство «Ситадел»).

Анна Муди — молодая негритянка, которая с детства батрачила на одной из ферм в штате Миссисипи, а затем стала борцом за права своего угнетенного народа. Книгу «Совершеннолетие в Миссисипи» она назвала автобиографией: в ней она поведала историю своей нелегкой жизни.

Девяти лет от роду она стала прислугой в доме у белых; гроши, которые получала Анна, давали ей возможность спасти от голодной смерти своих братьев и сестер. Страх перед голодом был постоянным спутником жизни в этой семье.

Когда Анне исполнилось 14 лет, она стала бояться, что ее убьют «только за то, что кожа у иее черная». Страх этот не был беспричинным: в 1954 году в их штате был убит негритянский юноша, сверстник Анны. Именно тогда окрепла решимость Анны бороться против жестокости белых расистов.

Когда Анна училась на третьем курсе колледжа, она приннмала участие в борьбе студентов против расовой дискриминации. Молодые активисты — негры и белые — постоянно подвергались опасности нападения со стороны расистов и полиции. Студенты голодали, их жестоко избивали, но чувство солидарности давало им силы для продолжения борьбы.

Книга «Американские рабы» Поля Гуда повествует о хроиологически более поздних событиях. Его герои — бедные негры-издольщики, сезоиные рабочие, батраки, пайщики овощных кооперативов, шахтеры. Бедняки сами поведали о себе: автор, который прежде был репортером, во время недавней поездкн по Югу собрал рассказы этих людей о том, как они стали жертвами белых помещиков и чиновников.

Бедная белая девушка, выросшая в штате Алабама,— героиня книги Кэролайн Баллии «Поиски свободы». Книге присущи некоторые автобиографические мотивы. Когда мать девушки слегла и не смогла работать, их соседка-негритянка делилась с ними последним куском хлеба. Этот акт человеколюбия побудил впоследствии белую девушку помочь молодой негритянке, которая подверглась оскорблениям расистов.

Кэролайн Баллин вот уже на протяжении нескольких лет активно участвует в борьбе белых и негров против расизма.

«СЛОВАРЬ ВЕЛИКОГО ОБЩЕСТВА»

Так назвал свою книгу профессор Пенсильванского университета доктор Эдвард С. Герман. В «Словаре» собраны наиболее часто употребляемые органами американской пропаганды слова и выражения, связанные с концепцией «великого общества», выдвинутой экс-президентом Л. Б. Джонсоном. Приведя тот или иной термин, автор дает его общепринятое толкованиие, а затем показывает, какой смысл вкладывает в него официальная пропаганда.

Главное внимание в книге, отмечает рецензент газеты «Морнинг стар», уделено фразеологии, связанной с внешней политикой США и особеиио с войной во Вьетнаме. Автор находит ясные, резкие определения для разоблачения закамуфлированных официальных эвфемизмов. Вот некоторые из них:

«Последние штрихи». Рисунок, воспроизведенный еженедельником «Цейт».

Сдержанность — уннчтожение людей в масштабах несколько меньших, чем позволяют имеющиеся технические средства;

Самоопределение — право какого-либо народа выбирать угодную «нам» форму правления;

Вьетконг — вьетнамскнй крестьянин, особенио тот, который убит нами.

Значение некоторых терминов приводится параллельно — для «нас» и для «них» (врагов):

Вера—«наши» убеждения;
Фанатизм — «их» убеждения;
Независимый — поддерживающий «нас»;
Сателлит — поддерживающий «их».

Профессор Герман заявил, что его труд — это «реакция на злоупотребление словом, которое во все большей степени используется в целях дезинформации общественности».

СУДАН

ПРИОБЩАТЬ НАРОД К ИСКУССТВУ

Ливанский журнал «Аль-Адаб» опубликовал статью суданского журналиста Хасабаллаха аль-Хаджа Юсуфа «Культурные проблемы и заботы», посвященную вопросам театра и народного творчества в Судане.

В стране, пишет автор статьи, пока что действует только один профессиональный театр, открывшийся в Хартуме в конце 1959 года. Его репертуар состоит преимущественно из пьес на легендарно-исторические сюжеты. К числу таких пьес относятся, например, драмы «Мекк Нимер» и «Таджудж». В первой из них рассказывается о битвах и подвигах народного героя из племени джаалиин; во второй — о романтической любви юноши по имени Вад-Мухаллик к своей двоюродной сестре гордой красавице Таджудж. (В основу этих драм положены широко распространенные в Восточном Судане устные народные эпосы.)

Однако эти пьесы далеки от всего того, чем живет суданский народ сегодня, пишет автор, основу репертуара театра должны составлять произведения на современные темы, в которых подвергались бы критике и осмеянию еще не изжитые недостатки и пороки, доставшиеся стране в наследство от феодально-колониального строя. Важность миссии театра в деле социальных преобразований хорошо понимают, по мнению Х. Х. Юсуфа, в Объединенной Арабской Республике, театральные коллективы которой бывают частыми гостями в Судане. Пьесы на современные темы таких египетских драматургов, как Нуман Ашур, Альфред Фараг, Саад ад Дии Вахбе, пользуются успехом у суданских зрителей.

Х. Х. Юсуф пишет далее о том, что назрела необходимость открыть театры в столицах девяти суданских провинций, с тем чтобы приобщать население к искусству театра. Кроме профессионального театра, считает критик, в стране необходимо развивать самодеятельное искусство, поощрять народное песенное и музыкальное творчество.

В Объединенной Арабской Республике, отмечает он, в этом направлении уже многое делается с помощью специалистов-искусствоведов из Советского Союза и других дружественных стран.

ТУРЦИЯ

ОКТАЙ АКБАЛ ПРИЯТНО УДИВЛЕН

Стамбульский литературный журнал «Еди тепе» опубликовал обширную информацию об издании турецких книг в Советском Союзе. Сотрудник журнала писатель Октай Акбал побывал на последней встрече писателей стран Азии и Африки в Ташкенте. Он был приятно удивлен, узнав, что книги турецких писателей пользуются в СССР большой популярностью. По возвращении на родину писатель решил поместить в журнале «Еди тепе» полный список вышедших в Советском Союзе за последние десять лет произведений турецкой литературы. В этом списке — свыше семидесяти произведений почти пятидесяти авторов.

Особое внимание турецкая общественность обратила на тот факт, что книги писателей Турции изданы не только в Москве и Ленинграде, но и в Киеве и Тбилиси, Махачкале и Ереване, Новосибирске и Баку, Риге и Вильнюсе, Таллине и Ашхабаде, Душанбе и Ташкенте, Алма-Ате и Фрунзе — более чем на двадцати языках, в том числе и на таких, как лезгинский, эстонский.

ФИНЛЯНДИЯ

НА ЭКРАНАХ — «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»

В Хельсинки, Тампере, Турку, Лахти и других городах Финляндии с успехом демонстрируется фильм Юлия Карасика по сценарию Михаила Шатрова «Шестое июля». Финская пресса дает фильму высокую оценку.

Критик газеты «Кансан уутисет» Мартти Саво, например, пишет, что, «следуя тексту сценария, напоминающему порой по своей точности протокольную запись событий, режиссер Юлий Карасик и оператор Михаил Суслов создали широкоэкранный фильм в стиле суровой хроники.

На тех, кто хоть немного знаком с историей Октябрьской революции,— продолжает критик,—фильм Ю. Карасика производит неизгладимое впечатление».

Актер Ю. Каюров создал живой, запоминающийся образ Ленина — таково единодушное мнение критики. Мартти Саво пишет далее в «Кансан уутисет», что Каюров на этот раз создал образ Ленина совершенно новыми средствами; он добился того, что для зрителя важно не как, а о чем говорит Ленин.

По словам рецензента газеты «Хельсингин саномат» Паулы Таласкиви, «тем, кого привлекают события современной истории, о которых у нас редко рассказывалось, фильм «Шестое июля» показывает много интересного». Она также отмечает, что Ю. Каюров тонко передает ум и духовную силу Ленина.

ФРАНЦИЯ

ПРЕМИЯ ЗА ФИЛЬМ О ВЬЕТНАМЕ

Премия имени Поля Вайяна-Кутюрье за 1969 год вручена режиссеру француз-

ского телевидения Жерару Гийому за два документальных короткометражных фильма, снятых в ДРВ: «Маленький мир Хоа» — о вьетнамском мальчике-поэте и «Женщины дельты», посвященный мужественным женщинам Вьетнама.

Герой первого фильма — Чан Данг Хоа, ему 9 лет. Он учится в школе и живет в деревне близ Хайфона. Во Вьетнаме многие знают и любят его стихи. Они пользовались известностью еще до того, как были опубликованы в антологии вьетнамской поэзии. На родине о юном поэте говорят: «Хоа — это маленький Моцарт. Он — словно родник, из которого струится музыка».

Вручая премию Жерару Гийому, председатель жюри Этьен Фажон (члены жюри — Луи Арагон, Рене Андриё, Андре Стиль, Андре Вюрмсер, Мадлен Риффо и Мари-Клод Вайян-Кутюрье) сказал: «Пусть решение нашего жюри способствует тому, чтобы все увидели эти фильмы, которые благодаря их поэтичности и красоте, можно назвать подлинными произведениями искусства».

В ответном слове Жерар Гийом заявил, что стремился показать мужество, упорство, энергию вьетнамского народа. Он говорил также о том, какое внимание уделяется в ДРВ школьному образованию и воспитанию детей. «Я видел,— продолжал он,— каких поразительных усилий стоит учителям борьба за знания своих учеников. Им не хватает самых элементарных школьных принадлежностей...»

Жерар Гийом предложил организовать движение помощи школам Вьетнама и внес полученную им премию в качестве первого вклада в фонд этой помощи.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НОВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Большой коллектив ученых и специалистов Чехословакии во главе с академиком Ф. Штромом работает над составлением новой двенадцатитомной энциклопедии, выпуск которой запланирован на 1971 год.

В нескольких тысячах статей будут даны новейшие сведения по вопросам науки, техники, культуры. Значительное место в новой энциклопедии предполагается отвести сведениям о выдающихся ученых и общественных деятелях страны.

ЮГОСЛАВИЯ

ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ

Народный театр города Сплита осуществил постановку двух пьес — «Тирена» и «Новелла Станце» — известного драматурга XVI века Марина Držича. Режиссеру М. Фатезу и актерам театра, по отзывам критики, удалось передать подлинную атмосферу того времени. Премьеры прошли с большим успехом — пьесы, написанные четыре столетия назад, были тепло встречены зрителями. Литературное наследие Марина Držича, как отмечает критика, хоть оно дошло до нас далеко не полным, неизменно пользуется популярностью во многих странах. Драма М. Držича «Дядюшка Марое», например, ставилась в советских театрах.

ЯПОНИЯ

ЭТО БУДЕТ В ОСАКА

В 1967 году в Токио был проведен международный конкурс на лучшее исполнение партии Чио-Чио-Сан из знаменитой оперы Пуччини. Конкурс был посвящен памяти певицы Томаки Миура, которая была признана лучшей исполнительницей этой роли в Японии.

Победительницами конкурса 1967 года стали советские солистки Мария Биешу из Кишиневского театра оперы и балета и Тамара Чокония из Киевского театра оперы и балета.

Вскоре состоится второй международный конкурс на лучшее исполнение партии Чио-Чио-Сан. На пресс-конференции в Токио секретарь исполнительного комитета по проведению этого конкурса Синкити Накадзима сообщил, что конкурс будет проводиться в городе Осака с 30 мая по 11 июня 1970 года (в это время там будет проходить Всемирная выставка «ЭКСПО-70»). В конкурсе примут участие певицы из 45 стран — намного больше, чем в прошлый раз. На конкурс получила приглашение Мария Биешу, которая даст несколько концертов. В жюри второго конкурса войдут известные музыканты из Италии, Франции, Советского Союза, Англии и других стран.

Кадр из кинофильма «Маленький мир Хоа».
(Газета «Юманите»)

Авторы этого номера

ЯННИС РИЦОС (род. в 1909 г.).

Выдающиися греческий поэт, произведения которого получили признание далеко за пределами Греции. За годы литературного творчества стихи и поэмы Я. Рицоса составили несколько томов. В последние годы вышел сборник стихов «Свидетельства» (1964), поэмы «Филоктет» (1964), «Орест» (1966) и др.

Яннису Рицосу принадлежит много переводов из русской и советской поэзии. В нашей стране вышли его избранные «Стихи». В «Иностранной литературе» стихотворения Я. Рицоса печатались в № 11, 1959 г., № 3, 1965 г., № 7, 1968 г.

■

ИРВИН ШОУ — IRWIN SHAW (род. в 1913 г.).

Известный американский писатель — романист, драматург, мастер короткой новеллы,— живущий в Швейцарии. Советским читателям знаком по изданным на русском языке пьесам «Бруклинская идиллия», «Убийца», роману «Молодые львы» и новеллам, публиковавшимся в журналах.

Рассказ «Как это принято у французов» взят из сборника того же названия («In The French Style», 1963).

■

УИЛЬЯМ МАКСУЭЛЛ — WILLIAM MAXWELL (род. в 1908 г.).

Американский писатель, много лет сотрудничает в журнале «Нью-Йоркер», где впервые появились его рассказы. Печататься начал в 30-е годы. Кроме рассказов написал несколько повестей.

Предлагаемый вниманию читателей рассказ взят из сборника «Старик у железнодорожного переезда» («The Old Man at the Railroad Crossing and Other Tales», 1966).

ДЖЕЙМС ПАРДИ — JAMES PURDY (род. в 1923 г.).

Американский писатель, романист и новеллист. Известны его романы «Малколм» («Malcolm», 1959), по мотивам которого американским драматургом Эдвардом Олби написана одноименная пьеса, «Племянник» («The Nephew», 1960), «Кэбот Райт начинает» («Cabot Wright Begins», 1964), «Юстас Чисхолм» («Eustace Chisholm and the Work», 1967).

Рассказ «Острый угол» («Cutting Edge»), напечатанный в сборнике «Цвет тьмы» («Color of Darkness», 1957), — первое произведение Дж. Парди, переведенное на русский язык.

■

МАНУЭЛЬ САПАТА ОЛИВЕЛЬЯ — MANUEL ZAPATA OLIVELLA (род. в 1920 г.).

Колумбийский писатель, по образованию — врач. Основатель и главный редактор журнала «Летрас насьоналес», издаваемого в Боготе, лауреат ряда литературных премий. М. Сапата Оливелья — автор нескольких романов и сборников рассказов.

Новелла «Аккордеон за решеткой» («Un acordeón tras la reja»), которой мы впервые знакомим наших читателей с творчеством этого писателя, взята из сборника «Колумбийские новеллисты» («Cuentistas colombianos», 1966).

■

ЭРНАНДО ТЕЛЬЕС — HERNANDO TELLEZ (1908—1966).

Колумбийский писатель и литературовед, автор многих книг, в том числе сборников рассказов и эссе — «Беспокойство мира» («Inquietud del mundo», 1943), «Огни в лесу» («Luces en el bosque», 1946), «Дневник»

(«Diario», 1946), «Литература и общество» («Literatura y sociedad», 1956) и др.

Рассказ «Кровь на цветах жасмина» («Sangre en los jazmines») взят из журнала «Летрас насьоналес» (№7, 1966 г.).

■

НЕСТОР МАДРИД МАЛО — NESTOR MADRID MALO (род. в 1918 г.).

Колумбийский писатель и литературовед. Публикуемый в этом номере рассказ был напечатан в сборнике рассказов писателя «Зеленый банан» («Guineo verde», 1966), вышедшем в городе Медельине, где живет и работает писатель.

■

КАМЕН КАЛЧЕВ (род. в 1914 г.).

Болгарский писатель, лауреат Димитровской премии. Советские читатели знают К. Калчева по переведенным на русский язык повести «Сын рабочего класса», посвященной Георгию Димитрову, романам «Семья ткачей», «Новые встречи», «Отважный капитан», «Двое в новом городе», рассказам и статьям, публиковавшимся в периодической печати.

Рассказ, помещенный в этом номере, был напечатан в вышедшем в 1967 г. сборнике «Софийские рассказы» («Софийски разкази», 1967).

■

ЙОРДАН РАДИЧКОВ (род. в 1929 г.).

Болгарский писатель, знакомый нашим читателям по изданному на русском языке сборнику рассказов «Опрокинутое небо», рассказу «Жаркий полдень», опубликованному в нашем журнале (№ 5, 1964), и другим произведениям, печатавшимся в советской периодике.

В последние годы в Болгарин вышли сборники его рассказов «Свирепое настроение» (1965), «Водолей» (1967) и написанная после поездки по Сибири книга путевых очерков «Неосвещенные дворы» («Неосветените дворове», 1966), в которых сочетается документальное повествование с лирическим дневником и психологическими зарисовками.

Новелла «Воскресенье» («Неделя») была напечатана в сборнике писателя «Козья борода» («Козята брада», 1967). Она войдет в двухтомник «Новеллы и повести», в «Библиотеке болгарской литературы», выпускаемой издательством «Прогресс».

■

ЕФРЕМ КАРАНФИЛОВ (род. в 1915 г.).

Болгарский литературовед, научный сотрудник Института литературы Болгарской академии наук, автор литературно-критических и социологических работ, составивших несколько сборников.

Публикуемая статья получена от автора в рукописи.

■

САРА ЛИДМАН — SARA LIDMAN (род. в 1923 г.).

Известная шведская писательница, произведения которой переведены на многие языки, по некоторым из них поставлены фильмы. «Иностранная литература» познакомила советскнх читателей с творчеством С. Лидман, напечатав ее роман «Я и мой сын» (№ 5, 1962). На русском языке в 1967 г. публиковались также фрагменты из книги «Беседы в Ханое», написанной после посещения писательницей Северного Вьетнама в 1965 году.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Б. С. РЮРИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ (первый зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 04544 Сдано в производство 7/III-69 г. Подписано к печати 17/IV-69 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2). Уч-изд. листов 27,43. Зак. 842.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394

К сведению читателей журнала «Иностранная литература»

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1969 г. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ РОМАНЫ И ПОВЕСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ:

Джованни Арпино (Италия). ТЕНЬ ОТ ХОЛМОВ (роман)
Кобо Абэ (Япония). СОЖЖЕННАЯ КАРТА (роман)
Марио Бенедетти (Уругвай). СПАСИБО ЗА ОГОНЕК (роман)
Бетти Коллинс (Австралия). В МЕДНОМ КОТЛЕ (роман)
Норман Льюис (Англия). ОТ РУКИ БРАТА ТВОЕГО (роман)
Джон О'Хара (США). ИНСТРУМЕНТ (роман)

Рассматриваются произведения:

Манника Банерджи «МАРИОНЕТКИ» (роман), **Алекса Ла Гумы** «КАМЕННАЯ СТРАНА» (роман), **То Хоая** «ЗАПАДНЫЙ КРАЙ» (роман), **Тамары Хови** «СТРЕМЛЕНИЕ МАЛЕНЬКОЙ МОШКИ» (роман), рассказы молодых болгарских писателей, **Эрвина Штриттматтера, Франца Фюмана** и др.

В ЖУРНАЛЕ ПЕЧАТАЮТСЯ СТАТЬИ О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ, МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИЙ, ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ. В РАЗДЕЛЕ «СРЕДИ КНИГ» РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ КНИЖНЫЕ НОВИНКИ, КАК ВЫШЕДШИЕ ЗА РУБЕЖОМ, ТАК И ПЕРЕВЕДЕННЫЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА ПОЗНАКОМЯТСЯ С НОВЫМИ РАБОТАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ ХУДОЖНИКОВ, УЗНАЮТ О НОВОСТЯХ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА И КИНО.

Подписка принимается отделами «Союзпечати», отделениями связи и общественными распространителями печати на местах.

Подписная цена:

на 6 месяцев — 4 р. 80 к.,
на 3 месяца — 2 р. 40 к.